



...Робел ли я, отправляясь в райком? И на какого рожна мне это спёрлось? Сказать по совести, я и сам не знал. Но бывают в жизни отдельных людей, в частности у меня, такие мгновения, когда идея, которую сначала лучше бы обдумать, мысль, а то и простое словцо вдруг бесконтрольно вырываются помимо всякой осторожности, и далее они вовлекают тебя в какой-то круговорот, требуя продолжения и даже исполнения сказанного. Даже иногда взывают к совести или, простите за высокопарное выражение, к чести.

Однако кто я был такой — уральский студентиска, из себя ничего не представляющий? Начитался стихов, восхваляющих вождя? Но разве поэты не восхваляют каждого правителя, чтобы добиться расположения и, несомненно, преимуществ — с самых древних эпох, а мы уже прошли курс античной литературы!

Ну, и вообще! Если всё хоть и шатко-валко, но куда-то всё же движется — вперёд, к будущему! — не надо обо всей стране и о народе!

Раз вы не в силах ничего переменить, так плывите по этой широкой и глубокой реке, называемой жизнью! И гребите! Но не к берегу, а вперёд!

Так я осаживал, уговаривал, примирял себя с действительностью, а сам, в совершенном одиночестве, шёл к известному зданию райкома, где мы однажды отбивали от кого-то неведомого нашу верную тётю Дусю.

И всё возвращался почему-то мыслями к тому пожилому дядьке, Фёдору Тимофеевичу, который нас спросил:

— А что вы думаете о Сталине?

Почему он тогда спросил об этом нас? Да что мы думали? Великий вождь и учитель — так полагалось откликаться на такие вопросы два года назад. А теперь? Что бы сказал нам о Сталине этот симпатичный человек? Впрочем, он ведь и тогда, спрашивая, не возражал, но и не говорил.

Да и что там, в этом отчего-то закрытом от всех, кроме коммунистов и комсомольцев, письме?

Я отворил дверь в общий отдел райкома, показал комсомольский билет, тётенька неопределённого возраста, но уж далеко не комсомолка, вписала мои данные в бухгалтерскую книгу, велела расписаться, а потом открыла сейф и дала мне тоненькую книжицу в красной корочке с устрашающим грифом “Секретно”. Предупредила:

— Записи делать нельзя, читать только здесь. — И указала место за ничейным, видать, столиком у окна.

Читайте в ближайших номерах “НС” новый роман Альберта Лиханова “Оглянись на повороте, или Хроника забытого времени”.

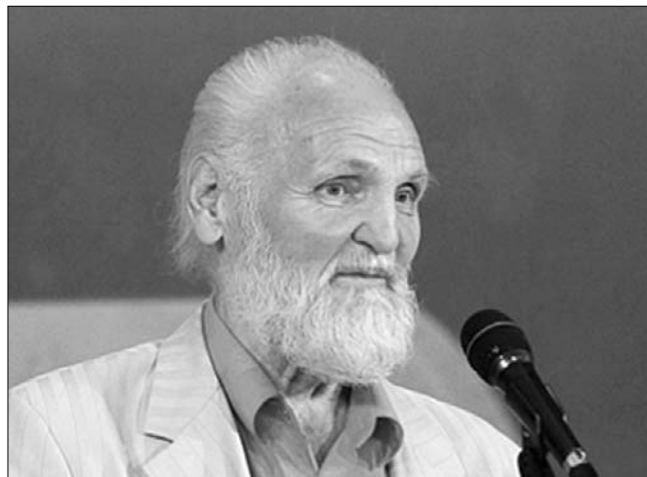
НАШ СОВРЕМЕННОК

Журнал писателей России



№ 9 2016

ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ КРУПИНУ – 75!



“Последние десятилетия меня постоянно не то чтобы уж очень мучают, но посещают мысли, что я, по слабости своей, как писатель сдался перед заботами дня. И не то что б исписался, а весь как-то истратился, раздергался, раздробился на части, на сотни и сотни вроде бы необходимых мероприятий, собраний-съездов-заседаний-пленумов-форумов, на совершенно немислимое количество встреч, поездок, выступлений, на сотни предисловий, рекомендаций, тысячи писем, десятки тысяч звонков, на все то, что казалось борьбой за русскую литературу, за Россию. Разве такая жизнь помогает спокойствию души – главному условию сидения над бумагой? Ну чего теперь – поздно. Во всех смыслах – вечер на дворе. Унывать – грех. Живу с Господом...”

Эти слова из статьи Владимира Крупина “Вечер на дворе”. В этой статье он проявляет себя еще и поэтом, – как во всем – ироничным, глубоко искренним.

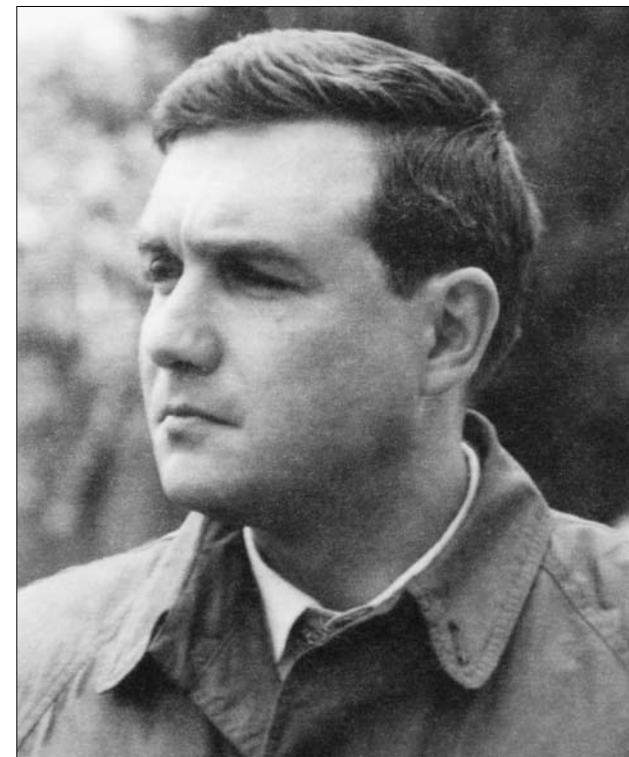
“...И вот в его стиле (Северянина) написалось и у меня на тему своей жизни:

*Как будто и не жил – натурил
И свое счастье упустил.
Сам виноват – литературил:
Рассказничал, миниатюрил,
Рецензичал и предисловил,
И постоянно празднословил,
Статейничал и повестил,
И ни семьи не осчастливил
И состоянья не скопил.
Что ж, присно каюсь – сам виновен,
Что гибну под лавиной строк.
Но, может, путь мой был духовен,
И, даст Бог, оправдает Бог?*

Вот только на это и надеюсь – на оправдание. Жизнь моя так крепко сплелась с жизнью России, что я не могу уже ни о чем писать, кроме как о своем Отечестве”.

*Дорогой Владимир Николаевич!
Поздравляем с юбилеем! Вечернее солнышко ласково,
а вечерняя атмосфера тиха и раздумчива...
Долгих и светлых Вам дней и вечеров!*

ДМИТРИЮ МИЗГУЛИНУ — 55!



* * *

*А жить так просто на Руси,
Чтобы достичь пределов рая:
Не верь, не бойся, не проси,
Земным богам не доверяя.*

*Держись подальше от царей
И не играй с судьбою в прятки —
И будет голова целей,
И душу сохранишь в порядке.*

*Не предавай, не унывай,
Куда б не вывела дорога.
И никогда не забывай
Везде и всюду помнить Бога!*

*Редакция поздравляет нашего давнего друга и автора
с юбилеем!*

Подборку стихов Дмитрия Мизгулина “Ничего уже менять не надо” читайте на стр. 68.



Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд
славянской письменности
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,
А. В. ВОРОНЦОВ,
В. Н. ГАНИЧЕВ,
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,
Т. В. ДОРОНИНА,
С. Н. ЕСИН,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
М. П. ЛОБАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
В. Д. ПОПОВ,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
С. А. СЫРНЕВА,
А. Ю. УБОГИЙ,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Проза

Александр ПРОХАНОВ
Востоковед. Роман 3

Владимир КРУПИН
С утра пораньше.
Записки разных дней 72

Валерий ХАЙРЮЗОВ
Одна живём. Повесть 101

Анатолий БАЙБОРОДИН
Скотник Еремей. Рассказ 142

Михаил КОРНЕВ
"Живый в помощи"
Рассказы 154

Владимир МАКСИМОВ
Экзамен по научному
коммунизму. Рассказ 172

Василий ЗАБЕЛЛО
Осенний ветер с Байкала.
Байкальские были 182

Поэзия

Дмитрий МИЗГУЛИН
Ничего уже менять не надо 68

Владимир БЕРЯЗЕВ
Очаг мой 97

Анатолий ОБЪЕДКОВ
У нас огонь в крови 140

Геннадий МОРОЗОВ
Поток бытия 168

Очерк и публицистика

Захар ПРИЛЕПИН
Анна 189

Борис КЛЮЧНИКОВ
Феномен Трампа 202

Игорь ЯНИН
Черноморская Пальмира 209

Редакция

Приемная —
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —
зам. главного редактора —
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —
*зав. отделом критики,
отдел поэзии* —
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71,
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —
зав. техническим центром —
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Владимир ЧАРСКИЙ
Моя Эфиопия 238

Виктор БРОНШТЕЙН
Спасительные сигналы
едва не угасшей звезды 257

Критика

Эдуард АНАШКИН
Из глубин памяти 272

Александр ЯРОВОЙ
“Стихия русского стиха... или
Строки о родном и великом” 284

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 05.09.16. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 2597-2016. Тираж 5300 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: n-sovrem@yandex.ru

(Рукописи по электронной почте не принимаются)
Адрес сайта в интернете: www.nash-sovremennik.ru

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 www.redstarp.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



ВОСТОКОВЕД

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Торобов проснулся, выпадая из душного сна. Белоснежное окно с рога-
тыми яблонями, и на ветках, повторяя каждый сучок и изгиб, — волнистая,
как пух, бахрама.

После шестидесяти, выйдя в отставку, распрощавшись с сослуживцами,
нанеся прощальный визит руководству, Леонид Васильевич порвал с про-
шлым напрочь, навсегда. Замуровал прошлое в своей изнурённой, изрытой
памяти. Надвинул на него чугунную плиту, литую крышку. Заварил края,
завинтил болтами.

Он больше не раскрывал стеклянный шкаф, где хранились военные ат-
ласы, книги именитых востоковедов, этнографические альбомы и справочни-
ки с перечнем арабских племён, месторождений нефти, американских воен-
ных баз.

Теперь он жил один. Дети выросли и обзавелись семьями. Он не часто
встречался с ними. Они медленно, с годами, от него удалялись, и их связы-
вало тепло, которое соединяет родные души и не требует частых свиданий.

Теперь, в белизне зимнего утра, он небрежно натянул тесный поношен-
ный полушубок, нахлобучил высокую кожаную шапку, отороченную лисьим
мехом, которую жена называла “боярской”. Сунул в карман мобильник и вы-
шел в сад.

*ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Москов-
ский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов
“Чеченский блюз”, “Красно-коричневый”, “Идущие в ночи”, “Господин Гексоген”,
“Крейсерова соната”, “Человек звезды”, “Время золотое”, “Убийство городов”,
“Губернатор”. Живет в Москве.*

Белизна была восхитительной и пугающей своей целомудренной чистотой. Снег пышными подушками лежал на столе и стульях, забытых в саду с осени. Чёрные ели с малиновыми шишками опустели к земле ветви и казались сутульями, нагнувшими плечи под тяжестью белых тюков. Любимая сосна молитвенно воздела руки с перстами, держала в объятьях огромный шар снега. Берёзы казались нарисованными на небе белым.

Сойка прилетела из леса и села в берёзу. Сверкнула ослепительной лазурью крыла. Сидела на ветке, чуткая, пугливая, поглядывая на Торобова острым глазком. Он замер от восхищения, любуясь её розово-сизой грудкой, сжатыми крыльями, в которых таилась райская лазурь, подобная той, что пламенеет на рублёвской Троице, рождает несказанное счастье. Он чувствовал близость сидящей на ветке птицы. Её маленькое дышащее сердце, горячую жизнь среди прохладных снегов. Мимолётность её пребывания на берёзе, драгоценность этих секунд, когда их жизни слились в одну, и он, соединившись с птицей, соединился с божественной тайной, ради которой вышел в заснеженный сад. Пугался, что сойка улетит, их жизни распадутся, и ему не откроется тайна. Всей своей душевной силой, всей молитвенной волей он удерживал птицу на ветке, продлевал их единство. Но птица начинала взлетать, бросалась в пустоту, распахивая на крыле божественную синеву. Лазурь брызнула ему в сердце, наполнила нестерпимой болью исчезающего счастья.

Голос в телефоне был вежлив, холоден:

— Леонид Васильевич, с вами говорит порученец генерал-лейтенанта Строганова. Фёдор Фёдорович просит вас приехать.

— Разве Фёдор Фёдорович забыл, что я в отставке? — Торобов сжимал в кулаке телефон, из которого раздавался голос, и ему захотелось стиснуть кулак, придуть голос, задавить эти отшлифованные, властные звуки.

— Фёдор Фёдорович просит, чтобы вы приехали, — голос был спокойный, гладкий, как хорошо полированная деталь, работающая в отлаженном механизме. В том, в который прежде был встроен Торобов.

— Почему Фёдор Фёдорович обо мне вспомнил?

— Мне не известны намерения руководства. Шофёр приедет за вами через полтора часа.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Приёмная, где Торобов не был несколько лет, преобразилась. Обрела фешенебельный вид, напоминала салон.

Навстречу Торобову поднялся помощник и любезным, бесстрастным голосом безупречного подчинённого произнёс:

— Генерал ждёт вас.

Отворил тяжёлую, из дорогого дерева дверь, пропуская Торобова в кабинет. И вид этого огромного кабинета, знакомого, сохранившего своё старомодное убранство, взволновал Торобова. Словно в этих стенах остановилось великое время, не подверженное порчам и роковым разрушениям. Всё те же смуглые панели, впитавшие дым исчезнувших табаков. Тяжеловесный стол под зелёным сукном, на котором мерцали хрустальные кубы чернильницы и темнели пятна давнишних чернил. Лампа под зелёным абажуром с латунной каймой, в которую были врезаны пятиконечные звёзды. В высоком шкафу с потускневшими стёклами неясно краснели тома с сочинениями основателя государства.

И только на стене висел портрет сегодняшнего президента, а не вождя с вишнёвой трубкой, дым из которой, казалось, сгустился в дальних углах кабинета.

Генерал в сером костюме и галетке с крупным модным узлом поднялся из-за стола и пошёл навстречу Торобову. И пока шёл, Торобов заметил, как за годы, что они не виделись, усохло и осунулось его лицо, лёгкие трещинки окружили глаза, от губ к подбородку стекли две тёмные морщинки, — ручейки близкой старости. Но лицо, как и у Торобова, оставалось смуглым от несмываемого загара пустынь, ударов сухих колючих песчинок.

— Товарищ генерал-лейтенант, полковник Торобов прибыл по вашему приказанию, — полусерьёзно он щёлкнул каблуками.

— Здравствуй, Лёня.

— Здравствуй, Федя.

Они обнялись, и Торобов почувствовал, как дрогнуло в его объятьях сухое тело Строганова, и тот чуть слышно вскрикнул от боли.

— Плечо, не отпускает который год, — виновато произнёс генерал, массируя сухожилие.

— Йеменская контузия? Я думал, она тебя отпустила.

— То легче, то ночами кричу. Клиники, врачи, целебные грязи, массажи. Даже к колдуну обращался. Здесь нашёлся один ливиец, который лечит песком Сахары. В кожаный мешочек сыплет горячий песок и прикладывает к плечу. Говорит, что песок сохраняет силу солнца. И мне, не поверишь, это помогает.

— Поезжай в Сахару и заройся в бархан.

— Я теперь, Лёня, зарылся в такой бархан, из которого, похоже, не вылезу. Садись.

Они сидели на тяжеловесных стульях с высокими дубовыми спинками, на которых были вырезаны гербы исчезнувшего государства.

— Зачем меня вызвал? Я от всего отошёл. Всё забыл. Ничего не хочу знать. Вчера читал Пушкина, “Сказку о золотом петушке”.

— А о чём сказка-то, Лёня? Куда петушок ни глянет, везде враждебная рать. Труба зовёт.

— Меня не зовёт. Руководству было угодно отправить меня в отставку. Ушёл, и дело с концом.

— Не в отставку, Лёня, а в действующий резерв. И то же самое руководство поручило мне вызвать тебя.

— В чём дело?

Строганов молчал, морщил рот, словно ждал, когда созреет на губах нужное слово. На стене жалюзи занавешивали карту Ближнего Востока, и Торобов сквозь тонкие пластины жалюзи видел лоскутную пестроту стран, каждая из которых рождала в нём зрелища городов, оливковых рощ, розовых и синих предгорий. В горячем тумане залива двигались танкеры, клубились рынки, бесновались толпы, сверкали зелёные изразцы минаретов, и он, в белой долгополой рубахе, шаркая сандалиями, шёл среди богомольцев, и истошно и пламенно звучал из лазури крик муэдзина.

— Ты, наверное, знаешь, как нелегко принималось решение бомбить ИГИЛ в Сирии. Разведка предупреждала президента, что в ответ последуют террористические акты в Москве, на Кавказе, в Поволжье. Армия и дипломаты настояли на проведении операции, и президент согласился. Спустя несколько дней, ты знаешь, после первых ударов по Алеппо и Хомсу, взорвался наш самолёт над Синаям. Двести тридцать пассажиров были первой платой, которую мы заплатили за начало боевых действий. Это был страшный удар по репутации президента. Я видел его на Совете Безопасности, он был чёрный, его лицо ходило ходуном. Он сделал открытое телевизионное заявление, где обещал уничтожить террористов, виновных в гибели самолёта. На закрытом совещании он приказал любой ценой найти террористов и истребить их, где бы те ни находились. Как это было в своё время с чеченцами, укрывшимися в Катаре. Тогда это была его личная месть. Теперь он хочет выложить перед народом фотографию с убитым главарём, совершившим подрыв самолёта. Мы знаем характер президента. Мсть должна состояться. Либо руководство в ближайшее время справится с этим, либо полетят все наши генеральские головы. На выявление главаря брошена вся наша агентура на Ближнем Востоке, задействованы все наши связи.

— Вы что-нибудь узнали?

— Террористическая группа не имеет постоянной дислокации. Носит кочующий характер. Её возглавляет бывший майор иракской разведки, который при Саддаме Хусейне ведал закусками вооружений. После падения Саддама сидел в американской тюрьме, был использован ими для создания боевых суннитских групп в борьбе с проиранскими шиитами. Потом ушёл в ИГИЛ.

— Я работал в Багдаде с офицерами иракской разведки, которые занимались поставками вооружений.

— Поэтому я тебя и вызвал, — Строганов потянулся к тоненькой папке, лежащей на зелёном сукне. Извлёк фотографию и положил перед Торобовым. — Майор Фарук Низар, каким он был во время твоей командировки в Багдад.

Красивое продолговатое лицо с влажными выпуклыми глазами. Мягкие губы с чуть заметной улыбкой. Пушистые брови. Молодцеватые офицерские усики. То особенное арабское выражение мужественной романтичности и мягкой застенчивости. Это был он, Фарук Низар, с кем они сидели на берегу Тигра в рыбной харчевне, золотая рыбина, разрезанная и раскрытая, как книга, испекалась на углях. Воздух был золотой и синий, в тончайших волокнах предательства, которое витало над Багдадом, над садами, дворцами, мечетями, и солдаты клали на перекрёстке мешки с песком, оставляя амбразуру для пулемёта.

— Я знаю его. Мы были даже приятелями. Однажды я посетил его дом. У него была милая жена и маленький сын. Неужели он теперь в ИГИЛ? Если хочешь, я могу припомнить подробности нашего общения. Могу попытаться сделать его психологический портрет.

— Этого не нужно. Лёня.

— А что же нужно? Зачем ты меня позвал?

Строганов молчал. Морщился его рот. Дрожали у глаз лучистые трещинки. У самолёта медленно отламывался хвост, и люди сыпались, как семена из головки мака. Девочка вцепилась в мать, ветер рвал на обеих юбки, и казалось, они танцуют. Младенец летел рядом с люлькой, как крохотная личинка, выставив руки с растопыренными тонкими пальчиками. Старик нырял с развеянной бородой и огромным лбом, на котором держались очки. Юноша с выпученными от давления глазами парил, расставив руки, и вокруг него обмотался газетный лист. Все они летели, осыпались, ударялись о землю, превращались в мокрые кляксы. И горели среди колочек листы алюминия.

— Зачем ты вызвал меня?

— Руководство считает, что только ты можешь отыскать Фарука Низара и его уничтожить. Тем самым выполнить приказ президента. На тебя будет работать вся агентура. Посольства обеспечат тебя деньгами, паспортами, каналами связи. Но лучше бы ты всем этим не пользовался. По непроверенным данным, Фарука видели недавно в Брюсселе. Ты летишь в Бельгию.

— Я не могу. Я не молод. Не хочу возвращаться к прежнему.

Торобов слышал гул громадной воронки, в которой вращались изувеченные страны и обугленные города, регулярные армии и повстанческие отряды. Турецкая артиллерия била по сирийским горам, громя позиции курдов. Курды взрывали в Стамбуле рестораны и рынки. Растерзанная Ливия походила на тушу с окровавленными костями. Ирак дымился руинами Мосула, озарялся факелами взорванный нефтепроводов. Ливан посылал отряды Хезболлы под Алеппо, получал назад завёрнутые в саваны трупы. Русская авиация взлетала из Латакии, взрывала ИГИЛ, и отряды Джабхат-ан-Нусра жгли христианские храмы. Агенты спецслужб сновали по воюющим странам, проводя караваны с оружием, устраняя неудобных правителей.

— Это приказ, полковник.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вечером Торобов встречался с профессором Иерусалимского университета Шимоном Брауде. Их свидание проходило в Еврейском культурном центре, где чествовали кумира российских евреев, юмориста, чьи безобидные шуточки смешили, печалили, наставляли и предостерегали евреев. Еврейские писатели, коммерсанты, учёные были странно чувствительны к этим забавным афоризмам и притчам, воспринимали юморески, как священные тексты. Торобову было непонятно это обожание, он не находил шуточки смешными.

ми, но объяснял это дефектом своего восприятия, в котором отсутствовало какое-то важное звено.

Они сидели с Шимоном Брауде в кафе, за стеклянной стеной, сквозь которую был виден входящий в вестибюль люд. Это была еврейская элита Москвы. Блистали туалеты, причёски, лица, исполненные веселья, величия или пресыщенного самодовольства.

Шимон Брауде имел продолговатую голову, на которой красовалась бархатная кша, как чашечка жёлудя. Он был худ, в чопорном пиджаке, с прямым, как у дятла, носом и белыми холёными руками, на которых переливался бриллиант. Выходец из России, он прежде служил в израильской разведке Натив, которая агитировала русских евреев иммигрировать в Израиль. Занимался археологией хазарских древностей. Написал диссертацию о “еврейском факторе” в Русской революции. А теперь курсировал между Москвой и Иерусалимом, искусно продвигая через еврейские круги политические интересы Израиля.

— Сейчас, Леонид, когда русские самолёты бомбят “исламское государство”, вы поняли, что террористы “Хамас” и “Хезболлы” мало чем отличаются от террористов ИГИЛ? Ваши пристрастия к фундаменталистам дорого обойдутся России.

— Любезный Шимон, “Хамас” открыто осудил ИГИЛ, а отряды “Хезболлы” сражаются под Алеппо и Хомсом вместе с армией Асада.

— В любом случае, у нас с Россией обнаружилось на Ближнем Востоке общее дело.

— Один из влиятельных еврейских журналистов в Москве написал, что в этой войне не должна пролиться ни одна капля еврейской крови и ни одна капля еврейского бензина. Израиль будет делать еврейское дело русскими руками.

— Всё это полемический задор, Леонид. Не более. Израильские беспилотники определяют цели для ваших бомбардировщиков. Израиль, как может, содействует вашему сближению с Америкой.

— Мы это знаем, Шимон. Мы благодарны.

Торобов сквозь стеклянную стену видел, как мимо шёл редактор крупнейшей радиостанции, которая мощно влияла на общественное сознание. Гениальный творец, он собрал на своём радио самых ярких и творческих представителей еврейской интеллигенции. Они являлись законодателями моды в политике, экономике и культуре. Создавали и разрушали репутации. Рождали интеллектуальные течения. Сложно лавировали в хитросплетениях кремлёвских групп. Радиостанция была не просто средством массовой информации, но блестяще организованной партией, собирая в сгусток энергии еврейского интеллекта и вбрасывая этот расплавленный сгусток во все области русской жизни.

— Ближний Восток, Леонид, — это родина пророков. Отсюда истекли три великие мировые религии. Здесь началась мировая история, здесь она и закончится. Кто контролирует Ближний Восток, тот контролирует историю. Христиане и евреи не должны допустить, чтобы Ближний Восток контролировался исламом. Израиль этому препятствует и несёт великие жертвы. Израиль действует на Ближнем Востоке, в том числе, и в интересах России.

— Мы знаем этот довод, Шимон. Но поверьте, Россия сама способна защищать свои интересы.

Мимо стеклянной стены двигался дирижёр изысканного струнного оркестра, мировая знаменитость, чьи виртуозы выступали во всех концертных залах мира. Его оркестр, играя европейскую классику, вносил в неё неуловимую печаль и сладостную меланхолию. Громоподобные, прилетающие с небес звуки покрывались едва заметной пылью, которая укрощала эти музыкальные бури, делала их безопасными, переносила из Космоса в салоны. Даже Вагнер, с его великолепной разрушительной мощью, смирялся, становился ручным, что позволяло играть его в концертных залах Иерусалима и Тель-Авива.

— Вы знаете мои воззрения, Леонид. Евреи и русские — два мессианских народа. Оба верят в чудо преображения. Оба верят в духовную силу, преоб-

ражающую падший мир. И падший мир мстит евреям и русским за эту веру, за ту укоризну, которая исходит от евреев и русских этому греховному миру. И вас, и нас гонят, убивают, подвергают преследованиям. Среди евреев и русских больше всего мучеников за правду. Это нас роднит. Нам нужно объединиться и вместе спасти человечество.

— Как вы это видите, Шимон?

— У нас, евреев — “Обетованная Земля”. У вас — “Святая Русь”. Но ведь это одно и то же! Это рай, в котором мы встретимся! И к этой встрече мы должны стремиться уже теперь. Мы должны забыть все разногласия, все исторические недоразумения и ошибки. И объявить духовный, метафизический союз евреев и русских. И мы будем непобедимы. Наша духовная встреча состоится в Иерусалиме, на святой земле. Или в Новом Иерусалиме, под Москвой. И это не важно. Ведь “Обетованная земля” — это “Святая Русь”. А “Святая Русь” — это “Обетованная земля”.

— В Брюсселе, Шимон, в аппарате НАТО, работает ваш друг Джереми Апфельбаум. Он специалист по “исламскому терроризму”. Я отправляюсь в Брюссель. Посоветуйте меня ему. Мне нужна его консультация.

— Это связано со взрывом вашего самолёта над Синаем? У вас задание, Леонид?

— Вы же знаете, Шимон, я давно не у дел. Меня интересуют беженцы с Ближнего Востока. Как это подтверждает или опровергает теорию о “войне цивилизаций”.

— У Джереми Апфельбаума картотека террористических организаций от Индонезии до Нового Орлеана. Одна из лучших.

В вестибюле культурного центра появлялись всё новые посетители.

Появился вице-премьер, моложавый, узкоплечий, с тонкими длинными руками, которые то и дело протягивал для рукопожатий. Шёл, раздаривая улыбки, никому и всем сразу. Он был противником чрезмерных военных расходов, настаивал на сближении с Западом и имел под Лондоном средневековый замок.

Прошествовали четыре хасида, одинаковые, одного роста, в чёрных сюртуках, чёрных шляпах, с чёрными бородами. Шли целеустремленно, как небольшой боевой отряд, не смешиваясь с пёстрой толпой.

— Я позвоню Джереми Апфельбауму. Вы встретитесь с ним в Брюсселе.

В вестибюле поднялся радостный ропот. Все устремились ко входу, выстраиваясь двумя шпалерами, оставляя в середине пустое пространство. И в этой пустоте, как по невидимому ковру, шагал маленький круглый человек со смешливым лицом, короткими руками, озорными глазами. Позволял себя обожать, славить, принимал ритуальные почести. Словно в этом маленьком толстом тельце спрятался могучий властелин, грозный повелитель, полководец несметного войска.

— Я вам сердечно признателен, Шимон. Надеюсь снова увидеться.

В тот же вечер Торобов отбывал в Брюссель. По старой традиции, напоминавшей религиозный обряд, он на пути в аэропорт проехал по Кремлёвской набережной, восхитившись на мгновение озарённым Василием Блаженным. Храм возник, как волшебное соцветие, из которого во все стороны брызнули радуги, лучи, многоцветные искры.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Торобов остановился в Брюсселе, в отеле “Рояль Виндзор”, на рю Дукес. В холле в мягких креслах они сидели с Джереми Апфельбаумом, и слугитель-араб в малиновом сюртуке с золотыми галунами разливал чай по маленьким фарфоровым чашечкам.

— Я читал вашу работу с критикой Хантингтона, — произнёс Апфельбаум, колыхнув зыбким зобом. — Согласен, что “война цивилизаций” — это условность, которая удобна для классификации явлений, но на неё не может опираться практическая политика государств.

— Как и парадоксальное утверждение Фукуямы о “конце истории”. История замерла на одно мгновение, а потом ринулась дальше. Фукуяма уловил эту моментальную остановку, — произнёс Торобов. — Но эти волны африканских беженцев — они вторгаются в Европу и производят в ней необратимые изменения. Разве это не повод развернуть борьбу за “европейские ценности”?

— До того, как поступить на службу в НАТО, я работал в отделении “Рэнд Корпорэйшн” в Катаре, а потом преподавал в университете в Беркли. Читал курс под экстравагантным названием: “Принципы управления историческими процессами”. Иногда это называют “Теорией управляемого хаоса”. Я предложил мои модели Госдепартаменту, Совету по национальной безопасности и Объединённому комитету штабов. Мои модели применили на практике, и они себя оправдали.

— Вы хотите сказать, что наплыв арабских беженцев в Европу — это сконструированное явление?

— Я хочу сказать другое. Я называю это “эффектом квашни”. Исламский мир переживает грандиозный подъём. Он взбухает, как тесто в мировой квашне. Он должен достичь невиданного могущества. И это могущество будет опрокинуто нам на головы. Будет возмездие за долгие века оскорблений и попраний. Запад готовится к этой схватке, и я дал Западу рецепты победы. Я знаю, как удержать тесто в пределах квашни.

Джереми Аpfельбаум колыхал зобом, и Торобову казалось, что розовая медуза прилипла к его подбородку.

— Прежде чем исламский мир накопит в себе энергию для решающего наступления для последней битвы Халифата с гибнущим Западом, мы должны ослабить этот удар. Должны проткнуть тесто в квашне, чтобы оно осело. В этих дырах, в этих проколах исламский мир израсходует свою энергию впустую. Тесто осядет, и мы окажемся в безопасности.

— Как вы будете протыкать тесто?

— Наша цель — создавать в недрах исламского мира неутихающие конфликты, чтобы в этих конфликтах сгорела энергия возрождения, израсходовалась неукротимая мощь. Именно этим, господин Торобов, занимается НАТО, а не мнимым противодействием России. Мы рассматриваем русских как стратегических партнёров, протыкающих вместе с нами тесто в квашне. Мы уничтожили государство Ливии и Ирака, сконцентрированная в них энергия ушла в пустоту и продолжает догорать в топке гражданских войн. Мы нанесли удар по Сирии, и чем бы ни кончилась борьба с Башаром Асадом, Сирии уже никогда не собраться в сильное государство, доминирующее на Ближнем Востоке. Мы покончили с “братьями мусульманами”, самой мощной и перспективной силой исламского возрождения. Сначала заманили их во власть, а потом позволили египетской армии их уничтожить. Мы развязали войну между шиитами и суннитами, и они будут весь век воевать, истощая друг друга. Им будет не до Запада, не до нас с вами, и эта война внутри исламского мира опровергает теорию Хантингтона о “войне цивилизаций”.

— Но ведь вы взорвали в Северной Африке сразу несколько “демографических бомб”. Взрывная волна из миллионов беженцев хлынула в Европу. Старая Европа ответит на это созданием фашистских государств, а в хаосе ближневосточных конфликтов будут возникать одно за другим террористические движения.

— Это побочные эффекты. Сейчас мы убираем мусор произведённых разрушений. Наши и ваши бомбардировщики, добывающие “исламское государство”, — это мусорщики, подбирающие сор.

Торобов почувствовал, что разговор достиг той заветной точки, когда можно отринуть все сложные предварительные построения и коснуться главного, ради чего он явился в Брюссель.

— Кстати, о мусоре, который мы подбираем. Шимон Брауде сказал, что вы располагаете уникальной картотекой, в которой, как в таблице Менделеева, сведены воедино террористические организации от Пакистана до Франции. Что вы знаете о Фаруке Низаре, бывшем майоре иракской военной

разведки, который причастен к взрыву русского лайнера над Синаем? Его видели недавно в Брюсселе. Вам что-нибудь известно об этом?

Торобов извлёк из кармана фотографию офицера с молодцеватыми усиками, в мундире, с кокардой на цветастой фуражке. Протянул Апфельбауму. Тот взял, минуту рассматривал. Вернул Торобову.

— Шимон говорил мне о ваших специфических интересах. Рад был познакомиться. Мне пора. Меня ждёт работа, — Джереми Апфельбаум поднялся, кольхнув зобом, и пошёл к выходу, переваливаясь, как пингвин. Торобов разочарованно смотрел ему вслед. Апфельбаум дошёл до стеклянных дверей, уловивших в свои прозрачные лопасти господина в длинном пальто и шляпе. Вернулся обратно.

— Возможно, я ошибаюсь. Но этот Фарук возглавляет организацию “Сельф-эль-Расул” — “Меч пророка”. Она действует по всему Ближнему Востоку под видом торговцев древностями. Он появлялся в Брюсселе в их торговом представительстве и скоро пропал. Это в квартале Моленбек, кажется, там.

Апфельбаум повернулся и пошёл, исчез в стеклянной карусели дверей, за которыми в дожде переливался Брюссель.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Брюссель, зимний, дождливый, отливал чёрным металлическим блеском, каким отливает железный метеорит.

Квартал Моленбек был полон запахов восточных сладостей, жаровен, туалетной воды, пряностей. Так пахнут улицы в старом Багдаде или Дамаске. По тротуарам двигалась смуглая толпа, женщины в хиджабах напоминали круглоголовых птиц, мужчины то и дело перебежали улицу перед радиаторами автомобилей, и водители раздражённо сигналили. Отовсюду звучала восточная музыка, женский голос витиеватый, как арабская вязь, пел о безответной любви, о безутешной невесте, потерявшей своего жениха. Мальчишки запускали в небо сверкающих пластмассовых птиц, и те падали на крыши автомобилей, а мальчишки с криками бежали вдогонку.

Торобов шёл в толпе, иногда его задевала развеянная накидка, обжигал из-под хиджаба чёрный огненный взгляд. Витрины маленьких магазинчиков были украшены мигающими гирляндами. В одних витринах, окружённые огоньками, лежали сладости, халва, пирожные с марципанами. В других витринах, похожие на лебедей, стояли кальяны. В третьих были вывешены образцы арабской одежды, мужской и женской. Тут же к прохожим цеплялись назойливые зазывалы, тащили в харчевни, где кормили свежей морской рыбой. В глиняных, врытых в землю печах пекли лепёшки, здесь же и продавали их. Покупатели, обжигаясь, хватали лепёшки и, не отходя от пекарен, поедали.

Район Моленбек казался куском восточного торта, который на перламутровой лопатке перенесли с одного фарфорового блюда на другое. Из ближневосточной Азии в центр Европы.

Торобов читал вывески, большинство на арабском. Начальная школа — зелёный щит с красной вязью. Аптека — зелёный полумесяц. Благотворительное общество — зелёный флаг с цитатой из священного текста.

Он искал магазин, торгующий предметами древности, и, наконец, нашёл его среди других затейливых вывесок. В витрине красовался верблюд из папье-маше, окружённый мерцающими светлячками. Были разложены какие-то бусы, черепки, обломок амфоры, осколок мраморной капители. Торобов вошёл, услышав над головой звон бубенца.

— Салам алейкум! — громко произнёс он. На его приветствие появился смуглолицый араб с седыми волнистыми волосами, в изысканном костюме, белых манжетах, с осанкой, какая бывает у аристократических профессоров Гарварда или у метрдотелей элитных ресторанов.

— Алейкум салам, — араб сдержанно улыбнулся, внимательный к гостю, не обнаруживая радости. И эта едва заметная отчуждённость заставила

подумать Торобова, что коммерция, быть может, не главное для хозяина дело. — Что вам угодно, месье?

— Меня интересуют артефакты, которые, в силу известных обстоятельств, покидают свои традиционные места в арабских музеях. Переносятся в Европу, где их могут приобрести европейские музеи и коллекционеры.

— У нас не слишком великий выбор, месье. В основном, это этнография бедуинских племён, египетская керамика, мрамор, привезённый из античных поселений Ливии.

— Мы знаем, что в результате военных действий из Пальмиры, Вавилона, Сабраты в Европу попадают статуи, капители, фрагменты римских надгробий. И их можно приобрести в вашей торговой фирме.

— Сильное преувеличение, месье. Это весьма небезопасное дело. Таможня, полиция, законы о сохранности музейных ценностей — всё это ограничивает торговлю, — араб внимательно смотрел на Торобова, ожидая, как тот откликнется на этот вежливый отказ. Повернётся и уйдёт или продолжит настаивать.

— Я профессор Майкл Фарб, сотрудник Британского музея. В мою задачу входит приобретение для музея подобных артефактов. — Торобов подал арабу визитную карточку, подтверждающую его научный статус.

— Прощу вас. — Араб протянул Торобову свою визитку, в которой на арабском и английском указывалось, что её владелец — коммерсант Нур Азис. — Иногда к нам попадают ценности, в основном из Ливии. Но очень редко и третьего сорта. Нужен гарантированный и достойный клиент. Тогда мы можем сделать заказ нашим партнёрам в Ливии, и они подберут интересующую клиента вещь. И тогда начнётся сложная процедура доставки и оформления покупки.

Нур Азис умолк, отстранённо улыбаясь. Но Торобов чувствовал, что дистанция между ними уменьшилась, и продолжал её уменьшать.

— Я вам не всё сказал, уважаемый доктор Нур. Я представляю не только государственный Британский музей, но и частную компанию, которая продаёт дорогую недвижимость, в основном, русским. Очень богатые русские строят себе виллы и замки где-нибудь в Альпах или на Лазурном берегу. Им хочется иметь у себя артефакты, связывающие их современные дворцы с древними культурами. Они готовы платить за это огромные деньги.

— Прощу вас, садитесь, месье Фарб, — пригласил Нур Азис. Торобов почувствовал, что преодолён ещё один отрезок, их разделяющий.

— Мне говорили, что у вас можно приобрести артефакты из Сирии. Там идут бои, и страдают античные постройки. Вы своей коммерческой деятельностью спасаете от исчезновения драгоценные свидетельства древности. За это вас не преследовать надо, а кланяться до земли.

— К сожалению, не все так считают, — скромно потупился Нур Азис. — Однако я должен вас огорчить. С Сирией мы не работаем. Главным образом, с Ливией. Там есть наш представитель.

— А что вы можете предложить?

— Сейчас, увы, ничего. Но если сделать заказ, можно, например, получить рисунки из пещер в Сахаре.

— Как, знаменитые наскальные рисунки в Тадарт-Акакус? Но ведь они нанесены на каменный монолит!

Торобов вспомнил своё посещение пещер на границе раскалённой пустыни, когда, ослеплённый жгучим солнцем, ты входишь в прохладные гроты, и на скальной породе неяркими красками из растёртых разноцветных камней нарисованы сцены охоты, бегущие стада жирафов, картины первобытной жизни, в которой уже существовали все сюжеты более поздних времён. Женщина держит на поводке собачку, словно иллюстрация к Чехову. Два старика, мужчина и женщина, любовно поддерживают друг друга — “Старосветские помещики” Гоголя. Всё это вспомнил Торобов, слушая арабского коммерсанта.

— Но как эти рисунки можно привезти из Сахары? Должно быть, копии, а не подлинники?

— Есть особая технология снятия рисунков с камня. Ткань, пропитанную особым раствором, прикладывают к рисунку. Обрабатывают раскалённым паром. Рисунок переходит на ткань. Ткань сворачивают в рулон и везут в Европу. И на стене какого-нибудь русского миллиардера появляется рисунок неолита, изображающий охоту на гишпопотамов.

— Поразительно, доктор Нур!

Торобов вдруг остро почувствовал связь между этим чинным арабом и Фаруком Низаром, чей след незрим, как след змеи на камне.

— Но как я могу сделать заказ на такой рисунок? — Торобов одолел волнение, боясь, что Нур Азис угадает его смятение.

— Боюсь, что сейчас это невозможно, месье Фарб. Мне нужно согласовать этот вопрос с руководителем фирмы.

— Ваш руководитель, я слышал, Фарук Низар? Разрешите мне выйти на него непосредственно, и я предложу ему цену, от которой он не откажется.

— Как вы сказали, месье? Фарук Низар? Я такого не знаю. У нашей фирмы совсем другой собственник.

Зрочки араба чуть заметно дрогнули, словно бесшумно щёлкнул запор, и между ними возникла стена, непроницаемая, как стальная дверь. Но кое-что не успело скрыться за этой непробиваемой сталью. Как лоскут защемлённого платка. Эта была Ливия. Там, в разорванной революцией стране, где грохотали пулеметы и носились дикие отряды повстанцев среди разграбленных римских поселений, на берегу лазурного моря находился Фарук Низар. Его чёрная голова и чёрные сутулые плечи, пробитые попаданиями.

— Благодарю вас, доктор Нур. Вы позволите мне навестить вас ещё раз?

— Буду рад, месье Фарб. — Араб, изысканно кланяясь, провожал его до дверей, звякнувших бубенцом. Выпустил на улицу, где звенела арабская музыка, пахло жареной рыбой, и проходящая женщина в хиджабе бросила на него огненный взгляд.

Он шёл, обдумывая результаты визита. Араб в кожаной куртке и красном шарфе следовал за ним на небольшом расстоянии. Замирал, если Торобов останавливался. Отворачивался и рассматривал витрины, если Торобов поворачивал голову. Второй наблюдатель, тоже араб, в пальто и синей вязаной шапочке, держался в стороне от первого, не отставал от Торобова. Это была слежка, наружное наблюдение.

Торобов, не слишком взволнованный, решил оторваться. Перешёл на противоположную сторону, нырнул за угол и ждал, когда оба, в красном шарфе и синей шапочке, торопливо пройдут мимо. Вышел из-за угла и зашагал в противоположную сторону. Но скоро заметил за спиной красный шарф и синюю шапочку.

Проходил мимо рыбного ресторана, у которого назойливый зазывала схватил его за рукав:

— Месье, самая вкусная рыба! Поймана утром!

Вошёл в ресторан. Двинулся мимо столиков, за которыми ели рыбу, хрустели креветками, лакомились мидиями. В дальнем углу дверь вела на кухню, из которой выскакивали официанты с подносами. Нырнул на кухню, на сковородках жарилась рыба, бурлили в кипятке мидии, на доске повар мокрым ножом вскрывал брюхо серебряному сибасу. Увидел чёрный ход и выскользнул на дождливую улицу.

Преследователей не было. Он некоторое время шагал, окружённый многолюдьем. Но скоро за спиной обнаружился красный шарф, а на противоположной стороне — синяя шапочка.

Его преследовали опытные наблюдатели. Ему померещились в их руках рации. Слежку могли организовать люди доктора Нура. Или бельгийская полиция. Или сотрудники Джереми Аффельбаума, на всякий случай. Было впечатление, что преследователи не слишком маскировались, иначе не были бы одеты в столь приметные красный шарф и синюю шапочку. Это была “тревожащая слежка”. Ему давали понять, что его визит в Брюссель не остался незамеченным.

Он взмахнул рукой, останавливая такси:

— Куда желает месье?

— В центр. На Гран Пляс, — Торобов оглянулся на ускользящую улицу, где в морозящем тумане исчезли преследователи.

На центральной площади брусчатка маслянисто блестела, словно её помазали чёрной икрой. Здание ратуши своей хрупкой готикой, ломкими очертаниями напоминало вафлю. Столь же хрупкой выглядит окаменелая раковина, из которой исчез моллюск. Площадь была отпечатком неповторимой, канувшей жизни, и своей незащитной красотой вызывала страдание. На площади стайками стояли туристы, и экскурсоводы заученными голосами пересказывали содержание хрестоматий.

— Теперь посмотрим налево, на дома, что напротив ратуши. Каждый из этих домов неповторимо красив и носит своё имя. Дом “Пекарь”. Дом “Лебедь”. Дом “Оловянный горшок”. И далее — “Ветряная мельница”, “Золотая шляпка”, “Павлин”, “Медведь”. И вон те розовые и зелёные — “Осёл”, “Дуб”, “Лисёнок”. Как вы думаете, почему дома получили такие названия?

Торобов, не дожидаясь ответа прилежно внимавших туристов из Восточной Европы, покинул площадь.

Поколесил по окрестным улочкам, битком набитым лотками и лавками с бесчисленными сувенирами. Вышел к “Писающему мальчику”, перед которым толпились гогоучие туристы, норовя почерпнуть извергаемую мальчиком струю и омыть ею лицо. И вновь заметил красный шарф и арабское лицо под синей шапочкой.

Его охватило острое чувство опасности. Город был пронизан незримыми волокнами, уловлен в невидимые сети. По телефонам, по рациям весть о Торобове передавалась из улицы в улицу, из квартала в квартал. Брюссель со своей ратушей, супермаркетами, с Европарламентом и штаб-квартирой НАТО был оккупирован. На него надели “пояс шахида”, который превратит его в зловонный взрыв.

Им овладела паника. Он должен был вырваться из этого плена, исчезнуть из города, пронизанного проводками взрывателей, спастись от взрыва.

Он снова поймал такси.

— Куда угодно?

— К вокзалу!

— К Северному?

— Ну, конечно!

Быстро смеркалось. Размыто горели рекламы. Встречные фары выплёскивали кувшины водяного света. Торобов торопился к вокзалу, чтобы попасть в электричку и покинуть город до того, как тот превратится в грохот и пламя.

Очнулся, одолев приступ паники, который с ним случался и прежде. В Бейруте, когда израильские бомбардировщики громили район “Хезболлы”. В окрестностях Каира, когда вдруг подул из пустыни колючий ветерок смерти. В Багдаде, когда на город легла сусальная позолота предательства. Он был подвержен этим предчувствиям, которые, быть может, сберегали ему жизнь.

— Остановите, — приказал он шофёру. Расплатился и вышел.

Улица, на которой он оказался, была узкой, без машин. По обе стороны стояли невысокие дома, тесно, стена к стене. На некоторых горели красные, как рубины, фонари. Нижние окна домов являли собой витрины, и в них, озарённые таинственным светом, фиолетовым, розовым, изумрудным, сидели женщины, как разноцветные рыбы в аквариуме.

Торобов шёл вдоль окон, вдыхая запах дешёвых духов, табака и едва различимого, сладковатого тления. И вдруг снова увидел красный шарф. Араб издали ему улыбался, словно радовался встрече. Торобов, скрываясь от этой ухмылки, шархнулся в сторону, где сияла химической синевой витрина с целлулоидной красавицей. Толкнул дверь.

Женщина поднялась навстречу. Звякнула замком, уронила штору. Стояла перед ним, большая, в голубых лучах, пахнущая туалетной водой. Улыбалась сиреневыми губами, поправляла бирюзовые волосы.

Он положил на край широкого топчана сто евро, и она легко смахнула их, протянула руку, расстегивая на нём пальто.

— Подожди, — сказал он. — Садись.

Она сбросила лёгкий халатик, из-под которого колыхнулись большие груди и выпуклый живот. Села на топчан.

Торобов подошёл к дверям и прислушался. Снаружи ровно шумела улица, слышался смех.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Астор.

— Здесь есть другой выход?

— Там, — она махнула рукой на занавеску.

— Проводи.

Шлёпая босыми ногами, она пустила его в коридор, куда выходили двери из других комнатшек, и стояли какие-то вёдра и щётки. Он вышел на улицу и поймал такси.

В гостиничном номере встал под горячий душ и ждал, когда шелестящая вода смывает запах дешёвых духов, табачной горечи и сладковатого тления.

Включил телевизор. На экране выла сирена, мигали санитарные машины, санитары несли окровавленные носилки, беспомощно металась полицейские с автоматами. В Триполи, у полицейского участка, произошёл террористический акт.

Торобов ещё раз, по фразам, вспомнил свой разговор с коммерсантом. След Фарука Низара вёл в Ливию. Так бабочка оставляет за собой незримую трассу, состоящую из мельчайших капель. И там, куда опускается бабочка, гремит взрыв, и лежат растерзанные фугасом тела.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В Триполи Торобов поселился в отеле “Аль Махари”, когда-то роскошном и фешенебельном. Там останавливались нефтяные магнаты, торговцы оборудованием, европейские дипломаты и арабские шейхи. В те годы над входом, украшенный зелёной мозаикой, красовался портрет Каддафи в полковничьей форме, с пышной кокардой. Теперь же отель потускнел, утратил лоск, обезлюдел. Там, где раньше висел портрет, оставалось грязное пятно от битой мозаики. Прислуга щеголяла всё в тех же зелёных сюртуках, отороченных серебром, но опытный глаз мог заметить едва различимую штопку.

Триполи оставался звонким, людным, пёстрым городом, в котором были почти незаметны следы войны. Лишь несколько правительственных зданий были повреждены крылатыми ракетами и чернели пустыми окнами. По улице, распутивая автомобили, прошла колонна гусеничных броневиков, и пулемётчики, стоя по поясе в люках, водили по сторонам усталыми глазами. У здания полицейского участка, где накануне произошёл взрыв, стояло оцепление автоматчиков, пестрела лента ограждения.

Торобов вспоминал, как когда-то, гуляя по весеннему Триполи, забрёл на рынок и у весёлого белозубого торговца купил серебряный браслет с голубым камнем. Привёз жене, и та радовалась подарку, любясь драгоценным обручем на своём лёгком запястье. После кончины жены браслет перешёл к дочери, та иногда надевала восточное украшение, и вид голубого камня и белого серебра рождал у Торобова сладостную боль.

Тогда он приехал в Триполи с группой военных экспертов, предлагая Каддафи купить у России комплексы радиоэлектронной борьбы. Такие комплексы, установленные в окрестностях Триполи, “ослепляли” самолёты и корабли противника, создавали непроницаемую оборону.

Каддафи отказался от сделки. Сказал, что новые отношения с Западом исключают возможность нападения. Подобная покупка может насторожить и раздосадовать новых друзей, для которых Ливия из врага превратилась в дружественное государство. Каддафи был весел, самодоволен, по его лицу пробегала лёгкая судорога. Он чистил банан, снимая лепестки кожуры, резал плод серебряным ножичком, протягивал белую мякоть гостям. На его длинных пальцах с ухоженными розовыми ногтями красовался затейливый перстень из золотых сплетённых стеблей. Когда через несколько месяцев

Торобов видел на телеэкране окровавленное тело Каддафи, он разглядел его мёртвую руку, растопыренные длинные пальцы с золотым перстнем, который ещё не успели снять убийцы.

Торобов не без труда отыскал на улице Авгис скромное заведение, торгующее антиквариатом. Познакомился с его управляющим, Али Хамидом, полным отёчным ливийцем в очках, сквозь которые смотрели большие печальные глаза, какие бывают у робких ланей и антилоп. Для укрепления знакомства Торобов передал управляющему задаток в тысячу евро, и пригласил поужинать в ресторанчик вблизи площади Ат Таль.

Они угощались мясом по-левантийски, остро наперчённым, с испечёнными овощами, и рыбой бури, пойманной утром в беспокойных морских водах. Запивали острые блюда сладким морсом, сдобренным травами. Курили кальяны, вдыхая сладкие пьянящие дымы.

— В Брюсселе доктор Нур говорил мне о возможности здесь, в Триполи, заключить крупную сделку на похушку петроглифов из пещер в пустыне Сахара, в Тадрарт-Акакус, и фрагментов античной архитектуры из Сабраты. Мы можем начать переговоры, доктор Али?

— Уважаемый господин Фарб, я не уполномочен заключать крупные сделки. Я скромный управляющий. Крупные сделки заключает хозяин нашей компании, действующей в Ливии, Ливане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине. Все средства от подобных сделок собираются в одном месте и идут на поддержку несчастных беженцев из районов военных действий. Вы же знаете о неисчислимых несчастьях, упавших на их головы. — Али Хамид смотрел на Торобова влажными печальными глазами, исполненными сострадания.

— Я это знаю, доктор Али. Я готов встретиться с доктором Фаруком Низаром и провести переговоры. Устройте мне эту встречу.

— Доктор Фарук был недавно в Триполи, всего несколько дней, и уехал в Ливан. Там у компании появились клиенты в окрестностях Баальбека.

— Я буду ждать, когда он вернётся из Ливана.

— Он может вернуться очень скоро. Он не извещает нас о своём приезде. Признаться, когда он был в Триполи, я даже его не видел. Между нами слишком большая дистанция.

— Но вы можете его известить, что Британский музей заинтересован провести неформальные переговоры? Повторяю, речь идёт об очень больших деньгах.

— Не обещаю, господин Фарб. Но вы можете посетить Сабрату и указать фрагменты архитектуры, на которые пал ваш выбор. Мы возьмём их на учёт и при первой возможности осуществим сделку.

Торобов благодарно улыбался. След змеи скользнул по камню и исчез в Ливане, чтобы обнаружить себя взрывом фугаса. Отряды ливанской “Хезболлы” воевали в Сирии против ИГИЛ, и ответом Фарука Низара мог стать взрыв шиитской мечети Бейрута или штаб-квартиры “Хезболлы”.

— Вы очень любезны, доктор Али.

Торобов оглядывал ресторанный зал. Былолюдно, много молодёжи. Всего несколько девушек пришли в хиджабах. Видимо, шариат медленно пускал свои корни в Триполи. Другое дело Бенгази, где исламисты строили своё “исламское государство”. Туда причаливали корабли с боевиками, сгружалось оружие, оттуда велось наступление на Триполи. Молодёжь в ресторане говорила, смеялась, но не громко, вполголоса, словно недавний взрыв оглушил их, и они присмирели, осторожно оглядывались.

— У меня хорошее настроение, доктор Али. Я рад нашему знакомству.

— В прежнее время я мог бы пригласить вас в музей, господин Фарб. Вы бы увидели бесценные экспонаты, рассказывающие о древней культуре Ливии. Но теперь, увы, музей разграблен, и я, который раньше сберегал национальные сокровища, теперь участвую в их разграблении, — печальные глаза Али наполнились слезами. — Когда я ехал на встречу с вами, я видел полицейский участок, где день назад произошёл взрыв. Район всё ещё оцеплен, и мне пришлось петлять по соседним улицам.

— Народ боготворил Каддафи, когда тот сверг короля и объявил нефть собственностью государства. Он посадил в пустыне райские сады, построил

белые города, университеты и научные центры. Дети берберов уже учили высшую математику, когда их отцы всё ещё кочевали по Сахаре на голодных верблюдах. Так продолжалось до тех пор, пока Муаммар не сошёл с ума. Говорят, колдуны заразили его страшной болезнью, когда в человека вселяется зло. Он чувствовал приближение припадков, уезжал в пустыню, подальше от глаз. Жил в шатре, ревел, как зверь. Грыз верблюжьей шерстью, она забивала ему желудок, и его рвало кровью. Из него извергались чёрные жуки. Он стал свирепым и беспощадным. Студенты требовали больше свободы, он арестовывал их и бросал в кислоту. Наши герои заминировали, простите, господин Фарб, они заминировали английский самолёт, и он взорвался над Локерби. Мы считали их лучшими из нас. Но Кадафи, когда стал заикивать перед Западом, отдал их в руки англичан. Он поступил, как предатель. Он думал, что стал другом французов, итальянцев и англичан. Его стали принимать в Риме, Париже и Лондоне. Он принялся сорить деньгами, одаривал нефтедолларами Берлускони и Саркози. Но они сначала целовали его щедрую руку, а потом убили его. Французы выследили его с вертолётки и разбомбили его машину. Когда его вытащили из машины, он визжал, как собака. У него были открытые раны, и те, кто взял его в плен, мочились на эти раны. Его положили на дорогу, и ему на живот наехал тяжёлый грузовик. Из него вылез огромный чёрный жук и убежал в пустыню. И вот теперь я тот, кто я есть. Занимаюсь расхищением драгоценностей, которые охранял всю жизнь. В меня тоже вселился чёрный жук.

Али Хамид плакал, отирал очки несвежим носовым платком. Торобов вдохнул сладкую струю из кальяна.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

“Где будет труп, там соберутся орлы. Где гремят взрывы, там пролегал путь Фарука Низара”. Так думал Торобов, собираясь лететь в Бейрут. Там назревал террористический акт, туда вёл след скользнувшей по камню змеи. “Меч пророка” свистел по всему Ближнему Востоку. Рассёк над Синаем русский лайнер. Пронзил парижское кафе. Сверкнул в Багдаде среди взорванной шиитской мечети. Теперь его остриё приближалось к Бейруту, откуда отряды “Хезболлы” уходили в Сирию, на войну с ИГИЛ.

Торобов был готов лететь в Ливан. Но прежде, чтобы не вызвать подозрений у Али Хамида, решил посетить Сабрату, осмотреть античные руины и сделать мнимый заказ на какой-нибудь мраморный камень.

В стороне от шоссе, у лазурного моря, среди пепельной пустыни высились хрупкие золотистые колонны, пролегалы мощённые плитами улицы, круглился амфитеатр, виднелись постаменты исчезнувших статуй, зарастали мхами надгробья с римскими надписями.

Торобов не старался воскресить излетевшую жизнь. Не звал обратно плывущие по волнам галеоны, шумные торжища и громогласные шествия, театральные действия и курения фирмамов. Он был счастлив оказаться среди теней, самому стать тенью. Отрешиться от своей изнурённой плоти, от горьких воспоминаний, от жестоких предчувствий. Оттолкнуться от золотистого камня и полететь, воздев руки, туда, где в голубых садах гуляют блаженные мудрецы.

Он обрел развалины, фотографировал фрагменты статуй, надписи на плитах, резные листья коринфской капители. Всё это он покажет Али Хамиду, чтобы больше никогда не вспоминать.

Он увидел тёсанный камень, одиноко лежащий среди иссохшей травы. Это был куб со стёртыми гранями, изъеденный ветром, в шелухе лишайников. На нём едва проступал знак, то ли буква, то ли безвестный иероглиф.

Торобов услышал слабый звук, словно скрипнул щебень. Поднял голову и заметил человека, который нырнул за колонну. За ним наблюдали. Торобов поднялся и пошёл туда, где круглился амфитеатр. Заметил другого человека, перебежавшего в развалинах. За Торобовым следили, его окружали.

Он быстро зашагал туда, где на двух уцелевших колоннах держался остаток фронта. Но и там возник человек.

Торобов был в западне. Античный город заманил его в своё дивное логово, но оказался ловушкой. Торобов побежал к берегу моря, которое выплёскивало на мокрый песок стеклянные волны. Увидел, как вдоль берега, с обеих сторон подбегают люди. Шагнув в воду, чувствуя, как холодный стеклянный язык лизнул ноги. Остановился.

К нему подбегали, тыкали в бок пистолетами, хватали за руки, заламывали за спину, защёлкивали наручники. Крутом были дышащие азартные лица, захватившие добычу.

— Что вам надо? Кто вы такие? Я английский профессор! Позвоните в консульство!

Его толкали, выводили из развалин туда, где в низине стояли две машины, и рассказывал человек с автоматом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Его везли не в Триполи, а в противоположную сторону, среди чёрной равнины, по пустому шоссе. Водитель — с тёмной бородкой и в португе. Сидящий под боком охранник — в кожаной курточке с кобурой под мышкой.

Машина затормозила у грязного придорожного строения, рядом с которым стоял танк, направив пушку вдоль трассы. Дорогу перегораживали бетонные бруски. За колючей проволокой расхаживали солдаты. Торобов, скованный наручниками, горько усмехнулся своему перемещению. Из нежного античного поселения с божественными алтарями и капителями его перебрали на армейский блокпост, созданный для ведения гражданской войны.

Его грубо вытащили из машины, втолкнули в грязный коридор, пихнули в спину, и за ним захлопнулась дверь. Он оказался в тесной, с бетонным полом и лысыми стенами, камере. Из узкой щели под потолком лился свет. На полу валялся полосатый матрас с рыжими пятнами. На стене было начертано скверное слово.

Он сидел на матрасе, со скованными руками, чувствуя кислый запах, исходящий от матраса. Останавливал в себе все мысли и чувства, берёг их до той поры, когда они остро понадобятся. Словно впал в спячку. Спал наяву, с открытыми глазами, не видя начертанное на стене безобразное слово.

Дверь растворилась, и солдат в камуфляже приказал:

— Вставай!

Его привели в другую комнату, где стояли стол, длинная скамья, над столом красовалось знамя, чёрно-красно-зелёное, с белым полумесяцем и звездой. Стяг государства, которого вчера ещё не было, и которое сегодня имело рваные окровавленные границы.

За столом сидел офицер в чине капитана, в несвежем мундире, с лысеющей головой и усталым небритым лицом. В глазах его была болезненная желтизна, нос переломлен, а на лбу розовели пятна, оставленные ожогом. На столе лежал отобранный у Торобова айфон, английский паспорт и кипа визитных карточек.

— Садись! — приказал офицер, и солдат толкнул Торобова на скамью.

— Имя?

— Майкл Фарб.

— Я спрашиваю, настоящее имя?

— Майкл Фарб, профессор, научный сотрудник Британского музея в Лондоне.

— Что делал в Сабрате?

— Осматривал античные постройки. Я изучаю античные древности. В моём айфоне снимки, которые я сделал перед тем, как ваши люди меня схватили.

— Говори правду, что делал в Сабрате?

— Мне нечего больше сказать. Я профессор, специалист по античной истории. Спросите доктора Али Хамида, мы с ним вели переговоры.

— Мои люди видели, как ты подавал сигналы катеру. Это был катер с оружием и взрывчаткой. Бандиты из Бенгази хотели высадиться в Сабра-те, чтобы осуществить террористический акт в Триполи.

— Какой катер? Никакого катера не было!

— Говори правду. Я передам тебя в контрразведку, и там из тебя по жилкам вытянут правду.

— Я говорю правду. Я Майкл Фарб, сотрудник Британского музея. Спросите у доктора Али Хамида.

Офицер кивнул солдату, и тот с размаху ударил Торобова по лицу. Торобов отпрянул, страшный удар в живот заставил его согнуться, и он свалился на пол.

— Имя? — кричал офицер, а солдат бил Торобова ногами, в голову, по рёбрам, в живот. Торобову казалось, всё его нутро сотрясается, лопается, взрывается кровью, и кровь готова хлынуть горлом.

— Имя? Зачем подавал сигналы?

— Никаких сигналов! Спросите доктора Али!

Удары прекратились. Он лежал, хлюпая кровью. Слышал, как тяжело дышит над ним солдат. Ждал новых ударов. Но его увели в камеру, сняли наручники. Он лежал на ржавом матрасе в сумрачной камере. Ощупывал рёбра, живот, кости ног. Всё болело.

В камеру вошёл солдат и велел встать. Его посадили в машину, ту, что доставила его на блокпост. В ней находились всё те же двое — водитель с бородкой и охранник в кожаной курточке с кобурой. Машина вильнула между бетонных брусьев и помчалась по трассе. Смеркалось, в стекло дула пыль. Они свернули с шоссе на грунт. Колыхались на выбоинах, а потом по днищу заскребли, зашуршали стебли сухой травы. Машина встала.

— Выходи!

Торобов вышел, переставляя больные ноги.

— Вперёд!

Он медленно шёл, цепляясь за колючки. Отрешённо думал, что сейчас грохнет выстрел, ударит в затылок, и исчезнет чёрная степь, низкие серые тучи, из которых дул ветер, колол песчинками щёки. И он останется лежать в мёртвой степи, на съедение лисам пустыни. Он старался в последние секунды жизни вспомнить что-нибудь драгоценное, последнее, неповторимое, с чем перенесётся в иное бытие. И не мог.

Услышал, как заурчал мотор. Оглянулся. Машина развернулась и, краснея габаритами, укатила.

Торобов, с трудом переступая, пошёл в степь, в её сумрак и ветер, подалее от шоссе, где его снова могли схватить. Ветер дул, и степь начинала свистеть. Мимо пронесло сцепленные травы, похожие на терновый венец. Прокатился, подскакивая, колючий шар, и его умчало в бесконечность. Пролетело что-то белое, летучее. Следом за ним другое. Это были пустые пластиковые мешки. Их становилось всё больше. Сонмы мешков летели, ударяли ему в грудь, прилипали, цеплялись за колючки. Их срывало и несло дальше. Было что-то призрачное, безумное и тоскливое в этих летящих мешках. Тщета и опустошённость, бессмысленность израсходованного бытия. Мешки пронеслись, и теперь летели где-нибудь в поднебесье, как стая целлофановых ангелов.

Начиналась пыльная буря. Бессчётные песчинки ударяли ему в лицо, жалили, жгли, хотели засыпать. Ветер, который дул в пустыне, был вечный, вселенский. Крутил громадное колесо, перемальывал царства, храмы, могильные склепы. В этом ветре мчались частицы разрушенных городов, остатки великих армий, прах манускриптов, пыль разорённых святынь. Этот ветер дул над землёй, сметая с насиженных мест народы, обращал их в бегство, бросал один народ на другой. Он раздувал огонь революций, топил корабли, обрушивал к земле самолёты. Торобов был подхвачен этим вселенским ветром, и его несло вместе с комьями чёрной травы, целлофановыми мешками, облаками ядовитой пыли.

Сквозь свист степи он слышал металлический вой. В коричневом облаке зажглись два огня, как размытые солнца. Огни приближались, окружён-

ные мутными радугами. Возник грузовик. Кузов был полон людей. Над кабиной торчал пулемёт. Развевалось чёрное знамя с белым начертанием “Аллах акбар”. Грузовик, как призрак, прогремел мимо Торобова и исчез, словно его оторвало от земли и унесло в небо.

Торобов испытал помрачение, будто в его побитом теле запоздало разорвался сосуд и залил глаза кровью. Он упал на дорогу.

Очнулся ночью от холода. Его бил колотун. По дороге приближалась машина. Остановилась, едва на него не наехав. Из кабины вышли двое:

— Гляди-ка, человек. Ты живой?

Торобов что-то промычал бессвязно.

— Откуда?

— Заблудился.

— Куда тебе надо?

— В Триполи.

— Подвезём. В кабине нет места. Полезай в кузов.

Они помогли ему перелезть через борт. Кузов был полон овец, которые потеснились и дали место Торобову. Он лёг на доски, слыша, как подсакивает грузовик, и шарахаются овцы. Некоторые легли, прижимаясь к Торобову курчавыми тёплыми боками. Согревали его. Он благодарно, блаженно замер, окружённый короткими бессловесными жизнями.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Торобов был уверен, что Фарук Низар готовит в Ливане взрывы. “Хезболла”, воюя с ИГИЛ, становилась объектом ударов. Как и русский самолёт над Синаем. Как полицейский участок в Триполи. Как шиитская мечеть в Дамаске. Как кошерный магазин в Париже. Удары возмездия в Ливане нанесёт “Меч пророка”. И надо спешить в Бейрут, предупредить друзей “Хезболлы” и обезвредить Фарука.

Он остановился в отеле “Эль Манара”, в центре Бейрута, на улицах которого не утихала ночная жизнь. Катили дорогие машины, работали рестораны, сияла набережная, волновалось море, отражая золотые огни.

Когда он мчался по белоснежному Бейруту, мимо банков, особняков, пальмовых аллей, вдоль зелёного, как малахит, моря, он втискивался в сиденье машины, ожидая, что по стеклам хлестнёт автоматная очередь.

Его привезли в военный центр “Хезболлы”. Высокий бетонный забор, железные раздвижные ворота, камеры слежения. Перед воротами — пост, бетонный дог, бруски, затрудняющие движение машин. Ворота неохотно раздвинулись, пропуская автомобиль, и Торобов оказался перед одноэтажным строением штаба. Над входом развивался флаг “Хезболлы” — жёлтое полотнище с зелёным автоматом Калашникова, влетённым в арабскую вязь: “Партия Аллаха”.

Перед входом его ждал Гассан, сердечный друг, боевой товарищ, при виде которого в душу Торобова пролился свет, и стало светло и чисто.

— Леонид, брат мой!

— Брат мой Гассан!

Они обнялись, прижимаясь щека к щеке. Торобов сквозь военную ткань чувствовал, какое крепкое у Гассана тело, с играющими мускулами. Неутомимое в ходьбе по горам. В перебежках, когда за спиной неподъёмный тюк с боеприпасами, провизией и оружием. Когда лопата прорубает мелкий окоп и звенит, и искрит о камни. Когда у товарища кровью пропитан бинт, и надо его нести, укрываясь от израильских снайперов.

— Слава Аллаху, я снова вижу тебя, Леонид.

— Слава Аллаху, Гассан!

Они выбрали ресторанчик на набережной. За окнами синело море, медленно плыл белый многопалубный корабль, оставляя белёсый след. Им принесли блюда ливанской кухни, много печёных овощей, изделия из острых сыров и кислого молока, суп из бараньей головы.

— А помнишь, брат Леонид, как мы ели в горах чёрствые лепёшки, запивая водой из ручья? — Гассан подкладывал ему на тарелку печёные помидоры и ворохи пряной зелени. — А над нами кружили израильские вертолёты, и я всё думал: ударят, не ударят.

— А помнишь, брат Гассан, как над нами кружила ворона, и я сказал, что это израильский беспилотник, и ты захохотал, и мы смеялись полчаса подряд, не могли остановиться? — Торобов с любовью смотрел на близкое, круглое лицо Гассана, вспоминая, как выглядело это лицо среди зелёных гор и рыжих откосов, по которым пролегали тайные тропы.

— А помнишь, брат Леонид, как мы разгружали первую партию “Корнетов”, и наши наводчики поначалу боялись к ним прикоснуться? — Гассан с наслаждением предавался воспоминаниям, в которых все опасности и напасти были уже позади.

— Ты так и не приехал, Гассан, в Москву. Приезжай, подарю тебе зимнюю шапку.

— Приеду, брат Леонид. Хочу побывать в Сталинграде.

— Почему в Сталинграде?

— Там русские люди бесстрашно умирали за Родину. Они были шахиды. Весь русский народ — это народ-шахид. Мы здесь тоже умираем за Родину.

За окнами струилась синева Средиземного моря. Белоснежно и хрупко сиял Бейрут, волшебный город, как драгоценная чаша, составленная из чудесных мозаик, населённая народами, верованиями, хранителями древних поверий.

Медленно, аккуратно, чтобы не обременять рассказ множеством подробностей, агентурных версий, собственных непроверенных домыслов, Торобов поведал Гассану о террористической группе “Меч пророка”. О Фаруке Низаре, майоре иракской разведки. О взрыве русского самолёта над Синаем. О взрыве полицейского управления в Триполи.

— Сейчас, по некоторым данным, Фарук находится в Ливане. Выдаёт себя за любителя древностей, интересуется Баальбеком. Ты отправляешь бойцов в Сирию воевать с ИГИЛ, а ИГИЛ уже здесь, в Бейруте, у тебя дома. Будет взрыв. Я его жду каждую минуту. В отеле, на улице, в этом ресторане. Фарук Низар — мастер террористических операций. Его нужно обезвредить.

Гассан молчал, думал, водил вокруг круглыми кошачьими глазами. Слово хотел разглядеть террориста в сидящих за соседними столиками посетителях, в официантах, разносящих подносы с блюдами, в старике, закатившем глаза, вдыхающем пьяный дым кальяна.

— Я сообщу нашему подразделению в Баальбек. Завтра утром выезжаем.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В отеле Торобов не мог заснуть. Отражённый в стекле огонёк далёкой рекламы казался мигающим индикатором бомбы.

Торобов думал, как странно в их отношения с Фаруком Низаром вонзился президент. И двести взорванных в небесах пассажиров. И турок Эрдоган, отдавший приказ сбить русский бомбардировщик. И крымские татары, взбаламученные турецкими агентами. И демонстранты в Москве перед турецким посольством. И его, Торобова, родовое преданье, когда его прадед на русско-турецком фронте открыл из горных орудий огонь по турецкой пехоте и получил от Великого князя “Золотое оружие”. И при этом вручении присутствовал маленький цесаревич. И тот екатеринбургский подвал, где был убит цесаревич.

Утром в холле его поджидал Гассан. На двух машинах, в сопровождении агентов безопасности “Хезболлы”, они отправились в Баальбек. Машина летела в перламутровом солнце по голубому шоссе. Чудесные белые виллы поднимались по склону гор. Казались стеклянными сады. Долина Бекаа с её нивами, рощами, белыми селеньями драгоценно сияла сквозь голубую линзу. Вдруг блеснёт вдалеке море. Возникнет и канет, как тень, средневековый рыцарский замок.

Баальбек возник, как туманная мгlistая гора, выступавшая из зелени роц. В горе громоздились уступы, зияли пещеры, возносились чёрные башни, похожие на хоботы громадных слонов.

— Я оповестил наших людей в Баальбеке, — сказал Гассан. — Мы встретимся с директором музея, и ты сможешь задать ему свои вопросы.

Когда Торобов показал доктору Рабаху, директору музея, фотографию Фарука Назира, тот сказал:

— Мне кажется, я видел его недавно. Но он был не в офицерской форме, а в обычной одежде. Выглядел старше. На подбородке шрам, должно быть, ранение. — Директор вернул фотографию. — Он представился владельцем фирмы, которая печатает альбомы с памятниками архитектуры. Он сказал, что его фирма в Каире, и он хотел бы выпустить альбом шедевров Баальбека. Деньги от продажи альбома он хотел бы направить на помощь семьям патриотов, репрессированных военным режимом. Просил позволения начать фотосъёмку. — Директор достал визитку, на которой значилось: “Фарук Назир, издатель. Каир” и номера телефонов. Передал визитку Торобову.

— Уже начались съёмки? — Торобов спрятал визитку.

— Нет, для этого необходимо разрешение министерства культуры. Я направил письмо министру. Пусть делает альбом, а вырученные деньги пойдут на реставрацию.

— Он сейчас в Баальбеке?

— Он сказал, что летит в Каир, встретится с семьями репрессированных. Вернётся через несколько дней. Снял виллу в городе и поселил в ней фотографов. Они готовят аппаратуру. Как только придёт разрешение, фотографы начнут работу. И доктор Фарук придет.

— Вы знаете, где остановились фотографы?

— Да. — Директор открыл ящик стола, достал вторую визитную карточку. Прочитал:

— Район Саддула, вилла номер 12.

— Спасибо, доктор Рабах. Быть может, мне удастся повидаться с доктором Фаруком.

Они простились с директором и вышли к машинам, где их дожидались молчаливые агенты безопасности.

Дом номер 12 не имел ограды, был окружён глянцевыми деревьями, которые расступались, открывая проход к дверям. Над ними висел старомодный бубенец.

— Возьми, это может пригодиться. — Гассан протянул Торобову пистолет, и тот, принимая оружие, почувствовал в ладони его литуую тяжесть.

Гассан подошёл к дверям и позвонил. Торобов видел его руку, нажимающую кнопку звонка, висящий над дверью бубенец. Земля под деревьями была влажной, тёмной. По ней ползла жужелица, и её хитин отливал зеленоватой медью.

Дверь не открывали, Гассан продолжал звонить. Торобов собирался выйти из-под деревьев и подойти. Дверь приоткрылась. Появилось женское лицо, окружённое розовой тканью хиджаба, чёрные брови, яркие чёрные глаза. Гассан раскланялся, прижал руку к сердцу, что-то пояснял. Дверь отворилась шире, и Гассан исчез в доме, мелькнула розовая ткань хиджаба и тёмно-зелёное долгополое платье.

Торобов нервничал. Бутоны, как плотные бусины, были полны красного сока, стискивали в глубине соцветья. Жужелица замерла, вцепилась хрупкими лапками в комочек земли. Торобов сжимал у пояса спрятанный пистолет, порываясь идти к дверям.

Ему показалось, что дрогнул и покачнулся воздух. Оглушительный грохот и треск вышиб дверь, брызнул из окна щепками, осколками, валом дыма. Взрывная волна толкнула Торобова. Из разбитого окна валил дым, из дверей сочилась серая муть.

Он выхватил пистолет, устремился к дому. Сквозь прихожую, где люстра продолжала качаться, по тлеющему ковру ворвался в комнату. Здесь было месиво тряпья, расколотой мебели, блестя под ногами осколки стекла. Две женщины, изуродованные взрывом, в обгорелых одеждах, лежали

у стены. У другой стены лежал Гассан. В дом вбежали бойцы “Хезболлы”, выставив пистолеты. Торобов, задыхаясь от едкого дыма и запаха парного мяса, думал, что взрыв, убивший Гассана, был направлен в него, и Гассан перехватил этот взрыв, перехватил летящую в Торобова смерть, принял её удар на себя.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Каир был всё тот же, каменный, громадный, с желобами улиц, в которых ревели машины, и стояла металлическая мгла.

Торобов остановился в “Фридом отеле”. Каирские телефоны, обозначенные на визитке Фарука Низара, не откликались. Не покидая номер, он весь день потратил на поиски прежних знакомых из числа “братьев мусульман”. Большинство телефонов молчало. Откликнулись двое “братьев”, тех, кто не занимал руководящих постов. И ему стоило большого труда договориться о встрече.

Они встретились ночью в ресторане на берегу Нила. Ресторан был построен в виде старинного корабля, корма которого омывалась рекой. На противоположном берегу, как огромный золотой слиток, сиял небоскрёб. Его отражение струилось в реке. Когда по Нилу проплывала баржа или катер, их чёрный контур врезался в золотое отражение, дробил его, и вся река превращалась в жидкое золото, корма ресторана покачивалась, и начинала сладко плыть голова.

Их обслуживали официанты в одежде матросов. Несколько раз подходил любезный метрдотель, облачённый в мундир морского офицера.

Доктор Ибадат — тихий, щуплый, в очках с золотой оправой, сквозь которые смотрели печальные осторожные глаза с красными ободками. Казалось, эти глаза долго и много плакали и не высохли до сих пор. И доктор Табарак, маленький, нервный, с оттопыренными ушами, которые от волнения бурно краснели, и тут же гасли, словно их хозяин давил в себе бурлящие, изобличающие его чувства. С обоими Торобов виделся в свой прежний приезд, но не слишком хорошо их помнил, уделяя всё внимание руководителям “братьев”, предвкушавших близкую победу.

Их стол был уставлен фаршированными баклажанами с мятой, салатами с острыми сырами, мясными ломтями с рисом, бараньими кебабами, от которых исходил горячий дух. Высились горы трав — зелёной, розовой, фиолетовой. Торобов чувствовал на губах сладкое жжение мяты, смотрел, как колышется в реке золотой слиток небоскрёба.

— Я чрезвычайно благодарен вам за эту встречу, — произнёс Торобов. — Я прекрасно понимаю, что нынешняя обстановка в Египте не располагает к общению. Но мне хотелось услышать голос “братьев”, который умоляет после известных событий.

— Мы видим в вас друга, доктор Леонид. — Ибадат печально посмотрел на него, повёл глаза в сторону, где вдалеке маячил метрдотель в фуражке морского офицера.

— Мы помним нашу встречу три года тому назад. — Табарак закивал круглой, с запёкшимся ртом головой, уши его запылали от прилива чувств и тут же померкли.

— За это время столько всего случилось. Египет стал другой страной. Мы вспоминаем ваши прогнозы, которые, к сожалению, оправдались. — Глаза Ибадата в красных ободках наполнились невыплаканными слезами.

— Я днём звонил по многим телефонам, но отозвались только ваши два, — сказал Торобов. — Где доктор Забир? Он человек глубокого интеллекта.

— К сожалению, доктор Забир убит. Солдаты ворвались в его дом и застрелили на глазах жены и детей.

— А доктор Забихолла? Его размышления о исламском ренессансе, о будущем вкладе ислама в мировую культуру произвели на меня большое впечатление.

— Доктора Забихоллу похитили прямо на улице. Затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Через неделю его тело, ужасно изуродованное, нашли на свалке. — Ибадат покачивал головой, как усталая лошадь, и глаза его тихо слезились.

— А доктор Язид? Кажется, он стал министром просвещения?

— Он в тюрьме. Подвергается пыткам. Его просят подписать какую-то бумагу, он отказывается, и ему перебили колени.

— Это ужасно, — сказал Торобов.

— За “братьями” идёт охота и днём, и ночью. Сто тысяч “братьев” убито, многие уехали в Иорданию и Катар. Другие продолжают борьбу. Мы не сдаёмся! — Табарак сжал кулак, поднял его над краем стола, но так, чтобы его не было видно официантам. — Вы, доктор Леонид, — продолжал Табарак, — говорили тогда, что наш приход к власти должен сопровождаться арестом ста генералов. Как вы были правы! Мы поставили своего президента, но армейский крокодил находился у него за спиной и скалил зубы. Мы не вырвали зубы у крокодила, и он растерзал нас. Тысячи наших “братьев” погибли мученической смертью из-за нашего легкомыслия и неопытности!

— Но ведь мы боролись против диктатуры и поэтому не могли установить собственную диктатуру! Мы хотели строить демократический Египет, в котором ислам получил бы своё высшее развитие, способствовал человеческому творчеству! Хотели, чтобы Египет превзошёл Европу в своём развитии! — Голос Ибадата умоляюще дрогнул, словно в нём зародились рыдания.

— Революцию надо защищать! Теперь же все десятилетия нашей борьбы пошли насмарку. Мы отброшены в прошлый век. Народ перестал нам верить. Мы подставили народ под удар военных. Наши лидеры оказались наивными, как дети. Им не следовало идти в политику. Американцы заманили нас во власть, захлопнули ловушку и уничтожили. Наши обожаемые лидеры оказались нашими злейшими врагами! — Уши Табарака пламенели, как огненные лепестки.

— Жестокость не может быть нашим правилом. Месть не может быть нашим идеалом. Пророк учит нас добру и справедливости. Доброта, правда, милость и милосердие угодны Аллаху, всемилостивому и милосердному.

Торобов слушал их запоздалый спор, который они вели после разгрома и попрания их идеалов. Скелеты их друзей, обглоданные лисами и шакалами, лежали в пустыне. Других жгли железом в застенках. А третьи томилась в изгнании. Это был спор проигравших, запоздалый спор под дулом врагов. Торобов испытывал к ним сострадание, чувствовал хрупкость их бытия, которое было готово в любой момент оборваться.

По Нилу проплывала баржа. Острый нос вонзился в золотое отражение, рассёк его. Чёрный контур с плоской палубой и рубкой медленно проплыл, расплёскивая жидкое золото. Ресторан кольхнуло. Кольхнулея ананасовый сок в бокалах. Баржа исчезла. Отражение на реке медленно собиралось в дрожащий слиток.

— Революцию нельзя заколоть штыками, нельзя расстрелять из пулемётов, нельзя разбомбить ракетами. Американцы подавили революцию “братьев”, но она вспыхнула в Сирии, Ираке, Ливии. ИГИЛ собирает тысячные армии бойцов. Наши “братья” сражаются под Алеппо и в Латакии. Революция ИГИЛ — это мировая исламская революция, которая неодолима!

Табарак произнёс это громко, и к столику стал приближаться метрдотель. Табарак, делая вид, что не замечает его, произнёс:

— И поэтому я люблю смотреть фильмы Голливуда, но не те, что отмечены “Оскаром”. Русские объявили войну ИГИЛ. Ваши самолёты бомбят исламских бойцов. Это ошибка. Таким образом русские вступили в войну с исламским миром. Мы ждали от вас помощи, а вы послали к нам бомбардировщики! — уши Табарака пламенели, как красные лампы, и он не желал их тушить. — Вы, доктор Леонид, должны чувствовать эту ошибку. Повторяю, революцию нельзя заколоть штыками и разбомбить ракетами!

— Россия — не враг исламской революции. — Торобов старался говорить проникновенно, словно сказанное являлось плодом выстраданных размышлений. — Мы сожалеем, что американцам удалось поссорить шиитов

и суннитов. Мы дорожим целостностью исламского мира и ожидаем в будущем его грандиозного развития.

Оба “брата” слушали его внимательно и настороженно, чуткие к неискренним и фальшивым интонациям. Они привыкли к тому, что их обманывают, вводят в заблуждение, пользуются их неосведомлённостью и наивностью.

— Россия готова исправить ошибку и отозвать самолёты из Сирии. Мы готовы установить контакты с ИГИЛ и договориться о сотрудничестве. Пусть удары возмездия исламистов будут направлены против Парижа, Берлина и Лондона, а не против Москвы. Россия так же страдает от Америки, как и исламский мир. Мы готовы объединить усилия. Это целый геополитический план, и я здесь, среди вас, чтобы способствовать его реализации.

Метрдотель в морской фуражке кружил в стороне, то приближаясь, то удаляясь. Мобильные телефоны омертвело лежали на столе, делая бесполезными системы прослушивания. Торобов, доверительно посвящая “братьев” в стратегический план, обезоруживая их своей искренностью, произнёс:

— Я здесь, чтобы установить контакты с представителями ИГИЛ, теми, кто базируется в Египте. Мне известно, что в Каире появляется бывший майор иракской военной разведки. Он выполняет delicate поручения, проводит агитацию, способствуя пополнению рядов ИГИЛ. Я знаю, он должен находиться в Каире и, по всей вероятности, встречается с “братьями”. Знакомо ли вам это имя?

Торобов достал визитку, полученную от директора музея в Баальбеке. Протянул её Ибадату. Тот осторожно принял её, поднёс к очкам и долго рассматривал своими слезящимися глазами. Передал Табараку. Тот шевелил губами, читая имя, и его уши утратили пунцовый цвет, превратились в бледные голубоватые хрящи. Вернул визитку Ибадату.

Все трое молчали. Чёрный, маслянистый, как нефть, струился Нил. Пламенело золотое отражение небоскрёба. Наконец, Ибадат произнёс:

— Вы наш друг, доктор Леонид. Мы знаем, как вы переживаете по поводу государственного переворота в Египте, сочувствуете нашим “братьям”, павшим в борьбе. Верим в искренность ваших слов. Этот человек был недавно в Каире, представился знатоком египетских древностей. Он искал возможность направить “братьев” в Сирию. Чтобы мы, потерпев поражение в Египте, взяли реванш в Сирии. Мы сказали ему, что это вряд ли возможно. Наши люди травмированы, ушли в подполье. Должно пройти какое-то время, чтобы прошёл шок. Теперь же мы рекомендуем ему отправиться в сектор Газа, где существует целая армия отобюрокраченных палестинцев, ведущих ежедневные бои с Израилем. Там он найдёт пополнение своих рядов.

— И он отправился в Газу? — спросил Торобов.

— Да, это было пять дней назад.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Утром Торобов собирался вызвать такси и отправиться из Каира по долгой дороге через Синай к сектору Газа. Этот ломтик Палестины, находящийся под контролем “Хамас”, истерзанный израильскими бомбами, влёк его к себе. Он знал, что все пропускные пункты были закрыты. В Газу попадали нелегально, через туннели, соединяющие палестинский анклав с Египтом. Граница с Израилем была непроницаема, укреплена бетонной стеной с видеокамерами и пулемётами. И он был готов, нарушая египетский закон о границе, воспользоваться туннелем.

Торобов был знаком с лидерами “Хамас”, оказывал им услуги, осуществлял контакты “Хамас” с российским МИДом и внешней разведкой. В Газе оставались его знакомцы, в их числе Хабаб Забур, один из командиров боевого крыла “Хамас”. Автор громких нападений на израильские блокпосты и диверсий на Западном берегу реки Иордан. К нему собирался пробраться Торобов и разведать местонахождение Фарука Низара.

Он уже вызвал такси, но вдруг вспомнил сообщение “братьев” о митинге студентов. Ему захотелось очутиться среди бурлящей толпы, увидеть

множество коричневых, как смола, лиц, ощутить жар “арабской весны”, которая всё ещё тлела в глубинах народа. Он поддался странному искушению и отправился на площадь Тахир.

Было солнечно. Площадь казалась огромной, с размытыми краями. Синяя дымка окутала правительственные здания, музей Египта, отель “Нил”, помпезную громаду “Могамма”. Памятник Омару Макриму плыл в голубом тумане. Стоял гул и рокот, какой бывает на море. Площадь заполнялась толпой, но оставалось ещё много свободного места. Подходили колонны. Одна изливалась из улицы Каср аль-Айн, брэнча, скандируя, взмахивая кулаками, развевая чёрно-бело-алые флаги. Другая — из улицы Талаат Харб, распевая, танцуя, неся над головами смешные чучела президента Сиси и его министров. Люди шли группами, поодиночке, от моста Каср аль-Нил, из метро. Толпа вязко наполняла площадь, колонны смешивались, образуя медленные водовороты.

Торопова затягивали эти медленные течения. Он радовался тому, что становился частью этого месива, оно не отторгало его, вовлекало в огромный плавильный котёл, который медленно разогревался. Было множество молодых, очаровательных лиц, сияющих глаз, белоснежных зубов. Иногда попадались девушки в розовых и зелёных хиджабах. Но большинство — длинноволосые, с модными причёсками, чернобровые, с малиновыми губами, пленяющие своей смуглой арабской красотой. Юноши не стеснялись их обнимать, некоторые целовались, и все вместе, впадая в раж, скандировали весёлую чепуху:

— Господин президент, поживи, как студент! У студента в животе, как воды в решете!

Крутом сновали торговцы. Предлагали апельсины, орехи, выпечку. Другие раздавали листовки, брошюры, полосатые, чёрно-бело-алые флажки. Вдалеке, у памятника Омару Макриму стояла хрупкая цепь полицейских. Высилась трибуна, на которой расхаживали устроители митинга.

Торобов чувствовал молодую энергию толпы, которая питала его силой и свежестью. Он был среди тех, чей язык понимал, чьи лица любил, чьё стремление к свободе и благополучию разделял. Знал, среди какой тьмы рождалось это стремление. В толпе был замечен тучный старик в чалме, с посохом и всклоченной бородой, которого течение принесло из тусклых и грязных предместий. Он что-то проповедовал, открывал беззубый рот, топтал изношенными сандалиями.

Становилось тесно. Площадь нагревалась, как тигель. Торобов, стиснутый, чувствовал, как по площади из конца в конец перекачивались упругие сгустки. Достигали места, где он стоял, сдавливали, так что становилось трудно дышать, и катились дальше.

Над головами легало прозрачное электричество, жгло, сыпало искры. Люди касались друг друга, и их било током. Кукла президента Сиси, воздетая на шест, дергала руками и ногами. Качался плакат с надписью: “Студенты хотят есть”. Пожилой человек в вязаной шапочке, с седеющей бородкой поднял вверх Коран.

Вдалеке на трибуне заговорил микрофон, гулко, с металлическими перезвонами, бессловесно отражаясь от зданий, улетая в синюю дымку, где знойно туманился Нил, и дальше, к мечети Омара Макрима. Площадь казалась огромной квашней, в которой взбухало чёрное тесто. Торобов чувствовал магму, которая изливалась из бездонных глубин Востока. Из таинственных недр, откуда исходили народы, пламенные пророки, мистические вероучения. Этому извержению не было конца. В глубине земли зарождались новые народы, зрели новые вероучения, обитали неродившиеся пророки. И он, Торобов, востоковед и разведчик, был не в силах заглянуть в эту живородящую бездну.

Он увидел, как далеко, за трибуной, со стороны моста Каср аль-Нил показались броневики и стали выстраиваться за цепью полицейских, уродливые, грязно-зелёные, похожие на толстых жаб. Ораторы сменялись у микрофона, насылали на площадь волны звенящий звук, и казалось, в небе гремит огромный лист кровельного железа.

“Студентам нужен хлеб!” “Студентам нужен хлеб!” — молодые люди зло скандировали, вздымали кулаки, подпрыгивали. Кругом были возбуждённые лица, горящие глаза, гибкие тела.

Торобов был един с толпой. Ему хотелось кричать и подпрыгивать. В него ударило электричество, когда соседний парень с кудрявыми волосами и золотой серьгой в ухе случайно задел его рукой. На него накатил металлический звук мегафона, оросив железной влагой. И стоящий рядом человек в вязаной шапочке стал потрясать над головой Кораном, выкликая “Аллах акбар!”

Торобов видел, как на трибуну взобралась полицейские. Отпихивали ораторов, сбрасывали с помоста. Полицейский овладел микрофоном, и лязгающие звуки приказа полетели в толпу. Каждый большой удар отзывался рёвом. Толпа литой стеной двинулась к трибуне. Заглушая лязг мегафона, раздалось: “Аллах акбар”. Нестройно, разрозненно, затем всё слаженней, единым дыханием, клёкотом. Казалось, великан бьёт молотом по наковальне. Огненно летели грозные слова, от которых шатались здания, качался мост через Нил, разбегались полицейские. Кукла президента Сиси задымилась. Её подожгли, она роняла липкий огонь. Упала с пьедестала, и её топтали, плевали.

Толпа повалила к трибуне. Торобов слепо, вместе со всеми колыхнулся, сжатый толпой. Улышал, как тупо застучали пулемёты. Броневики, как ромбовидные жабы, падали в толпу. Трассы били по головам, рикошетили вверх, и казалось, что толпа, как бронированная плита, отшвыривает пули. Но там, куда били очереди, возникали пустоты. Часть толпы всё ещё кричала “Аллах акбар” и подсакивала, но другая, попавшая под пули, стенала, визжала. И среди этой разноголосицы стучали пулемёты.

Торобов почувствовал, как слепо качнулась толпа, тёмный сгусток сдавил его и понёс в сторону Каср аль-Айн. Он бежал в толпе, молча, задыхаясь, стремясь не упасть, чувствуя под ногами живые тела, по которым бежала толпа. Девушка, бежавшая рядом, споткнулась о чьё-то тело, упала, на неё наваливались, падали, и толпа огибала живой стенающий холм.

Он добежал до зданий и прижался к стене, боясь, что рухнет от разрыва сердца.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В Газе Торобов поселился в отеле “Музеум”.

Номер был на четвёртом этаже. Лифт не работал. В номере загоралась единственная лампочка. Было холодно. За окном близко шумело море, тяжело ударяло в берег. Во мгле туманились огни израильских боевых катеров.

Торобов устало прилёг на кровать, накрывшись двумя шерстяными одеялами.

Он услышал в коридоре шаги. Поднялся с постели. Дверь распахнулась, и Хабаб Забур обнял его.

— Брат Леонид, наконец, я вижу тебя!

В Москве, когда Торобов сопровождал делегацию “Хамас”, представлял её в МИДе и внешней разведке, Хабаб был элегантен, в дорогом костюме и шёлковом галстуке, напоминал манерами дипломата, осторожно подыскивая слова и сохраняя на лице бесстрастно любезное выражение. Теперь же он был в камуфляже, с “арафаткой” на шее. На толстом ремне висела кобура с пистолетом. Он источал пылкую радость. Его нос с горбинкой, пышные, вздрёт брови, жаркие чёрные глаза соответствовали образу революционера, полевого командира, организатора отважных атак на израильские блокпосты и военные патрули. За ним охотилась израильская разведка, он был внесён в список палестинцев, подлежащих уничтожению.

Торобов слушал Хабаба, чей голос сопровождался гулом моря, ударами волн о берег. Тусклая лампочка освещала его лицо, на котором глаза светились, как два чёрных огня.

Торобов ждал минуты, когда сможет обратиться к Хабабу с расспросами о Фаруке Низаре. И этот момент настал.

— Дорогой Хабаб, я знаю, что в Газу прибыл Фарук Низар, представитель боевой группы ИГИЛ. У меня есть деликатное поручение российской разведки встретиться с Фаруком и наладить с ним взаимодействие. Не мог бы ты вывести меня на Фарука?

Хабаб молчал. Поднимал глаза на Торобова и остро, пронзительно взглядывал. Снова опускал глаза, словно рассматривал фиолетовый листик мяты, упавший на скатерть. Наконец, произнёс:

— Не могу, не имею права спрашивать тебя, брат Леонид, какое поручение к Фаруку Низару ты хочешь выполнить. Знаю только, что он имеет отношение к специальным операциям, затрагивающим интересы России. Россия — друг “Хамас”. Ты друг “Хамас”. Мы никогда не позволим, чтобы нашим друзьям причинили вред. Фарук Низар прибыл в Газу, чтобы здесь найти опытных бойцов для своей организации. Он разговаривал об этом с нашим руководством, разговаривал со мной. И вот что я ему ответил. Пусть ИГИЛ не рассчитывает на боевые подразделения “Хамас”. Мы воюем против Израиля. Мы поставили цель изгнать Израиль из Палестины и вернуть исконные земли народу. Ради этого мы воюем и умираем. Все наши силы направлены на это. Нам важен каждый боец, каждая жизнь. Палестинское сопротивление не станет пополнять ряды ИГИЛ. Вот что я ему сказал.

— И где он теперь, Фарук?

— Сегодня утром он покинул Газу и сказал, что отправляется в Багдад. Там его ждут дела. Мы сидели с ним за этим же столом, где сидим с тобой. Он жил в том же номере, где теперь живёшь ты.

— Он сказал, что отправляется в Ирак? Для него это большой риск.

— Сказал, что едет в Багдад.

Торобов почувствовал едва ощутимый ветерок, пробежавший у виска. Быть может, это была тень Фарука. Они разминулись на час или два.

— Что ж, наша встреча с Фаруком не состоялась в Газе. Буду искать его в Ираке.

— Поживи день у нас, брат Леонид. Поговорим по душам.

— День поживу, — ответил Торобов, провожая Хабаба. Видел, как его машина с выключенными фарами нырнула во тьму.

Остался один в тёмном номере, где недавно находился тот, кого он должен убить. Тот словно знал об этом, играл, заманивал, каждый раз ускользал, оставляя лёгкий ветерок убегающей тени. Торобов лёг на кровать, где ещё утром лежал Фарук Низар. Слушал, как за тёмными окнами ухает море. Удары следовали бесконечной чередой. Каждый оставлял в груди вмятину, словно мостили грудь булыжниками, погребая его под каменной толщей.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На другой день Хабаб возил Торобова на встречу с бойцами “Хамас”, бывшими узниками израильских тюрем. Вместе с ними он посадил дерево.

Уже смеркалось, когда они вернулись в Газу. Проезжали мимо тяжеловесного каменного храма с аляповатым крестом.

— Хабаб, я хочу заглянуть в храм и помолиться. Останови машину.

— Я оставлю тебя на час, а потом вернусь. Помолись о Палестине. Бог на небе один, и справедливость одна. Твоя молитва будет услышана.

Храм был сумрачный и холодный, с повисшими по углам тяжёлыми тенями. Горело несколько свечей, создавая туманное золотистое облако. На стенах сохранились закопчённые фрески. Древние краски из разноцветных глин были мрачные, написанные ими лики святых, ангелы и херувимы были строгими, сумрачными, напоминали о катакомбном христианстве. Торобов слышал свои гулкие шаги, безлюдье храма говорило об оскудении веры, о последних временах, о всемирном потопе, в котором погибли заблудшие народы, утонули неугодные Богу царства.

Спасаясь от холода и угрюмых напоминаний, Торобов жался к подсвечнику, на котором горели свечи, и витало золотистое облако.

К нему подошёл священник. Его арабское лицо густо заросло седой бородой. Грива волос казалась серебряным слитком. Он был из библейских ветхозаветных времён, когда о пришествии Христа проповедовали пророки. На нём была фиолетовая мантия, шитая серебром, и золотая потёртая епитрахиль.

— Здравствуйте, — произнёс священник, — Я вас не знаю. Вы не из моих прихожан.

— Благословите, отче, — Торобов припал губами к холодной костлявой руке, слыша, как ткани священника пахнут сладким дымом. — Я из России.

— Из России? Я был в России, присутствовал на службе, когда служил Патриарх. В России очень много снега. Я люблю Россию.

— У вас такой величественный храм. Должно быть, когда-то на этом месте произошло чудо.

— Чудо в том, что мы всё ещё живы, — произнёс священник. Ненадолго отошёл и вернулся, держа в руках высокую свечу. — Поставьте свечу и помолитесь. В дороге хорошо помолиться.

Торобов оплатил торец свечи, зажгёт и укрепил в гнезде подсвечника. Свеча разгорелась, и золотистое облако стало ярче и выше.

Он стоял и смотрел на свечу. Не молился, а погрузился в мечтательное созерцание, какое бывает на грани яви и сна.

В этом золотистом пятне открылось иное пространство, в которое он вошёл, как входят в туман. В этом чудесном тумане появилась беседка со стрельчатыми арками и резными колоннами. Там стол с плодами и яствами, блюдо с яблоками, ваза с виноградом. За столом сидит Фарук Низар в белой рубашке, молодой, с пушистыми бровями. Радуетса его появлению. Они угощают друг друга виноградом, протягивают алые ломти арбуза и медовой благоухающей дыни.

Торобов вышал из волшебного пространства, когда услышал голос Хабаба:

— Я вернулся. Мы можем идти.

Покидая храм, Торобов оглянулся, стараясь запомнить свечу, священника в сиреновой мантии, сумрачные фрески на стенах. Знал, что больше сюда не вернётся.

Стемнело. Они ехали по центральной улице Газы, среди озарённых витрин, цветных реклам, слепящих автомобильных фар. Слышалась музыка, гудки, рокот большого города. Не верилось, что вся эта оживлённая вечерняя жизнь проходит под прицелом орудий, окружена минными полям, пулемётами, бетонной стеной и в любую минуту может быть подавлена и растерзана.

По мере того как они подвигались к окраине, огни гасли, улицы становились темнее и пустыннее, пока совсем не погасли и обезлюдели. Тянулись одноэтажные, с чёрными окнами дома, кривые, не мощёные улочки. Хабаб выключил фары.

— Мы куда? — спросил Торобов.

— Здесь граница, стена, полоса отчуждения, минное поле. Если живая душа приближается на триста метров к стене, пулемёты автоматически открывают огонь. Неделю назад к стене приблизилась корова, и её расстреляли из пулемётов. Она лежит на солнце, разбухла, гниёт, но мы её не можем убрать.

— Ты хочешь показать мне убитую корову?

— Я просто проверяю посты. Сегодня ночью мы готовим операцию, и Израиль ответит ударом. Могут пойти танки. Мы укрепляем оборону.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В темноте они подъехали к гостинице и были готовы расстаться. Завтра утром Торобова подхватит машина и повезёт к туннелям, он покинет Газу и продолжит свой изнурительный поиск.

— Сейчас мы начнём боевую операцию, — произнёс Хабаб. — Хочешь принять в ней участие?

— В чём суть операции?

— Рыбаки добывают для Газы рыбу. Без рыбы у нас начнётся голод. Израильские катера отгоняют рыбаков к берегу, и уловы сократились, рыбный рынок опустел. Самые смелые рыбаки нарушают запрет евреев и выходят за пределы километровой зоны, ставят сети и возвращаются с большим уловом. Несколько дней назад рыбак, член “Хамас”, вышел в море, нарушил

запрет, и его расстрелял израильский катер. Лодку с убитым выбросило на берег. Его брат через час выходит в море, чтобы отомстить. В лодку загрузили взрывчатку. Он должен незаметно добраться до катера и взорвать его. Это послание евреям, требование, чтобы они расширили для рыбаков зону лова.

— Рыбак взорвётся вместе с лодкой?

— Это его выбор. Это не приказ.

— Я не могу в этом участвовать. Это не моя война. Это не моя земля.

— Ты посадил дерево, и теперь это твоя земля. Ты борешься за справедливость, значит, это твоя война. Мы идём провожать нашего брата. Пусть он тебя увидит. Пусть знает, что Россия вместе с нами в нашей борьбе.

— Ты настаиваешь, я пойду, — сказал Торобов, испытывая мучительное сомнение.

В стороне от города, на пустынном берегу, стояли машины. У воды, едва различимые, темнели люди. Хабаб и Торобов подошли. Несколько автоматчиков в масках дали им пройти. Мулла в мучнистых одеждах, в белой чалме, поклонился Хабабу и Торобову. Маленькая женщина, вся в чёрном, держала за руку высокого молодого мужчину. Его лицо в лучах фонаря отливало медью, жарко и огненно сверкали глаза, безмолвно шевелились узкие губы. Металлическая лодка уткнулась носом в песок. За кормой темнел мотор, а на носу горбился тюк, обмотанный клейкой лентой. Море светилось, среди фиолетовых волн пробегали длинные млечные зарницы. Катились вместе с волнами к берегу, словно прозрачные духи бежал по волнам, а потом отталкивались и взлетали, а их место занимали другие, светящиеся и бесплотные. Далеко, во мгле то появлялись, то пропадали огни катеров, жёлтые, как капельки жира.

— Сабил, это наш брат Леонид из России. Он расскажет русским о нашей борьбе, о “Хамас”, о твоём подвиге, чтобы о нём узнала вся земля, друзья восхитились, а враги содрогнулись.

Огненные глаза Сабилы скользнули по Торобову и пробежали мимо, словно не заметили. А Торобов вновь испытал мучительную неуместность, желание повернуться и уйти. Заставил себя остаться, повторяя: “Это ты!” Млечные духи вод окружали их голубоватым свечением, взмахивали прозрачными рукавами, словно прощались. Море шелестело, гудело, словно в его глубине играла таинственная музыка.

Женщина в чёрном, мать Сабилы, не выпускала руку сына, тянула его прочь от моря, от погребальной музыки, белых призраков, далёких жёлтых огней.

— Сабил, мой сыночек. Зачем я тебя родила? Зачем тебя у меня отнимают? Сначала Табиб, а теперь и ты. Возьми меня в лодку! Возьми меня с собой на небо! Не хочу я жить без тебя на земле!

— Мама, мама. — Сабил прижимал к себе хрупкое тело матери. — Зачем ты плачешь? Ты радуйся, смейся! Я скоро увижу Табиба, мы обнимемся с ним по-братски. Я расскажу ему, как мы жили без него, как часто его вспоминали, как ты любишь его. Мы станем ждать тебя, встретим и снова будем вместе. Там не будет войны, там не будет голода. Там будут цветы, чудесные птицы, о которых ты нам рассказывала в детстве. Мама, не плачь!

— Сабил, сыночек! — она вздрагивала худыми плечами, сын обнимал её хрупкое тело, которое когда-то его породило, вскормило, а теперь сотрясалось от горя.

— Пора, — сказал Хабаб, посмотрев на часы, полыхнувшие фосфором на запястье. — Через полчаса на катерах смена караула. Они перестают наблюдать за морем. К ним можно незаметно подобраться. — Он осторожно обнял за плечи плачущую женщину. — Отпусти его, Забиба. Ты мать героев. Тебя выбрал Аллах, и ты самая счастливая из матерей.

Взревел мотор, лодка, развернувшись, оставляя зеленоватую дугу, ушла в темноту. Звук мотора стих. Только шлепали и стучали о берег волны, и слышались женские всхлипы.

Они стояли на мокром песке. К их ногам бежали волны, блестящие, как чёрная слюда. Блуждали над морем духи вод. Желтели у горизонта огни катеров.

Торобов чувствовал, как в тёмном сыром пространстве движется лодка, и мученик ведёт её к смерти. Торобов видел лодку не глазами, а страдающим сердцем, в котором дышала мольба, росло ожидание чуда. Вера в то, что чудесным образом мир, попавший в жестокий завиток нескончаемых бед и несчастий, в непрерывную череду убийств и насилий, — мир вдруг очнётся, двинется вспять, и благая сила не даст сомкнуться контактам взрывателя, жуткого взрывного устройства, которым заминирован мир. Призраки света, летучие духи вод сложатся в лунную дорожку, и на ней появится тёмная лодка, и в лодке два брата, любящие, смеющиеся, выйдут на берег и обнимут мать. И он, Торобов, вымолив их жизни, обнимет обоих.

У горизонта полыхнула тихая вспышка. Через минуту прилетел слабый звук, будто палкой ударили в таз. Замерцали колючие трассы, застучали пунтиры пулемётов. Огонь над морем стал разгораться, как уголь, на который дул ветер. Скользили лучи далёких прожекторов. Мать, воздев руки, рыдала.

Хабаб обнял её и сказал:

— Радуйся, твой сын в раю.

Все двинулись от моря к машинам.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Его разбудил страшный треск, словно на постель обрушивалась стена. Вскочил, кинулся на балкон. Ярко светило солнце, летел трескучий грохот. Увидел солнечный город, блеск моря, высотные дома. И один дом, похожий на пирамиду, падал, проседал, осыпался этажами, извергал дым. Ещё не успел рухнуть, как другое здание, блестя стёклами, стало разваливаться на бетонные панели и балки. Оседало с грохотом, словно у него подрезали поджилки. Сквозь каменный грохот и скрежет, пронзая его металлическим свистом, пронёсся самолёт, словно серая тень, и исчез на солнце.

Дома взрывались, проваливались, из них валил чёрный дым. Над городом в разных местах поднимались столбы, выбрасывая пышные пепельные клубы. Со свистом мчались самолёты, взмывая и исчезая на солнце.

Торобов стоял босиком на балконе, слыша содрогание взрывов. Над его головой проносились молнии самолётов, и он пригибался, ожидая, что его срежет лезвие. В нём был не страх, было оцепенение от небывалого зрелища. Под солнцем, у лазурного моря истреблялся город. Кто-то невидимый из неба указывал перстом на дом, в него вонзалась молния, оставляя курчавый след, и дом вырывался с корнем, превращался в чёрный столб дыма. В разных местах города качались колонны дыма. Поднимались великаны, колыхали гривами, выбрасывали в стороны руки, танцевали чудовищный танец.

В этом истреблении города было что-то библейское, беспощадное. Город был предан заклятию, его жителей кидали под железные пилы и тяжёлые кувалды, которые дробили кости городу, дробили кости народу, дробили кости ему, Торобову.

Когда умолкали взрывы, слышались неразборчивые, по всему городу стенания, треск опавших конструкций, вой сирен, голошенье. И ещё что-то, как будто рыдали камни.

Торобов стоял босиком на балконе, глядя, как взрывы приближаются к гостинице, готовы ударить в него, превратить в дым, пар, груды падающих обломков. Но не убегал, не мог шевельнуться, слыша сквозь грохот чей-то громогласный голос: “Это ты!”

Жуткое зрелище было дано ему в назидание. Такой ценой кто-то хотел разбудить его сонную душу, чтобы она очнулась и перед концом узрела истинное устройство мира.

Перст указующий перемещался от здания к зданию, превращал дома в дымные взрывы. Приблизился к нему и остановился где-то близко, за чередой домов, обрушив высотное клетчатое здание. Оно стало складываться, уменьшаться, изрыгая огненный дым.

Взрывы стихли. Шелестело, звенело, булькало, стонало. Камни рыдали, и в этих камнях стонали люди. Город с переломанными костями мучился и стонал.

По улице с воем промчалась пожарная машина. С трепетом фиолетовых вспышек, пролетели две “скорых помощи”. Пробежали люди, слепо и бессмысленно, словно их гнал ветер, и одежда на них казалась растерзанной этим колючим ветром.

Торобов понимал, что бомбардировка города была ответом на ночное потопление катера. А ночное потопление было отмщением за зверский расстрел рыбака. А расстрел рыбака был ответом на взрывы в иерусалимском автобусе. А иерусалимский взрыв был мстостью за строительство еврейских поселений. Эта нескончаемая череда кровавых причин и следствий уходила в бесконечное прошлое и выныривала в бесконечном будущем. И он, Торобов, был включён в это неостановимое колесо. Город взрывался на его глазах, чтобы его душа проснулась, вырвалась из кровавого круга, разомкнула беспощадный обруч.

Услышал оглушительный рёв. Звук упал с неба, расплющил землю, и из этого грохота вырвался самолёт, прошёл над крышами, давая их пятнистым брюхом, разведя крылья с жёлтыми звёздами. Взмыл, исчезая на солнце. Торобов успел увидеть голубой трепет плазмы в хвостовом сопле.

Второй самолёт спикировал на город, грохоча, разрывая воздух, пронёсся над крышами, оставляя твёрдую волну рёва, и взмыл над морем, унося в хвосте синий огонь.

Самолёты падали на Газу, хлестали, истязали город, полосовали его железными бичами. Торобов приседал, в ужасе вжимал голову. Ему казалось, на городе взбухают рубцы, на его спине вздулась полоса от стального бича. И никто не поднимался в рост, не смел кинуть в самолёт камнем, погрозить кулаком. Все лежали ниц, слыша, как на бреющем полёте проносятся самолёты, прокалывают воздушный пузырь, вышибая из окон стёкла.

Внезапно из городских кварталов, далёких, близких, из центра, где дымились руины, с окраин, где ютились утлые домики, прянули ввысь кудрявые трассы. Сотни стеблей вырастали один за другим, и у каждого была тёмная головка, и в головке горел красный уголь. Трассы выгибались в небе, пересекались, развешивали крутые и пологие дуги, издавали стогаемый свист, птичий шелест. Это сотни самодельных “Касамов” уходили через стену в Израиль, и там взрывались на улицах, во дворах, на крышах, сея вопли и панику.

Стихло. Одна, две запоздалые ракеты ушли в небо. В тишине слышались сирены пожарных машин, вой “скорой помощи”, и всё тот же неразборчивый, из воплей и стука камней звук, тоскливый, пузырящийся.

Торобов во время чудовищного удара, оглушённый, подавленный, молчал, чтобы великаны взрывов не дотянулись до балкона, где он стоял. Чтобы летящие самолёты не раздавили его своими пятнистыми животами. Он вымалывал себе жизнь не для продолжения рода, не для творчества и любви, а для того, чтобы выполнить жестокий приказ. Найти и убить человека. Жизнь нужна ему для того, чтобы убить другого. Чтобы одна смерть отступила и дала дорогу другой. Он, как игла с металлической дратвой, прокалывает страны, взрывы, военные столкновения, чтобы игла нашла Фарука Низара и пронзала его.

Эта мысль была острой, но ему не хватило времени её развить.

Над городом появились вертолёты, сначала единицы, потом десятки. Кружили медленно, на разных высотах, узкие, как насекомые, с тонким проблеском винтов. Высматривали добычу. Наклоняли клювы, мчались к земле, выбрасывали чёрные пучки, острые, как гарпуны. Вонзали в город, и там полыхало, ухало, хлестало, серый дым сочился из окон. Карусель вертолётов приближалась к гостинице. Всё небо было в чёрных букетах, сносимых ветром. Железные шлепки, скрежет и хруст приближались.

Вертолёт навис над отелем. Торобову был виден фюзеляж, подвески с ракетами, стёкла кабины, жёлтая звезда, слюдяной круг винта. Он запрокинул лицо и зажмурился, ожидая, что огонь накроет балкон и сметёт его.

Но вертолёт отвернул, двинулся над улицей. Наклонил клюв и нырнул, разгоняясь. Из-под брюха сорвался пучок коפות, прынул на соседнее здание. Взрыв был, как хлопающий удар в живую плоть. Из дыма с воплями, визгом вырвалась толпа, пёстрый растрёпанный ворох. Мужчины, женщины, дети, какой-то белобородый старик, какая-то старуха в чёрном. В панике пробежали по улице, нырнули в подворотню соседнего дома и стихли. Затаились, ожидая удара. Слышался стрёкот винтов, гулкие взрывы, напоминающие стук палки по кровельному железу.

Торобов с балкона увидел, как на улицу вышла крохотная девочка, оставшая от толпы. Красное платье, хрупкие ножки, курчавая тёмная головка. Стояла посреди улицы, качаясь, словно её валил сорный ветер, беспомощно озиралась. А над ней кружил вертолёт, сыпал на неё стальной звук.

Торобов словно очнулся. Горячая боль, ужас, страх не успеть толкнули его с балкона. Как был босиком, выскочил из номера, сбежал с этажа, вынесся на улицу по осколкам разбитых стёкол. Схватил девочку, прижимая к себе, чувствуя её мелкую дрожь.

— Не бойся! Не бойся, милая! — повторял он. А она, сотрясаясь хрупким тельцем, причитала:

— Ай-йй-йй!

Обнимая девочку, побежал. Влетел в холл гостиницы. К нему подскочили женщины, приняли девочку, которая смотрела чёрными, полными слёз глазами, повторяя:

— Ай-йй-йй!

Торобов по лестнице, чувствуя резь в стопах, оставляя кровавый след, вернулся в номер, сел на кровать и стал извлекать из подошв стеклянные колючки, испытывая нестерпимую резь. Воды в кране не было. Он разордал прорезиню и обмотал ноги, соорудив матерчатые кули, сквозь которые просачивалась кровь. Лёг на кровать, положив ноги на спинку, чтобы отхлынула кровь.

Он вдруг подумал о сыновьях, которые в Москве в этот час погружены в свои хлопоты, служебные, семейные, живут своей отдельной от него жизнью, не ведая, что их престарелый отец лежит с окровавленными ногами в осаждённом городе, не смея себя обнаружить, позвонить им, услышать их любимые голоса, их утешительные слова. Вспомнил, как когда-то в далёком небывалом времени он плыл с сыновьями в лодке, они хохотали, черпали воду маленькими руками, брызгали на солнце. Над озером стояло белое облако, а на берегу, на мостках, стояла жена в розовом платье, приложила руку к бровям, смотрела, как они плывут.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Он прилетел в Ирак и поселился в Багдаде, в отеле “Аль-Рашид”, где жил в свои прежние посещения. Тогда у входа в отель, на полу, из цветного камня был выложен портрет Джорджа Буша-старшего, и каждый, входя в отель, попирая ногами ненавистного американца. Теперь изображение исчезло, пол был полированный, гладкий, но Торобову перед тем, как пройти сквозь стеклянную карусель дверей, показалось, что его подошва топчет лицо президента.

На ресепшене он оставил паспорт, заполнил бланк, где представился русским инженером, проектирующим нефтеперегонные заводы. Поднялся в номер и смотрел с высоты на пышную зелень парков, из которых поднимались дворцы: отели, административные здания, дворец Саддама Хусейна.

Он разделся, осторожно разбинтовал изрезанные стёклами ноги. Пустил в ванной воду и лёг, прижавшись затылком к холодной эмали ванны. Слушал, как ровно рокочет падающая из крана вода.

Чувствовал, как страшно устал. Устали его негибкие мышцы, изношенные сосуды, каждая клеточка и кровяная частица, которые тосковали, беззвучно стонали при мысли, что придётся вставать и идти. Устала душа от нескончаемого круженья по изуродованным странам, среди измученных народов,

в неистовой погоне, где цель каждый раз ускользала, таяла. Превращалась в мираж, заманивала в очередную изуродованную страну, к другому измождённому народу.

Окончив службу в разведке, спрятав в шкаф военный мундир, оставив пылиться погоны, звёзды, ордена, он мечтал остаток жизни, краткую череду отпущенных ему лет посвятить молчаливому созерцанию, забытым воспоминаниям и не отыскивать среди них начинания, которым не дано было продолжиться, которые были оборваны страстной гонкой, рискованными заданиями, хитроумными операциями.

Одно задание сменялось другим, одна операция порождала следующую. Поля сражений, аналитические центры, тайные встречи, посольские рауты, бесщётные лица. Одни из них не сходили с телеэкранов, другие безвестно пропадали, выглядывая из гробов бледными лбами под треск прощальных салютов. Жизнь пролетала, как огненный ступок снаряда, способного прожечь броню. Но вместо брони обнаружилась пустота, не требующая взрыва, гасящая ненужный полёт.

Оказавшись в заснеженном подмосковном коттедже, он мечтал уединиться и приготовиться к завершающим дням своей жизни. Сойка с лазурным крылом была послана ему, как птица русского рая, вестница чудного бытия. Звала за собой, и он был готов полететь. Но его окликнули, оборвали полёт.

Прилетев в Багдад, он почувствовал незримое присутствие Фарука Низара. Его дух витал в пышных зелёных парках, где они прогуливались, обсуждая проблемы, спасаясь от посторонних глаз и ушей. У министерства обороны, где произошло их знакомство, теперь стояли посты новой иракской армии, в кабинетах сидели американские советники. У резиденции президента, где они клали на стол Саддаму Хусейну подписанные протоколы переговоров, застыл танк. На площади, где прежде стоял величественный памятник Саддаму, и вокруг трепетал и блестел сверкающий завиток автомобилей, теперь была клумба цветов. У мечети Аль-Аскари в ступках золота и лазури, куда привёл его Фарук, и они оба с благоговением слушали проповедь муфтия, теперь расхаживал патруль. И только на берегу Тигра всё было, как прежде. Стояли уютные рыбные ресторанчики, где они с Фаруком, прихватив флакон виски, дружески болтали, пьянели, глядя на рыбацьи лодки.

Фарук Низар был где-то здесь, в огромном кипучем городе. Следовало его отыскать, вызвать его дух, чтобы он воплотился в молодцеватого молодого майора с лихими усиками и влажными ласковыми глазами.

Багдад был таинственной колбой, в которой, усилиями разведок, с помощью магических технологий был синтезирован наркотик, одурманивший мир. Сверхплотный эликсир, который пролился в исламский мир и вызвал реакцию огня и света, вскипевшую от Пакистана до Кавказа. Гениальные маги из разведки Саддама Хусейна, американские колдуньи и исламские богословы создали вероучение, опьянившее человечество. Построили организацию под названием “исламское государство”, в котором поселилась долгожданная мечта о справедливости и совершенстве. Оранжевые балахоны казнимых, руины античных алтарей, горящие города и селенья стали образами мировой революции, отрицающей “ветхий мир”. Лазурь божественной правды, отрезанные головы пленных, “пояса шахидов” и проповеди о райском блаженстве были пьянящим дымом, который глотали люди и шли воевать в ИГИЛ. Русские самолёты пролетали сквозь дым, не в силах его развеять. Кальян с дурманом был создан в Багдаде, и Фарук Низар был одним из его создателей.

Торобов, двигаясь по Багдаду, дышал его синей дымкой, и Багдад переливался цветным стеклом, казался драгоценным кальяном, от которого плыла голова.

Не было плана, по которому Торобов мог отыскать Фарука Низара. Суннитский террорист и разведчик, Фарук Низар навещался в Багдад нелегально. За ним охотилась разведка шиитов, агенты ЦРУ и МИ-6. Теперь же, в лице Торобова, его выслеживала военная разведка России.

Двигаясь по Багдаду, отыскивая “след змеи на камне”, Торобов, без всякой надежды на успех, решил посетить дом, где когда-то жил майор Фарук и принимал у себя “дорогого друга Леонида”.

Дом был пятиэтажный, типовой, похожий на московские “пятиэтажки”, с незначительной восточной декорацией фасада. Двор был оборудован под детскую площадку, с облупленными лесенками, качелями, лавочками. Детей не было, на нежарком солнце дремал инвалид в коляске, в безлистом дереве ворковали горлинки. Торобов осматривал окна, старался вспомнить, в каком подъезде жил Фарук. Он подошёл к инвалиду и спросил его.

— Вы сказали Фарук Низар? Фарук Низар, говорите? Нет, нет, конечно, не знаю!

Ответ был поспешным и нервным. Глаза инвалида забегали, словно он боялся, что его услышат. И Торобову стало ясно, что имя Фарука Низара известно калеке. И этот немощный “колясочник” может навести его на след.

— Так неуютно в пустом городе, — произнёс Торобов с виноватой улыбкой. — У меня есть предложение. Мы не обедали оба. Приглашаю, отправимся в какой-нибудь ресторанчик на берег Тигра. И поедем масгуф. Я так скучал по этому рыбному блюду. Мне будет приятно ваше общество. Вы расскажете мне о жизни в Багдаде.

— Да как же я с этой коляской? — заволновался калека. Было видно, что ему хочется принять приглашение.

— Ничего страшного. Вызовем такси, я помогу вам сесть, а коляска будет вас здесь дожидаться.

Торобов вызвал такси. С трудом пересадил инвалида на переднее сиденье. Сам сел сзади. По пути купил в магазинчике флакон виски, и через полчаса они сидели на открытом воздухе в закуской на берегу Тигра. Кругом струились дымы жаровен. По синей воде плыла красная рыбацья лодка.

Хозяин харчевни, любезный толстячок, подвёл Торобова к эмалированной ванне, где в мутной воде шевелили хвостами живые рыбы. Их только что выловили в Тигре, и для них уже краснели угли жаровни.

— Какую желаете? — хозяин окунул в ванну сачок, поддел тяжёлую рыбину. Она закачалась в сетке, сверкая чешуёй. Торобов одобрил выбор. Хозяин плюхнул сачок на стол, вывалил рыбину. Повар поймал скачущую рыбу, оглушил колотушкой. Ножом стал скоблить, шуршать, брызгать чешуёй, сметая серебро, открывая шершавые зеленоватые бока. Вогнал нож в рыбу спину, рядом с плавником. С хрустом разрезал рыбину, раскрыл её, как книгу. Вырвал пузырь, красный шматок сердца, кишок и печени. Понёс к раскалённой жаровне. Как раскрытую книгу, поставил на жаровню. Стальной кочергой сгрёб угли поближе к рыбе, и они задышали, переливались золотом, окутывались прозрачным жаром. Рыба млела, запекалась, становилась знаменитым багдадским блюдом — масгуф.

Пока готовилось блюдо, им принесли помидоры, зелень, хлеб. Торобов разлил по пластмассовым стаканчикам виски.

— Меня зовут Леонид Торобов. Я русский инженер, проектирую заводы. После вашей войны у вас осталось много развалин. Я приехал их восстанавливать.

— Меня зовут Набик Убайд. Как видите, я сам развалина, и не подлежу восстановлению, — печально усмехнулся инвалид.

— За ваше здоровье, доктор Набик.

— За ваше здоровье, доктор Леонид.

Они выпили виски, и Торобов почувствовал горькое жжение, полыхнувшее в голову. Он долго обходился без алкоголя и теперь быстро начал пьянеть. На реке качались две рыбацьи лодки, рыбаки тянули сети, и было видно, как вспыхивает солнечная ячея.

То же тихое солнце вспыхивало в голове Торобова, и он, мечтательно глядя на реку, произнёс:

— Не верится, доктор Набик, что я снова здесь, на берегу Тигра. Та же вода, те же лодки, тот же синий дым жаровен. Но пронеслась страшная война, пропало столько людей, столько надежд. Я не сказал вам, что моя сестра Вера вышла замуж за брата Фарука. Азиз учился в Москве, в военной академии. Они познакомились, поженились. Я гостил у них в Багдаде, был гостем в доме Фарука Низара. Теперь я не знаю, где сестра, жива ли она? Жив ли Азиз? Жив ли Фарук Низар? Я хотел повидать Фарука и что-нибудь

узнать о сестре. Но в доме новые жильцы, и я решился пригласить вас. Простите, что я занимаю ваше время.

Было видно, что сладостное опьянение коснулось сидящего перед ним инвалида. Его измученное лицо посветлело, настоженные глаза осмелели, сутулые плечи расправились. Он с наслаждением смотрел на реку, на серебряный след ветра, на маленькую самоходную баржу, пересекавшую этот след.

— Извините, доктор Леонид, я сказал вам неправду. Я знаю Фарука Низара. Мы жили по соседству и вместе служили, только в разных подразделениях. Я несколько раз видел его брата Азиза и его русскую жену. Значит, это ваша сестра?

— Жива ли Вера? После всех бомбёжек и арестов? Я слышал, что Азиз, как и многие офицеры Саддама, попал в тюрьму. Были расстрелы. Уцелел ли он?

Инвалид помрачнел, вжал голову, словно ждал удара, стиснул губы, будто боялся проговориться. Торобов наполнил стаканчики. Они чокнулись беззвучной пластмассой и выпили, закусили ломтями сырых помидоров. Торобов ждал, когда хмель снова лизнёт их обоих своим жарким языком.

— Мы все были очень самонадеянны. И офицеры гвардии, и генералы генштаба, и Саддам Хусейн. Мы верили договорённостям с американцами, верили в силу армии, в верность генералов. Мы не ожидали предательства. Ирак погиб из-за предателей. Служба безопасности была куплена американцами на корню. Генералы разведки открыли ворота врагам, сдали без боя Мосул и Киркук. Нейтрализовали отборные армейские части. После падения Багдада начались аресты, начались облавы. Тысячи офицеров были арестованы, тысячи расстреляны, сотни увезены за океан на базу Гуантанамо. Был арестован Фарук Низар. Был арестован его брат Азиз. Был арестован я.

Инвалид содрогнулся, по его чахламу телу пробежала судорога, словно сквозь него пропустили ток.

— Я вам сострадаю, доктор Набик, — произнёс Торобов, и глазам стало жарко от слёз. — Вы столько испытали! Нет ничего ужасней предательства!

— Американцы схватили меня дома ночью, за волосы выволокли из постели, и через день начались мои адские муки в Абу-Грейб. Нас выводили голых в коридор, и женщины из тюремной охраны били нас прутьями по детородным органам. На нас напяливали оранжевые балахоны, ставили на стул и заставляли стоять часами, раскинув руки, а тех, кто не выдерживал, били. Нас кидали на земляной пол и мочились нам на лицо. Там был один охранник-негр, он забирал из камеры заключённого и насиловал его в коридоре, и на всю тюрьму раздавались истошные крики. Меня пытали током несколько часов подряд, и, в конце концов, у меня отнялись ноги. Нас заставляли затаскивать в грузовики трупы замученных, и на эти тела было невозможно смотреть. У них были отрублены пальцы, выколота глаза, переломаны кости. Среди этих зверски замученных я узнал Азиза. У него был распорот живот. Эти же муки вместе со мной прошёл Фарук Низар. Не многие из офицеров вышли из Абу-Грейб.

Набик замолчал, его губы вздрагивали, словно он беззвучно рыдал.

Им принесли рыбу на фарфоровом блюде. Рыбина, рассечённая вдоль спины, стояла на блюде, словно раскрытый складень, отекала жиром. В розовом мясе светились перламутровые кости. Торобов ножом разделил складень и разложил по тарелкам благоухающие, окутанные паром половинки рыбы.

— Угощайтесь, доктор Набик. Пусть всё дурное останется позади.

Они снова выпили, и было видно, как благодарен Набик, с каким наслаждением он ест сочную рыбу, вынимает изо рта перламутровые кости, кладёт на блюде.

Они улыбались друг другу. Смотрели на реку, по которой плыла стая уток, и к ней присоединялись другие, падая из неба и поднимая буруны.

— Но не подумайте, доктор Леонид, что эти злодеяния останутся не отмщёнными. Те, кто уцелел и вышел живым из тюрем, вступили в борьбу. Мы изобрели оружие, которое сильнее авианосцев, космических грушировок и ядерных бомб! Под носом у торжествующего врага, погубившего наше

государство, мы создали другое, не знающее границ, несокрушимое, чьё население составят миллиарды. В конце концов, оно распространится на весь мир! — Набик восторженно сверкал глазами, приподнялся со стула, словно яростная мысль вернула ему здоровье. Продержался на ногах мгновение и снова грузно упал на стул.

— Вы говорите, доктор Набик, об “исламском государстве”? Оно возникло на пустом месте, и сначала его никто не заметил. А теперь против него объединяются десятки стран. Его бомбят, называют “мировым злом”, боятся и ненавидят. Откуда оно?

— Вы правы, доктор Леонид. Оно возникло на пустом месте. Его создал Господь. Он долго терпел неправду и несправедливость мира, и его терпению пришёл конец. Это государство родилось из воли Божьей, из учения богословов, из виртуозных усилий офицеров иракской разведки.

Набик поднял к небу ладони, словно призывал в свидетели Господа. Его лицо восторженно светилось, как светятся лица молящихся. Он больше не был беспомощным инвалидом, над которым надругались враги. Он был мстителем, божьим угодником, свидетельствовал, как пророк. Открывал Торобову сокровенные истины.

— Доктор Леонид, справедливость, о которой говорит Коран, является основой всего сотворённого мира. Фарук Низар — один из создателей “исламского государства”. Я горжусь, что он удостоил меня своей дружбой. — Глаза Набика восторженно сияли, словно смотрели в лазурь, в её бесконечную синь, откуда неслось к нему божественное послание. Он был носителем небесной мечты, обладателем несказанного счастья. Был готов за него умереть.

Торобов чувствовал, как трепещет вокруг Набика воздух, словно прозрачное электричество.

— Как бы мне хотелось увидеть Фарука! Пожать ему руку!

Набик умолк и задумался. Тигр лениво струился в зелёных берегах. На него падал ветер, стелил на воду серебряные платки.

— Я вам верю, доктор Леонид. Вы понимаете, что Фарук посещает Багдад с риском для жизни? Я попробую устроить вам свидание с Фаруком. Завтра в двенадцать часов вы будете стоять у дороги на Тикрит, на пятьдесят втором километре. Быть может, там вы пожмёте руку Фаруку Низару.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Военный атташе в российском посольстве был рыжий, с бело-розовым безволосым лицом, с зелёным блеском круглых птичьих глаз. Он открыл сейф и протянул Торобову пистолет ФН американских спецподразделений и обойму из девяти патронов.

— Пристрелян, не волнуйтесь, — произнёс атташе, наливая чай в стеклянные стаканчики. Они пили чай с серым кристаллическим сахаром. Атташе проводил Торобова до ворот посольства:

— Желаю удачи. По завершении операции верните оружие.

Торобов вызвал такси и приказал шоферу ехать на север, по дороге в Тикрит. Водитель был пожилой араб в шапочке из бараньего меха, перед лобовым стеклом качался брелок из стеклянных бусин с маленькой арабеской. Он вёл свою дребезжащую машину под звуки нервной рыдающей музыки, и его тощие плечи танцевали. Багдад долго не отпускал их, окружая пригородными вилами, магазинами, мастерскими, пёстрыми вывесками и забавными рекламными. Не было видно внешних следов войны. Она пряталась в глубине, под пёстрой мишурой реклам и вывесок, как прячется тяжёлая водяная глубь под разноцветной ряской и цветущей травой.

— А что? — спросил Торобов водителя. — Лучше стали жить люди, когда убили Саддама Хусейна?

Водитель некоторое время молчал, подёргивал плечами, в такт воплям и визгам музыки.

— Люди говорят, Саддам Хусейн жив. Убили не его, а похожего охранника. Люди говорят, Саддам Хусейн уехал в Сирию и там воюет с американ-

цами. Люди говорят, в Сирии есть подземный город, и оттуда Садам подаёт команды войскам. Люди говорят, когда он вернётся в Багдад, его статую поставят на место, и жизнь наладится.

Город вдруг оборвался, и машина полетела по пустынному голубому шоссе, среди солнечных холмов, в которых созревала, наливалась весна.

Они достигли пятьдесят второго километра, и Торобов вышел.

— Через час приезжай сюда же. Вернёмся в Багдад, — сказал он шофёру, направляясь к придорожному знаку с цифрой 52. Машина укатила, унося визгливую музыку, и Торобов остался один.

Недалеко от обочины стояло одинокое дерево. Высокий гладкий ствол был увенчан зелёной шаровидной кроной. Глянцевитый шар казался тяжёлым, с молчаливой притаившейся жизнью. Торобов приблизился к дереву, собираясь войти в его прохладную тень. И вдруг из кроны с шумом, свистом, как внезапный взрыв, вырвались птицы, сто или больше. Стекло крылья, крохотные клювы, глаза. Стая прыгнула, рассыпаясь в небе. Удалялась, взлетая и снижаясь, превращаясь в туманное облачко. Крона дерева обмелела, стала прозрачней и легче.

Торобов сел на землю, прижавшись спиной к стволу. Думал о птицах, которые летят на север в русские леса, где скоро растает снег, и в пустых чащах зазвучат одиноко и сладко птичьи свисты.

Время перевалило двенадцать, но Фарука Низара не было.

Внимание Торобова притупилось. Острота ожидания спала. Он заметил, что по земле, мимо его ног, тянется муравьиная тропа. Множество муравьёв, блестя чёрными тельцами, бежало в обе стороны, сталкиваясь, расходясь. Тащили соринки, крохи, комочки. В каждом муравье мерцала крохотная капля солнца. Тропа достигала дерева, избегала по стволу, стремилась куда-то вверх, к листе. И странная мысль — по этим древним дорогам тысячи лет двигались племена и народы, катили нашествия, скрипели кареты и колесницы, поднимали пыль верблюды и кони. По этим дорогам проходили пророки, цари, прорицатели и отважные воины. Возносились и падали царства, сменялись правители, одна религия приходила на смену другой. И все эти толпы богомольцев, паломников и купцов никуда не исчезли. Просто уменьшились, превратились в муравьёв. Каждый тащит поклажу, куда-то стремится, возносится к туманному небу и исчезает. Его сменяет другой.

Эта мысль казалась увлекательной, странной, возможной. Здесь, на перекрестье восточных путей, были возможны любые превращения, любые чудеса. И он, Торобов, мог уменьшиться, спрятаться в веренице крохотных молчаливых существ, бежать вместе с ними, неся в себе малую каплю солнца, незримый для тех, кто послал его в эти стреляющие разорённые страны. Недостижимый для тех, кто выслеживает его среди измученных городов. Неуловимый для тех, кого он хочет убить из американского пистолета ФН.

Он увидел, как по обочине катит велосипедист, выхляет, то выезжает на бетон, то снова возвращается на земляную обочину. Велосипедист приближался. Поравнялся с деревом, под которым сидел Торобов. Подкатил. На голове у него была неопрятно замотанная чалма. На коричневом лице темнела клочковатая борода. Нос висел, как фиолетовый баклажан.

Одна штанина была зажата прищепкой. Башмаки были заплётённые, без шнурков. Не слезая с велосипеда, он произнёс:

— Завтра в четыре часа на рынке в мясном ряду. — И исчез, полыхнув жгучим взглядом.

Торобов бродил в окрестностях рынка, дожидаясь назначенного часа. Конспирация, к которой прибегали люди Фарука Низара, обнадёживала, сулила долгожданную встречу. Мимо по проезжей части, мешая автомобилям, величаво шествовал верблюд, увешанный бубенцами и цветными ленточками. Его вёл под уздцы араб в долгополой рубашке, синем платке, который крепился на голове чёрным шнуром. Верблюд надменно смотрел на толпу, на гудящие автомобили, шевеля пухлыми губами.

Настало время, когда надлежало явиться на рынок. Торобов ступил под его своды, как ступают под грохочущий водопад. Толпа, смуглая, пёстрая, гомонящая, двигалась под высокой стеклянной кровлей. Сквозь стёкла,

как в теплице, светило солнце, освещало горы помидоров, огурцов, капустные кочаны, ворохи зелени. Прилавки, лавочки, витрины, лотки наполнились финиками, бананами, апельсинами, лимонами. Торговцы развешивали изюм, сухофрукты, залитые виноградным соком орехи. Люди приценивались, торговались, надкусывали бананы, глотали на пробу ломтики персиков, слизывали с ложечек мёд. Кругом всё звенело, хрустело, чмокало, смеялось, переругивалось. Играла музыка. Сочилась фруктовая сладость. Пьяно пахло перезрелыми абрикосами. Горько благоухали жареные кофейные зёрна.

Торобов двигался в толпе, встречаясь глазами с множеством лиц, мужских и женщин, на одно мгновение, чтобы больше их никогда не увидеть. Искал среди них одно единственное.

В мясных рядах пахло парной плотью. На крюках висели рассечённые надвое говяжьи туши, похожие на корыта, с синими и красными жилами. Бараны, безголовые и безногие, растворили животы, в которых белели рёбра. На длинных прилавках, пропитанных кровью, стояли в ряд бараньи и коровьи головы, высунув языки, с фиолетовыми стеклянными глазами. Тут же лежали ноги с копытцами, стояли чаны с коричневой печенюю, скользкими, как грибы, сердцами. Продавцы перебирали сердца, как перебирают лесные грузди.

Торобов прохаживался вдоль подвешенных туш, чувствуя исходящий от них приторный запах бойни. Мясники в клеёнчатых фартуках орудовали большими ножами, стучали по костям топорами. Поглядывали на Торобова, ожидая, когда он укажет на шматок мяса или выберет овечью ногу.

Торобов вдруг почувствовал неясную тревогу, которая мгновенно переросла в панику, страх. Тень набежала и затмила свет. Оглянулся. В проход из-за прилавка выскочил человек, ловким звериным броском, вытягивая руку, в которой блеснул воронёный ствол. Торобов, повторяя его бросок, метнулся в сторону, видя, как в кулаке человека расцвёл рыжий цветок выстрела с лепестками и пустой сердцевинкой. Пуля пролетела у виска и чмокнула в говяжью тушу. Торобов отшатнулся. Вторая пуля чмокнула рядом, брызнув в лицо липкими комочками мяса. Продавцы завопили, все разом, прячась под прилавки, заслоняясь тушами.

Торобов в паденье увидел, как стрелок убегает, вытянув руку, не решаясь на выстрел. И в убежавшем стрелке узнал Набика, не того, в инвалидной коляске, с измученным хилым телом. А гибкого, похожего на танцора, совершающего виртуозный пируэт.

Продавцы продолжали вопить. Сбегался народ. Торобов протиснулся сквозь мокрые говяжьи туши и смешался с толпой. Вытирал с лица комочки мяса.

В номере он долго мылся горячей водой, погружался в пену, смотрел на свои худые, вылезавшие из пены руки.

Он был обманут. Его водили, как водят рыбу, заглотившую блесну. Водили не только в Багдаде, но и в Брюсселе, и в Триполи, и в Бейруте, и в Каире, и в Газе, подводя под взрывы и выстрелы. Его должны были убить, если бы его не хранила чья-то чудесная спасительная молитва. Быть может, бабушки, мамы, жены, которые молятся за него на небесах.

Он шёл по ложному следу, отыскивая Фарука Низара по мнимым признакам, которыми его завлекали враги. Теперь след Фарука терялся. Не было камня, не было змеи, не было следа. Заданию, которое он получил, грозил провал. Всё нужно было начинать сначала. И этим началом будет поездка в Иран, к старинному знакомцу, который когда-то работал в посольстве, в Москве, а теперь занимал высокий пост в иранской разведке. Джахан Махди ведал секретными операциями иранских военных в Сирии. К нему в Тегеран Торобов направит свои стопы, изрезанные осколками стекла, утомлённые бесплодными скитаниями по разорённой земле.

Утром он заехал в посольство и вернул пистолет.

— Смотри, обойма не тронута, — сказал рыжий атташе, принимая оружие. — Не пригодился?

— Нет, почему же. Я колот им орехи.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Не без труда, с помощью посольства, он оформил визу в Иран. Прилетел в Тегеран поздно ночью и остановился в “Ескан Отель”, где останавливался несколько лет назад. Тогда он участвовал в переговорах о поставках в Иран российского оружия. Заключили контракт на закупку Ираном зенитных комплексов С-300. Израиль грозил Ирану бомбардировкой ядерных объектов, назревала большая война. Переговоры о зенитных ракетах шли успешно. В последний момент Россия дрогнула, вняв требованиям американцев, отказалась от сделки, и это вызвало большое разочарование персов.

В те времена он несколько раз отлучался из Тегерана. Побывал в цветущем Ширазе, где маленький восторженный перс читал ему на могиле Саади любовные, сладостные, как мёд, стихи. В Персеполисе, древней столице царя Дария, любовался алтарями огнепоклонников и чудесными барельефами на чёрном камне, где великолепный лев убивает когтями лань. На атомной станции в Бушере наблюдал, как бригады российских энергетиков монтируют стальной кокон реактора. На берегу Персидского залива посещал газовое месторождение Южный Парс, бесчисленные серебряные сферы, цилиндры, чаши, несомчаемые трубы, ведущие к причалам, от которых отплывают в Японию громадные танкеры с жидким газом. Ночью месторождение казалось россыпью бриллиантов, голубых, золотистых, белых, сверкающих до горизонта.

Теперь же Торобов надеялся повидаться с Джаханом Махди, ведающим внешней разведкой. Навести справки о Фаруке Низаре и его тайной организации “Меч пророка”.

После немалых ухищрений он связался с секретарём Махди, назвался старинным другом, оставил свой телефон, уверяя, что встреча с Махди будет полезна обим. Секретарь записал телефон и сухо произнёс:

— Вам позвонят.

Пока его проверяют по всем картотекам, устанавливают гостиницу, где он проживает, пока докладывают о звонке Джахану Махди, у Торобова оставалось свободное время. Он решил посетить пантеон, где покоился прах имама Хомейни, подвижника, как о нём говорили, изменившего ход мировой истории.

Ожидая такси, он сидел в холле, заказав чашечку чая. Сквозь стеклянную карусель дверей проходили люди. Невысокую даму европейского вида, в шляпке, в милых сапожках, захватили стеклянные лопасти дверей, закрутили. Она запуталась, не успела выйти. Её несло по второму кругу. Она испуганно билась, напоминала залетевшую в стеклянную комнату птицу. Портъё кинулся на помощь, остановил дверь, выпустил даму на свободу, и та, растрёпанная, поправляя шляпку, села в подъехавшую машину.

Эта сценка позабавила Торобова, и он едко подумал, что ради неё одной стоило посетить Тегеран.

Гробница Хомейни напоминала грандиозную мечеть. Огромный золотой купол сиял, как негасимое солнце. Высокие минареты страстно тянулись в лазурь, словно могучие заострённые стебли. Внутри было сумрачно, прохладно и гулко. Пол был выложен ониксом и агатом. Своды сияли золотом, бирюзовыми и изумрудными мозаиками, изречениями из Корана, похожими на выющиеся лианы. В центре, окружённая слабым трепещущим светом, стояла гробница. Высокий четырёхгранник, затянутый бархатом, окружённый золочёной решёткой. Воздух был пропитан благовоньями, словно дымились невидимые кальяны. Было безлюдно. Одинокая женщина в чёрном замерла у гробницы, прижала лицо к решётке.

Ночью ему снилось, будто он попал в стеклянную карусель дверей, и из них нет выхода. Прозрачные лопасти толкают его по кругу. Он бьётся лицом о стеклянную преграду, беззвучно кричит, а его бросает от одного стекла к другому, закручивает в стеклянную круговерть.

Звонка не было и наутро. Быть может, Джахан Махди, став крупным начальником, больше не испытывал интереса к Торобову. Или бюрократы иранских ведомств слишком долго оповещали Махди о Торобове. Он смотрел

из окон отеля на улицу, где начинала клубиться толпа, и готовилось священнодействие ашурь.

Он шёл по центральной улице. На проезжую часть валила толпа, словно её выдавливало из домов, дворов, подворотен. Строгие мужи и взволнованные женщины, глазастые юноши и подслеповатые старцы, малыши, которых держали за руки матери. У многих в руках были верёвочные кнуты, тонкие цепочки, гибкие ветки. Все становились в колонну, бесконечную, тесную, разукрашенную знамёнами, арабесками, чучелами чудовищ и злых духов, которые погубили святого имама. Чучела были увешены бубенцами, которые непрерывно звенели. Играла музыка, из громкоговорителей, раскрытых окон, растворённых дверей.

Торобов встал в колонну, окружённый трепещущими флагами, портретами Хомейни, шестами с разноцветными лентами. Впереди, стиснутый толпой, стоял грузовик с открытыми бортами. Кузов был выстлан ковром. Двое дожих парней топтались на ковре. Из-под накидок виднелись их мускулистые тела, в руках были ремённые плётки.

Процессия двигалась, колыхались флаги, грохотали бубенцы, уродливые идолы и чудовища блестели клыками. Колонна стенала, ахала. Свистели бичи, и над всем неслись рыдающие песнопения муэдзинов.

Торобов поначалу был ошеломлён этим неистовым самоистязанием. Но постепенно стоны, вопли, истощающая музыка вовлекли его в свой огненный вихрь. Он начал притоптывать, подражая танцорам в грузовике. Сонмы страдающих и рыдающих людей окружали его, захватывали в свой бушующий поток. Он не сопротивлялся, был готов вторить плачам и воплям. Идущий рядом мужчина в балахоне, похожем на рубище, охаживал себя трёххвостой плетью. Несколько ударов достались Торобову. Он вскрикнул от боли. Но боль, которую он испытал, была не страданием, а состраданием.

Колонна шла мимо роскошных магазинов, помпезных банков, мимо скромных особнячков и домшпек, и рыдала и молила о милосердии и любви.

Он услышал, как в кармане звенит телефон. Вежливый голос спрашивал: — Господин Торобов? Господин Махди готов вас принять. Через час машина будет ждать вас у “Ескан Отель”.

Встреча с Джеханом Махди состоялась в его резиденции, богатом особняке за высоким забором. Едва Торобов переступил порог, как навстречу ему шагнул высокий, дородный, с полными губами и сияющими глазами хозяин. Обнял Торобова, они касались друг друга тёплыми щеками, и Торобов, чуть отстраняясь и оглядывая дородное, породистое лицо Махди, произнёс:

— Ну, вы, дорогой Джехан, по-прежнему напоминаете иранского льва. Того, что изображён на камне в Персеполисе и размножен по всем мировым хрестоматиям.

— А вы, дорогой Леонид, вылитый русский орёл. Вам не хватает второй головы, чтобы красоваться на российском гербе.

Они смеялись, радовались встрече. Их связывали не только давние посольские встречи в Москве, не только осторожное неторопливое общение на переговорах по оружейным поставкам. Их связывала поездка в священный город Кум, визит в исламский университет Мустафы, размышления о божественной справедливости, посещение зеркальной мечети, где образ молящегося подхватывается тысячью зеркал и, как вспышка, разносится по всему мирозданию.

Они перешли из гостиной в трапезную, где был сервирован стол на две персоны. Служители раскладывали по тарелкам печёные овощи, сырные изделия, варёное мясо, наливали в бокалы фруктовые напитки.

Уже в конце трапезы, когда им принесли на десерт мороженое, политое вареньем из грецких орехов, Торобов отложил серебряную ложечку, которой черпал варенье, и произнёс:

— Дорогой Джехан, я знаю, что вы располагаете лучшей картотекой в мире, в которой собраны сведения об ИГИЛ. Быть может, только Израиль может сравниться с вами. Мне нужна информация об организации “Меч пророка” и её руководителе Фаруке Низаре.

Лицо Махди на мгновение окаменело, стало тёмным и твёрдым, приобрело ещё большее сходство с Иранским Львом. Он помолчал, каменные складки щёк, суровая морщина лба, угрюмые, с блеском, глаза вновь наполнились мягкостью и теплом. Он снова принял человеческий облик.

— Фарук Низар выполнял особые поручения Саддама Хусейна. После захвата и убийства Саддама Фарук был арестован американцами и отправлен на Гуантанамо. Там его подвергали обработке и, наконец, завербовали и использовали при создании “исламского государства”. Он является идеологом, ему поручено создавать образ Халифата. Ему принадлежат устрашающие съёмки казней, зрелища изощрённых пыток, которыми он стремится внушить ужас противникам ИГИЛ, а сторонникам — веру в его необоримость. У него на службе находятся дизайнеры и режиссёры из Европы, которые снимают картины террористических актов, сцены боёв и расправ над военнопленными. Один из этих дизайнеров — немец Курт Зольде. Да, Курт Зольде.

— Где он базируется? Как к нему подобраться?

Джехан вновь на несколько мгновений перевоплотился во льва, стал барельефом на камне. Помолчав, произнёс:

— Вы хотите к нему подобраться, Леонид? Это связано с гибелью вашего самолёта над Синаем?

— Вы угадали, Джехан.

Трапезная, где они обедали, была украшена мрамором, мозаиками. На узорной тумбочке стояли часы в виде золотого павлина. Драгоценная птица зашевелилась, закрутила головой, распушила великолепный радужный хвост, и часы ударили семь раз подряд. После этого птица сложила хвост и замерла, изысканно изогнув шею.

— Не делайте этого, Леонид. Прошу вас, как любящий друг. Это смертельно опасно. Мы послали к нему двух агентов, и оба провалились. Фарук прислал нам их головы, залитые жидким стеклом. Кубы из жидкого стекла, и в них заморожены отрубленные головы наших агентов. Не делайте этого, Леонид.

— Где его штаб-квартира?

— Он много разъезжает. Но его база находится в районе Мосула или Ракки. Там он иногда появляется.

— Значит, вы считаете, что приблизиться к базе можно со стороны Турции? Это проще всего? — произнёс задумчиво Торобов.

— Я так не сказал, Леонид. Я прошу вас этого не делать.

— А помните, как интересно рассуждал аятолла Нурсаджани о том, что Коран содержит утверждение, запрещающее применять ядерное оружие? Это был аргумент на переговорах о вашей “Ядерной программе”. — Торобов сменил разговор, и Махди не пытался ему перечить.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Торобов прилетел в Стамбул в сумерках. Ему отвели номер в отеле “Сираган палас” с видом на Босфор. Пока он устраивался, пока ужинал в ресторане, окончательно стемнело. Поднявшись к себе, он отворил окно и смотрел на вечерний Стамбул. На реки белых огней, льющихся по центральным улицам. На зелёно-голубые мечети, как волшебные острова, всплывшие из тёмных пучин. Две жемчужные нитки мостов, соединяющих Европу и Азию, висели в пустоте, как невесомые, прилетевшие из Космоса паутинки. Полный золотых огней самолёт снижался над городом. Босфор, ночной, чёрно-синий, был расцвечен множеством плывущих светлячков, красных, голубых, зелёных, и под каждым корабликом, под каждой медлительной баржей дрожало золотое отражение. Глядя на эту ночную красоту, вдыхая морской воздух, Торобов вдруг ощутил облегчение, освобождение от неотступных страхов, забот и тревог.

Утром его пробуждение было счастливым, как в детстве, когда каждая клеточка радуется и ликует, и ты встаёшь, желая продлить эту счастливую лёгкость, благословляешь дарованное тебе утро.

Босфор был ослепительно синий. Медленно проплывал белоснежный круизный лайнер. Сновали, как тёмные жучки-плавунцы, шустрые кораблики. Мосты через пролив чуть искрились в солнечной дымке. Стёкла в домах во множестве отражали утреннее солнце. Было весело смотреть на этот ликующий блеск. Город мерно гудел, металлически-серый, с шевелящимися магистральями, горбатыми, как верблюды, мечетями. И снова Торобов ощутил счастливое освобождение от гнетущей заботы, от висевшего над ним бремени невыполненного и, быть может, невыполнимого задания. Рядом протекала совсем иная жизнь, в которую можно нырнуть, как ныряет в море дельфин. И Торобов, прозрев, вдруг эту жизнь увидел.

Он отправился на Гранд Базар, где собирался добыть поддельный сирийский паспорт, чтобы переправиться через границу. Обретение паспорта предполагало продолжение погони, но Торобов думал об этом почти машинально, по инерции, словно не верил, что паспорт ему понадобится.

В лавчонке, торгующей для вида стиральными порошками, пастами, флаконами с моющей жидкостью, он обратился к моложавому, плутоватого вида торговцу. Без обиняков сообщил, что хочет купить сирийский паспорт.

— Только сирийский? — спросил бойкий торговец в красной шапочке, с чёрной щеголеватой бородкой. — У нас есть иорданские, египетские, Бахрейна и Эмиратов.

— Только в Сирию, — ответил Торобов.

— Почему-то все хотят в Сирию. Разве там мир?

Торговец провёл Торобова внутрь лавчонки. Здесь был повешен белый экран, стоял стул.

— Вы очень похожи на араба, — произнёс торговец, делая снимок. — Почему-то все хотят походить на арабов.

Торобов заплатил деньги.

— Приходите через три дня.

— А если завтра?

— Тогда ещё столько же.

Торобов заплатил и, выполнив эту почти ненужную работу, отправился побродить по Стамбулу.

Ему хотелось погулять и насладиться просторной площадью Султана Ахмеда с египетским обелиском. Постоять на площади Таксим, щурясь на весеннее солнце. Стамбул казался просторным, солнечным, с порывами тёплого, пахнущего морем ветра.

Он вышел на центральную улицу и удивился её пустоте. Проезжая часть без единой машины. На тротуарах стояли полицейские, некоторые с автоматами. Прокатили несколько полицейских фургонов с мигалками и решётками на окнах. Торобов всматривался в солнечную даль улицы, и там что-то клубилось, туманилось, вспыхивало. Слышалась музыка, неразборчивый гул мегафонов.

— Что это? — спросил он пожилого турка, опиравшегося на клюку.

— Демонстрация. Как будем с русскими воевать.

Бурный красный клубок приближался, хрипел, трубил. Множество знаменосцев несли красные турецкие флаги с полумесяцем и звездой. Крепкие парни с голыми мускулистыми руками играли бицепсами, держали наполненные ветром полотнища. За ними шествовали барабанщики в военной форме, с позументами, били палками с набалдашниками в тяжёлые, косо висящие барабаны. Множество портретов Эрдогана колыхалось над толпой. Юноши и девушки размахивали руками, вздымали кулаки, самозабвенно скандировали “Эрдоган! Эрдоган!” На высоких древках колыхался большой транспарант. Русский бомбардировщик СУ-25 был помещён в сетку прицела. Ревели голоса: “Слава турецким асам!” В такую же прицельную сетку был помещён портрет Президента России. Неслось похожее на рявканье скандирование: “Расстрелять! Расстрелять!” Следом валила толпа. В нескольких местах жгли российские флаги. Играла музыка, рокотали барабаны. Колонна напоминала огненную головню, за которой тянулся хвост косматого дыма.

Торобов из-за спин полицейских смотрел на колонну, в которой кипела ненависть, сила, молодой военный азарт. Но ненависть и ярость колонны не

касались его, не задевали, не пронзали, а были устремлены куда-то мимо, в какую-то неясную пустоту, где толпе было суждено истаять, утихнуть, остыть.

Он повернулся и пошёл прочь от центральных улиц в тихие кварталы, где начинали зеленеть деревья, тянулись развалины крепостной стены, на сырых клумбах пробивались острые клювики пионов. Присел на лавку, слыша, как воркует невидимая горлянка.

Он закрыл глаза, глядя сквозь веки на розовое свечение солнца, пребывая в блаженной дремоте. Почувствовал запах роз. Открыл глаза, надеясь разглядеть благоухающие кусты. Кустов не было. Тянулась изъеденная временем стена, на сырой клумбе пробивались острые носики пионов. Он снова закрыл глаза, слушая, как воркует горлянка. И снова повеяло розами, словно где-то рядом цвели кусты. Он открыл глаза и собирался встать, осмотреть окрестность, надеясь увидеть близкие розы.

Увидел, как из арки в стене появилась женщина, вышла на дорожку, где на лавке сидел Торобов. Рядом, напротив стояла ещё одна лавка. Женщина разговаривала по мобильному телефону. Рассеянно посмотрела на Торобова и опустила на лавку напротив.

Она была молода, с короткой стрижкой, открывавшей виски и маленькие розовые уши, в которых мерцали бриллиантики. Тонкое лицо, золотистые брови, которые она слегка хмурила, розовые губы, которыми она касалась телефона, что-то настойчиво произносила. Под тёмным жакетом белела блузка с приоткрытым воротом, и виднелась цепочка с зелёным кулоном. Юбка была короткой, и она, садясь, натянула её на сжатые колени.

Торобов моментальным счастливым взглядом оглядел её и подумал, что её появлению предшествовало дуновение роз.

Она продолжила говорить по телефону, и лицо её выражало досаду.

— Ты уехала и бросила меня на произвол судьбы. Без тебя я не могу заключить соглашение, — говорила она по-русски. — Хочешь, я приеду к тебе в Анкару?

Её появление среди солнечной дремоты, воркования горлянки, запаха невидимых роз напоминало сновидение. Её русская речь, мелодичный, чуть капризный голос казались изумительным продолжением утренних счастливых предчувствий.

Их разделяла дорожка с тенями деревьев, пространство светлого воздуха, незримая линия, которая отделяет незнакомых людей. Торобов чувствовал, как эта линия тает, в нем исчезала последняя неловкость. Он поднимался, пересекал дорожку, приближаясь к ее скамейке.

— Прошу меня извинить. Я услышал вашу русскую речь. Услышал, что вы одна в Стамбуле. И я один, меня тоже покинули друзья. Почему бы нам не воспользоваться вашим и моим одиночеством? Ничего особенного. Просто встреча двух соотечественников.

На её лице мелькнула досада. Она собиралась подняться и уйти. Но, должно быть, такой наивный и добродушный был вид у Торобова, что она улыбнулась и сказала:

— Чужбина располагает к знакомствам.

Они сидели рядом на скамейке. Ему была видна белая ложбина её груди и зелёный кулон. Он отводил глаза, боясь своего нескромного взгляда.

— Два дня меня преследовали неудачи. А сегодня утром проснулся, и будто заново родился. Впору начинать жизнь сначала.

— А что за неудачи, позвольте узнать?

— Я профессор истории, востоковед. Приехал в Стамбул прочитать в университете лекции. Но контракт до сих пор не подписан. На русских косятся. Как бы не пришлось уезжать восвояси. Меня зовут Леонид Васильевич. А вас?

— Меня Вера. Меня тоже преследуют неудачи. Мы приехали в Стамбул с подружкой. Мы дизайнеры, и открыли здесь ателье. Драпируем окна в коттеджах. Но с тех пор, как турки сбили русский самолёт, заказы пропали. Подруга уехала в Анкару, но и там нет заказов.

— Да, здесь изменилось отношение к русским. Словно турки вспомнили все русско-турецкие войны. А мы вспомнили про Святую Софию, превращённую в мечеть.

— Вы правы, когда я смотрю на минареты, окружающие православный собор, мне кажется, что его взяли в плен и держат под арестом.

— Вот видите, сколько общего мы обнаружили в первые минуты знакомства. Не перенести ли нам наше общение в другое место? Например, в ресторан. Время обеда.

— Дайте мне на размышление минуту.

— Она прошла.

— Тогда я согласна, — засмеялась она, поднимаясь.

На улице Истикляль они отыскивали рыбный ресторанчик. Над входом красовалась позолоченная рыба в шляпе, гуляющая под руки с двумя королевскими креветками.

Они заказали салат из водорослей, суп из мидий, приготовленного на пару сига и бутылку белого сухого вина из турецких сортов винограда.

— Пью за вас, — он поднял шаровидный бокал, в котором кольхалось вино. — Мне кажется, что мы с вами давно знакомы. Первые минуты неловкости давно уже пройдены. Первые, необязательные слова произнесены. И теперь мы можем болтать о чём угодно. Например, о Босфоре, о его лазури, которая рождает в душе почти религиозный восторг.

— Окна дома, где я живу, выходят на Босфор. Он постоянно меняет свой цвет, свой лик. То он в ослепительной синеве, от которой замирает сердце. То он багровый, словно чаша с вином. То зелёный, как изумруд, полный таинственных лучей. А то чёрно-фиолетовый, грозный, когда в него сыплются молнии и падает дождь.

Они наслаждались морскими дарами, маслянистыми водорослями, ароматными мидиями, ломтями розового сига, в котором открывался нежный позвоночник.

— Я люблю смотреть на Босфор, — сказала она. — Где-то рядом Троя, афинский акрополь, египетские пирамиды, Неаполь. Сядешь на корабль, и ты в Средиземном море, в Венеции, в Барселоне.

— Давайте сядем на корабль и отправимся в Барселону. Гауди ждёт нас.

— Мы знакомы меньше часа. И уже в Барселону.

— Самое трудное было подойти к вам и спросить о какой-то чепухе. А теперь, когда эта черта пройдена, можно и на корабль, — он произнёс это с беспечностью, увлекаемый счастливой уверенностью, что всё доступно. Однажды преодолённая черта открывает стремительную возможность сближения.

Они поймали такси, подхваченные счастливым порывом. Его голова кружилась от выпитого вина, от невероятного предчувствия. Его жизнь на глазах менялась, в ней исчезало и забывалось всё тяжёлое, обременительное и ненужное. Уступало место светоносному влечению, которое однажды возникло, чтобы уже не исчезнуть.

В пассажирском порту то и дело причаливали и отплывали прогулочные кораблики. Неуклюжие, шумные, с крикливыми зазывалами, которые зычно оглашали берег названиями островов и прибрежных селений.

Торобов с Верой едва успели вбежать на кораблик, как палуба зарокотала, подул свежий ветер, и Стамбул стал переливаться стеклянными фасадами, горбатыми мечетями, начинавшими зеленеть парками.

— Ну вот, ещё немного, и мы в Средиземном море. Не пропустить бы! — он облокотился о деревянный поручень палубы. Смотрел, как ветер приподнимает её золотистую прядь. Близко от них встречным курсом плыл теплоход, и с него доносилась музыка.

— Я вам так благодарна за эту прогулку! — сказала она.

Рокотала железная палуба. За бортом вздымался гребень ослепительной синевы. Над ним блистали алмазные брызги. Бурлящий след тянулся за кормой. К ним подлетала большая белая чайка, поворачивала в их сторону жёлтый клюв, зорко всматривалась круглым глазом. Мимо пронёсся глиссер, водный лыжник держался за стропы, подсакивал на волнах, и было видно, как переливаются мускулы под атласной тканью костюма.

Приближался гористый остров. Среди деревьев белели строения. Из-за острова вылетела белоснежная яхта и стала приближаться, вздымая пенный бурн.

Торобов расширенными зрачками следил за приближением яхты, за чайкой, невесомо повисшей над палубой, за водным наездником, летящим на стеклянной волне. И вдруг ошеломляющая бесшумная вспышка, и в этой вспышке стоячая у поручней женщина, её полузакрытые от ветра глаза, её высокая шея с серебряной цепочкой, её близкое розовое ухо с каплей бриллианта. Эта вспышка была ослепляющей, ошеломляющей.

— Что с вами? — спросила она.

— Чудо случилось, — счастливо ответил он.

Кораблик пристал к острову, над которым возвышалась гора и поблёскивал крест высокой церкви. У пристани, на площади стояло множество двухколки, запряжённых ишаками. Ишаки были разукрашены ленточками, а у двухколок были красные и зелёные спицы. Они с Верой сели в двухколку. Возница в феске, бархатном сюртуке погнал ишачка вверх по каменистой дороге. На поворотах Торобов несколько раз касался её руки, пугаясь этого прикосновения, робко дожидаясь следующего поворота. На половине горы дорога кончалась, переходила в каменистую тропу. Из двухколок высаживались пассажиры. С горы и на гору медленно двигались люди.

— Позвольте мне опереться на вашу руку, — сказала она, когда они проделали полпути. Стояли на каменистом склоне, глядя на бескрайнюю лазурь, по которой ветер провёл серебром. Он чувствовал её близость, дыхание, боялся, что она отпустит его руку. Ему было легко подниматься вверх. Мышцы стали молодыми и гибкими. Сердце наполнилось сильными жаркими биениями.

Церковь, стоящая на вершине, была бедной и утлой. В ней красовался аляповатый образ Георгия Победоносца в красном плаще, на чёрном коне. И вся доска, весь киот были увешаны ручными часами, дешевыми, пластмассовыми, дорожными с серебряными браслетами.

— Почему здесь люди оставляют часы? — спросила она.

— А зачем им часы? Счастливые часов не наблюдают, — ответил Торобов. Снял с запястья часы и повесил на гвоздик подле иконы.

Они вернулись в Стамбул, когда стемнело. Такси покатило к центру.

— Вот сюда, — направляла она шофера. Машина остановилась перед воротами, у невысокого особняка.

— Вот и кончился мой счастливый день, — произнес он с болью.

— Хотите его немного продлить? — она открыла ворота, приглашая его войти.

Двухэтажный дом был тёмный, фонарь над входом освещал близкое дерево, тропинку, исчезающую в темноте.

Вера вошла в дом. Зажглось окно. На землю упал квадрат жёлтого света. Стала видна какая-то скульптура.

— Входите, — пригласила она. Он вошёл, робея, словно посягал на запретное, принадлежавшее ей пространство. Здесь всё было драгоценно. Витали её запахи, мерцала спальня с зеркальным туалетным столиком, висело на спинке кровати лёгкое платье. Он боялся слишком долго останавливать на нём взгляд, ловил запахи, множество лёгких, принадлежавших ей ароматов.

— Простите, не убрано. Пойдёмте на второй этаж, на балкон, — она вывела его на открытый, неосвещённый балкон. Здесь угадывался столик, два плетёных кресла. Открывался вид на ночной Босфор.

Торобов сел, глядя, как по чёрному бархату пролива плывут огни, струятся золотые отражения кораблей.

Вечерний Стамбул переливался огненными ручьями улиц, мерцал разноцветными рекламными.

— Расскажите мне о себе, Леонид. Ведь я о вас ничего не знаю.

— А мне кажется, я знаю о вас всё. Какое платье вы носили в детстве. В какие игры играли с подругами. Как выглядел особнячок с белыми колоннами, мимо которого вы проходили в школу. Вы жили в маленьком провинциальном городе, ни правда ли?

— Как вы угадали? Я родилась в Тутаеве, маленьком городке на Волге. Там действительно есть особнячок с белыми колоннами, мимо которого я проходила в школу. А вы? Чем вы занимались всю жизнь?

— Я? Да как вам сказать. Всю жизнь путешествовал по странам, по весям. Путешественник и историк.

— Вы, должно быть, столько всего повидали. Расскажите о своих путешествиях.

Поплыли воспоминания, как тучи, и в каждой что-то мерцало, рокотало. Осыпались от взрывов лазурные стены мечетей. Неслись вертолёты, и под каждым пульсировал огонёк пулемёта. Уходил в ненастное море заминированный катер, и вдали раздавался взрыв. Несли на дощатом одре завёрнутого в саван комбрига, и могила дышала стеклянным паром.

Он не пускал в память эти удушающие воспоминания. Рассказывал ей о волшебных странах Востока, какими они представляли в “Шах-наме” и арабских сказках. Рассказывал о чудесном дереве с глянцевитой листвой, из которого прынула стая птиц небывалой расцветки, и у каждой в клюве был бриллиант, изумруд и сапфир. О муравьиной тропе, которая истекала из подземных глубин и уходила в небо, и каждый муравей нёс крупницу золота, ронял её на купол мечети, и мечеть сияла, как солнце. О прибрежных дворцах и храмах с алтарём неизвестного бога, где над мраморным камнем витала прозрачная тень, и слышались звуки молитв. О племени великанов, воздвигнувших города и твердыни, а потом ушедших в море, оставив на камне отпечатки тяжёлых ног. О море, которое начинало светиться, когда из глубин всплывали зеркальные рыбы и играли и резвились в прибое. О стае лисиц, заблудившихся в пустынных холмах, и у каждой было лицо человека, и они, собираясь в круг, выли на синий месяц. О палатах, где обитали лев и павлин, каждому гостю дарили кубок, полный сапфиров, и павлинье перо из волшебных радуг. О прекрасной женщине, о приближенне которой возвещало благоуханье роз, и о страннике, которого посетила любовь.

Он рассказывал ей мифы своей собственной жизни, веря в их чудную достоверность.

Она встала, подошла к нему сзади, положила руки на плечи:

— Вы мой мечтатель.

Они лежали, словно их выбросило из моря прибоем. Он чувствовал льющийся из окна прохладный запах моря и сладостный аромат её духов.

— Ты моя любимая!

Ночью они просыпались, их пробуждения были бурными, и он, подходя к окну, видел ночной Босфор с огнями проплывавших кораблей.

Утро было ослепительное. Он открыл глаза с молодым ликованием. Её не оказалось рядом, но ещё были тёплыми оставленные ею на постели отпечатки. Окно светилось лазурью близких вод и небес. На спинке кровати висело её платье. На стене красовался пейзаж с домиком и пальмой.

Торобов гибко поднялся, испытывая небывалую юношескую лёгкость. Босфор брызнул на него ослепительной синевой. Торобов набросил халат и босиком спустился по тёплым ступеням на первый этаж. Дверь в сад была открыта. Виднелась скульптура дельфина, которую вечером он не мог разглядеть. В дальнем углу дворика стояла Вера и разговаривала по телефону. Халат соскользнул с её плеча, и оно сверкало. Он хотел к ней незаметно приблизиться и поцеловать это обнажённое ослепительное плечо.

Он услышал её голос, говорящий по по-английски:

— Он ещё спит. Думаю, я сумею день-другой его удержать. Он направляется в Сирию. Вы должны торопиться.

Торобову показалось, что на мгновение стало темно. Солнце почернело, и на землю легла тень, — на клумбу с крокусами, на скульптуру дельфина, на фасад нарядного дома. Только голое плечо её продолжало сверкать.

Она угощала его завтраком, подносила кофе с омлетом. Он благодарил, целовал её руку.

— Что-нибудь случилось, родной? — Она заглядывала ему в глаза, — Ты чем-то озабочен?

— Мне нужно отлучиться в университет. Решить, наконец, проблему с контрактом.

— Хочешь, поедем вместе?

— Да нет, оставайся. Я скоро вернусь. Накупилю всякой вкусной всячины, вина. Мы ведь теперь никогда не расстанемся, правда?

Он вызвал такси, поцеловал вскользь её щёку, её розовые лживые губы и поехал на Гранд Базар, чтобы получить сирийский паспорт, из которого смотрело на него сумрачное утомлённое лицо старика.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

На контрольно-пропускном пункте на турецко-сирийской границе скопилось полсотни фур, множество легковушек и грузовичков, длинные обшарпанные автобусы и толпящийся люд, стремящийся попасть в Алеппо. Сновали лотошники, продающие газированную воду, фанту, несвежие сэндвичи. Люди сидели под навесами, лежали на земле под деревьями, уныло слонялись, изнывая от жары и усталости. Пограничники оформляли бумаги, отбирали паспорта, вяло отгоняли нетерпеливых, наседавших на пламбаумы путников.

Торобов, угрюмый, чувствуя немощ, глубинную, блуждающую вокруг сердца боль, сидел на саквояже, отдаваясь вялому течению времени, которое медленно двигало скудную тень дерева. По соседству десяток молодых людей, сдержанных, с одинаковым выражением тёмных, огненных глаз, ели лепёшки, запивали пресной водой. Все они были с подстриженными бородами, кто в круглых чеченских шапочках, кто в картузах, а один в плоской афганской шапочке, похожей на ржаную ковригу.

Они слушали мужчину, который был старше их, носил густую, изпод самых ушей бороду, выглядел предводителем их небольшой группы. Торобов слышал его русскую речь:

— Если будет угодно Аллаху, он каждого проведёт сквозь ушко иглы, каждому вложит в иссохшие уста ягоду винограда, каждому продлит жизнь, до той минуты, когда он будет готов войти в рай. Это говорил один мудрец, рождённый шесть веков назад в Багдаде. Забыл его имя.

— Мухаммед ибн Али аль Багдади, — машинально подсказал Торобов. Бородач умолк, все посмотрели на Торобова. Некоторое время длилось молчание, потом вновь зазвучала речь, тихая и неразборчивая.

Бородач поднялся и подошёл к Торобову:

— Позволю себе спросить, кто вы?

— Из России. Писатель Торобов.

— Торобов? — бородач мгновенно подумал. — Кажется, знаю. Но не читал. И что вас влечёт в Сирию?

— В Сирии война, борьба, столкновение нового и старого мира. Это всегда интересно писателю.

— Вы правы. В Сирии особенно остро чувствуешь, что мир меняет кожу. Как змея, он стремится выскользнуть из мёртвой кожи и нарастить новую. Но это всегда больно. Писатель хочет увидеть рождение нового мира, увидеть вестников нового мира, его героев. Это делает писателя великим, — бородач говорил охотно, уверенно. Было видно, что он склонен к проповедям.

— Писатель ищет героев. Старается угадать их среди миллионов обыкновенных людей, — произнёс Торобов, стараясь походить на писателя.

— Вам повезло. Вот они, герои нового мира, — бородач кивнул на своих молодых спутников. Те молча наблюдали за ними.

— Кто эти люди? Кто вы? — продолжал выведывать Торобов.

— Они оставили свои дома, свои семьи, свою работу, свои университеты. Аллах позвал их, и они пошли на его зов спасать погибающий мир. Аллах устал ждать, устал смотреть, как зло разрастается и готово поглотить человечество. Аллах построит новый мир, создаст новое справедливое человечество. Это всегда больно. Эти юноши слышали голос Аллаха. Не все они вернуться домой. Но все они рано или поздно встретятся в раю, — голос бородача стал певучим, взволнованным, как у проповедника, когда тот выходит под своды мечети.

— Откуда они? — Торобов разглядывал юношей, их заплётные одежды, сдержанные движения, огненные, под чёрными бровями, глаза.

— Тот, что ближе к нам, Расул, чеченец, два года воевал в Афганистане, был ранен. Выздоровел, и едет воевать в Сирию, помогать своим братьям. Рядом Ибрагим из Нальчика, год просидел в тюрьме, там ему переломали все пальцы. Говорит, что остался один не сломанный, чтобы нажимать спусковой крючок. Руслан из Дагестана, воевал в горах, вышел из леса. Говорит: “Хочу заново прочитать Коран в сирийских горах”.

— А вы кто?

— Я физик, преподавал в Казанском университете. Понял однажды, что законы Корана выше законов физики. Закон справедливости выше законов квантовой механики.

Торобов всматривался в лицо бородача. Под его обличьем исламского фундаменталиста проглядывало лицо светского интеллектуала.

— Когда-то в Казанском университете учился Ленин, — произнёс Торобов. — Он, как и вы, понял, что исторические законы марксизма выше уголовных законов, и повёл русский народ в Революцию.

— Ленин был величайшим из русских. Аллах приоткрыл ему законы Справедливости. Но Ленин считал, что справедливость устанавливают люди. А справедливость устанавливает Аллах, и этой справедливости подчиняются небесные светила и полевые цветы.

— Революции, о которой вы говорите, противостоят мировые силы. Авианосцы, космические группировки, бомбардировщики. Как их одолеть? — Торобову был интересен этот проповедник, умевший облекать в доступную светскую форму высокие религиозные смыслы.

— Авианосцы не сильнее Аллаха, и они будут тонуть, как ореховые скорлупки. Космические станции не сильнее Аллаха, и они будут падать в море, как горящие спички. Самолёты не сильнее Аллаха, и русский самолёт, взорванный над Синаем, — на него указал перст Аллаха.

— Но там погибло триста человек, включая грудных младенцев. Разве это угодно Аллаху?

— Когда рождается новый мир, всегда больно. Те, кто погиб над Синаем, были угодно Аллаху, и он взял их в рай. И эти молодые люди, что едут воевать в Сирию, они угодно Аллаху. Они герои Аллаха, мученики Аллаха. Каждый погибший герой производит на свет миллионы героев. История — это ветер. Смерть героя — это искра. Так рождается пожар мировой революции. Сначала Сирия, потом Россия.

Бородач поклонился Торобову и отправился к своим спутникам. Стал что-то втирать им вполголоса.

Торобов увидел, как мимо него прошёл ещё один юноша с короткой бородкой, в узорной восточной шапочке. Он нёс корзину, полную яблок. Золотистые, с красными наливными боками, они были тяжёлыми, так что у юноши отвисла рука. Он поднёс корзину товарищам. Они заглядывали в неё, выбирали яблоки. Сидели на земле, и каждый держал светящийся плод, боясь его надкусить, — такой красивый, драгоценный он был. Один юноша кинул яблоко другому, и тот ловко его поймал, и кинул обратно, в ответ. Ещё один бросил яблоко товарищу, и ладонь, поймавшая плод, издала мягкий шлепок. Они сидели кружком и кидали друг другу яблоки. Плоды взлетали, золотистые, алые, крутились в воздухе, попадали в ловкие ладони.

Торобов любовался их игрой. Опытные бойцы, искушённые в войне, в лесных засадах, в нападениях на полицейские участки, они были сейчас, как дети, отдавались детской забаве.

Торобову предложили яблоко, но он вежливо отказался.

Возле машин, под навесами, возле деревьев, где лежали люди, началось движение. Люди поднимались с места, шли все в одну сторону, прочь от дороги. Извлекали платки, стелили на землю и начинали молиться. Одновременно, подчиняясь таинственной слаженности, падали ниц, поднимались, замирали, обращая ладони к небу, снова падали лбом на землю. Так одновременно, под дуновением ветра, гнутся стебли травы.

Торобов чувствовал этот ветер, летящий с небес к земле.

Раздались крики, зарычали моторы. Таможенники завершили оформление документов, стали пропускать машины. Сначала тяжело вырливалась,

проезжала под шлагбаум колонна фур. Следом прошли красные автобусы и мелкие грузовички. Торобов видел, как молодые люди с бородачом повскакали в синий микроавтобус, на дверце которого была нарисована бутылка пепси. Сам же сел в кабину грузовичка, рядом с тощим длинноносым водителем. И вся протяжённая колонна машин потянулась сквозь ворота таможи, втягиваясь на территорию Сирии.

Приграничный город, сквозь который проходила колонна, казался гончарно-жёлтым, полным горчичной пыли, в которой клубилась толпа, вспыхивали то зелёные, то малиновые хиджабы. Торобов заметил, как на площади тощий верблюд надменно воздел свой библейский нос.

За городом потянулись оливковые рощи, сверкнула синей главкой мечеть, заволокло бурые холмы, над вершинами которых гуляли пыльные ветры.

— Что возишь? — спросил Торобов шофёра, перед носом которого качалась стеклянная птичка, созданная из разноцветных бусин.

— Вожу запчасти. В Турции покупаю, в Сирии продаю. На разницу живу. Чтоб с голоду не пропасть.

— Тяжёлый труд, — посочувствовал Торобов.

— Раньше хорошо жил. Земля была, дом был, оливки были. Теперь ничего.

— Разбомбили?

— Сосед христианин отсудил. У нас христиане всю власть захватили. Глава христианин, судья христианин, полицейский христианин. Творят, что хотят. Мусульман прижимают.

— А говорят, мусульмане их обижают.

— Христиане дружнее. Один за одного. Злые, жадные. Все деньги их. Безбожники. Как это может быть, что три бога вместо одного? У мусульман один Всевышний, а у них три. Как такое бывает?

— Верят в Троицу.

— Ненавижу христиан. Будем их резать, стрелять. Возьму назад дом, землю, оливки, — водитель мотал длинноносой головой, и стеклянная птичка кивала клювиком в знак согласия.

Они обгоняли колонну фур, крытые брезентом короба, шумящие моторами и ветром. Перед ними мчался синий микроавтобус с бутылкой пепси. Торобов старался разглядеть в нём молодые, с тёмными бородками лица.

Он услышал страшный толчок, будто наскочили на столб. Хлестнуло разбитым стеклом и туго ударило ветром. С хрястом огня лопнула соседняя фура, её подняло на дыбы, и она стала наползать на идущую впереди, а из переломленного надвое кузова рвался огонь и дым. Обе фуры летели с дороги в кювет, заваливаясь на бок.

Ещё два взрыва хрястнули впереди на дороге. Клубы дыма, сквозь которые летели яркие брызги. Грузовичок снесло на обочину, и он скакал по ухабам, словно хотел взлететь. Водитель и Торобов вывалились на землю, окружённые грохотом.

Взрывы вздымались на трассе, в гуще машин, на обочине среди песчаной степи. Фуры перевёртывались, крутили в небе колесами, их толкало ударами, и они, падая, начинали гореть.

Торобов, оглушённый, ошалелым взглядом, видел, как череда ударов движется вдоль трассы, пробивает в фурах рваные дыры. Низко, сквозь дым, на бреющем полёте пронёсся самолёт с заострёнными крыльями и красной звездой. Ушёл вдаль, поливая трассу из пушек. Взмыл, исчезая на солнце.

Ещё одна волна разрывов приближалась, раздувала над трассой шары дыма. Прокатилась, дунула зловонным жаром, уходя к голове колонны. Следом, с грохотом пушек, воем и свистом пронёсся самолёт с красной звездой. Взмыл к солнцу. Торобов безумной мыслью провожал самолёт, который был для него посланием Родины. Родина торопила его исполнить задание, указывала взрывами цель, куда он должен спешить.

Самолёты ушли и не возвращались. Кругом горело, чадило. Из разломанных фур вываливались лафеты, орудийные стволы, зарядные ящики. Множество мелких машин горело, сцепившись, как жуки. Торобов, держась за голову, брёл вдоль дороги. Увидел на жухлой земле красное яблоко. Через

несколько шагов другое. Близко синел микроавтобус с бутылкой пепси на борту. Сквозь дверцу прошёл снаряд и разорвался внутри. Из разбитых окон сочился дым. Виднелась голова бородача с белками немигающих глаз, валялась у колеса обгорелая афганская шапочка.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Они приближались к городку, в окрестностях которого шли бои. Вооружённые отряды ИГИЛ сражались с регулярной сирийской армией. Грузовичок, уцелевший во время бомбёжки, дребезжал, расшатанный взрывами. Стекланная птичка исчезла и больше не кивала кловом. Водитель что-то бормотал под нос, быть может, молился, и у него дрожали руки.

Торобов чувствовал, как ломит в висках, слона во рту обрела отвратительный кислый вкус. Ему казалось, что у него на груди под одеждой пламенела красная звезда. Её сбросили ему на грудь русские самолёты, которые прилетели из России, отыскиали его в сирийских холмах и положили метку на грудь. Торопили с выполнением задания, которое он проваливал. Фарук Низар оставался неуловим. Находился где-то здесь, среди пыльных городков и селений, в рассыпанных по степи партизанских гарнизонах, окружённый кольцами охраны. Перемещался с места на место, недоступный для взрывника или снайпера. И эта недоступность, неуязвимость Фарука, пылающая под рубахой звезда побуждали Торобова к отчаянному, крайнему средству. Ещё в Москве, продумывая множество комбинаций, даже самых рискованных, он оставлял это средство про запас.

Он расплатился с водителем, пошутив на прощание, что, видимо, один из них праведник, если бомбы их миновали. Пошёл бродить по пыльному, прифронтовому городу. На площади стояли большие автобусы, толпились люди, много женщин с детьми, стариков, с кулями и сумками, с потерянными, обречёнными лицами, какие бывают у беженцев и погорельцев. На тротуарах высились мешки с песком, из амбразур торчали пулемёты, защищая подъезды зданий, где размещались военные. Среди машин, истошно гудящих, объезжающих рытвины, попадались грузовики с вооружёнными людьми. Поверх гражданских пиджаков и безрукавок были намотаны пулемётные ленты, над головами развевались чёрные знамёна ИГИЛ с белой арабской вязью.

Прокатил тягач с орудием, которое подскакивало на выбоинах.

Он зашёл в харчевню под навесом и заказал баранину в сладком соусе и большой чайник с чаем. Смотрел на улицу, на мелькавших людей, с наслаждением вкушая душистый соус, макая в него хлеб. Долго, растягивая время,пил чай.

Расплачиваясь, спросил у служителя:

- Как жизнь в городе?
- Жизнь хорошая. Вчера два раза снаряд прилетал. Но никого не убило.
- Слава Аллаху.
- Слава Аллаху.

Покинув харчевню, двинулся по главной улице, высматривая здание, где мог оказаться штаб. Нашёл таковое. Перед входом полукругом были выложены мешки с песком. За ними виднелись бойцы с автоматами. На крыльце стоял громадного роста боевик с чёрной бородой от ушей, в пятнистой панаме, в разгрузочном лифчике, в котором набухли автоматные рожки и гранаты. Он угрожающе смотрел на проходящих, и казалось, ему не терпится схватить кого-нибудь и хорошенько встряхнуть.

Торобов подошёл к нему и сказал:

- Слушай, брат, отведи меня к своему командиру.
- Зачем тебе? — грозно спросил здоровяк, нависая над Торобовым.
- Отведи. Ему это важно.
- Ты кто такой? — В белках у бородача наливались розовые сосуды, грудь вздымалась, и на ней шевелились рожки и гранаты.
- Я русский разведчик. Отведи к командиру.
- Сумасшедший? Может быть, тебя пристрелить?

— Отведи. Вот увидишь, ему это важно.

Здоровяк смотрел на Торобова, словно раздумывал, сбросить его с крыльца или набить свинцом. Что-то в его свирепом лице качнулось. Он открыл дверь, схватил Торобова за локоть и швырнул в коридор. Пихал в спину, громкая сзади бутсами.

Открыл одну из дверей и бедром задвинул в неё Торобова.

За столом сидел человек с измученным жёлтым лицом. Кисть руки его была забинтована, сквозь повязку проступало бурое пятно. В углу стоял автомат. На столе лежали бумаги, дымилась чашечка кофе.

— Абу Омар, привёл к тебе человека. Говорит, что русский разведчик. Скажи, что делать. Могу башку отрезать. Могу только язык.

Раненый человек поднял тоскующие глаза, поморщился от боли.

— Я — Торобов Леонид Васильевич. Полковник русской разведки. Прибыл для выполнения специального задания. Мне нужно встретиться с Фаруком Низаром.

— Кто такой Фарук Низар? — Глаза командира зажглись острым любопытством, и было видно, что он забыл о боли.

— У меня есть секретное сообщение для Фарука Низара. Помогите с ним встретиться.

— Общайся с ним, — приказал командир здоровяку. Тот охлопал Торобова от плеч до щиколоток в поисках оружия, а потом стал шарить по карманам огромными пальцами с неожиданной ловкостью. Выкладывал на стол русский и сирийский паспорт, пухлые пачки долларов и сирийских лир, мобильный телефон, многоцветную авторучку с надписью “70 лет Победы”, посадочный талон на борт самолёта, доставившего Торобова с Стамбула.

Командир просмотрел паспорта, помусолил доллары, смахнул всё это в ящик стола.

— Запри его, — приказал он здоровяку, и тот, грозно шевеля бородой, потащил Торобова в конец коридора, втолкнул в полутёмную комнату:

— Подумай о своих грехах. А то к вечеру думать нечем будет, — и ушёл, чавкнув замком.

Комната напоминала камеру, без кровати, без стула, с узкой щелью под потолком, в которую дул ветер. У стены стояло ржавое зловонное ведро. Торобов опустился на пол, подальше от ведра, и стал ждать.

Операция, которую он задумал, была смертельно опасна, но он рискнул и ждал, чем завершится его риск. Встречей с Фаруком Низаром или одиночным выстрелом на задворках военного штаба. Его могли пытать, выуживая истинные цели его появления. Или весть о нём могла не дойти до Фарука Низара, затеряться среди множества полевых командиров, и один из них мог попросту его пристрелить. Но другого средства не было, и он ждал.

Он замер и погрузился в таинственный поток времени, отдаваясь тому, что зовётся судьбой. Теперь не он управлял своей жизнью, а беззвучный поток принял его в свои объятья и повлёк. Так чайка ложится на крыло, и её несёт, чуть покачивает, не выпуская из воздушной струи. Так река колеблет одинокую льдину, поворачивает, приближает то к одному берегу, то к другому, и льдина сверкает, плывёт, подчиняясь загадочной воле реки.

К вечеру за ним зашёл другой постовой, скуластый коротыш, похожий на уйгура. Что-то сердито буркнул, требуя встать. Торобов оказался в знакомой комнате, но теперь за столом сидел худощавый, с утонченным лицом человек, в очках с золотой оправой. На его длинном смуглом пальце красовался перстень с чёрным камнем. Свежий, хорошо выглаженный камуфляж не скрывал белоснежную сорочку. Он предложил Торобову сесть.

— Господин Торобов, если я не ошибаюсь?

— Да, я Торобов Леонид Васильевич.

— Вы называете себя офицером российской разведки?

— Полковник российской военной разведки. Если у вас есть доступ к карточкам, вы можете в этом убедиться.

— С какой целью вы оказались в Сирии?

— Я уже сказал, что ищу контакт с Фаруком Низаром. У меня есть для него конфиденциальное сообщение от российского руководства.

— Я не знаю никакого Фарука Низара. И, тем не менее, что это за сообщение?

— Я могу передать его только Фаруку Низару. Скажу только, что оно касается военных действий.

— Мне вы не хотите довериться?

— При всём уважении, нет. С Фаруком Низаром меня связывает давняя дружба. Мы вместе готовили доклад Саддаму Хусейну о поставках российского вооружения.

— Как вы сюда добирались?

— Обычным транспортом. Попал под авиаудар русских самолётов.

Сидящий за столом человек усмехнулся, слегка ударил ладонями по кромке стола, давая понять, что разговор завершён.

Появился сердитый уйгур и препроводил Торобова в камеру. За время, что он отсутствовал, в камере появился тюфяк и кувшин с водой.

Ночь была томительной. Снаружи слышались голоса, женский смех, урчание моторов, взывание муэдзина и далёкая артиллерийская канонада. Он лежал на матрасе и чувствовал, как в темноте, за пределами камеры, за пределами города, среди путаницы человеческих отношений, коварных замыслов, лукавых мотивов и помыслов решается его судьба.

Утром в его камеру принесли маленький столик, скамеечку. На столик поставили блюдо с душистым пловом, чайник и чашку, вазочку со сладостями. Он сидел на резной скамеечке, хватал щепотью рис, чувствуя запахи специй, глотая ломти мягкой баранины. Это угощение сулило смягчение его доли, внушало надежду, что его комбинация не провалена.

Охранник, теперь не уйгур, а круглолицый, с узкими глазами киргиз, повёл его по коридору в комнату, где он уже побывал дважды. На этот раз из-за стола гибко поднялся моложавый человек с белёсыми волосами, тонким лицом, играющими голубыми глазами. Он был подвижен, всё его тело, губы, белёсые брови, крыльца узкого носа двигались, играли. Казалось, он пританцовывал, нервно-весёлый, в такт какой-то страстной, темпераментной музыке. Он радовался появлению Торобова, как радуются чему-то новому, нескучному, не похожему на всё, что являлось ему прежде.

— Прошу садиться. Господин Торобов, не так ли? Господин полковник, если я не ошибся в звании? — его арабский язык был с акцентом, интонации давались с трудом, и Торобов подумал, что язык он изучал не в живом общении, а штудировал на кафедре восточных языков в каком-нибудь европейском университете. — Меня зовут Салах Новруз. До того, как я принял ислам, меня звали Курт Зольде. Вряд ли вам знакомо моё имя.

— Отчего же? Вы немец, дизайнер. Человек, близкий к Фаруку Низару, — Торобов цепкой памятью удержал ту часть своей беседы с Джеханом Махди, где тот назвал имя немецкого дизайнера.

— Вот как! — весело удивился немец. — Для меня большая честь знать, что мною интересуется русская разведка. Вы действительно хорошо готовились, направляясь сюда.

— Я хочу увидеть Фарука Низара и выполнить данное мне поручение.

— В чём же смысл этого поручения?

— Нам нужны контакты с руководством ИГИЛ, чтобы обсудить некоторые стороны взаимодействия.

— Вчера, на дороге, вы стали свидетелем этих форм. Ответом на эти русские инициативы могло бы стать появление в наших рядах переносных зенитно-ракетных комплексов.

— Речь идёт о мирном процессе. На одном из своих брифингов наш президент заявил, что ИГИЛ не представляет для России стратегической опасности.

— И после этого он прислал в Сирию бомбардировщики.

— Всё это мне поручено обсудить с Фаруком Низаром.

— Фарука Низара нет сейчас в Сирии. Может быть, вы посвятите меня в суть поручения, чтобы я мог ему передать в самых общих чертах?

— Мне поручено передать сообщение только ему.

— Вы утверждаете, что общались с Фаруком Низаром в Багдаде?

— Мы сотрудничали. Я бывал у него дома. Вместе мы несколько раз посещали Саддама Хусейна.

— Как вы думаете, что заставляет российское руководство искать контакты с нами?

— Мотивы мне не известны. Но мне кажется, что в Кремле осознают безнадёжность союза с Европой. Напротив, назревает война. Кремль хотел бы разгрузить свой южный фланг. Нельзя воевать со всем миром.

Курт Зольде взвырал. Острые плечи, кисти рук, нервная шея сотряслись мелкой судорогой. Глаза стали синими, мечтательными и жестокими. Губы порозовели, будто он раздавил во рту сочную ягоду.

— Современная Европа — это склад утомлённых народов, погасших государств, мертвенных политиков. Европа, — это рыба, у которой евреи выклёвывают глаза, печень, сердце, а она только жалко шевелит плавниками. Американский бык увлёт через океан на заливке беспомощную измождённую деву, но, видит Бог, из розовой пены вновь возродится прекрасная Афродита. — Курт Зольде говорил певуче и страстно, в голосе звучало обожание, ненависть и мечта. — Германию после Второй мировой войны сожгли, пепел запаяли в цинковый гроб, зарыли в землю, залили бетоном, положили стальные плиты, и сверху построили синагогу. Но эта синагога шевелится, её качает. Сквозь сталь и бетон из подземного саркофага рвётся к солнцу новая Германия. Великая исламская революция дует в поднебесную трубу, вызывает к народам и странам. Бог возвращается в историю. История новой Европы — это возвращение к великим истокам, когда европейский дух вместе с германской готикой стремился в лазурь, когда музыка питалась глубинными тайнами германской судьбы, будила древних героев и уснувших валькирий, и те мчались впереди великих полков и армий. Ислам своей богооткровенной энергией, своим упованием на божественную справедливость, своей необъятной мечтой плавит сухую коросту современного мира. И хлынул свет. Из этого света, как чудо, возникло “исламское государство”. Зеркало, которое отражает божественный свет, озаряя им душу отдельного верящего человека, и целые народы, сбрасывающие свои оковы.

Курт Зольде испытывал восхищение, дрожал и звенел, как труба, в которую дуют пророки. Торобову казалось, что пред ним человек, которым движет не здравый смысл, а перст Божий, даже если этот перст указывает в бездну. И от этого человека зависела его судьба, зависела судьба операции. И, стараясь не прерывать это безумное песнопение, не спугнуть эту загадочную птицу с хищным клювом и небесной расцветкой, Торобов произнёс:

— Вы художник, дизайнер. Вы создаёте образ Великой революции, мирового государства, божественного преображения мира. Тогда зачем такая жестокость? Зачем эти отрубленные головы, запаянные в жидкое стекло? Зачем эти мученики в оранжевых балахонах с чёрными палачами за спиной? Эти античные шедевры, гибнущие под кувалдами бородатых безумцев? Разве это пленительный образ для человечества?

— Извержение вулкана ужасно, но и прекрасно. Старый мир умирает, и мы провожаем его на эшафот, как провожают приговорённого к казни. Старый мир содрогается от ужаса, посылает на нас самолёты и авианосцы. Но крылатые ракеты и бомбы отскакивают от клинка, который вздымает над головой казнимого отрока в чёрных одеждах.

Курт Зольде умолк, сник, стал усталым и вялым, словно вся его энергия улетучилась, как гаснущий факел. У переносицы в уголках глаз возникла болезненная синева. Он устало сказал:

— Вы, господин полковник, утверждаете, что были знакомы, даже дружили с Фаруком Низаром? Тогда согласитесь на необременительную процедуру. Мы отправим вашу фотографию туда, где сейчас находится Фарук Низар, и будем ждать ответа.

В комнату вошёл фотограф со штативом. Он был в синей артистической блузе, по виду европеец. В мочке уха золотилась серьга, на шее виднелась татуировка — завиток драконьего хвоста. Он попросил Торобова встать и сделал несколько снимков ан фас и в профиль, как это делают при поступлении узника в тюрьму.

— Не скучайте, господин Торобов. Мы скоро увидимся, — Курт Зольде протянул Торобову руку, и тот пожал его вялые холодные пальцы. Он вернулся в камеру и предался размышлениям.

Но вскоре его снова вызвали в комнату допросов. Курт Зольде встретил его сердечно:

— Всё прекрасно, господин Торобов. Фарук Нizar рад был получить ваши фотографии. Тепло о вас отозвался. Сейчас его нет в Сирии. Он лечится от контузии. Пройдёт несколько дней, и мы направим вас к нему. Но до этого Фарук Нizar приказал не оставлять вас без внимания и быть рядом с вами. Я выполняю его приказ. Всё это время мы будем вместе, но, разумеется, не в вашей камере, а на воле, где я и мои соратники готовим материалы о нашей вооружённой борьбе. Возвращаю вам ваши вещи, — он достал из ящика русский и сирийский паспорт, мобильный телефон, сирийские лиры и американские доллары, авторучку с надписью “70 лет Победы” и даже посадочный талон на борт турецкого лайнера.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

— Вот карта. — Зольде расстелил перед Торобовым зелёно-коричневую карту с обозначением оборонительных рубежей. — Здесь на высоте закрепились “башары”. — Он ткнул острым пальцем на серо-коричневое пятно, вдоль которого проходила дорога. Торобов догадался, что “башарами” Зольде называет войска Башара Асада. — Эта высота контролирует дорогу на Алеппо, и мы сегодня выйдем отсюда противника. — Он эффектно щёлкнул пальцем по карте. — Вот тут — женский христианский монастырь, где заперлись двадцать монашек, тучных коров, а “башары” разместили свой наблюдательный пункт. А здесь, — он провёл острым ногтем по зелёному полю карты, — здесь сосредоточились наши силы, будет брать высоту. Моя съёмочная группа станет снимать атаку, и эти кадры уже к вечеру наводнят сеть. Что ж, в дорогу, господин полковник! — насмешливо произнёс Зольде, словно собрался устроить представление специально для Торобова.

Они погрузились в два джипа и выехали из города. Курт Зольде вёл передний джип, усадив рядом телеоператора, того, что утром фотографировал Торобова, в синей блузе, с золотой серьгой. Торобов сидел на заднем сиденье, стиснутый двумя бородачами. От одного пахло луком, от другого — одеколоном. В бок Торобова упирался приклад автомата. Во втором джипе находились два оператора и охрана. Дорога была пустой, местами в воронках. На обочине пару раз попадались обгорелые фуры. Через полчаса, подъезжая к холмам, Торобов услышал далёкий удар пушки, а ещё через полчаса раздалась отчётливые пулемётные очереди.

Они выехали на передовую, где скопилось подразделение, названное Зольде батальоном. Сотня разношерстных боевиков, вооружённых ручными пулемётами, автоматами и гранатомётами, кто сидел, кто лежал на склоне, откуда не видна была кромка соседнего холма, на котором закрепился противник. Командир батальона, увидев Зольде, вскочил и по-военному отдал честь. Он был немолод, с крепким, коричневым от солнца лицом, орлиным носом и осторожными, чуть раскосыми глазами, которые наделяли его боковым зрением. Он был в камуфляже, опоясан капроновым ремнём, на котором висела кобура с пистолетом. На тонком ремешке на груди висел полевой бинокль. У него были мягкие упругие движения охотника, привыкшего пробираться, затаиваться, терпеливо ждать, наносить удар из-под земли, из потаённой рывтины, из ночной темноты. Что и позволило ему, находясь в военном пекле, под ударами артиллерии и авиации, дожиться до седых волос, которые картинно кудрявились из-под пятнистого картуза.

— Что я буду снимать? — начальственно спросил Зольде. — Вам объяснили задачу?

— Задача атаковать и взять укрепрайон на горе. Но атака в лоб невозможна. Мы несколько раз атаковали и откатывались, неся потери.

— Никто не просил вас атаковать до моего прибытия. Сейчас вы начнёте атаку силами всего батальона, а я стану снимать вашу атаку и рукопашную схватку на вершине холма.

— Но я положу под пулемётами весь батальон. Я собрал его в Иордании и лично обучил каждого в течение двух месяцев. Я обещал им, что проведу их по улицам Дамаска, и мы сфотографируемся во дворце Башара Асада.

— Фильм, который мы снимаем о героях вашего батальона, нанесёт врагу урон в сто раз больший, чем все ваши автоматчики. Фарук Низар рассчитывает, что вы станете главным героем фильма.

— Я боюсь потерять батальон.

— А я боюсь потерять драгоценное время, — оборвал его Зольде и стал карабкаться по склону туда, откуда открывался вид на соседние холмы.

Торобов, вслед за ним и комбатом, добрался до кромки холма и лёг, озираясь.

Впереди открывалась залитая солнцем седловина. Она полого восходила к вершине холма, на котором виднелись брустверы окопов и стояла лёгкая гарь, быть может, от невидимого костра. В стороне, на соседних холмах, виднелся монастырь. Белели постройки, возвышалась колокольня с крестом, который горел на солнце. По седловине темнели разбросанные бугорки, — недвижные тела тех, кто погиб при недавней атаке. У некоторых отсвечивали автоматы.

— Вы начнёте атаку, и я, и мои операторы пойдём вместе с вами. Вы продемонстрируете тактику, какой вы обучали своих бойцов. Наш фильм будет учебным пособием, рассказывающим, как надо сражаться за “исламское государство” и умирать за Аллаха. Его будут показывать в окопах, в домах, в мечетях. Враг, который посмотрит в интернете наш фильм, поймёт, что он обречён. Нам нужна предельная достоверность. Через десять минут начинаем. Солнце благоприятствует съёмке.

Они вновь спустились в низину. Комбат окриком поднял бойцов. Те строились, опускали рядом с собой тяжёлые пулемёты, звякали гранатомётами. У многих за спинами расходились лучами заострённые стрелы гранат.

Комбат расхаживал перед ними, остановился и заговорил:

— Братья, вас родили разные народы и земли, вас кормили молоком разные матери. Но вы приехали сюда, повинувшись небу, каждый из вас слышал один и тот же голос — голос Всевышнего. Теперь все мы родные братья, у нас одна мать — наша вера, и один отец — пророк Мухаммед. Сейчас мы пойдём вперёд под огнём пулемётов, и не все дойдут до вершины. Тот, кто умрёт в начале атаки, первым попадёт в рай и будет встречать в раю тех, кто умрёт позже. И все шахиды, умершие во время атаки, станут встречать в раю тех, кто останется жить и проживёт долгую жизнь. Я всегда был с вами и буду с вами сейчас. Первым пойду в атаку. Дамаск ждёт вас, его прекрасные дворцы и мечети, его богатые магазины и красивые женщины. Аллах акбар! — он выбросил в верх кулак. Строй, громогласно, пылко, единым дыханием вторил: “Аллах акбар!”

Операторы шли вдоль строя, вели камерами, приближали их к лицам, молодым, страстно взирающим, побледневшим от предчувствия близкого чуда, боли, взлёта в сияющую бесконечность. О ней вещала им лазурь мечетей, синева небес, могучий и любящий голос Творца, который сотворил цветы и звёзды, города и дороги, людей и птиц, и требует от каждого лишь смерти в бою, чтобы дивное творение Господа не погибло, не померкло, одарило каждую жизнь несказанным блаженством. Оператор в синей блузе с серьгой в ухе вёл камерой от лица к лицу. Камера маленьким стеклянным хоботком выпивала с их лиц эту сладостную мечту, как пчела пьёт нектар, облетая цветок за цветком.

— За мной! — приказал комбат и стал упруго взбираться по склону, увлекая других. В его руках оказалось знамя — чёрное полотнище с белоснежной выщепшей надписью: “Аллах акбар”! Другое знамя, поменьше, с той же белой, похожей на виноградную лозу надписью, сжимал молодой боец с тонкой шеей, острым юношеским кадыком и маленькой бородкой на красивом лице.

Батальон лежал у обреза низины, скрытый от противника. Торобов поднимал голову, видя солнечное пространство седловины, по которой покатится атака. Ему казалось, в этой пустоте образовался таинственный коридор, невидимый световод, по которому побегут атакующие, помчатся горячие молодые тела, полетят души, излетевшие из убитых тел.

Чадила гарью удалённая вершина холма, золотился монастырский крест. Торобов не понимал, чьей неведомой волей он включён в чужую войну, в чужую атаку, одну из бесчисленных атак, где одни одухотворённые люди стремятся убить других. И что значит для его жизни эта смертоносная атака, в которую он был занесён, словно случайная песчинка? Кому расскажет он о ней? Перед кем покается?

— Аллах акбар! — прорычал комбат. Оттолкнувшись стопой, вскочил и, размахивая знаменем, тяжело побежал на склон. За ним молодо, ловко, с радостью и азартом, вскакивали бойцы и длинными скачками неслись наверх, выставив гранатомёты и пулемёты. Бежали операторы с камерами. Бежал Зольде с какой-то струящейся, змеиной стремительностью.

Торобов неловко поднялся, попытался бежать, но тут же задохнулся. Пошёл тяжело, пропуская мимо волну атакующих и молодого знаменосца, на лице которого сияла восхитённая улыбка.

Вал прошелестел, протопал, сильно продышал, и Торобов, отстав, видел, как течёт вверх поток атакующих, как вьются два знамени, блестит, удаляясь, оружие.

На вершине холма, на размытой кромке затрепетал огонёк пулемёта, следом другой, третий. Загрохотало, и в рядах атакующих началось смятение, несколько бойцов упало, их обегали, вокруг других останавливались, наклонялись, пытались помочь. Молодой знаменосец стал спотыкаться, падать, тянул ввысь знамя, а сам оседал, поворачивался вокруг древка, как вокруг оси. Рухнул, выпустив стяг. Комбат, развевая знамя, что-то кричал. И его крик, колыхание чёрного полотнища с белой вязью перестраивало лавину атаки. Гранатомётчики выстраивались в рваную цепь, пускали гранаты, которые летели к вершине, взрывались на кромке, глуша огневые точки. Пулемётчики пробегали сквозь их неровную цепь, открывали огонь, били от животов на бегу, рыхля и туманя кромку. Пока грохотали ручные пулемёты, гранатомётчики вставляли в трубы остроконечные гранаты и били по вершине, накрывали её вспышками и клубами разрывов. Пропускали сквозь свои ряды пулемётчиков. И всё это грохочущее, дымящее скопище удалялось от Торобова, приближаясь к вершине. Загудел, зарокотал, мешаясь с пулемётным грохотом, стоголосый рык: “Аллах акбар!” И весь склон, как упругая ткань, стал стягиваться к вершине. Было видно, как навстречу с вершины ринулся встречный поток, и оба потока смешались, спутались, стреляли, пронзали друг друга огненными иглами, сплпались в клубки, катились вниз по склону.

Торобов шёл туда, где редела рукопашная. Задыхался, без оружия, не понимая смысла своего восхождения, чувствуя влекущую его безымянную волю, от которой он не мог уклониться.

Тёмный ком стреляющих и орущих достиг вершины, перевалил и скрылся, и там, где исчезли люди, кануло чёрное знамя комбата, продолжали стрелять и реветь, окутывая вершину холма бледной солнечной пылью.

Торобов останавливался, тяжело дышал и снова шёл. Курт Зольде кружил по склону, указывая оператору в синей блузе, что ему должно снимать.

— Вот этого, с оторванной рукой! — он наклонялся и вкладывал в оторванную руку автомат. — Рука героя оторвана, но продолжает стрелять!

Подошёл к знаменосцу, потерявшему в падении знамя. На молодом лице всё ещё светила блаженная улыбка. Зольде вкладывал в мёртвые руки шахиды чёрное знамя, расправлял ткань, чтобы видна была священная надпись.

— Герой убит, но он не выпустил знамя. На лице его улыбка, потому что он видит рай.

Торобов сел, чувствуя, что сердце его может разорваться. Вокруг него на жухлой траве лежали убитые. Два или три человека пытались подняться и снова падали, замирали. Он заметил, что у его пыльного башмака расцвёл

крохотный синий цветочек, вестник весны. Его не затоптала атака, не затоптал пыльный башмак Торобова.

Торобов не боялся здесь умереть. Не боялся сгинуть, так и не выполнив боевое задание. Он боялся умереть, так и не поняв, почему он должен исчезнуть здесь, на чужой войне, на чужой горе, в одной из бесчисленных смертельных атак, результат которой не изменит мир, не изменит ход времён, не изменит рисунок небесных звёзд и лепестков цветка, что расцвел возле его пыльного башмака.

— Господин Торобов, теперь вы можете считать себя шахидом. — Зольде насмешливо смотрел на него, и рука его, та, которой он поправлял знамя, была в крови.

Зольде хищной трусцой побежал к вершине, где ещё звучали редкие выстрелы. А Торобов, одолевая немощь, продолжал восхождение, обрeday убитых, брошенный ручной пулемёт, зубчатую ленту. Ему казалось, он движется в незримом коридоре, который прорубила атака, накалила молекулы воздуха ударами пуль, предсмертными воплями, криками “Аллах акбар”, и эти молекулы продолжали светиться.

Вершина, куда он ступил, казалась срезанной, как срезают горбушку. В рытвинах, траншеях, в разбросанных зарядных ящиках, с двумя орудиями, вокруг которых громоздились пустые закопченные гильзы, с тряпьем палаток, с перевернутой вверх колёсам полевой кухней. Казалось, здесь прокрутился вихрь и умчался вдаль, где белесой линией тянулась дорога, сиял на соседней горе монастырский крест. Но в этом хаосе разбросанных и умерщвлённых предметов уже формировался порядок. Сидели на земле покурные, сокрушённые, взятые в плен “башары”, без оружия, с растёгнутыми воротниками, с расцарапанными, запылёнными лицами. Поодаль, собранные в груды, валялись их автоматы и пулемёты, напоминая ненужные, сломанные в работе инструменты. Тут же лежали убитые, выложенные в ряд, напоказ, лицами к небу, в мокрой от крови униформе, ещё не одеревеневшие, хранящие в телах последние предсмертные судороги.

По другую сторону толпились победители, распаренные рукопашной, торжествующие, не зная, куда деть неизрасходованную энергию истребления. Поглядывали на пленных, нетерпеливо стискивая ручные пулемёты. Так же в ряд лежали и наши убитые, воздев к небу заострённые молодые бородки, с такими же чёрными пятнами крови из сочащихся ран, будто в мертвецах всё ещё билось сердца, выталкивая не застывшую кровь.

Чёрное знамя, укреплённое в зарядных ящиках, вяло обвисло. Комбат что-то докладывал Курту Зольде. Было видно, как из-под его волос бежит по лицу красная струйка. Операторы кружили, как медлительные грифы, нависая камерами над убитыми, словно готовились выклеивать им глаза.

Торобов присел на зарядный ящик, слыша, как шлопало в нём дыхание, как жжёт в груди. Ему открылось ещё одно зрелище чужой победы и чужого поражения, и он не знал, как обойдётся с этим зрелищем. Не опишет в книге. Не расскажет друзьям и близким. Не изложит в донесении. Быть может, запечатает в дальнем чулане памяти, и оно будет являться в случайных кошмарных снах. Или принесёт на суд Господу и не сможет объяснить, почему он оказался на этой безымянной вершине, почему видит молодое, начинающее каменеть лицо с белым оскалом зубов, почему так тускло отсвечивает ствол автомата, истёртого о красноватую землю холма.

— Господин Торобов! — К нему приблизился Зольде и все с тем же исчезаящим артистизмом, словно он был театрал, попавший на любимый спектакль, произнёс: — Вас ждёт сюрприз. Среди пленных мы захватили русского советника. Хотите с ним побеседовать?

Зольде повел Торобова туда, где сидели пленные, испуганные, вжав головы, словно боялись побоев. Среди смуглых небритых лиц, черных тоскующих глаз Торобов увидел белесые волосы и голубые глаза человека, который сидел, ссутулив спину, снизу вверх смотрел на подходивших, мучительно сморщив лоб.

— Встань, — приказал Зольде, и человек, понимающий арабский, встал. — Поговорите с ним, господин Торобов, на родном языке. Из посторонних вас никто не поймёт. — Он отошёл, делая вид, что не желает мешать встрече двух соотечественников.

Пленный советник был худ, облачён в сирийскую форму без знаков различия, весь в красноватой пыли, которая высыхала на потном лице. Пыль была в ушах, в ноздрях, на веках среди белесых ресниц, в корнях волос, под ногтями больших грязных пальцев, на шее, в морщинах лба. Быть может, его обдало пылью от взрывов. Или он катался по земле во время рукопашной. В нём ещё kloкотал бой, но ярость боя была сломлена, воля растоптана, оружие вырвано из рук и лежало в бесформенной металлической гряде, над которой дрожал стеклянный воздух, как излетающий дух.

— Я полковник российской армии Торобов. Кто вы? Ваше звание, имя?

Пленный молчал, тоскливо водил глазами, не останавливая взгляд на Торобове. Смотрел на синеющую низину с дорогой, на соседние холмы с золотым монастырским крестом. Казалось, он хочет оттолкнуться от вершины, от уложенных в ряд убитых, от груды измызганных стволов и прикладов. Расшвырять в броске победителей, что угрюмо и нетерпеливо взглядывали из-под суровых бровей, ожидая, когда им вернут добычу — поверженных, лишенных воли врагов. Он оттолкнётся от вершины и взмоет, полетит над голубой равниной, над монастырскими главами с золотым сверканьем, туда, где тают последние снега, где весенняя лазурь в вершинах берёз, где на талых опушках распускаются голубые цветы.

— Повторяю, я офицер российской армии. Назовите ваше имя. Я сообщу российскому посольству в Дамаске. Оно вам поможет.

Пленный смотрел по сторонам, словно выбирал направление для своего броска и полёта мимо застывших орудий с грудями истрелянных гильз и чёрного с белой вязью флага. Или, огибая убитых, мимо конвоира с чёрной бородой и ручным пулемётом.

— Вас могут обменять или выкупить. Но для этого я должен знать ваше имя.

Пленный перестал водить глазами, остановил взгляд на Торобове и плюнул в него липкой жёлтой слюной. Торобов почувствовал ожог этой ядовитой слюны, которая текла по его щеке. Отёрся ладонью и отошёл, видя, как, стоя в стороне, смеётся Зольде.

Комбат с бинтом на лбу, сквозь который расплывалось пятно, что-то сказал солдатам. Вытянул из кармана платок и постелил его на истоптанную землю, среди рассыпанных автоматных гильз. И все его бойцы достали платки, растелили на землю и приготовились к молитве.

Пленные пугливо, не сразу, поднялись, стали стелить платки. Конвоир с пулемётом отложил оружие и постелил клетчатый мятый платок. И все, кто был на горе, стали молиться. Опускались на колени, падали ниц, касаясь лбами горы, разом разгибали спины, обращали ладони к небу, вставали и вновь, словно на них дул ветер, сгибались, опускались на колени, прижимались лицом к земле. Молились раненые, из которых сочилась кровь. Молился комбат, сжимая от боли глаза. Молились операторы, и у того, что был в артистической синей блузе, при поклонах вспыхивала в ухе серьга. Молился Зольде, постелив цветастую ткань. Оставались стоять Торобов и пленный советник. На лице Торобова горел ядовитый плевок.

Он смотрел на молящихся, которые недавно убивали друг друга, визжали и кружили в рукопашной, падали на землю, на которую теперь постелили молитвенные платки. Разделённые ненавистью и убийствами, они молились единому Богу, который любил их всех, присутствовал в каждом, возвращал от первых младенческих дней, материнских сосцов, одаривал счастливыми утренними пробуждениями, когда мир кажется перламутровым, любимым и любящим, и Бог окружает их нежностью и обожанием. Они зывали к Творцу, моля об одном и том же. О продлении жизни, избавлении от ран и страданий. О том, чтобы Творец простил их прегрешения, ожесточение сердец, забвение милосердия. И Творец в бездонной синеве слышал их всех, каждому посылал в сердце луч света.

Торобов своей страдающей душой, своей слёзной верой ждал, что воины, прозревшие в молитве, бросятся друг другу на грудь, станут обниматься, брататься, друг перед другом виниться.

Завершили молитву, встали, бережно складывали платки, пряча в карманах. Зольде встряхивал свой клетчатый плат и что-то говорил комбату. Тот тяжёлым шагом приблизился к пленным. Стал их строить, пересчитывая, тыкая каждому в грудь. Грубо оттолкнул советника. Три пулемётчика, опоясанные лентами, выступили вперед и сходу, от животов, ударили очередями, кося пленных. Те в грохоте очередей падали, с криком разбегались, а их разили пули, они заваливались, шевелились, а вокруг бурлила земля от бесчисленных попаданий.

Пулемёты смолкли, из стволов струились дымки. Пулемётчики устало отходили, не глядя на бугрящиеся трупы. Оператор в синей блузе снимал, задирая камеру к небу, словно провожал отлетающие души.

Торобов стоял потрясённый. Расстрел был ответом Творца на молитву. Пленного советника ударами прикладов гнали с горы.

— Не проголодались, господин Торобов? — Зольде приглашал Торобова к подкатившему джипу. — Ещё одно дело, и нас ждёт обед.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Джип, в котором ехали Торобов, Зольде и оператор с серьгой, съехал с горы. К нему присоединились два грузовика, полные боевиков. Попетляли по просёлку, выехали на шоссе и по серпантину стали подниматься на одинокую гору, где стоял монастырь. Его стены казались скалистой породой, выступавшей из горы. Четверик храма был увенчан синими главками с крестами, среди которых самый большой золотился на солнце. Подкатили к монастырским воротам. Деревянные, синие, с красными разводами ворота были закрыты. Боевики, соскочив на землю, стали стучать в ворота прикладами, стрелять в воздух, пока створки ворот не раздвинулась, и в щель выглянула седая кудрявая голова с кольчатой бородой. Боевики вытащили старика из ворот, растворили тяжёлые створки, и джип с грузовиками въехали в монастырь. Двор был пуст, повсюду были клумбы с цветами, пахло розами. Над входом в собор красовалась фреска Богородицы в голубом хитоне, с золотым нимбом. Младенец испуганно взирал на шумных вооружённых людей. Вдоль длинного кирпичного здания вела галерея, и по ней пробежали монахини, похожие на пингвинов, в чёрном, с белыми оторочками. Они провели пожилую монахиню, которой было трудно идти, и её вели под руки.

— Корова игуменья. — Зольде весело смотрел на убежавших монахинь, которые укрылись в здании. — В этом районе Сирии люди говорят на арамейском языке, на том, на котором говорил Иисус Христос. Давно хотел послушать молитву “Отче наш” на арамейском языке.

Они поднялись на ступени храма, отворили резную дверь с железным кольцом и вошли в церковь.

Бесшумно польхали голубые, падающие из окон лучи. Золотой иконостас струился, отекал сияющими ручьями, и тёмные иконы, казалось,плыли среди золотых вод. Столпы были обмотаны шелком и бархатом, тяжёлой, шитой серебром парчой. В серебряных, потемневших от времени подсвечниках теплились свечи. Лампады, как волшебные плоды, — алые, зелёные, синие — висели на серебряных ветвях. Было безлюдно, гулко, пахло сладкими дымами.

— Кто здесь есть? — Зольде приложил ко рту ладони, наслаждаясь гулким эхом.

Бородатые парни вытащили из-за алтаря тощего священника в клобуке и золотой епитрахили. На горбатом носу блестели очки, в них дрожали круглые от страха глаза.

— Святой отец, мы туристы. Узнали, что в вашем храме можно послушать молитву “Отче наш” на арамейском языке. Мало кому удаётся послушать эту молитву на языке самого Христа. Не могли бы вы её прочитать?

Священник топтался, смотрел на Зольде чёрными от ужаса глазами.

— Мы проделали такой длинный путь, чтобы услышать молитву. Читайте, святой отец!

Бородач ткнул священника стволом пулемёта. И тот, косясь на близкий ствол, стал читать. Слова гудели, дрожали, трепетали. Были непонятны своим древним звучанием, в котором открывалась восхитительная глубина, клубилась дивная тайна, и бабушка с умилённым взглядом, прекрасным любимым лицом, певуче повторяла: “Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли”.

Оператор в синей блузе снимал убранство храма, вёл камеру от лампы к лампаде, словно срывал плоды с серебряных веток.

— Какая красота, святой отец! Какое высокое переживание! Не хочу, чтобы чьи-нибудь недостойные уши слышали эту святую молитву! — Зольде выхватил пистолет и выстрелил священнику в переносицу. Проломил кровавую дыру, рассыпав вдребезги стекла очков. Священник упал головой в голубой поток света.

— Господин Торобов, служба окончена. — Зольде галантно поклонился, указывая на выход.

Под навесом галереи толпились боевики. На досках лежала голая игуменья. У неё был толстый раздутый живот и огромные груди. Казалось, у неё три головы. Её руки были разведены в стороны, два боевика наступили ей башмаками на запястья, и было видно, как шевелится из-под подошв её пальцы. Двое других развели её оплывшие ноги, не позволяли им дергаться. Была видна её косматая промежность, тёмная вмятина пупка. Очередной боевик стянул рубаху, приспустил штаны, навалился на неё. Она стала кричать.

— На арамейском, — проходя мимо, произнёс Зольде. Торобов отвернулся, чтобы не видеть женскую оплывшую ногу и гибкую, вздрагивающую спину боевика.

Они вернулись в город под вечер. Торобова разместили на верхнем этаже двухэтажного дома, в хорошо обставленной комнате, где было зеркало в резной раме, овальный стол с удобными стульями, мягкий кожаный диван. Видимо, дом принадлежал зажиточной семье, которая, страшась войны, покинула город. Торобова накормили ужином — горячей говядиной в сладком соусе, свежими овощами, принесли большой чайник с душистым чаем. С ним обращались предупредительно, служитель, принесший блюда, кланялся и улыбался. Но дверь оставляли запертой, внизу слышались голоса, звяканье оружия. Зато из комнаты на плоскую крышу вела лесенка. Торобов вышел на плоскую кровлю, где стояли горшки с засохшими цветами. Смотрел на вечерний город, на улицы, полные торопящихся людей с какими-то кулками и сумками, словно они куда-то опаздывали. На грузовики с боевиками. На мечеть с острыми, как веретёна, минаретами, которые уже были подсвечены зелёным. Он не знал, сколько его продержат взаперти, когда осторожный Фарук Низар откликнется на его зов, поверит ли ему. Или разгадает его хитрость, и ему суждена пуля на каком-нибудь глухом пустыре.

Ночью он проснулся от путающей мысли, что в своих расчётах он пропустил какое-то важное обстоятельство, забыл его включить в свой план. И поэтому план обречён на провал, ему грозит разоблачение. Проницательная разведка противника уже раскрыла его замысел. Жестокий артистичный Зольде играет с ним, забавляется, прежде чем замучить в застенке.

Торобов вскочил. Света не было. В окне была темнота. Нашукал перила лестницы, ведущей на кровлю. Поднялся и вышел на крышу. И понял, что именно он не включил в свои хитроумные расчёты.

Небо. Оно дохнуло необъятной ширью, распахнулось блистающим простором, осыпало его мерцаньем и блеском. Звёзды — белые, голубые, зелёные — дрожали, текли, сливались в пылающие сгустки, растворялись и тонули в туманностях. Орнамент звёзд проступал небесной геометрией, словно их соединяли горящие линии. Другие звёзды размыто тонули в голубых туманах. Небо волновалось, трепетало, по нему пробегал ветер, и звёзды казались отражениями на чёрных волнах. Небо замирало, и звёзды, драгоценные, как бриллианты, горели бессчётными россыпями.

Торобов, запрокинув голову, смотрел на небо. Оно не было включено в его построения. Неба недоставало в его замыслах, где присутствовало множество деталей и мелочей, но отсутствовало главное — небо.

Как оно соотносится с той пулей, что ударила в баранью тушу на багдадском рынке? Как соотносится с убитым знаменосцем, чьи побелевшие кулаки сжимали древко, а на лице застыла блаженная улыбка? Как оно соотносится с грохочущими пулемётами, что валили наземь пленных солдат после их молитвы? Как соотносится небо с убитым священником, лежащим в потоках голубого света? Как соотносится с толстой женской ногой и дрожащими мужскими ягодицами?

Утром Торобова разбудил шум моторов, бравурная музыка, крики. Выглянул в окно. По улице катили грузовики с вооружёнными людьми, развевались чёрные знамена с белой вязью. Работал громкоговоритель, установленный на легковушке. По тротуарам торопился народ, все в одну сторону, туда, куда звала музыка маршей, катили грузовики со знаменами.

Вошёл Зольде, в бархатной куртке, с голубым шарфом, перетянутый ремнём, на котором висела кобура. Он походил на бутафорского персонажа революционных фильмов, в которых действуют анархисты и лихие налётчики. Его утончённое лицо было бледным, синие глаза мерцали, словно в них закапали возбуждающие капли, на тонкой переносице у глаз проступили синие жилки.

— Господин Торобов, имею для вас приятное известие. Фарук Низар ждёт вас в Катаре. Сегодня мы отправим вас в Иорданию, и оттуда вы прилетите в Доху. Вас будут встречать. Я приготовил вам церемонию прощания. Машина внизу.

Народ густо толпился, прижимаясь к нарядным домам, в которых, по всей видимости, размещались муниципальные учреждения и на фасадах которых висели флаги. Цепь автоматчиков отсекала толпу от площади, в центре которой красовалась алебастровая чаша, быть может, остатки заглошшего фонтана. На этой чаше был сооружён помост, обтянутый зелёной тканью, тесно, плечом к плечу, стояли бородачи зверского вида с автоматами, положив пальцы на спусковые крючки. Перед чашей была сложена поленица из кривых брёвен, напоминавшая колодезный сруб. Японский подъёмный кран вытянул вверх стрелу, с которой на лебедке свисал огромный железный крюк. Этот крюк был начищен до блеска, сиял на солнце, и было видно, что его чистили старательно, как мастера высокого класса чистят и холят свои любимые инструменты. Торобова подвели к алебастровой чаше и поставили рядом с другими людьми, полевыми командирами и городскими чиновниками, кто в камуфляже, кто в гражданской одежде, кто в арабских платках, охваченных чёрными шнурами.

Площадь кольхнулась, толпу качнуло в одну сторону. Все головы, бородатые, в платках, пятнистых картузах, хиджабах, в металлических касках, повернулись к улице, из которой донёсся рокот мотора. Тяжёлый грузовик с открытым кузовом медленно въезжал на площадь. Грузовик был украшен зелёными трепещущими флажками. В кузове с откинутыми бортами стояла железная клетка, и в ней, в оранжевой долгополой хламиде, держась за прутья, стоял человек. Рядом с клеткой, в чёрных балахонах, в масках с прорезями для глаз, застыли существа, похожие на обитателей подземного царства. Ярко-оранжевая хламида и чёрный цвет балахонов создавали зловещий контраст, от которого у Торобова заныло сердце. В человеке, облаченном в оранжевую хламиду, он узнал пленного советника, который вчера плюнул ему в лицо. И теперь он чувствовал ожог на лице, смотрел, как грузовик медленно разворачивается на площади, приближаясь к подъёмному крану, а телеоператоры снуют вокруг, наводя телекамеры.

Грузовик пятился, сверкающий крюк нависал над клеткой. Чёрные существа махали крановщику, подтягивали крюк к железной, закреплённой на клетке серье. Лебедка заработала. Клетка закачалась в воздухе. Грузовик отъехал, а кран повёл стрелой, и клетка очутилась над поленицей, медленно раскачивалась.

Торобов видел, как советник дико водит глазами, смотрит на отточенный клык, на солнечную площадь, заполненную гудящей толпой, ищет среди неё хоть одно сострадающее лицо и не находит.

Курт Зольде с красным мегафоном в руках молодцевато взбежал на помост, оказался в центре чаши и замер, напоминая скульптуру фонтана. Поднес мегафон к губам и надрывно, яростно, мелко сотрясаясь от страсти, стал выдувать из мегафона лающие слова:

— Во имя Аллаха милостивого и милосердного! Вчера в бою мы победили сильного врага, который превосходил нас числом, но не превосходил отвагой и верой! Аллах даровал нам победу, ибо он благоволит к верным, бесстрашным и побеждающим! Среди тех, кто стрелял из пулемёта в наших шахидов, кто срезал пулей нашего знаменосца, приехавшего из Йемена поддерживать нашу священную войну, среди них был этот русский! На них падет гнев Аллаха! Сегодня мы выполняем волю Всевышнего и заповедь пророка об огне очистительном! Господь дал нам в руки свой священный огонь, чтобы мы превратили в пепел заражённую плоть, которая распространяет заразу по всей земле! Смерть русской собаке! Аллах акбар!

Зольде проревел эти слова, срываясь на визг. Воздел красный мегафон к небу. И вся площадь взметнула кулаки, автоматы, единым рыком выдохнула: “Аллах акбар!”

Торобов чувствовал тяжёлую плотную ненависть, от которой над площадью вихрилась пыль, плескались чёрные флаги, качалась железная клетка. В ней обессиленный от этой ненависти человек в оранжевой хламиде упал на колени.

Из толпы сквозь строй автоматчиков выбежал мальчик в розовых шароварах, в вязаной шапочке. На его маленьком смуглом лице сверкали чёрные ненавидящие глаза. Он подбежал к клетке, кинул камень. Камень звякнул о железо и упал на землю, а мальчик, отбегая, грозил кулачком.

Существа в чёрных балахонах с прорезями для глаз и ртов забегали вокруг пленницы, выплескивая на неё из канистр желтоватый бензин. Один кинул зажигалку. Пламя шумно полыхнуло, охватив дрова, клетку. Пленный отшатнулся от огня в одну сторону, ударившись о железные прутья, а потом в другую, заслоняясь от огня локтем.

Пламя рвалось в клетку, пронизывало насквозь решётку. Пленный с криком метался, кружился волчком, отрывал от пола босые ноги. Его оранжевая хламида горела, обнажилось голое тело, на котором дымились клочья лишней материи.

Торобову казалось, что его собственная кожа покрывается волдырями, на ступнях взбухают полосы ожогов, волосы дымятся. Не отводя глаз от ужасной казни, он вдруг понял, что убьёт, точно и беспощадно, дотянется стреляющей рукой до ненавистного лица. Отыщет Фарука Низара в стальном бункере, на подводной лодке, на молитвенном коврике, в объятьях женщины, на смертном одре. Божественное предназначение его, Торобова, жизни — детства и юности, сиреневой колокольни, бабушкиных сказок, маминых акварелей, обожающего взгляда жены, главная цель его жизни, ради которой он появился на свет, — убить Фарука Низара. Увидеть, как входит пуля в его бледный, над пушистыми бровями, лоб.

Советник страшно кричал, хрипел, матерился. И вдруг силло запел: “Эх, мороз, мороз, не морозь меня!” Издал рыдающий вопль: “Прощайте, мужики!” — и упал, бился на раскалённых прутьях, затихал среди треска и гула.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Он прилетел в Катар ночным рейсом компании “Эмирейте”. Покинул стеклянный прохладный аэропорт, очутился в душной маслянистой ночи с запахами тропических растений и близкого моря. Пальмы шевелили своими косматыми перьями в ночном жарком ветре. Фары машин отражались в асфальте, словно он был покрыт масляной плёнкой.

Он остановился в отеле “Краун плаза”. В номере достал из холодильника ледяное пиво и пил, глядя в просторное окно на ночную Доху. Небоскрёбы переливались, как разноцветные льдины. Стеклообразные, уходящие в небо стебли переплетались друг с другом. Кристаллы самоцветов дышали алым, золотым, голубым сиянием. Прозрачные колбы, висящие в небе шары были наполнены пылающей плазмой. Поднимались фантастические светящиеся грибы. Загоралось золотое перо, оброненное невидимой птицей. В чёрном небе распускался алый бутон, превращаясь в огненный мак. Небоскрёбы толпились, мерцали, менялись местами, кружились в колдовском танце, и на каждом загоралась бриллиантовая корона, изумрудный плюмаж, голубая, лунного цвета чалма.

Торобов смотрел на город, но его красота не трогала. Здесь, среди танцующих небоскрёбов, хрустальных чаш и поднебесных фонтанов находился тот, кого он должен убить. Эта мысль, спокойная и холодная, как канал ствола, управляла теперь его волей. Его погоня окончена, он будет ждать, когда тот, кого он должен убить, появится перед ним.

Зазвонил телефон:

— Господин Торобов, с прибытием в Доху. Меня зовут Абу Ясир, я помощник Фарука Низара. Фарук просил передать, что с нетерпением ждёт встречи. Но она состоится только послезавтра. Завтра после девятнадцати я приеду к вам в отель, и мы познакомимся.

Они пили кофе. Торобов смотрел, как плавно, вверх и вниз, движется капсула лифта, похожая на драгоценный кристалл. Абу Ясир был худой араб с чёрным, почти негритянским лицом. Вместо щёк у него были ямы, на дне которых скопилось тьма. Верхняя губа была рассечена, неровно срослась, не прижималась к нижней, открывая искусственные, слишком белые зубы. Руки были в розовых пятнах от ожогов, с искривленными пальцами. Глаза с желтоватыми белками смотрели остро, пристально, с едва заметным отчуждением.

— Фарук Низар просит прощения за то, что не смог сразу повидаться с вами, господин Торобов. Очень важные дела, с утра и до вечера.

— Катар сегодня — место деловых свиданий. Финансовый центр, штабквартира ЦРУ, отделение “Рэнд корпорейшен”, американское военное командование. Я бы и сам был не прочь побывать во всех этих ведомствах.

— Фарук Низар лечится после контузии. Ведёт переговоры о поставке госпиталей. После налётов русской авиации очень много раненых и калек.

— Миссия, которую я выполняю, связана с прекращением бомбардировок.

— В чём суть ваших предложений? Познакомьте меня в самых общих чертах. Содержание их вы расскажете Фаруку Низару при встрече. Но он хотел бы знать общее направление беседы.

— Речь идёт о договоренности между руководством России и вашим руководством. Россия готова прекратить бомбардировки и вывести из Сирии свои самолёты. Вы же должны дать заверения, что прекращаете террористическую деятельность на территории России, на Кавказе и в Средней Азии.

— Если бы это было так просто. В этой игре столько участников.

— Я не берусь исследовать эту проблему. Знаю, что халифат без священного камня Каабы, без Мекки и Медины не имеет своего священного смысла. Туда, в Саудовскую Аравию будет направлен вектор вашей экспансии.

— Кто уполномочил вас вести переговоры? Кто за вами стоит?

— Генеральный штаб. Но вы понимаете, что за Генштабом стоит высшее политическое руководство. Не исключаю, что такие же переговоры ведутся и по другим каналам, помимо меня.

— Возможно. — Абу Ясир замолчал и, казалось, забыл о Торобове. Драгоценный кристалл лифта двигался вверх и вниз, ненадолго замирая на месте.

— Когда я увидаюсь с Фаруком Низаром? — нарушил молчание Торобов.

— Завтра утром. Он приглашает вас покататься на квадрациклах по пустыне. Это его любимое развлечение. За вами в шесть утра заедет машина. За рулём шофёр, алжирец, Махмуд. Он вас найдёт в холле. Не пытайтесь

с ним разговаривать. Он глухой. В Абу-Грейб ему разбили барабанные перепонки. — Абу Ясир посмотрел на свои обожженные руки с искривленными пальцами.

На другой день машина подкатила к тенту, где на площадке стояли в ряд квадрациклы, жёлтые, чёрные, красные, отливая стеклом и хромом. К машине подскочил служитель и стал жестикулировать, показывая на квадрациклы, на бархан, на синюю зарю. Алжирец рукой подозвал Торобова, указал на заднее сидение жёлтого квадрацикла. Служитель вручил обоим защитные очки. Алжирец таяжко плюхнулся на переднее сиденье. Завёл мотор, и они вынеслись из-под тента на волю.

Волна песка подхватила машину, и та рванулась вверх, рыхля мягкую борозду. Пахнуло сладким ароматом, окружило пышными ворохами. Они вознеслись на гребень, где бархан превращался в тугую лопасть с отточенной кромкой, в которой застыл вихрь ветра. Лопасть кольхнула машину, закрутила в вираж. Квадрацикл обвалил язык песка, ухнул в седловину и с ревом стал взбираться на другой песчаный бугор. Рыхлил шелковистую гору, взметал фонтаны песка. Песчинки стучали в стекла очков, кололи щеки. Машина взлетела на бархан и тут же ухнула вниз, так что захватило дух. Пронеслась в свободном полёте и мягко ударилась четырьмя колесами о дно седловины. Упрото подскочила и помчалась, кренясь, чиркая бархан двумя колесами.

На вершине открылась бескрайняя пустыня с зарёй, с морем, с белой бахромой прибоа. Торобов, вцепившись в рукоятки, видя перед собой могучую спину алжирца, готовясь к заветному выстрелу, восхитился стихией моря, песка и неба. Сюда, после всех виражей и кружений, принесла его отточенная лопасть судьбы.

Он увидел на отдалённом бархане другой квадрацикл с наездником. Маленькое пятнышко на белой глади песка. Алжирец повернул машину в сторону удалённого наездника и погнал её. Торобов различил чёрно-красный узор машины, ездока в белой рубашке и очках. Тот тронулся с места. Помчался, разрезая склон, вздымая бурун.

Они летали по пустыне, взмывали к небу и рушились в мягкие впадины. Пустыня нежно волновалась вокруг, словно множество обнажённых женщин с округлой грудью, мягкими животами, плавными бёдрами нежилось под зарей. Заря расцветала, в ней появлялись розовые и жёлтые нити, пески белели, светились, из них исходило сияние. Два квадрацикла бешено гонялись один за другим, выписывая вензеля. Чёрно-красная машина взмыла на вершину и встала. Жёлтый квадрацикл, глуша мотор, подкатил и встал рядом. Наездник чёрно-красной машины спустился с седла, снял очки, и Торобов узнал Фарука Низара.

Он уже не был тем молодым щеголеватым майором иракской армии с пушистыми бровями, наивным романтическим взором, с милой улыбкой на пунцовых губах. Его лицо было коричневым, обветренным и обутленным неведомым жестоким огнём. Этот огонь вытопил всю его свежесть и молодость, оставил на лице вмятины, морщины и складки. Жёсткая бородка прикрывала рубец под нижней губой. Глаза были жёсткими, насмешливыми, они были окружены трещинами тёмных морщинок. И только брови оставались густыми, пушистыми, уцелевшими от пламени.

— Здравствуй, дорогой Леонид, — произнёс Фарук Низар, шагнув навстречу. Торобов покинул седло. Почувствовал, как тяжёлые руки алжирца ощупывают его с головы до пят. Алжирец вытянул из-под ремня у Торобова кольт, показал его Фаруку Низару и сунул себе в жилетку. — Здравствуй, дорогой Леонид!

Они обнялись, коснулись друг друга щеками. Торобов, чувствуя сухую коросту его лица, видел за его спиной лазурное море, белые валы пустыни и зарю, которая из синей становилась жёлтой и розовой. В ней расплавилась золотая жилка.

— Сколько же лет мы не виделись, дорогой Фарук? Сколько времени прошло с тех пор, как мы сидели на берегу Тигра и вкушали чудную, испечённую на углях рыбу? А наша поездка в Вавилон? Твоя милая жена пока-

звала нам этих гончарных чудищ с лапами орла, головой льва и хвостом змеи. И ты пророчески заметил, что это образ грядущего 21-го века. Скажи, как поживает твоя очаровательная жена и твой смысленный талантливый сын?

— Жену и сына убила американская крылатая ракета, когда они по моему настоянию покидали Багдад. А вавилонских чудищ скололи со стен американские солдаты и продали на чёрном рынке. Ты видишь, я был прав. Наш век имеет когти грифа, башку рыкающего льва и жалящий хвост змеи.

— Прими мои соболезнования, Фарук. Американские крылатые ракеты летают по миру, как ядовитые осы. Смертельно жалят детей и женщин. Знаю, ты много вынес за эти годы. Больше нет благоденствующего Ирака, нет уютных семейных очагов.

— Нас погубили не крылатые ракеты американцев. Нас погубили предатели в гвардии и разведке. Саддам Хусейн до последнего не верил, что его предадут любимые генералы. Что они пустят американцев в Багдад. Он не верил даже тогда, когда на него надевали петлю. Что может быть страшнее, когда друг уверяет в дружбе, а сам замышляет убийство? Не так ли, дорогой Леонид?

— Но ведь ты сражался. Тебя они не купили. Тебя не сломили.

— Меня взяли в плен под Киркуком. И я год просидел в Гуантанаме вместе с моими друзьями-офицерами. Нас пытали, выведывали сведения о подполье, куда ушла часть патриотов разведки. Мне вкалывали препараты, от которых голова становилась огромной, как земной шар, и в ней клубились кошмары, страшнее которых я ничего не знаю. Я согласился сотрудничать с американцами, как и некоторые мои друзья. Американцы завербовали нас, создали сеть диверсионно-разведывательных групп и перебросили в Сирию. Они дали нам деньги, оружие, и мы начали войну против Башара Асада. Но очень скоро мы истребили наших американских кураторов и с помощью богословов, историков и гениев разведки создали то, что теперь зовется “исламским государством”. Оно лишь отчасти дело рук человеческих. Аллах вдохнул в него свою волю, и оно непобедимо. Можно разгромить ракетами и бомбами колонну машин на дороге, но Аллах не боится ракет и бомб. Мы непобедимы, как непобедим Господь.

— Мне казалось, Фарук, что ты не отличался особой религиозностью. В наших разговорах мы никогда не касались богословских тем. Ты не ходил в мечеть.

— Моя мечеть — Гуантанамо. Туда тыходишь безбожником, а выходишь воином Аллаха. Нас всех, потерявших Родину, переживших предательство, похоронивших любимых и близких, посетило откровение. Всех разом, всех мучеников и героев. Мы преображённые люди, которым был явлен Бог. Нас миллиарды, мы населяем все континенты, и нашими смертями и подвигами сотворяется “исламское государство”.

— Но с вами воеет жестокий изощрённый Запад. Он знает все ваши слабости, все ваши уязвимые места. Он направит на вас все свои военные технологии, все ухищрения. Он перессорит вас, внедрит в ваши ряды предателей, заразит смертельными болезнями.

— Миллиарды людей на земле проснулись от сна. Им всем явился Аллах. Им всем открылось учение о божественной справедливости. И они не боятся за неё умереть. Мы не боимся умирать, а люди Запада боятся смерти. Они боятся потерять свои дворцы, бриллианты, дорогие кушанья, развратные удовольствия. Они больше не верят в бессмертие. Мы знаем, что смерти нет. Смерть — это точка преломления, через которую проходит луч света, покидая землю и попадая в рай. Так думают тысячи шахидов, которые сметут безбожный кровавый Запад.

— Я это знаю, Фарук. Это знают российские генералы, дипломаты, политики. Это знает наш президент. Мы не хотим быть союзником Запада в этой священной войне. Мы столетиями страдаем от Запада, который желает нам смерти. Меня послали к тебе высокие представители российской власти. Быть может, сам президент. Россия и “исламское государство” должны заключить договор. Мы не должны воевать друг с другом. У нас один безбожный враг, и единый Бог, взирающий на нас из лазури. Я искал тебя,

чтобы начать переговоры о прекращении военных действий. Дело наших разведок — наладить контакты и передать эти контакты политикам.

— Дорогой Леонид, я смотрю на твоё лицо, смотрю в твои глаза. Вспоминаю, как мы ели печёную рыбу на берегу Тигра, а рыбаки тянули из реки свои сети. И я не верю тебе. Ваши самолёты бомбят нас. Ваши советники воюют в войсках Башара Асада. Вы потеряли лицо, забыли о божественной справедливости. Стали жалким хвостом шелудивой американской собаки. Как и Запад, коварны, ненавидите нас, желаете нам смерти. Ты принёс мне не священные тексты, а кольт.

Заря становилась красней, в ней плавилось золото. Над пустыней летели духи света. Барханы отбрасывали зыбкие тени. Море голубело, и прибой казался лебединой стаей, которая плыла вереницей вдоль берега.

— Это не так, Фарук.

— Это так, дорогой Леонид. Ты искал меня не для того, чтобы начать переговоры о мире. Ты искал меня, чтобы убить. Но теперь тебе кольт не понадобится. Израильская разведка, к которой ты обратился за помощью, очень коварна. Ни один еврейский самолёт не взлетел с аэродрома Хайфы, и ни одна еврейская бомба не упала на “исламское государство”. А “исламское государство” не взорвало ни одной синагоги.

— Ты хочешь сказать, что Шимон Брауде рассказал тебе о нашей московской встрече?

— Израильская разведка запустила свой корень в разведку НАТО и в спецслужбы Бельгии. Брюссель не то место, где следует обсуждать с аналитиками НАТО местопребывание Фарука Низара.

— Джереми Апфельбаум рассказал тебе о нашей встрече в Бельгии?

— Тебя могли застрелить ещё в Брюсселе, на улице “красных фонарей”. Но тебя пощадил. Не хотели, чтобы тело русского разведчика было найдено в кровати у старой проститутки.

— Ты хочешь сказать, что ты контролировал мои перемещения? И мою поездку в Триполи?

— Там тебе немного помяли бока, но оставили жить.

— А в Ливане? Ты умышленно взорвал не меня, а моего друга Гассана?

— Здесь тебе повезло. Наша ячейка в Баальбеке проявила неосторожность, и произошёл взрыв. Всевышнему было угодно, чтобы ты уцелел, и поэтому мы встретились после долгой разлуки.

— А мой визит в Каир? “Братья мусульмане” — это тоже твои агенты?

— Они бы могли застрелить тебя на площади Тахрир во время общей смуты. Но они не получали такого приказа.

— Вряд ли мой друг Хабаб Забур в Газе входит в твою организацию “Меч пророка”.

— Всем мусульманам, которые восстали во имя справедливости, пророк вложил в руки свой меч. И тем, что сопровождали тебя в Багдаде и на рынке, решили передать от меня привет. И в Стамбуле, где ты не устоял перед женской красой и получил сердечную рану. В Сирии ты решился на последнее средство, отважно передал себя в руки нашей разведки. Курт Зольде спрашивал меня, какую казнь для тебя избрать. Отсечь голову, залить её жидким стеклом и отправить в Москву? Или нарядить тебя в оранжевую тогу и сжечь в железной клетке? Я попросил не лишать нас долгожданного свидания. И вот, наконец, мы вместе.

Край неба горел. Над пустыней летели золотые лучи — предтечи солнца. Все ликовало, сверкало. Пустыня волновалась, словно под белой простыней просыпались молодые прекрасные женщины.

— Значит, я проиграл, дорогой Фарук? Меч пророка в твоей руке?

— Вы все проиграли. Над вами занесён меч пророка. Мы готовим в Москве одновременные взрывы на всех московских вокзалах. Одиннадцать электричек прибывают на вокзалы, и когда их покинут пассажиры и пойдут толпой по перрону, грохнут взрывы. Одиннадцать взрывов превратят Москву в ад. Это будет возмездием за налёты вашей авиации. Одиннадцать шахидов готовы взорвать себя, и им уже уготовано место в раю. Этот план я разрабатывал несколько месяцев. Он осуществится через неделю.

— Зачем ты мне об этом сказал, Фарук? Это ставит под угрозу всю операцию.

— Нет никакой угрозы. Ты об этом никому не скажешь. Ты будешь сейчас убит. Махмуд застрелит тебя, закопает в песок. Солнце пустыни выпьет всю влагу из твоего мёртвого тела. Ты превратишься в пергамент. В кумранский свиток, который обнаружат археологи через несколько столетий.

— Ты победил, Фарук. Исламское государство победило.

— Ты мужественный человек, Леонид. Нас связывала дружба. Хочу, чтобы ты оставил о себе память. У Махмуда есть твоя фотография. Распишись на ней.

Фарук Низар сделал знак алжирцу. Тот извлёк из кармана лист бумаги с изображением Торобова. Протянул Фаруку Низару. Тот расправил листок, положил на сиденье квадрацикла. Стал рыться в карманах в поисках авторучки.

Над кромкой песков показалось маленькое красное солнце. Лист бумаги с лицом Торобова стал красным. Море стеклянно сверкало. Лебеди в прибое были розовыми. Пустыня ликовала, светилась каждой песчинкой.

— Не ищи. Фарук. У меня есть своя авторучка. — Торобов извлёк из кармана авторучку с надписью “70 лет Победы”. Это был однозарядный пистолет с одиночной пулей, которая выстреливала после нажатия кнопки. Торобов приблизил авторучку ко лбу Фарука Низара, чуть выше его пушистых бровей, и нажал кнопку. Увидел на конце авторучки клубок огня. Пуля вошла в лоб, брызнув красными каплями. Фарук раскрыл глаза так широко, словно хотел поместить в них всё небо. Стал падать с бархана, заматываясь в белый саван песка.

Торобов услышал за спиной выстрел. Огненная боль пронзила его, прошла сквозь всё тело в голову. В голове полыхнуло и померкло.

Он все падал и падал на сухие цветы гортензии, полные снега. Видел восхищенным взором лазурное крыло взлетающей сойки. Упал, ломая сухие цветы. Утонул лицом в мягком снегу. В кармане его полушубка раздался телефонный звонок. Но Торобов не слышал звонка. Телефон звонил ещё несколько раз, а потом перестал. Торобов лежал лицом вниз, снег таял у его губ и лба. К вечеру, когда ударил лёгкий мороз, тальй снег у лица замёрз. Когда наутро приехали дети и подняли его, на снегу остался ледяной отпечаток лица, как стеклянная маска.

ДМИТРИЙ МИЗГУЛИН



НИЧЕГО УЖЕ МЕНЯТЬ НЕ НАДО

* * *

Встанешь утром — в городе зима.
Всюду, как нечаянная милость,
Снега кружевного кутерьма
Облаком на землю опустилась,

Будто бы и не было тоски,
Будто бы и не было печали...
А вчера сжимала боль виски,
А сегодня всё опять в начале.

Не копи обид в своей душе,
Не меняй любовь и страсть
на жалость,
Торопись, сердешный, ведь уже
Слишком мало времени осталось,

Отрешись на миг от суеты,
Не ищи звезду на дне колодца,

МИЗГУЛИН Дмитрий Александрович родился в 1961 году в г. Мурманске. Автор пятнадцати поэтических книг. Член Союза писателей России. Академик Петровской академии наук и искусств, Российской академии естественных наук. Кавалер ордена Преподобного Серафима Саровского РПЦ и различных литературных премий. Сопредседатель Попечительского совета альманаха "День поэзии — XXI век". Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области культуры. Живет в Ханты-Мансийске.

Жизнь, у Бога взятую взаймы,
Отдавать когда-нибудь придётся.

И, конечно, лучше бы зимой
В умиротворенье снегопада
В миг, когда за сумрачной стеной,
Ничего уже менять не надо.

* * *

Завтра уезжаю в никуда,
Ждут меня чужие города,
Ждёт гостиниц призрачный уют,
Ждут дела. Чужие люди ждут.

За окном сиреневая мгла,
Мне хотелось, чтоб и ты ждала,
Позвонила в чуткой тишине —
Где ты, милый? Скоро ли ко мне?

Только ты молчишь, и я молчу.
В круговерти сумрачной лечу,
Гаснут звёзды, стынут облака
Далека дорога, но легка.

Проще в этой жизни одному
Превозмочь полуночную тьму,
Тускло светят звёзды в вышине.
Ну а ты опять придёшь во сне,
Улыбнёшься, за руку возьмёшь
И в тумане звёздном пропадёшь.

* * *

Век наш суматошный и железный
Упростил и помыслы, и сны,
Знаем всё, что вредно и полезно
Для себя, для мира, для страны.

Голубая кружится планета,
Человек давно не смотрит ввысь
И уже давно без интернета
Бедному ему не обойтись.

Стали мы устойчиво угрюмы,
И суждения — вскользь и невпопад,
И на всех одни и те же думы,
И у всех один и тот же взгляд,

И живём, печалюсь и мучаясь,
В суматохе очень важных дел,
А Господь совсем иную участь
Каждому из нас предусмотрел,

Чтоб мы шли к нему, греша и каясь,
В ожиданье Страшного суда,
Обретя нечаянную радость,
Утолив печали навсегда.

* * *

Не пишу. Не звоню. Забываю
О любви бестолковой своей,
По весеннему парку гуляю,
Наблюдаю весёлых людей.

Как легко быть на свете счастливым
В жёлто-розовом царстве весны —
Хлопнул рюмку, добавился пивом,
И развеялись зимние сны...

И блистает бездонное небо,
И мерцает на дне бытиё...
И ни зрелищ не надо, ни хлеба,
Устаканилось сердце моё.

* * *

Везде и всюду проявлял участие,
Кружился в суматохе важных дел,
Теперь не надо ни любви, ни счастья,
Всего того, что раньше так хотел.

И всё, к чему мечтательно стремился,
В мгновенье ока обратилось в прах,
Смотрю, как мягко лунный свет разлился,
Как звёзды растворяются в волнах.

Забудутся и праздники, и даты,
Всё заглушил мятущийся прибой,
Не верится теперь, что я когда-то
Тебя любил и был любим тобой.

И жизнь моя бескрайняя, как море,
Где нет друзей, любимых и врагов,
Ни радости, ни веры и ни горя,
Плыву один вдоль дальних берегов...

И буду счастлив даже и тогда,
Когда шугой покроется вода...

* * *

Ты не беспокойся.
Время — лучший врач.
Заходи — не бойся,
Уходя — не плачь...

Что там скажут люди —
Никому не верь,
Сердце не остудит
Снегопад потерь.

Лишнее отстанет,
Сгинет не спеша,
Сердце не обманет,
Не предаст душа.

Путь блистает Млечный,
В жилах стынет кровь,
Всё пройдет, но вечны
Вера и Любовь.

И не беспокойся —
Время — лучший врач.
Заходи — не бойся,
Уходи — не плачь.

* * *

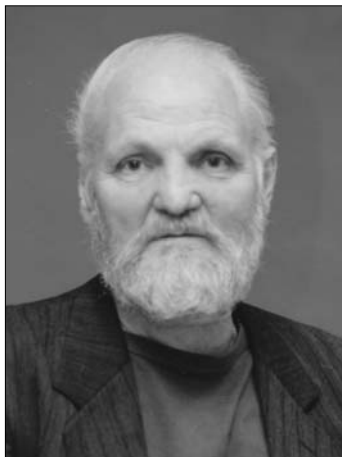
Снежные сумерки тают,
Звёздная даль высока,
Сердце моё остывает,
Как остывает река.

Стынет во мне под шугою
Льдом безвозвратных потерь —
Близкое и дорогое
Стало ненужным теперь.

Заледенеют печали,
Заиндевет река,
На опустевшем причале
Будет утрата легка.

Благоговейно внимаю
Шёпоту стынувших вод...
Я успокоился. Знаю,
Скоро это пройдёт.

ВЛАДИМИР КРУПИН



С УТРА ПОРАНЬШЕ

ЗАПИСКИ РАЗНЫХ ДНЕЙ

Встанешь пораньше — подальше шагнёшь. Кто раньше встаёт, тому Бог подаёт. И других таких пословиц о пользе раннего вставания много. А моя эта привычка вставать рано в самом прямом смысле спасала всю мою московскую жизнь.

Москва. Московская интеллигенция оживляется к вечеру и звонит другу другу до самой поздней ночи. А потом кто спит, кто дрыхнет, кто и звонить продолжает.

И я никак не мог войти в такой ритм жизни. Уже часам к десяти-одиннадцати вечера ничего не соображал. То есть соображал, но не настолько, чтоб вести умные обсуждения. Так честно и говорил: “Простите, но я сейчас ничего не соображаю. (Некоторые могли думать, что я выпивши.) Позвоните утром. — А когда утром? — Часов в шесть-семь”. Так вот, сообщаю: никто и никогда мне утром часов в шесть-семь не позвонил. И получается, что московская интеллигенция — это сплошь ночные совы, а я — залетевший в столицу вятский жаворонок.

И в природе (ранняя роса к ведру, ранняя весна — много воды, ранняя птичка носик чистит, то есть уже покушала, а поздняя глазки продирает, утренники побили ранники, то есть весенние заморозки стубили всходы ранних овощей, рано пташечка запела, как бы кошечка не съела...) и в жизни (раннего гостя не бойся, он до обеда, рано татарам на Русь идти; на работу рано,

КРУПИН Владимир Николаевич родился в 1941 году в Вятской земле. Служил в армии, окончил Московский областной пединститут. Автор многих повестей и рассказов, романа “Спасение погибших”, путевых заметок о Ближнем и Среднем Востоке, о Константинополе. Автор “Православной азбуки”, “Детского церковного календаря”, книги “Русские святые”. Лауреат Патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия. Печатается в нашем журнале с 1972 года. Живет в Москве.

а в кабак самая пора; работать поздно, спать рано, а в кабак самое время; молодому жениться рано, а старому поздно; богатые раньше нашего встали, да всё и расхватали; не то беда, что рано родила, а та беда, что поздно обвенчалась; всем там быть, кому раньше, кому позже; такая рань — и пехухи не пели...) всё в защиту рани-ранней.

Когда в детстве я или кто из братьев долго спали, мама шутила: “Проспали всё Царствие небесное”, — а отец выражался проще и доходчивей: “Девки-то уж все ворота обмочили”.

Интересно, что тот, кто просыпался позднее, вставал и продираал глаза гораздо дольше, чем тот, кто вскакивал раньше. То есть, говоря опять же вслед за мамой, не растягивался. Хотя потянуться до хруста в суставах было очень полезно. Маленьких деточек-ползунков будили, поглаживая по спинке и животу: потянуношки-поростуношки. Незалежливых Бог любит.

Может, в слове радость напоминание о славянском божестве солнца, бже Ра. В данном случае и его можно вспомнить.

НЕ УХОДИ ОТ МИРА, он сам от тебя уйдёт. Вот такие слова произнеслись во мне вдруг, когда стоял на прощании с хорошим человеком. Может, надежды на уединение могут сбыться и в обычной жизни? Можно же идти в толпе и быть одиноким. Можно же и не бежать с другими за раздачей благ. Конечно, этому помогает радостное чувство возраста. Да, обещают хороший заработок, но надо же и заработать его, то есть угробить часть из оставшейся невеликой жизни. И зачем? Машину не покупать, на Мальдивы не ехать. Старый уже. И к сединам соблазны пристаю, но уже легко с ними бороться, когда вооружён Крестом и молитвой. Душа и здоровье охраняются Причастием. Вот ещё бы так и у родных и близких.

Живёшь, живёшь и однажды чувствуешь, что мира, в обычном смысле окружающей жизни, нет. Звуки и виды его есть, люди из него приходят и телефоны трещат, но это как-то мимо. И люди уходят, и звонки заканчиваются, а ты опять один. И переставляешь ноги, идёшь к окну. Солнце какое сегодня. Или: дождь, снег. Ветер качает ветки. Вчера были они голые, а сегодня уже в новеньких бледных листочках.

А недавно сутки был вне зоны связи. Вне зоны. Это звучит.

АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ: “Ежедневно умирай, чтобы жить вечно”.

РАДОСТИ, ПРЕПОДНОСИМЫЕ плотью, иногда могут и радовать душу, но в итоге всё равно тащат её в бездну. Только душевные радости: родные люди, работа, лес да небеса, да полевые цветы, да хорошие книги и, конечно, Божий храм — вот спасение.

Целый день стояла пасмурность, тряслись по грязной дороге, щётки на стёклах возили туда-сюда мутные потоки дождя, еле протащились по чернозёму, около пруда остановились. “Тут он играл в индейцев, — сказал молодой строитель о прежнем хозяине этого места, который умер не в России, но писал только о ней. — Строить будем заново, на речном песке”.

Стали служить молебен на закладку дома на прежнем основании. Молодой батюшка развёл кадило, и так сладко, так отрадно, так древне-вечно запахло ладаном, что ветер усмирился и солнышко вышло.

Что ещё? Господи, слава Тебе!

“ТРЕЛЁБУС”. ТАК говорил отец. Не троллейбус, а трелёбус. Уверен, что он говорил так для внуков, которые хохотали и поправляли его. Но они понимали, что дедушка шутит.

И вот ушёл отец мой, мой дорогой, мой единственный, не дожил до позора августа 1991 года, а я, как ни еду на троллейбусе, всё улыбнусь: трелёбус. Еду мимо масонского английского клуба, музея Революции, теперь просто музея, и мне смешно: какие же демократы самохвалы, в зримых образах хотели воспеть свои “подвиги”. А что зримого показать? Нечего показывать. Так нет же, нашли чего. Притащили от Белого дома (им очень хоте-

лось, чтобы у нас было, как в Америке, чтоб и Белый дом, и спикеры, и инвесторы, и ипотеки: демократы — они задолжили капиталу), притащили во двор музея троллейбус в доказательство своей победы. Написали “часть баррикады”. Смешно. Карикатура. Но ведь года три-четыре торчал этот трелёбус около бывшего масонского клуба. Около ленинского броневичка, якобы с него он и выступал. Ельцин Ленина переплюнул, вскарабкался, вернее, его втащили, на БТР и, хрипя с похмелья, сообщил восторженным дуракам, что демократия облапошила-таки Россию. Захомугала, задушила. Мужиковатая Новодворская и певец своих песен Окуджава в восторге. Жулики ожили, журналисты заплясали.

Победили демократы не коммунистов, они и без них бы пали, временно победили русскость. Пошли собачьи клички: префект, электорат, мэр, мониторинг, омбудсмен, модератор и особенно мерзкое полицейское слово поселение (у Гребнева: “Не народ, а население, не село, а поселение. И уходит население в небеса на поселение”).

А и как было не засыпать нас мусором этой словесной пыли, если многие господа-интеллигенты с восторгом принимали любую кличку названий предметов и должностей, лишь бы не по-русски. Хотя русские слова точнее и вытнее. Это как хохлы: лишь бы не по-москальски.

Так что и у них свои “трелёбусы”.

КОРФУ

Холод в номере уличный. Я вернулся с долгой прогулки по городу. Темнеет рано, но город празднично освещён: скоро европейское Рождество. Дома, деревья, изгороди, парапеты мостовой — всё в весёлых мигающих лентах огоньков. Ветер и зелень. Длинная безконечная улица. С одной стороны — море, с другой — залив. Не сезон, пусто. Брошенные тенты, ветер хлопает дверцами кабинок. Берег покрыт толстым слоем морской травы. Волны прессуют его. Вроде бы и тоскливо. Но запахи моря, но простор воды, но осознание, что иду по освобождённой русскими земле, освежали и взбадривали. От восторга, да и от всегдашнего своего мальчишества, залез в море. Ещё и поскользнулся на гладких камнях. Идти не смог, выползал на четвереньках. Ни полотенца, ни головного убора. А ветрище! О чём думаю седой головой? Ведь декабрь, двадцатое. Поднимался по мокрым ступеням. Справа и слева — висящие и мигающие гирлянды огней. Декабрь, а всюду зелень. Даже и фонарики бугенвиллий.

Группа моя у отеля. Надо было просквозить в номер, но неловко, и так от них убежал. Стоял, мёрз, слушал. Гид: “Турки отрезали головы у французов и продавали русским. Русские передавали их родственникам для захоронения... Семьдесят процентов русских имён взято у греков. Но моё имя Панайотис в Россию пока не пришло”.

Новость: нас не кормят. Надо самим соображать. “Ахи да охи, дела наши плохи, — шутит Саша Богатырёв. — Пойдём за едой. Кто в Монрепо, а мы в сельпо. — Рассказывает, что пытались ему навязать якобы подлинную икону. — Говорят: полный адекванс. Гляжу — фальшак”.

Я на скрипящей раскладушке. Боюсь пошевелиться, чтоб не разбудить соседей. Они всю ночь храпели, я сильно кашлял, надеясь, что их храп заглушает для них мой кашель. Встали затемно. Читали утреннее Правило. Ехали по ночному городу. Справа — тёмное, белеющее вершинками волн море, слева, вверху, — худющая луна и ковш Белой Медведицы. Полярная звезда успокаивает.

Службу вели приехавшие с нами митрополит и архиепископы, а ещё много священников. Поминали и греческих иерархов, и своих. Храм высокий, росписи, иконы. Скамьи. Мощи святителя Спиридона — справа от алтаря и от входа. Молитву ко причащению при выносе Святых Даров читали вслед за архиепископом Евлогием всей церковью.

Слава Богу, причастился.

Потом молебен с Акафистом. Пошли к мощам. Для нас их открыли. Приложились. Ощущение — отец родной прилёт отдохнуть. И слушает просьбы.

На улице ветер. Опять оторвался от группы. Время есть, сам дойду, без автобуса. Пошагал. Куда ни заверни — ветер. В лицо, в спину. Особенно сильно у моря. Но если удаётся поймать затишное место — сразу тепло и хорошо.

Конечно, заблудился. Никто не знает, где отель “Елинос”. Это и неудивительно, это не отель, а, в лучшем случае, фабричное общежитие. А говорили: три звёздочки. Да Бог с ними, не в этом дело. Мы у святого Спиридона, остальное неважно. А ему каково бывало... За ночь я окончательно простыл.

Наконец, мужчина в годах стал объяснять мне дорогу на всех языках, кроме русского. Я понял, что очень далеко, и понял, что давно иду не к отелю, а от него. Он показал мне на пальцах: пять километров. Направление на солнышко. Отличный получился марш-бросок. Заскакивал сходу в магазины и лавочки, чуть не сшибая с ног выскакивающих встречать продавцов. Вскоре заскакивать перестал, так как убедился, что европейские цены сильно обогнали мои карманы, и просто быстро шагал. Купил, правда, за евро булочку, да и ту скормил голубям.

Кормить нас никто не собирается. Положенный завтрак мы сами пропустили, гостиничную службу не волнует, что русские до причастия ничего не кушают. Им это нравится, на нас экономят.

Но у Саши кипятильник и кружка. Согрелся кипятком, в котором растворил дольку шоколада.

Читал Благодарственные молитвы.

Какая пропасть между паломниками и туристами! Перед ними все шестерят, а нам сообщают: “У вас же пост”, — то есть можно нас не кормить.

Но мы счастливы! Мы причастились у святителя Спиридона. И уже много его кожаных сапожков пришло в русские церкви.

Перелёт в Бари с приключениями, то есть с искушениями. Не выпускали. Стали молиться, выпустили. Уже подлетали к Италии, завернули: что-то с документами. Посадили. Отец Александр Шаргунов начал читать Акафист святителю Николаю. Мы дружно присоединились. Очень согласно и духоподъёмно пели. В последнее мгновение бежит служитель, машет листочком — разрешение на взлёт. В самолёте читал Правило ко Причащению. Опаздываем. В Бари сразу бегом на автобус и с молитвой, с полицейской сиреной, в храм.

Такая давка, такой напор (Никола Зимний!), что уже не надеялся не только причаститься, но и в храм хотя бы попасть. Два самолёта из Киева, три из Москвы. Стою, молось, вспоминаю Великоорецкий Никольский — Никольский же! — Крестный ход. Подходят две женщины: “Мужчина, вы не поможете?” Они привезли в Бари большую икону Святителя Николая, епархиальный архиерей благословил освятить её на мощах. Одного мужчину — мы знакомимся — они уже нашли. Я возликовал! Святителю, отче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим!

Конечно, с такой драгоценной ношей прошли мы сквозь толпу очень легко. Полиция помогала. Внесли в храм, спустились по ступеням к часовне с мощами. В ней теснота от множества архиереев. И наш митрополит тут. И отец Александр. Смирненно поставили мы икону у стены, перекрестились и попятнулись. И вдруг меня митрополит остановил и показал место рядом с собой. Слава Тебе, Господи! Ещё и у мощей причастился. Вот как бывает по милости Божией.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 1999-го. Великоорецкое. Написал рассказ “Зимние ступени” о Великоорецком, а ныне ступеней нет. Спускался к источнику, как суворовский солдат в Альпах. Темно. У источника никого.

Днём Саша Черных натопил баню. Он её ругает, но баня у него — это баня. Ещё, по пояс в снегу, он сбродил за пихтовым веником. В добавление к берёзовому. В сугроб я, может быть, и не осмелился бы нырять, но Саша так поддал, что паром дверь не только вышибло, но и с петель сорвало, а меня вынесло. Очнулся под солнечным туманом в снежной перине.

А в Москве, в Никольском, 31 декабря сосед Сашка топил баню. Тоже мастак. Тоже я раздухарился и вышел на снег. Но не снег — наст. До того шли дожди, а к Новому году подмёрзло, подтянуло. Покорствуя русскому обычаю создавать контрасты, лёг на снег. Но это был наст, будто на наждак лёг. Ещё и на спину перевернулся. Подо мной таяло. Вернулся в баню, окатился. Батюшки, весь я в красных нитях царапин.

Но здесь баня не главное. Богослужение. Долгое, но быстрое. Вчера читали Покаянный канон, Акафист. Последний день поста. Вечер. Сочельник. Нет, звезды не видно. Но она же есть.

Сейчас я один, ещё днём всех проводил. Топил печь, ходил за водой. Ещё украшал божничку. Читал Правило ко причащению. Имени монаха, который в Лавре, в Предтеченском надвратном храме, назначил мне читать Покаянный канон, не помню.

Четыре места на белом свете, где живёт моя душа и какие всегда крещу, читая вечерние молитвы: Лавра, преподавательская келья, Никольское, Велюкорецкое, Кильмезь. Конечно, московская квартира. В Вятке (Кирове) тяжело: мать страдает по милости младшей дочери, но ни к кому уходить не хочет. А когда-то и в Вятке работал. В Фалёнках. Да только всегда то наскоком, то урывками. Кабинета у меня не бывало. Разве что редакторский с секретаршей при дверях. Так там не поработаешь. Да и вспоминать неохота. В журнале друг до публикации, а враг до гроба. А так как из десяти рукописей девять отклоняешь, то сколько же я накопил будущих воспоминаний о своём характере?

Тихо. Свечка потрескивает, ровно сгорает. Так тихо, что лягу спать пораньше. И где тот Киров, и где та Москва? Тут даже Юрья, райцентр, так далеко, что кажется, и Юрья-то нет. А только этот дом, тёплая печь, огонёчек у икон. И ожидание завтрашнего, даст Бог, причастия.

ЭНЕРГИЯ — ДАР БОЖИЙ. Народный академик Фатей Яковлевич Шипунов много и, к величайшему сожалению, бесполезно доказывал в Академии наук и, как говорилось, в вышестоящих инстанциях необходимость замены источников энергии на природные. Затопление земель при строительстве гидростанций никогда не окупится энергией. Это поля и леса, пастбища, рыбная ловля. Что говорить о тепловых станциях — сжигание нефти, угля, дров. И уж тем более расщепление ядра — атомные станции.

— А чем же это всё можно заменить?

— Ветер, — отвечал он. — Наша страна обладает самыми большими запасами ветра. “Ветер, ветер, ты могуч”, ты не только можешь гонять стаи туч, но и приводить в действие ветродвигатели.

Фатей неоспоримо доказывал великую, спасающую, ценность ветроэнергетики.

— Как бы мы ни ругали большевиков, но в смысле хозяйствования они были поумнее коммунистов. Восемнадцатый съезд ВКП(б) принял решение о массовом производстве ветроэлектростанций.

Так прямо и говорил коммунистам. Рассказывал, что в 30-е годы был создан и работал институт ветроэнергетики. И выпускались ветроагрегаты, “ветряки”, начиная со стокиловаттных.

Кстати, тут и моё свидетельство. Наша ремонтно-техническая станция монтировала для села такие ветряки. Бригада — три человека. Собирали ветряк дня за три-четыре. Тянул ветряк и фермы для коров и свиней, и давал свет в деревню. Работали ветряки прекрасно. Да и просто красивы были: ажурные фермы, серебряные лопасти. Ухода требовали мало. Они же не просили ни нефти, ни газа, ни угля, ни дров, сами — из ничего! — давали энергию.

Думаю, что горло ветроэнергии пережала опять же жадность и злоба. Жадность нефтяных и угольных королей (как же так, обойдутся без них!) и злоба к России (как же так — прекратится уничтожение сёл и деревень, да и городов, как же так — не удастся прерывать течение рек плотинами, создавать хранилища с мёртвой водой — как же это позволить России самой заботиться о себе)?

Вывод один: всё время второй половины XX века никто и никогда не думал о народе.

И, тем более, сейчас. Народ просто мешает правительству. Ему нужна только серая скотинка для обслуживания шахт, нефтяных вышек. У этой скотинки желудок, переваривающий любую химию, и егэ-голова. И два глаза для смотрения на диктующий условия жизни телеэкран, и два уха для выслушивания брехни политиков и для лапши.

Ветер бывает не просто могуч, он бывает сокрушителен. Ураганы и смерчи — это же не природные явления, это гнев Божий.

Что ж, давайте дожидаться его справедливого прихода.

Пушкин пишет в “Капитанской дочке”: “Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевлённым”. А так оно и есть — ветер одушевлённый. “Не хотели по-хорошему использовать мои силы, так получайте по-плохому за грехи ваши. Сила у меня скопилась, девать некуда”.

ЛУННЫЙ ШЛЯХ, луна на полморя. Заманивает корабль золотым сверканием. Корабль отфыркивается пеной, рождаемой от встречи форштевня с волнами, упрямо шлёпает своей дорогой. Но вот не выдерживает, сворачивает и идёт по серебряной позолоченной красоте, украшая её пенными кружевами.

Как же так — ни звёзд, ни самолётов, ни чаек, кто же видит сверху такую красоту?

Рассветное солнце растворило луну в голубых небесах, высветило берега слева и острова справа. Да, всё на всё похоже. Вода прозрачна, как байкальская. И берега будто оттуда. А вот скалы — как Североморские. А вечером, на закате казалось, что придвинулись к Средиземноморью малиновые Саяны. Потом пошли пологие горы, округлые сопки, совсем как Уральские меж Европой и Азией.

Будто всё в мире собралось именно сюда, образуя берега этой купели христианства.

ДВЕ ФРАЗЫ. Поразившие меня, услышанные уже очень давно. Первая: человек начинает умирать с момента своего рождения. И вторая: за первые пять лет своей жизни человек познаёт мир на девяносто восемь процентов, а в остальное время жизни он познаёт оставшиеся два процента.

Гляжу снизу, из темноты, на освещённый солнцем купол церкви и думаю: а что же я познал в этих двух процентах? Мир видимый и невидимый? Его власть надо мной и подобными мне?

Да, маловато двух процентов.

ТАМАНЬ, ТАМАНЬ. А, может быть, и в самом деле не надо больше ездить в Тамань. Может, и права Надя: “Я не хочу в Тамань, я там буду всё время плакать”. Может, и мне пора только плакать.

Тамань — самая освещённая в литературе и самая неосвещённая в жизни станица. Во тьме Таманской я искал дом, где меня ждал Виктор Лихоносов. Меня облаяли все таманские собаки, да вдобавок чуть не укусили, да я ещё и чуть не выломал чей-то близкий к ветхости забор, зацепившись в темноте обо что-то. Стал падать, но почувал, что опёрся на что-то живое, которое шевельнулось и произнесло: “Мабуть, Микола”? Мы оба выпрямились. Я разглядел усатого дядьку, который держался за забор, и спросил его, где такой-то дом на такой-то улице? Казак был прост, как дитя природы: “Пойдёшь от так и от так, трохи так, и зараз утуточки”. Давши такую директиву, казак рухнул в темноту, повалил забор и исчез. Для семьи — до утра, для меня — навеки.

А я-то, наивный, считал, что знаю Тамань. Я тыкался и от так, и от так, и бормотал строчку из лихоносовской повести: “Теперь Тамань уже не та”. То вспоминал свои студенческие стихи первого года женитьбы: “Табань! Вёсла суши! Тамань — кругом ни души. “Хочу вас услышать, поэт”! — кричу. Только эхо в ответ. К другим гребу берегам, к родным, дорогим крестам. Ни-

где не откликнитесь вы, к звезде не поднять головы. Не новь к отошедшим любовь, но вновь на ладонях кровь”.

Тамань, Тамань, как ты велика в моей судьбе, как высоко твоё древнее небо! Ничто не сравнимо с тобою. Вот литература! Разве хуже другие берега полуострова, разве не наряднее другие станицы, разве нет в них контрабандистов, да вот только не побывал в них поручик Тенгинского полка.

Ах вы, рабы Божии, Михаил и Виктор, за что ж вы перебежали мне дорогу? Разве не больше у меня прав писать о Тамани? У меня же и жена, и теща таманские, а вы — птицы залётные. Один написал, другой влюбился в написанное, да и сам написал. Да и так оба написали, что после вас и не сунешься. Классики — это захватчики. Бывал я и в Риме. И что написал? Ничего. Почему? Потому что до меня побывал Гоголь. Да ещё и от того, что теперешний Рим и Гоголь не стал бы описывать.

Спасибо Тамани: она место рождения нашей семьи.

ПЕРВЫЙ МИР И ВТОРОЙ МИР: Первый мир, допотопный, вышел из воды и потоплен водою. Омыт от грехов. Второй мир, послепотопный, накопил и свои грехи. Хотя Господь дал послепотопным людям возможность в Крещении освободиться от первородного греха. Более того, послал Сына Своего на Крест за грехи мира. И что дальше? А дальше люди использовали данную им свободу воли для движения в ад. За это мир тоже мог бы быть потоплен, но Господь сохраняет его на День Суда. На огонь. Всё в нашем мире сгорит, останется золото и серебро. Увидят люди блеск серебра, подумают: вода, кинутся. А это серебро. И будут издыхать от жажды. Увидят жёлтое, подумают — хлеб, а это золото. Иди, отгрызи от него.

Будут искать смерти, а смерти у Бога нет. Будут просить горы: падите на нас, а смерти не будет.

А на что мы надеемся? На все про все вопросы бытия отвечено.

Кто виноват? Мы сами. И порядочный человек так и думает.

Что делать? Спасать душу. То, что делали те, кто спасли её. Мы же уверены, что погибшие за Христа, за Отечество спасены.

А как думать иначе? Если небо совьётся, как свиток, в трубочку, если железо будет гореть, как бумага, то разве уцелеет в таком пламени дача, дом, офис, рукопись, норковая шуба, айфон, персональный самолёт?

Ведь так и будет. Говорил же Лот содомлянам, предупреждал. Говорил же Ной перед потопом, строя ковчег. Кто послушался? Ну, и получили должное.

АНАСТАСИЯ ШИРИНСКАЯ, хранительница церкви в Тунисе: “Мне было четырнадцать лет, на палубе корабля “Георгий Победоносец” играл оркестр. Ко мне подошёл генерал Врангель: “Разрешите вас пригласить”. И мы протанцевали тур вальса.

У меня была первая любовь в пятнадцать лет. Борис. Он уехал, написал: “Никогда не забуду девочку в синем плаще у синего моря”. Такое красивое единственное письмо. Мне казалось — никто не знает о моей любви. Я пошла во французскую школу в двенадцать лет, училась гораздо их лучше. Обо мне говорили: “Она знает, где Занзибар”. Помнила Бориса. И он не забыл. Прошло пятьдесят лет, он остался вдовцом. Приехал со второй женой. Сообщил мне, что приезжает. Мне говорят: будет разочарование. Нет, я сказала, не будет. И — никакого разочарования, он тот же! Такие же глаза. Даже обращаясь к жене, говорил обо мне: “Настя”.

ОСЕНЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОГО. Я на телевидении, редактор Дискуссионного клуба. Всегда идём в прямой эфир. Приглашаю Кожинова, чем-то ему нравлюсь, он приглашает после передачи посидеть с ним — “Тут недалеко!” — в ресторан “Космос” После “посидения” зовёт поехать “в один дом у Курского вокзала”. Там вино-чаепитие. Кожинова все рады. Хозяйка вида цыганского, весёлая. У неё большущая кошка Маркиза. Очень наглая, всё ей разрешается. Хотя хозяйка кричит: “Цыц, Маркиза, не прыгай на живот, ещё рожать буду!” Вадим Валерьянович весел тоже, берёт гитару.

— Самая режимная песня: “На просторах родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде”. Так? Вставляем одно только слово, поём. — Играет и поёт: — “На просторах родины, родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили, В ОБЩЕМ, радостную песню о великом друге и вожде. Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полёт. С песнями борясь и, В ОБЩЕМ, побеждая, наш народ за Сталиным идёт...”. Да, друзья мои, был бы Сталин русским, нам бы ... — Не договаривает. Потом, как бы с кем-то доспаривая: — Исаковский — сталинист? Да его стихи к юбилею вождя самые народные. Вдумайтесь: “Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе”. Это же величайший народный глас: и горечь в нём, и упрёк, и упование на судьбу. А евтушенки успевают и прославить, и обгадить. Нет, если бы не Рубцов, упала бы поэзия до ширпотреба. Представьте: Рубцов воспевает Братскую ГЭС, считает шаги к мавзолею, возмущается профилем Ленина на деньгах — как? Ездит по миру, хвастает знакомствами со знаменитостями, а?

Тогда я впервые услышал и имя Рубцова, и песни “Я уеду из этой деревни”, “Меж болотных стволов красовался закат огнеликий”, “Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны”, “В горнице моей светло”... Да, та ночь была подарена мне ангелом-хранителем.

А жить Рубцову оставалось два года.

“НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ”. В Сергиевом Посаде у Троицкого собора женщина рассказывает: “Мама умерла и приснилась уже после сокового дня. Приснилась, да как-то неясно, я ничего не поняла, переживала. Вдруг ночью звонит сотовый телефон. Её голос: “Дочка, у меня всё хорошо”. И всё. “Так откуда она звонила?” — недоумевает другая. “Не знаю. Оттуда, значит. — А что на телефоне обозначилось, какой номер? — Номер не подлежит разглашению”.

ВО СНЕ ГОВОРЮ итальянцам, стоя на площади перед собором святого Петра: “Да какие вы римляне, да вы просто итальяшки-макаронники! Где центурионы, где тяжелая поступь войск Цезаря, где их крик: “Идущие на смерть приветствуют тебя!” А у него жена, у Цезаря, выше подозрений. Где отважные наследники Македонского, попирающие чужие земли кожаными сандалиями?” Мне отвечают: “А ты чего нас комиссаришь? И вы не русичи, да и ты не храбрый росс непобедимый. Где твой Суворов? Хошь, на тебя факты выкатим?”

Во сне я вынужден был с этим согласиться.

БЫВАЛА В ЖИЗНИ усталость. Обычно физическая. После долгой дороги, после работы. Такая усталость даже радостна, особенно, если дело сделано, дорога пройдена, преодолена. Но сейчас усталость страшнее, она не телесная — нервная, головная. Душа устаёт от всего, что вижу в России. Еле иногда таскаю ноги. И знаю, что и это великая от Господа милость — живу.

Иногда искренне кажется, что умереть было бы хорошо. А жена? А дети-внуки? У Шекспира: “Я умер бы, одна печаль: тебя оставить в этом мире жаль”. Апостол Павел пишет, что ему хочется “разрешиться от жизни и быть со Христом”, но ему жаль тех, кто в него поверил и кому без него будет тяжело, как овцам без пастыря. И остался ещё жить. То есть он мог распорядиться сам своей судьбой. В отличие от нас, смертных.

Да и он не мог. Уходил апостол из Рима. От казни. А Спаситель повернул обратно.

БОЯЛИСЬ ИУДЕЕВ. В Деяниях апостолов (24-27): “Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах”.

И чуть пониже (25-9): “Фест, желая сделать угодение иудеям...”.

ЦЫГАНСКАЯ СТОЛИЦА город Покров знаменит своим цыганским кладбищем. Там же и православное. Ездили на могилу поэта Николая Дми-

триева. (“Если правда, что жизнь — это песня, значит, детство — припев у неё”). Могилка скромна, ухожена, цветы.

А по соседству цыганские... Как назвать эти захоронения, над которыми высятся памятники — скульптуры захороненных. Ни у Мао Цзедуна, ни у Ким Ир Сена нет подобных. Высятся выше деревьев. В три роста, с невероятным подобием головы и фигуры. Будто гигантские слепки. И надписи соответственно: “Барону Мишке безутешная семья”. Или: “Барону Яшке от семьи”, “Барону Гришке от родственников”.

Сколько же надо денег нацыганить на каждый такой памятник? Одна цыганка на улице, когда я попрекнул её, что не перестаёт просить, ведь подал уже, совесть надо иметь, зарыдала вдруг: “Муж бьёт меня, если принесу мало денег”.

— А что вам, мало денег от продажи наркотиков?

— Ой-вэй, это мужчины-мужчины! Дай, золотой, дай ещё бумажку, пожалей, пожалей. Давай за дом отойдём, я тебе следы от плётки покажу. Идём! Давай, давай!

И так страстно и зовуще глядела, будто в чертоги звала.

— Я ДАЖЕ ночью очки не снимаю, чтобы лучше сны видеть.

СИЛЬНО ПЕРЕУЧИВШИЙСЯ вятский студент-лингвист писал диплом о народной поэзии (Обряды, заговоры, причитания...). Когда шли примеры, то я всё прекрасно понимал, когда же студент делал какие-то к ним подводки, не понимал ничего. “Ритмизированный русский язык цикличной обрядовости сезонных трудовых и религиозных праздников в вятском диалектизированном говоре отличается от аналогичных в говорах и языках романо-германской и кельтской культур и несопоставим с конструкцией наших апофегм и морфем...”. Каково?

Еду в автобусе по вятской дороге. Сзади говорят о девушке, которая собирается замуж.

— Да она всё чего-то ещё кочевряжится, будто женихов выше головы, будто в них, как в сору, роется.

— А сколько ей натикало?

— Да уж на пределе.

— А если на пределе, будь добра и за перестарка. Ещё чего-то разбирается.

— Эдак, эдак, некуда тянуть, надо выскакивать.

— Как не надо, надо. С мужиком-то наплачешься, а без него навоешь...

И какие тут морфемы, какие фонемы? Или ты, студент, в автобусе не ездил? Или ты и твои друзья “хочут” образованность показать?

НИ В ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ нет того, что в русской. Это от своеобразия русской жизни. У нас всё одушевлено, нет неживой природы, всё живо.

У Гоголя рассуждают два кума, сколько груза может поместиться на возу. И один гениально говорит: “Я думаю (!), достаточное количество”. И всё. И всё понятно.

У Тургенева в “Записках охотника”. Едут, ось треснула, колесо вот-вот слетит, как-то очень странно вихляется. И когда оно (колесо) уже почти совсем отламывается, Ермолай злобно кричит на него (кричит на колесо!), и оно выравнивается!

У Бунина мужик бежит, останавливается, глядит в небо, плачет: “Журавли улетели, барин!”

Кстати, о Тургеневе. Это совершенно жутко, что он пошёл смотреть на казнь. Да ещё и описал. А в “Записках охотника”, лучшим из написанного им, автор очень много подделушивает.

Хотя для переводов русского книжного богатства сделал много.

ИВАН СЕМЁНОВИЧ, бывший политработник, стоит у ворот дома в галлошах, поджидает меня. Очень любит поговорить. Всегда о том, как он за-

ботился о солдатах. “Приезжаю в часть, собираю вначале офицеров. “Никто нас, кроме солдата, не спасёт. Если вы ужинаете, сели за стол, а солдаты не накормлены — вы преступники”. Потом иду в любую казарму и вначале всегда в сушилку. Чтоб и обувь, даже и матрасы чтоб были просушены. Солдат любил, как родных сыновей”. — Тут Иван Семёнович всегда крестился.

— А как политзанятия?

— Это-то? Тут тоже всё в норме. Стоим на страже Родины, защищаем народ! Чего ещё? Признаки демократического централизма? Это муть.

Не его защищаем — Родину!

В ТАМБУРЕ ПОЕЗДА. Весёлый подпивший парень, руки в наколках: “Приму сто грамм я водочки — и жизнь помчится лодочкой. И позабуду, где, за что сидел. Дядя, — это мне, — ты сидел? Нет? Зря! Тюрьма — это академия жизни, школа воровства и мошенничества. Посадят пацана за ерунду, а он выйдет готовым специалистом. Там знаешь, как сериалы смотрят — во всех же в них показ: тюрьма и следствия. Смотрят, как учебники. Как кого покупают, кто на чём попался. Естественно, из-за баб. В основном, конечно, в этой кинятине туфту гонят, кино, одним словом, и у них там режиссёры — шпана, но у блатных есть и свой опыт. Туфту анализируют, базар фильтруют, пацанов на будущее готовят. Хоть коммунизм, хоть что, работают все равно неохота. Сейчас вообще такое время, что его лучше в тюрьме пересидеть. На всём готовом. И церковь в зоне есть.

— Эх, — вскрикивает парень, — О, сол лейк-сити, Америку спустите! Мы — дура, без тебя прекрасная страна!

— ЖИТЬ ВРОДЕ легче становится: не голод, а жить всё страшней. Собаке раньше бросишь картошку — рада. Потом хлеб и им бросали. Потом они и хлеб перестали есть, мясо давай. Говорили: социализм — это учёт. Стали считать. Рассчитают, сколько корму на зиму для коров, столько и заготовят, а тут весна на месяц задерживается — падёж. Это в колхозе. Да и дома — наготовили солений-варений, а гости едут, родня нахлынула. То есть и накорми, и в дорогу дай. Да друг перед дружкой стали выхваляться. У кого больше да модней. Работа стала не в радость, а в тягость. От нервов пить стали больше. Страхом не удержишь. Возили водку до войны на лошадах, после войны — на машинах, сейчас вагонами возят — не хватает. Хотя читал вчера, мы всё равно меньше других пьём. В войну столь не гибло, сколь сейчас.

— Так и сейчас война. Война с бесами пьянства. И они побеждают. Несём потери. Могли бы небесное воинство пополнить, нет, идём в бесовское. Ведь и там война.

— И там брат на брата? Трезвенник на пьяницу?

— Ну, всё гораздо сложнее.

— А как?

— Если б я знал.

ТОМСКАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ. 1812 год, весна. Журнал “Русская старина” (1879 год, с. 738) извлекает из массы документов того года, кроме относящихся к войне с Наполеоном, ещё и документы самые обычные. Жизнь состоит не только из войн с неприятелем, но и с грехами человеческими.

“В Томскую градскую полицию от губернского стряпчего Сунцова

Сообщение: Бывший при разборке старых дел в ведомстве моем губернский регистратор Полков, не сказавши ни мне, ни сторожу, унёс к себе казённую лагушку (шайку), по неимению которой теперь воды сторожу принести нечем. Да означенные дела едят мыши, к уничтожению коих имел я собственного кота, но и его упоминаемый Полков тихим ходом унёс, и на то есть свидетели. Для того прошу оную полицию приказать как лагушку, так и кота моего от него, Полкова, отобрать и отдать сторожу Степану Балахнину.

Таковые поступки предоставляю полиции на суждение с просьбою, дабы он впредь не осмеливался чинить оныя.

Губернский стряпчий Сунцов. 20 марта”.

ВЕСЕННИЕ РУЧЕЙКИ у нашего дома выросли вместе со мной. Они начинались от тающего снега и от капли с крыши на крыльце. Я бросал в них щепочку и провожал её до уличного ручья, а на будущий год шёл за своим корабликом, плывущим по уличному ручью, до ручья за околицей. Он увеличивался и от моего, и от других ручейков, все они дружно текли в речку, а речка в реку. Однажды в детстве меня поразило, что мой ручеек притечёт в Вятку и Каму, и Волгу. Щепочка начинает плыть по ручейку, и сколько же она проплывёт до моря? Считал, и со счёту сбивался. А как считал? Шагал рядом с плывущей щепочкой, считал время, то есть соображал её скорость, за сколько, примерно, она проплывёт до Красной горы. Очень долго, может быть, часа три-четыре. А за Красной горой там такие дали, такие горизонты. Может быть, думал я, год будет плыть. К зиме или примёрзнет, или подо льдом поплывёт.

Когда через огромное количество лет узнал я от Вернадского, что вода — это минерал, что у неё есть память, я сразу поверил. Да-да, я это знал. Я же помню эту холодную снежную воду, и как я полоскал в ней покрасневшие руки, как с ладоней падали в ручей капли и убегали от меня, и уносили жёлтую сосновую щепочку. И помнила меня эта утекающая вода. И помнила себя в виде узоров на оконном стекле. И в виде снежинок, которые взблескивали в лунную ночь и, умирая, вскрикивали под ногами.

СПАСАЕМ ВСЕГДА не себя, а других. Вот мысль, пришедшая в голову в самолёте, когда шло объявление о поведении пассажиров в аварийных случаях. Кислородную маску вначале полагаются надеть на себя, а уже потом на ребёнка. Иначе можно и самому погибнуть, и ребёнок погибнет. Вот и мораль: да спасись ты, матушка Россия, сама вначале, потом спасай “ребёнков”.

Разве не так было в конце 80-х? Погибали, надвигалась катастрофа, а всё надевали кислородные маски на республики. Сами погибали. И почти погибли. Но и республики недолго дышали кислородом.

МИТРОПОЛИТ: БОГ никогда не спешит и никогда не опаздывает.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОТОРВАННОСТЬ от России вовсе не означает оторванности от её корней. Если это корни православные. На четырёх долгих службах отстоял в Ташкенте. И не было совсем ощущения, что я в Средней Азии. Это храм православный, в этом всё дело. Причащался.

Конечно, много всего наслушался. В основном, хотят вернуться в Россию. Но куда, как? И почему оставлять нажитое молитвами и кровью? Здесь же уже им и родина. А в предках кто? Одних только архиереев в здешней ссылке было семнадцать. И несколько сотен священников. Земля исповедничества. И её бросать?

Всё перебаламутилось, взболталось. Сейчас муть оседает. Но не исчезает. Нет проточной воды.

ПРАВОСЛАВИЕ НИКОГДА не ставило задачи сделать жизнь людей легче. Для Православия главное, чтоб человек стал лучше. А станет лучше, то и любая жизнь ему будет хороша.

— **ЧТО ГОВОРИТЬ** — вся жизнь в России с петель слетела, а мы ещё на какую-то справедливость надеемся.

— Не могла не слететь. Идеология — это псевдорелигия. У идеологии нет родины. Без корней, её и сорвало. Не люди партий (то есть частей общества), а люди целого нужны.

— И где их взять?

— Ну, нас уже двое.

ЖИТЬ, ЧТОБЫ заслужить любовь людей, — это дело десятое. А вот жить, чтобы любить близких, вот тут-то... тут-то... да-а.

ВЫХОДИМ В ХОЛОДНЫЙ рассвет. Третий день Крестного хода. Иней на траве. Женщина: “Ой, холодно, ой!” Мужчина: “Вот и хорошо! Не закиснем. Можно без засолки жить”.

В СЕМИДЕСЯТЫЕ ОДИН президент одной африканской страны много делал визитов. И всегда брал с собой тех, кто, по его мнению, мог бы свершить переворот во время его отсутствия.

Аэропорт, встреча. Делегация спускается с трапа. Президент представляет его сопровождающих. Отдельно рекомендует: “А это мои мятежные генералы”. Они стоят кучкой. Хмурятся.

ДИПЛОМАТ НА ПРИЁМЕ:

— Мы пьём, говорим, спим, а чекисты потом всю оставшуюся ночь записывают наши разговоры.

Другой:

— А что записывать? О чём говорили? История цивилизаций? Мистика, стоицизм, космизм, стагнация, коллапс? Всё вроде умно, но ведь всё болтовня.

— Так болтовня — это и есть тот самый первичный бульон любых мыслей, из него всё рождается.

ХОРОНИЛИ АБРАМОВА. Человек из обкома не хотел давать выступить Василию Белову. Жена Абрамова, уже вдова, Людмила Александровна ворвалась в комнату президиума, где повязывали траурные повязки для почётного караула и во всеуслышание заявила: “Если не дадите слова Белову, я вам прямо у гроба скандал устрою!”

А тогда только что наши войска вошли в Афганистан. Не самовольно, отвечая на просьбу правительства. Теперь, по прошествии времени, понятно, что для нас-то это было трагично: сколько гробов разлетелось по Руси, но гибель Афганистана отодвинуло. Русских солдат — шурави — афганцы вспоминают с благодарностью.

И в моём родном селе есть могилы “афганцев” и, позднее, “чеченцев”. В другом районе, сам видел, могила солдата в его родном дворе. Потребовала мать, чтобы цинковый гроб (не разрешили открыть) закопали во дворе. Потом совсем недолго пожила, ещё ей и сорока не было. И цинковый гроб, и её, деревянный, упокоились на общем кладбище.

Вот она — русская судьба.

Тогда Василий Иванович предсказал трагедию Афгана.

Выступал там и Гранин Даниил. Причитал: “Ах, Федя, Федя, как ты рано умер, а ты так много обещал”. Ну, не глупость? Кто же тогда за Абрамова написал трилогию “Пряелины”? “Две зимы, три лета”? “Альку”? “Пелагею”?

Сам-то Гранин чего написал? “Иду на грозу”? Очерк об учёных. А с Адамовичем походили по квартирам блокадников, позаписывали. Да всё втравливали в разговоры о мерзостях, например, о том, куда приходилось девать экскременты. Именно эти либеральные классики воспитали нобелевскую лауреатку, которая соскребала с женщин на войне только грязь, только оговоры нашего воинства.

А вот есть в Белоруссии прекраснейшая писательница Татьяна Дашкевич. Она написала книгу “Дети на войне” — великая книга! И в ней много трагичного, но в ней есть свет любви.

Да, Фёдор Александрович. За неделю до его кончины мы с ним, ещё Василий Иванович, обедали в ресторане гостиницы “Россия”. Он всё подшучивал над Василием Ивановичем, тот над ним. “Чего ж ты сёмгу заказываешь, ты же написал про неё “Жила-была сёмужка”? — “А ты и сёмужки в Вологодчине сухопутной не едал, хоть сейчас поешь. — И мне: — Пей, на нас не гляди. Пей. Написал же “Живую воду”, пей, не уклоняйся от привычек народа”.

Когда гроб с телом его опустили в родную ему землю на высоком берегу Пинеги и воздвигли над могильным холмом ещё один холм из цветов, в де-

ревенском клубе начались поминки. Село человек триста, но ведь очень много приехало отовсюду. Люди всё шли и шли. Шли и несли поминальные рыбные пироги, завернутые в старинные расшитые полотенца. Женщины из Архангельского народного хора, всё увеличивая льющиеся слёзы, пели любимую песню писателя-земляка: “Ой, по этой травушке ходить не находится. Ой, по этой травушке тебе больше не ходити, ой, на эту травушку тебе больше не ступати...”.

ГОД КУЛЬТУРЫ закончился сокращением числа сельских библиотек. Вот спасибо. Это убийство культуры. Год русского языка закончился сокращением часов на его преподавание. Год литературы ознаменован разовыми компаниями встреч с читателями, разворыванием “грандов”, прославлением пишущей либеральной шпаны и... что и? Год литературы кончился, позорно, но, слава Богу, русская литература не кончилась.

— ЁРШ ДУРАК, а окунь умный. Ёрш, хоть сытый, хоть голодный, всё равно хватает. Тащишь его и заранее плюёшься. Ещё же надо с крючка снять. И колючий, и сопливый. А окунь вначале к червячку присмотрится, принохается. А как попадётся, тут же моментально заматывает леску за лопух, за корягу. Умный. Красивый, полосатенький.

ИВАН ФЁДОРОВИЧ, фронтовик:

— В Венгрию вошли, не забыть! Поле, кошны соломы, всё вроде, как в колхозе, бегаем за немцами, гранатами, прямо как снежками, кидаемся. Мне попало. В госпиталь. Очнулся — кости, мясо на ногах — всё перемешано. А вшей там! Смерть чуют. Перестелили всё новое — всё равно вши. И меня письмо нашло. От матери. О налогообложении. И яблони облагали. Вырубить она, я понял, не посмела, подсушила. Пришли: или отдавай овцу, или деньги, или под суд. Овцу увели. Она им: “У меня муж и два сына на фронте”. Написала на командира части. Ко мне приходит в палату особист. “У тебя мать несознательная”. — Сам носом крутит, ещё бы — мясо на ранах гниёт, пахнет. — “Так и несознательная есть хочет. — Вот ты как говорил, а тебя хотели к награде. — Зачем награду, овцу верните. — Тебе, значит, овца дороже награды родины?”

А сам торопится. Ушёл. Ну, и ни овцы, ни награды.

Да. А там же, в Венгрии, ещё до ранения, у нас было: первый солдат в город ворвался. И его хотели к Герою представить. Действительно, герой: двое суток без сна. Там под всеми домами подвалы, в них бочки, вино своё. Он зашёл в подвал — бочка. Стрелил в основание — струя льётся. Выпил пару всего стаканов, с остатку распьянел. Дай полежу. Уснул. А струя льётся. Так и утонул. И Героя не дали. Мы с ребятами обсуждали, жалели его. Хотя бы посмертно присвоили — семье бы какое пособие. А этот же, наверное, особист и пожмотился. Сам-то брякал железками.

Да, надо ему было не в низ бочки стрелить, в серединку хотя бы. Они же, буржуи все, бочки у них, как цистерны, залило подвал. Да, нагляделись мы в этой Европе. Жадные до свинства. И чего на нас попёрли, чего не хватало?

В ЦЕРКВИ КТО? Народ. А Церковь отделена от государства. То есть государство отделило себя от народа. И публично в этом призналось.

Давайте и ленинские рассуждения о государстве вспомним. Он говорил о постепенном отмирании государства, ибо по его выражению, “государство есть машина угнетения одного класса другим”. То есть, какой тут вывод? Государство отомрёт, а Церковь останется. Так получается. Умный какой Ульянов-Ленин.

УШИНСКИЙ: “НЕХРИСТИАНСКАЯ педагогика — вещь немислимая — безголовый урод и деятельность без цели”.

ГЛАВНОЕ СПАСЕНИЕ и людей, и государств — в Православии. И это так просто усвоить. Оно, Православие, принесено на землю живым Богом.

Оно не продиктовано учителями иудаизма, не сочинено мудрецами буддизма. Оно не обещало, как латинство, как отпавшие от него протестанты, идеи земного блага, дошедшие до одобрения банковских процентов, и это при резком порицании Христом ростовщичества! Православие говорило о спасении души, о том, что смерти нет.

И в этом безмертие Православия.

Но до чего же горько прав Свиридов: “Русский дурак отдал алмазную гору веры и красоты за консервную банку цивилизации”.

А какое змеиное скользкое слово: ци-вили-за-а-ция.

— ЯГОДИНОЧКА ПРИШЁЛ, да говорит про интерес. Говорит с утра до вечера, а мне не надоест. Я люблю свои рюмашки, тёща нюхает ромашки. Боюсь за маманю я — вдрут токсикомания.

Коль вдохновляет тебя злоба, ты не успеешь ничего. Уже стучат по крышке гроба, по крышке гроба твоего.

Пьяница любит горько и солёно, дурак любит красно и зелёно.

— ЭТО РЕДКОСТЬ, чтоб отец пил, а сын — трезвенник. Чаще отец не пьющий, а сын полощет. А у нас вот счастье великое — все трезвенники. Делали когда вечеринки, к нам некоторые и ходить не любили: у вас, мол, и не выпьешь как следует. Тятя у нас до войны пострадал, за месяц до войны посадили. За паникёрство. Он говорил, что война с Гитлером всё равно будет, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Посадили, тут война. А в военкомате даже не знали, что его забрали, суда ещё не было, несут повестку. Мама с этой повесткой бегом в прокуратуру. В армию, потом говорила, плохо, а в тюрьму хуже того. Да-а.

А тятя ещё раньше успел всего наготовить. По радио, в газетах кричат: малой кровью на чужой территории. Нет, тятя понимал. Он начитанный книгами был. До двух ночи, до трёх читал. Мама ругалась: опять керосин в лампе выжег. Так вот, тятя ещё раньше чувствовал про войну. Говорил: нет, это не на месяц. Наготовил нам в запас: ящик спичек, ящик махорки, ящик мыла. Все ёмкости заполнил керосином. Самое ценное было — табак. Ещё выращивать его не научились. Это уж потом стали сажать, табакорезки делали. Рассчитывались махоркой. Меняли на хлеб. У нас же никто не курил.

Старики со всей деревни к нам. “Андреевна, сыпни хоть на закрутку”. Мама их жалела, отделяла табак. Говорит: “Они, когда курят, так хоть голода не чувствуют”.

Да и тятя с войны вернулся курящим.

В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ. ШКОЛЬНЫЙ вечер поэзии. Старшеклассник читает Лермонтова. В зале школьники, много родителей. И представитель райкома КПСС. Чтец волнуется, он в отцовском, по случаю выступления, пиджаке.

— “Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит...”

— Стоп, стоп, стоп, — говорит представитель. — Как это один? А где коллектив?

— БЫЛИ КОГДА-ТО и мы русаками.

ПЛАНБОЙ — ТАК Серёжа у пивной называл шлагбаум. Он в заключении его поднимал, дежурил у ворот, но так и не научился правильно называть. Или не хотел, под дурачка косил: легче жить? “А как попал? В войну волков расплодилось страшно. В деревню ночью приходили, собак даже от них прятали — сожрут. А пасти коз и овец все отказывались. Меня заставили, мне пятнадцать было. Просился на фронт, нет, иди паси. Конечно, утащили у меня двух овец. И всё, и на десять лет, как вредителя, закатали. Потом, по инвалидности — ногу трактор переехал — выпустили. Но группу не дали. И жили с больной матерью, а чем жили? Когда кто пожалеет. Хлеб на машине раз в неделю привозили, а как снега повалят, сидели без него. Матери приносили старую кожу от скота, кости, она мыло варила. И дров для печки. Запах страшный, но всё ж таки тепло. И какой лоскуток кожи разварится, его зубами жамкаешь, шерсть отплевываешь”.

“О ИЗОБИЛИИ ПЛОДОВ ЗЕМНЫХ”. Долгое время, когда в церкви слышал этот диаконский возглас, то сразу в памяти представлялось наше поле, засаженное картошкой, эти ряды, пласты, которые мы окучивали, пропальвали, на которые была вся наша надежда на пропитание в долгую зиму. На что ещё было надеяться?

Но вот что важно сказать! воровства почти не было. Почти — это один-два кустика кто-то выроет, и всё. Или кто с голодухи, или мальчишки шли в ночное или на рыбалку. Но не больше.

Ещё помню Подмосковье (ближайшее) — всё совхозно-колхозное. Поля, поля. Нас в баню водили из сержантской школы в Вешняках (метро “Рязанский проспект”, недалеко от Кусково) в Текстильщики (метро “Текстильщики”) раз в неделю. Шли через поля капусты, свёклы, моркови, кукурузы, то есть через Кузьминки. Конечно, улучив момент, выскакивали из строя и вырывали кочан, какой побольше. Его тут же раскурочивали и съедали.

В этом я даже и не каялся. Не воровство это было, а витаминная подкормка солдат—защитников Отечества этим самым Отечеством.

ЧЕМ ГРОМЧЕ в человеке крики совести, тем он тише.

Женщина впитывает чувства и страсти столетиями, отдаёт в мгновение.

Сграбастать за горло может сильный, запустить когти в душу — хитрый.

ПИСАТЕЛИ ДРАЛИСЬ за квартиры (60-е, 70-е, 80-е) так остервенело, что казалось — в этом весь секрет продукции их талантов, что в больших квартирах они создадут нечто большое и возвышенное.

И где оно? А из-за квартир со временем стали остервенело драться писательские дети и внуки. А дедушкины рукописи, чтобы не тащить с улицы грязь в дом, подстилали в прихожей на паркет.

Исписавшихся, коиченных писателей, хоть они ещё живые, уже не ругают: о них ни хорошо, ни плохо — ничего. Когда писателя ругают, то как бы его ни унижали, это значит, что он ещё на что-то способен.

А на этих живых мертвецов я нагляделся. Они не стояли за трибуной, а лежали на ней. Не говорили, а изрекали. И непременно выступали на каждом пленуме, съезде. Если он явился, попробуй не дай ему выступить.

НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ в стихах описал одну встречу в пути. “Увидел из вагона: два еврея играют в карты, в “дурачка”, сочинил: “В могучих зарослях кипрея, то спину грея, то бока, два волосатые еврея весь день играли в “дурака”. Они в игру свою вложили ум и способности свои, и были равными их силы, и всё ничьи, ничьи. А за бугром, в степи безкрайней, весь день держа штурвал в руках, сидел Ванюша на комбайне, всё в дураках, всё в дураках”.

А Старшинов играл всю жизнь в “дурачка” с Владимиром Костровым. Счёт у них был примерно двенадцать тысяч на одиннадцать. Мы были в поездке, в северном леспромхозе, ночевали в конторе. Они всю ночь играли, ещё и курили. Я сочинил такую пародию: “Нечёсаны, полуодеты, среди сигаретного дымка, два сильно русские поэта всю ночь играли в “дурака”. Забывши дом, семью, скрижали, не написавши ни строки, они сто раз подряд бывали поочерёдно “дураки”. О, братья, бросьте ваши драчки, вернитесь к родине своей, не то вас крепко одурачит всю ночь рифмующий еврей”.

Интересно, что это был тиснуто, кажется, в “Литроссии”. И никто нас со Старшиновым в антисемиты не записал. Смеялись.

БЫВШИЙ БРИГАДИР:

— Ох, работали! Агроном за лето две пары кирзовых сапог изрывал. А как уборка шла, да если вдруг, в частом бываньи, непогода? Я всяко исхитрялся, но у меня чтоб люди без простуды. А как? Дождище хлещет, картошка тяжеленная, старики, дети-школьники, женщины — как сохранить?

Вывозил в поле котлы, воду кипятил, заваривал чего-разного, травы. И поил горячим. Да ещё хлебушка, да ещё с молочком! Да когда и по яичку. Сам-то, конечно, на другом подогреве держался. С мужичками за день бутылки по три-четыре ошарашивали. Не вру! И — жив! Сейчас? О-о, нынешних бы в то поле вывезти, никто бы не вернулся (хмыкнул). Но нынешние и не поедут. Нынче дураков нет. Нынче люди стали умнее, а жить стало тяжелее. А тогда крепко нас подсадила компартия (подумал). Но хоть работали, хоть прочувствовали. Нисколько не жалею себя за те годы, нисколько. Было б позорище, если бы я, например, на митинг пошёл чего-то требовать. Глядел я на этих, что на Анпилова, что на эту Новодворскую. Только орать. А лопату не хошь в руки? А сто мешков мокрых перетаскать, загрузить-разгрузить, а они по шестьдесят, по семьдесят килограмм (долго молчал). Если бы в Бога не верил, уже бы и не жил... Ох, Россия ты Россия, матушка...

ВЗЛЕТЕЛИ НАД СВЯТОЙ ЗЕМЛЁЙ. Облака редкие, над морем стоят над своей тенью. И будто и самолёт замер. Нет, летим. Оглянулся назад — одно море, Боже мой, где ты, Святая Земля? Сердце бьётся, говорит: “Здесь Она, здесь!” Всю, что ли, забрал?

В **ВАГОНЕ-РЕСТОРАНЕ** подсел вполне приличный мужчина. “Я к вам попросился, женщин с вами нет. Я вообще с ними бы так мечтал: вот она с тобой побыла, всё хорошо, а дальше, чтоб с ней не возиться, нажимаешь кнопку, и она исчезает. А без них — милое дело. Хочу — налью, хочу — не налью, а с бабами? Ты что! Я их знаю, баб. У меня было много бабов. Чего-нибудь заказать?”

У **КОРМУШКИ** для птиц в Никольском: “Божья тварь, Божьих тварей кормлю. Потому что синичек люблю и воробушков в серой оправе. Божья тварь, печку в бане топлю и молитвой несчастья к нулю низвожу: унывать я не вправе”.

КОГО ТРУДНЕЕ разбудить, похмельного или бездельного?

НАСИЛЬНО ВЫРАБАТЫВАЛИ советскую национальность. Они же, большевики и коммунисты, видели пример: получилась же американская нация, и у нас получится. Вся пропаганда работала на советский образ жизни. Национальное если и допускалось, то только в кухне, костюме, песнях и плясках. На это денег не жалели. Но национальное мышление? Боже упаси! Особенно убивалось русское. Особенно в слове. Вот я писатель. Но я не русский, а советский писатель. Помню, старик Троепольский просил в аннотации указать, что он русский писатель. Ничего не вышло. Советский! Но ведь Айтматов, пусть и с советской приставкой, — киргизский, Сулейменов — казахский, Юхаан Смуул — эстонский, Ион Чобану — молдавский, Думбадзе — грузинский, и далее по тексту. А ведь выходили они к международному читателю только через русский язык. И печатали их куда усерднее, чем русских.

Вся эстрадная машина работала на советскость. Маяковский очень ценился: “Я — гражданин Советского Союза!”

Правда, вот вспомнил, в армии пели, да её и по радио часто пели, песню о русском Ване, солдате Советской Армии. “У нас в подразделении хороший есть солдат. Он о своей Армении рассказывать нам рад. Парень хороший, парень хороший, вот он тут как тут. Все его любят, все его знают, не без основания! Парень хороший, парень хороший, как тебя зовут? “По-армянски Ованес, а по-русски Ваня”. Песня длинная, много же национальностей, и все сводились к Ване. Как бы ни называли парня, откуда бы ни был призван, всё сплошной Ванёк. Но и это была пропагандистская поделка. Назойливая. И, конечно, насмешливая реакция на фальшивку не замедлила явиться. Пели: “У нас в подразделении хороший есть солдат. Пошёл он в увольнение и пропил автомат”.

ЖЁНЫ ЖИВУТ дольше мужей потому, что кричат на них, сваливают на них все свои страдания и беды. Кто виноват в том, что жена хуже всех одевается, выглядит и так далее? Конечно, этот эгоист, который никого не любит, только себя. Так и не женился бы.

Жена наорёт на него, наорёт, очистит свою нервную систему и пошла. А он, что ему-то делать, во всём виноватому? Ходит по квартире, посуду моет, только это и получается. Да и то, по опыту знает, что вернётся, возьмёт чашку и, конечно, скажет: “Это ты так чашки вымыл?” Начнёт перемывать.

— **НЕ РАДУЙСЯ — НАШЁЛ**, не тужи — потерял. Это мама всегда говорила. Это вспомнилось, когда я пережил попытку электронного ограбления. Я — образца 1941 года — дитя войны. И правительство решило нас порадовать, прибавить немножко к пенсиям. Спасибо, есть за что. За голод и холод, за верность Отечеству. Несмотря на засилие марксизма-ленинизма, терпеть которое тоже было противно. Но притерпелись, знали, что четвёрку по истории партии всегда поставят.

Так вот, звонят мне: “Вы в программе “Дети войны”, вам полагается приплата к пенсии полторы тысячи рублей”. Спасибо. Для Москвы это, конечно, копеечки, но и то хлеб. “А для этого продиктуйте номер вашей сбербанковской карты”. И я, как последний вахлак, всё продиктовал. И кодовые цифры, всё. Спасибо жене, как раз вернулась и ахнула: муженёк все секреты разглашает. Погнала в Сбербанк снять деньги. А и было-то их чуть-чуть. Да ведь и их жалко.

Но что думаю: доверчив я? Да. Но доверчивость — чувство православное. А ещё бы хотелось видеть эту женщину, которая так ворковала, так радовалась за меня, за дитя войны, что мне немножко будет полегче. Из неё получилась бы ээсовка. Грабишь стариков? Что ж ты не идёшь Чубайса грабить? То-то.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ и совесть — это в человеке голос Божий. Именно Господь и именно в этом месте Вселенной вывел на свет Божий именно этого человека. Чтобы человек берёг это место. И если в этом месте теперь земля разграблена, вода отравлена, воздух загажен, то с кого спрос? С рождённого здесь. А где он? А его нет. Ему в другом месте лучше. Ну да, в армии служил, ну да, учился, женился, но не может же быть, что не болит твоё сердце о родном. И эта боль хоть как-то оправдывает тебя.

СТАТИСТИКА 1903 года:

Людей на планете — один миллиард пятьсот сорок четыре миллиона пятьсот десять тысяч.

Из них:

Христиан: пятьсот тридцать четыре миллиона девятьсот сорок тысяч. Может быть, тут и католики и протестанты?

Магометан: сто семьдесят пять миллионов двести девяносто тысяч.

Иудеев: десять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч.

Другие: конфуцианцы, буддисты...

Итак. На тысячу человек: 346 христиан, 114 магометан, 7 иудеев, 553 остальных.

И какие вы ждёте комментарии из 2016 года?

Одно: Православие внесло смысл в существование мира. Второе: так что же, неправославные погибнут? Это знать не нам. Нам — радоваться, что мы православные.

ХЕЛЬСИНКИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ книги моей в огромном магазине, сказали, крупнейшем в Европе (тогда, год 1986). Ещё японец, тоже с книгой. Сидим рядом. Представляют меня. Чего-то жую о деревенской прозе, хвалю друзей. О себе: очень ещё несовершенен, учусь у классиков, очень благодарен за перевод книги на финский язык.

Представляют японца. Рубит фразами: “Мои тексты исследовали с помощью электронной техники! Я первый в японской литературе по построению фразы! Я близок по стилю к Акутагаве Рюноске, достиг Кубо Абэ, равен Киндзабуро Оэ...”

И, конечно, его книгу раскупают. Ко мне очереди нет. Да ещё и очень понижает моё настроение плакат: обложка моей книги, зачёркнутая цена, написана новая, гораздо меньшая. И хотя это, конечно, не уценка, а распродажа по случаю присутствия автора, всё равно не по себе. Вот и мямлю. Мой издатель очень огорчён.

Что делать? А дай не сдамся японцу! Набираюсь решимости, беру микрофон:

— Да, пишу я хуже Пушкина, Достоевского, Шолохова, но всё впереди! А что касается современников, тут со мной всё в порядке!

От японца пошли ко мне. И покупают. То есть, что это было с моей стороны? Похвальба, уверенность в своих силах, самореклама? Всё это как-то противно. А японец хоть бы что. Дотягивается до моего плеча, дружески хлопает.

— СЛАВА БОГУ, понемногу стал я обживаться: продал дом, купил ворота, стану запираяться. Скорее всего, ещё дореволюционное. Слышал от отца.

КОПАЮТ ТЯЖЁЛУЮ глину. Никаких перекуров. “Давай отдохнём. — Давай”. Наваливают бревно на козлы, начинают пилить. Это у них называется отдыхать. Тянут. К себе, от себя. На тебе, дай мне. Или, если почаще: тебе, мне, начальнику. И в самом деле, спины распрямились, стало полегче. И можно поговорить. Пилят. Туда-сюда, туда-сюда. “Ак чего скажешь, ведь парень-то у меня грозитя невестку в дом привезти, это как? — Не знаю, паря, не знаю, тебе с ней жить”.

ЕФРЕЙТОР ХОДИЛ за водкой. Две в карманах брюк, две в карманах шинели. Засекли. Побегал. За ним бегут. Выхватил одну, сорвал бескозырку, то есть жестяной колпачёк, и на ходу отглатывал. Это левой рукой. Правой вытаскивал из карманов бутылки и швырял их, как гранаты, под ноги преследователям. Ведь ясно, что всё равно сидеть на губе.

У нас в части такое было. Ефрейтор стал героем. Хотя и стал рядовым.

ПЛОХО ПРИВЯЗАЛСЯ. Работал на куполе. Упал, даже вмятина в земле. А выжил. Говорил потом: “Полетел, успел сказать: “Матерь Божия, спаси”. Ночью в больнице вставал и молился. А днём встать не мог”.

НА СТАРОСТИ ЛЕТ. Писатель, и очень известный, полюбил. Лучше сказать, увлёкся. Но увлёкся кренко. И, хотя отлично, при его-то опыте, понимал, что не стоит она “безумной муки”, но, но и но...

Приезжал в Москву, жил у нас. Мы всегда были рады ему, но у меня с ним одно не сходилось: я не мог сидеть ночью, слабел, разговор не поддерживал, а он как раз ночью бродил, зато назавтра валялся до полудня.

Сидит, роется в своих сумках, ищет лекарства и громко (он ещё глуховат) рассуждает:

— Московские умные шлохи насилуют знаменитых провинциалов. Готовься писать рассказ о том, как старый, нет, лучше, в возрасте, человек выдумывает себе утеху и, конечно, обманывается. Но! — поднимает палец, — отметь то, что любит он сильнее, чем та, что, важная деталь, признаётся ему в страстной любви. Он любит сильнее и надёжнее. Думает о ней ежедневно и полагает, что и она так же думает. Серьёзно думает. Это его идеализм. — Шарит и шарит по сумкам. — Рассказ назови “Вечерний разговор о... например, о Скотте Фитцджеральде”. Но рассказ о другом. Читатели это любят. Ей надоело уже моё присутствие в мире. Она сейчас, конечно, утешается с другим. А чего я ищу?

— Лекарство ты ищешь.

— Да. Но я его уже нашёл. Я ищу носки.

— Прими лекарство, а то опять потеряешь.

— А носки где?

— Я тебе свои дам. Больше ничего умного не говори, а то я спать хочу.

— А лекарство-то где? Ты же не бросишь человека, не принявшего лекарства? Пойду носки стирать. Представляешь, ко мне вернулось состояние, что сидишь где-то в людях, что-то говоришь, а думаешь о ней. Ты ложись, ложись, а я посижу, напишу письмо, пока душа полощется. Пусть она изменяет, я буду любить. Любить и лелеять любовь. Душа потом отблагодарит. Подожди, я же книгу ищу. А нашёл носки.

Уходит в ванную, стирает носки, поёт:

— Лебединая песня пропе-ета-а, но живёт ещё э-э-хо любви. — Выходит из ванны: — Как? Эхо живёт. А эхо живёт?

— Ну, пока звучит.

— Красивость это или нормально?

— Ну, если живёт, конечно, нормально. Хотя вообще всё это у тебя с ней ненормально.

— Но меня не долобили! — восклицает он. — Отца не было, мать на работе, девчонок боялся. Одиночество полное! От одиночества стал писателем.

— Так одиночество для писателя — это норма. Без него ничего не напишешь. Я ж тоже всё время рвусь в деревню.

— Это поверхностное — бег от семьи в деревню или там на дачу. Временное уединение. Нет, когда одиночество глубокое, постоянное, настоящее...

— Значит, ещё лучше напишешь.

— Как ты жесток! Занавес ещё только поднят, а ты уже убиваешь. — Опять начинает что-то перекладывать в сумках. — Пиши: “В семнадцать лет он ещё был хорош, пел песни и разыгрывал из себя знаменитого актёра, похотливого старичка, который любил ничтожных актёрок. Читал искусственным голосом Толстого и Пушкина: “Барышня, платок потеряли!”. “А Катюша всё бежала и бежала...”. Он не знал жизни, всех этих мерзавок, которые его обманывали”. Хм-хм! Голос прочищаю. “Я всё твержу: я нежно так, я нежно так — тут повтор — нежно та-ак тебя люблю-у”. Тут снова надо спеть повтор. Она меня хотела якобы только увидеть. “Ах, вот вы какой, ах, я прочла ваше ожидание любви, я поняла, что это обо мне, и вот я пришла”. О, радость, муза в гости! А получилось вот что. Запиши: “Нельзя быть копией жизни. Литература — это самостоятельная выдуманная жизнь, которая навязывает настоящей жизни правила игры”. Деревенской прозе не хватило пары белых усадебных дворянских колонн.

— Да эти дворяне после 61-го года приходские школы уничтожали, чтоб мужики оставались неграмотными. Земские создавали, а из них священников выгоняли. Дворяне! Паразиты и захребетники! — возмущаюсь я. — Дворянская культура! Да она только для них и есть. Французский учили, чтоб слуги их не понимали. Тургенев крестьянку шестнадцати лет купил и сразу её — в наложницы. А перед своей французенкой шестерил. И вообще все западники такие! А читателей им больше досталось. Да плевать! Всё, спать пойду.

— “Судьба решила всё давно за нас”, — поёт писатель и комментирует:

— Жуткие слова: “всё решено за нас”. Но если судьба — суд Божий, то всё правильно. — И на эту же мелодию (поёт): “Я душу дьяволу готов прода-ать”.

— Но это уже совсем ужас, — говорю я. — Это ты не смей: заступник народный готов продать душу дьяволу — за что? За лживую бабёнку?

— Вот так и бывает, — говорит он и снова роется в сумках. — Да! Зная, что живём первый и последний раз, что добро было всегда и будет всегда, что зло было, есть, но не будет, попадаем во зло. — Поёт:

— Зло появилось точно из-за на-ас. Но в будущем ему не-э жить!

— И этих бесовок не будет? — спрашиваю я. — Это вряд ли. Будешь чай?

Он бросает на пол найденную книгу.

— Зачем я её искал? Спроси: зачем я её искал? А лучше спроси: зачем я её писал? Может, чтобы именно она прочла и нашла меня? Старичок, думал ли я, — он даже руки вздевает, — что может быть такое сильное наваждение тёмной силы? Спать идёшь? А мне мучиться и страдать? Но я счастливый.

— Счастье в чём?

— Счастье в оживлении работы сердца.

— Работы какой? На эту бесовку? То есть именно она оживляет работу твоего сердца? И ведёт к надписи на могильном камне: “Эн-эн погиб не на дуэли, его страдания доели”. Объявляю: уйду спать.

— Какой сон? Тебе счастье выпало — слушать мои откровения. Спать? Продолжу о бабье. У них знания сосредоточены в сумках и сумочках. Поэтому они нуждаются (пауза) в носильщиках.

Сходил в коридор:

— Старый еврей рассказывает внукам о поездке в Москву: “Деточки, я жил у очень богатых людей: у них везде горит свет”.

— Дедушка, это они освещали тебе дорогу в туалет.

Он садится, немного отпивает из чашки.

— Это ты новый заварил?

— Ты же все равно спать не будешь.

— Думал сейчас, что Бунин — это уровень Рахманинова. Я записывал его ещё на колёсный магнитофон. И тогда же знал наизусть “Таню”, рассказ из “Тёмных аллей”. Пересказать?

— Давай. Я подсуфлирую. А знаешь, что в старости он страшно, как и Толстой, матерился? Вот не Шмелёва, не Лескова, а их возносили.

— Надо сесть и написать работу “О тех, кто долго был забыт”. И откликнется родная душа. “Рояль был весь раскрыт и струны в нём...” Да, осталось верить в рыдающие звуки. Выпью. За Афанасия Афанасьевича. Толстого он переживёт. И за Астафьева надо выпить. Это певец искалеченного народа. Не набрался нежности, жил мстительностью к советской власти. Любить её было не за что, но жить было надо. И мы жили! Я ощущаю себя, будто только заканчиваю пединститут и не знаю, чего меня ждёт.

Опять начинает рыться в сумках:

— Хотел тебе подарить, мне подарили, о Зарубежье. Адамович, Иванов, Зайцев, Берберова, Бунин опять же, хоть и матерился. Автор с некоторыми был в переписке, взял их письма, бросил на грядки страниц, пересыпал текстом, и всё. Нет, приказчик в начале двадцатого века был выше советского писателя. Цинизм московской критики — это ругань даже не извозчиков, а таксистов. — Подходит к окну: — Запиши: “Как небесны мысли, когда смотришь на вершины ночных вязов”.

Я уже тоже напился крепкого чаю и смирился, что ещё придётся долго не спать. Он вещает:

— Жизнь надо прожить, чтобы собрать богатую библиотеку.

— И обнаружить, что она не нужна и что её выкинут.

— Даже и с пометками?

— С ними ещё быстрее. Так что не трудись их делать.

Он понурился, тут же поднял голову:

— Русские писатели в шестидесятые написали правительству письмо о гибели русской культуры. И Шолохов подписал. И на письме, — писатель кричит, — была резолюция: “Разъяснить тов. Шолохову, что в СССР опасности для русской культуры нет”! Понял, да? Эта резолюция обрекала Россию. Вот когда погибла советская власть. Почему было не появиться коротичам, вознесенским, войновичам, евтушенкам, почему было не обвинить Шолохова в плагиате, почему было не раздуть непомерное величие Солженицына, убийственное для литературы. Так-то, милый. Одна и та же операция: вырезать, унижить, обогатить лидеров русского слова, внушить дуракам, что по-прежнему мы сзади мировой культуры. Внушили же! Дни нечистой силы стали праздновать!

— Плюнь, не переживай. Русские не сдаются.

И ещё прошло время. И опять он приехал. Опять сидим. Но стал он какой-то другой:

— У меня будет страшная старость. Въезжая в неё, я всё ещё вписывал кое-что в ловеласовский блокнот, а? Хорошее название? Да? А потом что

стало? Помни: нельзя иметь дело с бабами и оставлять об этом письменные следы. Бабы — это твари!

— Ничего себе поворотик! Да ты ж прошлый раз речитативы и арии о ней свершал.

— Тварь! Сняла копии, давала читать, подбросила журналистам. Чтоб развести. Но не будем о ней. — Сидит, молчит. Встряхивается: — Будем о нас. Мы, наше поколение, вошли в классику, как воры в трамвай: всех обчистили и выдали за своё. Но это было спасительно для классики. Ибо иначе вошла бы в неё шпана и убила бы классику. А мы сохранили. — Берёт со стола кружку, протягивает: — Любезный, нацеди.

ФАНФУРИКИ. В РОДИТЕЛЬСКУЮ субботу на кладбище всё прямо кипит от пришедших на могилы к родным и близким. С цветами, с поминальными пирогами. Кто и с выпивкой.

— Этого я очень не люблю, — говорит мне женщина, убирающая родительскую могилку. — От этого же покойнику только хуже. — Оглядывается. — О, а Павлик-то опять здесь. Была мать жива, не больно-то навещал, а на могилу чего не придти. Все видят — сын хороший.

— Да ладно. Хоть так вспомнит о смерти. У всех же один конец.

— Павлик-то? Да никогда не вспомнит! Он над матерью всегда смеялся. Она в церковь ходила, а он ей: время не трать и деньги в церковь не носи, лучше дай мне на радость жизни. На фанфурик.

— На что?

— На выпивку. Пузырьки такие. Лосьоны, одеколоны. И лекарства, какие на спирту. С дружками полощет. Говорил: “Смерти я не боюсь, всё равно все в раю будем”.

— Как это?

— Так и говорил. Говорил: разве не слышали, как на отпевании поют? Поют “Со святыми упокой”. Со святыми! Как ни живи, лишь бы отпели. И вечная память и рай гарантированы.

— Ну, это он очень самонадеян. Аксаков ещё в прошлом веке написал: “Всем “вечну память” пропоют, но многих ли потом вспомнят?”

Но ровно через год я убедился, что Павлик не забыт. На его могилке было много пустых фанфуриков.

ЗАВТРА НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА. В церкви поздравляем друг друга, обнимаемся, просим прощения. И выходим из храма, будто на фронт идём.

В СТУДЕНТАХ НА ВТОРОМ курсе выпускали мы рукописные журналы “Кто во что горазд” и “Молодо-зелено”. Занималась ими Надя, будущая жена моя. И вот только что призналась (она вообще сверхскушая на добрые слова о моих трудах, молодец; хвалила бы — загубила бы) — призналась, что тогда её покорили два моих стихотворения. И она их помнит наизусть всю жизнь. Я и не поверил, я их совсем уже не помнил. Прочла:

“Подснежник. Апрель для зимы горек: вода проталину вымыла. Поляна ладошку — пригорок — из варежки снежной вынула. Листок одеяльцем стелет, но разве сладись с ребёнком: проснулся, на нитке стебля мотает своей головёнкой. Расправила хрупкие плечи его двухнедельная участь. Я старше его и крепче, но мне бы его живучесть”.

И ещё: “О, море-море, прилив — отлив. Прилив уходит, шумит пролив”... Тут, честно скажу, дальше не помню, — призналась Надя. — Но это подводка к основному: “Когда я о море с грустью писал, то вспомнил невольно о вятских лесах. Они, как море, простором полны; Для птиц их вершины — как гребень волны; Там тоже, как в море, дышать легко, но то и другое сейчас далеко. И неотрывно в сердце всегда: туда непрерывно идут поезда... Старый-престарый весёлый сюжет: там хорошо лишь, где меня нет. Но если он стар, этот старый сюжет, то, может быть, плохо там, где нас нет”.

— Ну, доказала?

— Ещё бы.

Такой подарок от жены. Можно же мужа раз в пятьдесят лет похвалить. Да, государство в полстолетие супружества нас “озолотило”: выделили нам по пять тысяч. Сумма. Тут как раз Наде к врачу с её болячками. Визит — восемь тысяч.

Вообще, это оскорбление, нанесённое нам государством. Лучше бы и не давали, мы и не просили, и не надеялись. И что такое сейчас пять тысяч! Смешно. А вот то не смешно, что это для молодых нынешних супругов, и так-то заражённых всяким цинизмом по отношению к браку, повод к лёгкому прекращению супружества: что и жить до золотой свадьбы, всё равно только сунут подачку на одну десятую мини-банкета. Ну, государство! Так поддерживать примеры нравственного супружества! Пятьдесят лет держали оборону!

— Да ладно!

— Вот это твоё “да ладно”, вот оно и помогает нас за людей не считать, — говорит жена.

Я перевожу разговор:

— А вот эти стихи, тоже тебе посвящённые, помнишь? Может, вместе вспомним? “Жена моя, милый мой друг, что я, какой больной, чтобы ехать на юг — париться в этот зной? Там звёзды низко висят, плюнь на них — зашипят. Север в моей судьбе, северу — долг и честь. Там будешь ходить по избе, как самая что ни на есть!” Чем плохо? А в финале там выводил о высоких звёздах.

— Что это такое “самая что ни на есть”? Это по-русски? — сердится жена.

— Это по-вятски — высшая оценка красоты.

— Да у вас, вятских, всё не как у людей.

— Точно. Мы не люди, мы вятские.

Какое-то время жена молчит, но хорошее с утра настроение перебарывает, и она вспоминает:

— Я вот это помню: “Наш северный лотос — кувшинка, наш виноград — рябина, наши моря — озёра, наша пальма — сосна. Сосна — корабельная мачта с натянутым парусом неба, стоящая среди России, как в палубе корабля”.

— Ну, Надя! — я потрясён. И тут же ляпаю: — Может, я поэтом должен был стать, да вот жизнь задавила.

Жена отворачивается к компьютеру:

— Не жизнь, а жена тебя задавила. Женился бы на Эле.

Это она всегда так.

— Да ты что! С утра пришёл бы на кухню, а там Эля в халате.

— Ну и что?

— Но ты-то ни разу в жизни халат не носила. Ты у меня не халатная.

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ СЛУЖБЫ нынче посещал усерднее, чем в прошлые годы, но всё равно не все. Все забываемы. В четверг причащался. Вечером — Двенадцать Евангелий. Особенно вчерашняя служба впечатлила — Чин погребения. И — вот она Вера православная — долгие часы стояния, а переносил, слава Богу, терпимо. Дай Бог и сегодня отстоять Пасхальную.

В СОТОВОМ ПАСХАЛЬНЫЕ эсэмэски: “Ты яичко золотое на ладошку положи, и на ушко тихо Богу жизнь свою всю Расскажи. Он поймёт и не осудит, и подскажет наперёд: где соломинки подбросит, где на ушко что шепнёт. Лучик солнца плёт с небес. Радуйся: Христос Воскрес!”

В ЭТУ ПАСХУ ХРИСТОВУ мысленно причащался за родных, уже умерших, при жизни лишённых Причастия. Ведь в этом они не виноваты.

Вообще, страшно: огромные десятилетия миллионы людей шли по жизни без церкви и покаяния. Без Причастия. Страшно.

Каждый день Крестный ход.

Дьякон:

— Рцем вси-и!

Батюшка:

— Христос Воскресе!

Мы:

— Воистину Воскресе!

И радуга капель летит к нам от большого старинного кропила.

Нести фонарь, Крест, хоругви, иконы, когда облачён в нарядный пасхальный стихарь, совсем другое дело, нежели идти в обычной одежде. Видите ли меня, дедушки Яков и Семён, и Платон и бабушки Александры, бабушка Дарья? А ты, брат Борис? И Николай и Варвара, родители? Спросите по одним вам известным средствам связи детей моих и внуков: “Что ж вы не идёте рядом с отцом, с бабушкой?”

Сам я виноват, нетерпелив, зануден. Всё будет в своё время. Уж хотя бы не при жизни, хотя бы оттуда увидеть наследников, несущих хоругви.

— ГВОЗДЬ-ТО КАКОЙ аппетитный, — говорит Володя, указывая на старую доску, — а ты босиком. — Продолжает рассказывать: — Да, так и живу. Одной дочери дай десятку, другой — пятёрку.

— Конечно, тысяч?

— То-то и оно-то. Тут сын: “Пап, ты не подбросишь на бензин?” Ты ж на такси, говорю, и на бензин не имеешь? То есть, что я получал раньше зарплату, что теперь пенсия, всё равно то на то и выходит. Раньше пил, курил и ещё какие-то деньги были. Сейчас не пью, не курю, и денег нет. А они уже и это в свою пользу: пап, ты молодец, ты не куришь, сигареты же дорогие, деньги лучше на внуков давать.

Но Володя, я знаю, любит своих детей и внуков, любит действительно. То есть и коз, и куриц держит для них. Немного яиц и молока продаёт. Но очень мало: всё съедают свои.

— Роман приходит, он меня подстригает, мне вроде дешевле, вроде как бесплатно, а получается дороже. Как? Ну, я же не кто-то, чтоб не отблагодарить. А сейчас, когда не пью, он приходит не перестал. Я ему ставлю бутылку, ему дико одному пить, и с собой не берёт. Очень удивляется: “Ты, говорит, один живёшь и не спился”. Но подстригает.

ОПИСАТЬ ЗАКАТ — дерзость великая, особенно не после даже писателей, а после художников. Да теперь уже и после фотографов. Сегодня закат, вдобавок ко своему прощальному сиянию, ещё и красновато-тревожный (вчера был напряжённо-малиновый, будто изливался из мрачно-багровых туч), солнце приземлялось в облака, которые силились приглушить его. На другой стороне тень колокольни прямо-таки населась слева направо по просторному, который год не засевавшему полю.

Описать, как одинокая корова идёт по нему и как она тоскует, что столько травы, а некому пастись вместе с ней, а ей одной так много этого раздолья.

Яркая зелень молоденьких сосенок — самосева. И уже, говорит сосед, появляются в них рыжики.

Смотреть на финал заката, как ни красив он, не хочется. Тем более сегодня новолуние. Лучше уйти в дом и лечь, не раздеваясь, поверх одеяла. И постараться ни о чём не думать.

Но лучше и не стараться.

“Чёрный человек” Есенина — алкогольная галлюцинация. Ибо он у него был не снаружи, а внутри. Не “что ты, ночь, наковёркала”, а вся жизнь.

Гоголь сломался на поиске идеала. Где его взять: един Бог без греха.

“Лень больше грех, чем гордость”? Надо же, а я ленивый.

Общество ещё может признать свою вину перед человеком, государство никогда. А ведь то, что природная одарённость человека не раскрывается,

потому что он только и думает, как бы заработать, — это прямая вина государства. И вообще оно безжалостно. Выпило оно у тебя все жизненные силы и вышнывает. А ведь могло бы благоденствовать, будь поумнее.

А ВОТ ЗА ЧТО вятским так не везёт? Взять хотя бы эту болевую точку — флаг над рейхстагом. Ведь доказано уже, что первым водрузил флаг именно вятский солдат Григорий с прекрасной фамилией Булатов. А какое у него красивое лицо! Именно лицо молодой победы. А числятся, всем известны, знаменосцы Егоров и, из угоды вождю, грузин Кантария. Несомненно прекрасные воины, и слава Богу, что прославлены. Ну, а Григорий Булатов? Очень много я прочёл о нём, много слышал. Ещё в 70-е, когда он был жив. Ему лично маршал Жуков обещал помощь, и даже была встреча со Сталиным, но всё кончилось тем, что Сталин умер, а Жукова Никита задвинул в Свердловск, потом в Одессу.

А Булатову каково? Не над курятником флаг. Стал попивать. Смеяться над ним стали, прозвали — Гришка-рейхстаг. А потом, потом, я уверен, его, как и Есенина, всунули в петлю. Пустили слух: сам, по пьянке, полез. Мешал пропаганде. Скорее, легенде.

А недоступный Эверест по недоступной стенке прошёл вятский альпинист Шабалин.

А ВЯТСКИЕ В ПРЯМОМ смысле (и сибиряки) спасли Москву. Северо-западный фронт — самое кровопролитное место войны. Тут они и были. Мы с Гребневым были около Ржева в Полунино. В одной могиле, где его отец, больше десяти тысяч павших. Только в одной. А их там сотни. Не зря же у Твардовского именно сказано “Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте”.

СОБОРНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТСЯ из общинности (социальное), из артельности (труд), из прихода (духовность).

СЕМИНАРИСТ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ в карманы своей рубашки помещает два образочка Божией Матери. Ликом к себе — образ “Прибавление ума”, ликом к преподавателю — “Умягчение злых сердец”.

ЛЮДИ ОБЫЧНО мыслят фактами, понятиями, философы — категориями, православные — Заповедями. Вот бы соединить.

СПАСИТЕЛЬ ВОСКРЕС, ВОЗНЁССЯ, теперь дело за нами.

В ДУШЕГУБКЕ, в газовой камере все умерли. Только сидят четверо, в карты играют. Полицейские потрясены: как это так?

— Так мы же кирово-чепецкие.

ИСЦЕЛЕНИЙ В ГОРОХОВСКОМ источнике было страшное количество. Одна женщина была — невралгия сильнейшая. Выкупалась — прошло. — Надо записывать. — А чего записывать? Кто верит, тому чего говорить?

РАСПЛАЧИВАЮСЬ В СЕЛЬСКОМ магазине. Мелочь из кармана просыпалась. Продавщица: “О, сколько денег насыяли. — У вас хотят остаться. — Конечно, мало купили”.

СОБРАНИЕ. ГОЛОСУЮТ:

- Кто “за”?
- “За” президиум и ещё первый ряд.
- Кто “против”?
- Несколько из последних рядов.
- Кто “воздержался”?
- Тоже несколько.
- А кому всё по фигу?
- Все остальные.

ГАИШНИК ВИДИТ: мужик пасёт козу на асфальте.

— Ты что, она же у тебя сдохнет!

— Ты же не сдох. А тоже на асфальте.

Потрясающе у Фета: “Когда дыханье множит муки, и было б сладко не дышать”. У него же: “Как беден наш язык: хочу и не могу”.

И особенно это: “Где слышишь не песню, а душу певца, где дух покидает ненужное тело, где внемлешь, что радость не знает предела, где веришь, что счастьем не будет конца”.

Это подходило к выступлениям иеромонаха Фотия. Ездил с ним и в Ташкент, и в Краснодар.

Душа наша, по Платону, родилась в царстве вечных форм, образцов существующего, и на земле ищет их подобия. Только мудрые видят в бегущем блески вечности. (“И песен небес заменить не могли ей скучные песни земли”.)

Последняя поездка с Распутиным на его родину. Тесно в микроавтобусе. Ехали больше двенадцати часов. Уже снег. Крестовоздвижение. Знакомый паром. Выступали. Валя выступал, сбился. На обеде: “Всё, отъездился, был последний раз”. Вернулись в третьем часу ночи, в шесть вставать на самолёт.

До того искали могилы Маруси и Светы. Он очень переживал, что не помнит. Нашли. Внизу трасса. Шумно.

Горечь оттого, что ничем не помочь. Только молитва.

— Да, у тебя было трудное детство.

— У меня его (плачет) вообще не было.

ОТЦА НАШЕГО, тятю, расстреливали. Только не помню, кто: красные или белые. “Давай лошадей! — Я же отдал одну, а у меня только две. А семья как будет? — К стенке!” — офицер кричит. Потащили. Тут мама нас всех вытолкала во двор, пошвыряла к ногам отца, кричит офицеру: “Всех стреляй!” Ну, он всё-таки опомнился.

— И ты это помнишь?

— Смутно. Старшие рассказывали.

УМНАЯ ЖЕНА постоянно держит мужа в виноватых. Виноват во всём и виноват только он. Не то сказал, не туда пошёл, не с тем встретился, не так оделся. Не то вспомнил. Не то подумал. Не так на неё поглядел... То есть кругом виноват. Не прав ни в чём. Если он умудряется доказать, что хоть в чём-то прав, хоть в чём-то не виноват, жена тут же заболевает. И в этом, конечно, виноват опять же он.

Интересно, что при этом он считается главой семейства.

— БЫЛ ВЕЛИКИЙ поэт Ермил Костров. Не зря же именно с ним, а не с графом Хвостовым Суворов дружил.

“Да здравствует Екатерина, торжеств и радостей причина! ...Слеза вдовиц, сирот вздыханье, гонимых вопль, несчастных стон, в суде обидимых стенанье, возвысится. Предвечный трон за них Творцу и всей природе, законам, разуму, свободе обязан тот воздать ответ, кому и суд, и силу властну ко благу всех, ко благу частну вручил Божественный совет...”

Три четверти века, легко ли! Но если нормально, то и не тяжело. Тут главное — молиться, чтоб никому в тягость не быть. Да ещё вытерпеть нападки на Россию, коих впереди великое множество...

ВЛАДИМИР БЕРЯЗЕВ



ОЧАГ МОЙ

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

I

Мы были здесь в Великую субботу.
Господь во гробе. В небе — только ветер.
А там, внизу, как в древней Иудее,
Пустынный склон, и овцы разбрелись
Без пастуха — пространная долина
Распахнута до самого слиянья
Катуни с Чудей...
Странная тоска
Щемила сердце. Много лет я не был
У древнего святилища, не трогал
Поверхностей, изъеденных морозом,
И тонкой влагой, и палящим жаром,
Но всё ж хранящих в каменных страницах
Такую мощь иных прикосновений,
Что до сих пор на плоскостях, покрытых
То серым мохом, то сетчаткой трещин,
Живут в полёте тени и виденья
Великих предков...

БЕРЯЗЕВ Владимир Алексеевич родился на Кузбассе в 1959 году. Поэт, эссеист, переводчик, публицист. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор книг "Окоём", "Могила Великого Скифа" и других, а также сборников стихов, книги очерков и эссе. В настоящее время — зам. гл. редактора журнала "Сибирские огни". Секретарь правления Союза писателей России и сопредседатель Ассоциации писателей Сибири. Живёт в Новосибирске.

Сколько тысяч лет
Назад они долбили этот камень,
Чтоб выбить, как молитву и посланье,
Всю эту галерею, хоровод,
Весь этот гороскоп ветхозаветный?..

II

Пустыня пожирала душу мне.
Покинутостью, холодом, прощаньем
Насквозь была пронизана окрестность.
И я уже не верил, что вернусь
Когда-нибудь к работе и веселью,
Стихам, вину, любви и болтовне
О милых пустяках в кругу любезном.

Пустыня настигала, как судьба...

III

А было время, здесь же я изведал
Такую полноту развоплощенья,
Такую силу токов родовых
И в безвременном море растворённость,
Что навсегда утратил эгоизм,
Тщеславный огонь, страхи бездны...
Впрочем,
Есть вещи, о которых невозможно,
Небезопасно даже говорить,
Чтоб не потратиться, не изолгаться...
То давнее — беспошлинно моё,
Души отчизна, поле возрожденья.

IV

Да, да, то было много лет назад,
В другой стране, с другим, полужнакомым,
Невежественным, дерзким гордецом,
Которого переполняло нечто
Незнакомое... Он не мог вместить
Томлений тех, и зова, и величья,
Хотя стремился. Право, даже очень.
Но не сумел, не понял, не достиг.

V

На родину стремишься перед смертью.
Но мир — яйцом пасхальным обернулся,
Что на ладони Господа ютится —
Уж родиной планету мы зовём.
Мы дома. На любом из континентов
Зарыты кости родственников наших.
Всё вертится пасхальное яичко.
Суббота не закончится никак...

VI

Мой ангел, ты, как прежде, за спиной.
Всё веруешь, и разочарованью
Моей души не хочешь уступить.

Я не достоин такой опеки.

Но всё ж, признаюсь, только на тебя
Надеюсь, уповаю, среди здешней
Душевной пустоты.
Уже давно
Я ощутил твоё прикосновение...
Не понимая, кто меня ведёт,
Я шёл с тобой по тропам азиатским.
И вот однажды, здесь, на Калбакташе,
В одной из экспедиций, жарким днём
Я прикорнул у самого подножья
Скалы с иконостасом трёх вселенных,
Где в верхнем мире семь богатырей
Сражаются с медведицей хвостатой,
А в среднем — всё охота, всё любовь:
Погоня, козы, волки да олени,
Полёт стрелы да остриё копья.
А в нижнем, нижнем — тени да личины,
Тамги родов, шаманская тропа...

Я спал на щебне, подложив под щёку
Овальный камень, голубой песчаник,
Чуть тронутый лишайником, нагретый
Июльским солнцем, спал, одолеваем
Истомой странной, будто бы меня
Баюкали невидимые руки,
Спал в центре храма,
Чуть ли не в алтарне,
И был таким покоем переполнен,
Что мой товарищ, кинооператор,
Уж с возделеньем камеру поднявши,
Вдруг засмутился тишины блаженной,
Улыбки неменяемой и слюнки,
Стекающей из уголка морщинки
Загубной...
Он ушёл, не потревожив
Нездешних сновидений. Он ушёл
К реке, чтобы сварить походный ужин,
А я остался, предками храним.

Пока я спал, эпохи и зоны
Промчались, человеческие расы
В горниле войн смешали своё семя,
Пока я спал, и солнце докатилось
До ближнего хребта, пока следил я
Произрастанье мирового древа,
Над древнею долиной собрались,
Подобные ворчанью горных духов,
Тугие фиолетовые тучи,
Пока я спал, Алтай заволокло
Свирепой бурей. По всему пространству,
От Уч-Сумера и до Алтын-Кёля,
Свой чёрный скот Эрлик, подземный демон,
Спеша, погнал бичами длинных молний.
И, словно пыль от стад неисчислимых,
Мрак грозовой покрыл, окутал горы,
И старый тракт, и наш костёр неяркий,
Который наш приятель-археолог

Не разглядел во тьме предсотворенья,
Промчался мимо на своём “УАЗе”,
Двумя лучами щупая тропу.

В святилище, на камне,
В оке бури,
Я спал, не слыша грохота и топа,
Но от случайной капли вдруг очнулся
И, разывая плотные ресницы,
Над скальным козырьком успел заметить
Твою улыбку,
Тихий ангел мой.

* * *

Льна ль с полынью или хлопка простор белоснежный
Вновь отворяешь мановеньем, движеньем одним!
Этим ли жестом очаг мой доньше храним
От одиночества и хаоса мглы порубежной?..

Прах отряхну, воротясь из далёкой дали,
Нас до конца заслоняя от страха, вражды и неволи,
Дверь притворю... Тихо вымолвлю: “Постели
Свежие простыни, чистое-чистое поле”...

* * *

По льду, по льду через Оби просторы,
Вдоль колеи —
Везу беду... И праведны, и скоры
Суды Твои.

Куда бежать? Везде поля пустые
И наст, и снег...
Не услышать слова любви простые
Ужель вовек?!

Не треснет лёд, разломы и торосы —
В иной зиме.
Да о былье былом одни вопросы
В грядущей тьме.

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ



ОДНОВА ЖИВЁМ

ПОВЕСТЬ

— Вам кого?

Григорий Пряхин поискал глазами владелицу этого сухого, требовательного, казалось, совсем не женского голоса, и с удивлением увидел в дверном проёме, который соединял приёмную с кухней, невысокую девушку. На ней были тёмно-синие облегающие брюки и голубая с погончиками рубашка. Чем-то внешний вид девушки напомнил ему стюардессу.

— Мне Арсения Петровича, — ответил Григорий.

— Он занят. Вы по какому вопросу?

Голос был всё тем же — сухим и казённым. Должно быть, он явился не вовремя.

— Я подожду, — сказал Григорий, присаживаясь на кожаный диван и осматривая офис. В углу, прямо у окна, стоял солидный, цветом под орех, крепкий итальянский стол, на нём — импортный набор канцелярских принадлежностей, а чуть сбоку он увидел на столе бронзовую фигурку бегущего медведя и, уже не сдерживаясь, улыбнулся, столкнувшись взглядом с ещё одним, который с большой фотографии на стене, подняв лапу, казалось, приветствовал посетителей.

Прямо над ним висел портрет Дмитрия Медведева, чуть выше — портрет Владимира Путина в лётном шлемофоне с именным автографом, а под ними — фотография актёра Леонида Быкова, переснятая из кинофильма “В бой идут одни старики”.

ХАЙРЮЗОВ Валерий Николаевич родился в 1944 году в г. Иркутске. Окончил Бугурусланское лётное училище. Летал командиром корабля, пилотом-инструктором. В 1981 году окончил Иркутский государственный университет. Автор нескольких книг. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

“Хорошая компания”, — подумал Пряхин, на секунду пожалев, что, собираясь сюда, не надел лётную форму, дабы не портить сложившийся в этом офисе пейзаж.

Пряхин мог бы тоже кое-что вспомнить из жизни медведей и рассказать секретарше, но у памяти был свой порядок, почему-то перед глазами встал день, когда он впервые в жизни пришёл устраиваться на работу.

После окончания училища он прибыл в авиационный отряд и первым делом зашёл в отдел кадров. Пожилая секретарша приняла документы и позвонила в общежитие, чтобы там разместили вновь прибывшего пилота. В общежитии хмурый и малоразговорчивый технар, которых в авиации называют “слонами”, кивнул на свободную кровать.

— Занимай, будет твоя. — И, помолчав, добавил: — На ней Кешка Сенотрусов спал, позавчера схоронили. Разбились в горах. Врюхались в облако и оказались на склоне. Никто не выжил.

“Ничего себе, оптимистическое начало!” — подумал Пряхин, рассматривая свернутый в рулон матрац. Постояв посреди комнаты, он придвинул к стене чемодан, развернул матрац. Сестра-хозяйка принесла постельное бельё, и Григорий начал застилать кровать. “Где что-то кончается, там что-то и начинается”, — успокаивая себя, подумал он.

А потом пошла работа, сегодня ночуешь здесь, завтра — в другом месте. Бывало, что приходилось коротать ночь прямо в вертолёте, и было неизвестно, какая кровать ждёт тебя в следующий раз. По работе была и зарплата — не обижали. Как иногда сами вертолётчики подшучивали, большой винт считает рубли, маленький — копейки; пошли срочные задания, посадки на буровые, полёты с геологами в тайгу.

В начале девяностых годов появились проблемы, о которых Пряхину не хотелось вспоминать. Распалась страна, а за нею начала разваливаться авиация. Авиакомпания, в которой он летал, была объявлена банкротом, лётчики подались, кто куда: одни — сторожами в гаражи, другие, половчее и посообразительнее, с объемными пропиленовыми сумками, которые сами же называли “мечтой оккупанта”, мотались челноками в Китай.

Пряхин улетел на Камчатку. Туда капитализм добрался не сразу, а с некоторым опозданием, и вертолётчики, из-за отсутствия дорог, были все ещё востребованы. Он начал выполнять заявки, обслуживая зарубежных туристов и ВИП-персон. Однажды поступила заявка от богатого англичанина: тому захотелось иметь в своей коллекции медвежью голову. Медведя подняли в заболоченной низине, он, почуяв опасность, начал убежать от вертолёта со скоростью курьерского поезда. Следуя за медведем, Пряхин засёк скорость вертолёта: стрелка на приборе показывала больше шестидесяти километров в час. Но куда убежишь от железной машины? К тому же медведь не стайер. Догнали, зависли над мишкой. Он заскочил в какую-то болотную лужу и совсем по-детски прикрыл голову лапами. Англичанин через открытую дверь кабины всадил заряд из карабина в спину и перебил мишке позвоночник. Тот присел на зад, уже не в силах сдвинуться с места. Даже сквозь шум работающего двигателя было слышно, как он ревёт, жалуясь на боль, пытаясь лапой закрыть рану. Сквозь пробитую шкуру у него вывалился наружу спинной мозг. Следующим выстрелом англичанин добил зверя. Григорий приземлил вертолёт рядом с лежащим мишкой, и охотники, из числа местных, быстро загрузили тушу в вертолёт.

— I would love to hunt a moose, — блеснув ослепительно белыми ровными зубами, с азартом крикнул англичанин, но, натолкнувшись на хмурые глаза Пряхина, уже на ломаном русском пояснил:

— Мне обещали стрелять лося.

— Лосей здесь нет! — резко ответил Пряхин и, посчитав, что заявка выполнена, полетел на базу.

Сдав вертолёт, он на другой день рассчитался с авиакомпанией и улетел домой. Убийство зверя, которого эвенки считают лесным человеком, стало для Пряхина навязчивым видением. Где-то в душе он считал, что ему обязательно воздастся за этого мишку, только не знал, когда.

А вскоре он и вовсе забыл про камчатскую охоту. Жизнь дала резкий отворот, и он очутился за границей, но не в Китае, а в Непале. Там для

работы в горах нужны были опытные вертолётчики. Отбор был жёстким, требовались специалисты, имеющие все допуски: полеты днём, ночью, в сложных условиях, с подбором площадок, работа с подвеской в горной местности на высоте до шести тысяч метров. Все это у Пряхина было.

И вот он уже сидел в кабине вертолёта, обслуживая горноспасателей, а также восходителей со всего земного шара, которые стремились покорить заснеженные гималайские вершины. По узким горным тропам шерпы переносили на своих плечах для альпинистов по тридцать килограммов груза. Буйволы — по шестьдесят. Пряхин на вертолёте доставлял сразу четыре тонны.

В Непале работали вертолётчики из многих стран, но Григория за мастерство и умение находить нестандартные решения зарубежные альпинисты прозвали летающим медведем. Заказчиков на мякине не проведёшь, кто может, тот делает свою работу. И Пряхин её делал, аккуратно и филигранно, где надо — смело, а где и с особой осторожностью. Иногда приходилось сажать винтокрылую машину на такие горные террасы, где и буйволу, казалось бы, не развернуться. Во время полётов Григорию доводилось видеть гималайских медведей, но в Непале охота на них была строжайше запрещена. Он знал, что в России в девяносто восьмом году запрет на отстрел был снят вообще. В свое время Горбачев произнёс вроде бы безобидную, на первый взгляд, фразу, мол, “я даю вам волю, что не запрещено, то разрешено”. Для многих это стало сигналом: живём-то мы здесь и сейчас, а что будет завтра, об этом будем думать завтра. А пока, как гласит буддийская мудрость, “однова живём”.

За границей Пряхин проработал около года, позже, вспоминая то время, он признавался, что не раз его жизнь висела на волоске. Но судьба неизвестно для чего хранила его. Отработав положенный срок, он вернулся домой. Однако в той России, куда он приехал, авиацией теперь уже распоряжались неизвестно откуда возникшие прохвосты. Другого слова он подобрать не мог. Например, той авиакомпанией, которая отправляла его работать в Непал, управлял милиционер. Он-то и довёл её до банкротства и благополучно растворился среди таких же проходимцев.

Неприятности имеют свойство накапливаться и притягивать к себе новые. Пряхин в это поверил, когда к нему в дом пришла настоящая беда. Жена, его любимая Женька, которая все эти годы терпеливо ждала его после полётов, деля все горести и радости совместной жизни, получила неожиданный удар. С нею случился инсульт, и она потеряла возможность не только говорить, но и передвигаться на собственных ногах. Пряхин перевёз жену в Москву, снял квартиру и начал показывать её московским докторам, покупал самые дорогие импортные лекарства, но все его усилия оказались напрасными. Врачи разводили руками. Приговор был неутешительным: до конца дней она была обречена на неподвижность. Пряхин понимал, болезнь связана не только женой, но и его. Какие тут могут быть полёты и командировки? Семь лет он, как мог, ухаживал за женой. Носил в ванну, мыл, стирал белье, кормил из ложечки.

Она ушла тихо и спокойно, однажды уснула и не проснулась.

Оставшись один, Пряхин вновь попытался поискать работу. Ему говорили, что рабочих мест, где он мог бы применить свои лётные навыки, нет и не предвидится. Но однажды из Нукутска позвонил бортмеханик Цырен Цыренович Торонов и сказал, что назначенный из Москвы губернатор подыскивает опытного пилота. Пряхин решил попытать счастья, авось повезёт. Он взял билет и полетел в Сибирь. На этот раз ему не повезло. Губернатору порекомендовали взять другого, уволенного из армии вертолётчика. Не солоно хлебавши, Пряхин вернулся в Москву.

Встал вопрос: что делать дальше? Ещё в то время, когда он был привязан к больной жене, Григорий начал писать воспоминания о своей лётной жизни. Некоторые записи он переделывал в сценарии, надеясь, что по ним можно будет снимать фильмы. Сценарии печатали в газетах и журналах, но предложений снять фильм не было. И вот всё решила неожиданная встреча с депутатом, геологом Игорем Толстых, которого раньше Пряхин не раз забрасывал на вертолёте в тайгу, а позже помогал ему на выборах. Узнав,

что Пряхин ищет работу, Толстых предложил съездить на Октябрьскую, там, он слышал, открылась киностудия военного кино.

— Я знаю, ты начал писать. И, говорят, неплохо получается, — сказал Толстых. — Так что ноги в руки и чеши. Вот тебе адрес, я позвоню руководителю, там наши люди.

Ждать, когда на него обратят внимание, пришлось долго, но всё же дверь открылась, и Григорий увидел полного мужчину в тёмно-синем костюме, по всей видимости, отставного офицера. Задержавшись в дверях, он продолжал говорить по мобильному телефону. Секретарша вскочила со своего стула и застыла по стойке смирно. Григорий поймал себя на мысли, что уже встречал этого человека, но не мог припомнить, где.

— Я от Толстых, — сказал Григорий, когда мужчина закончил говорить по телефону, — насчёт работы.

Он уже понял, что это и есть Арсений Петрович, который занимается подбором кадров для развития отечественного кино. — Игоря Сидоровича, — для солидности добавил Григорий. — Он вам звонил.

— Посмотрите резюмо, — прикрыв ладонью телефон и глядя куда-то в себя, сказал Арсений Петрович.

— Резюме, — не поднимая головы, поправила секретарша, и Григорий увидел, как по её лицу скользнула едва заметная улыбка. Он поразился этой улыбке, точно в комнату неожиданно заглянуло солнышко. Но секретарша быстро спрятала её, и лицо вновь стало мраморным.

— Ну, я и говорю: ремозье и всё, что надо! — продолжая думать о чём-то своём, махнул рукой Арсений Петрович.

— Да, я принёс! — быстро, с торопливой готовностью ответил Григорий. — Автобиографию, трудовую и всё, что полагается в таких случаях.

— Вот и прекрасно! — Арсений Петрович убрал ладонь с телефона. — Передайте секретарю. — И вновь скрылся за дверью.

Пряхину не понравилось, что ему уделили внимание ровно столько, сколько уделяют назойливой мухе. “Неужели Толстых не позвонил?” — подумал Григорий. Что ж, по прошлому опыту он знал: у тех, кто приходит наниматься на работу, вариантов немного, вернее, всего один, да и тот ущербный: сиди и жди своей участи, командуют парадом другие, например, вот такие секретарши.

Кроме резюме, секретарша попросила копию паспорта и выписку из трудовой книжки. Григорий уже с некоторым любопытством следил за её движениями, пытаясь угадать, что ещё может потребовать эта молоденькая особа с казённым выражением лица.

— Вот здесь вы указали, что работали за границей. Надо уточнить где, в какой стране или странах, — все тем сухим голосом сказала она.

Подчиняясь коротким, как выстрел, командам секретарши — “покажите то”, “это не пойдёт”, “здесь нужны цветные, а не чёрно-белые фотографии” и так далее и тому подобное, Григорий, чтобы не забыть, начал записывать на бумаге замечания.

— Вот ещё что, напишите, что вы умеете делать! — наблюдая за Григорием, с еле заметным раздражением в голосе, потребовала она.

— Прямо на бумаге?

— Арсений Петрович требует, — уже мягче сказала секретарша.

Григорий взял чистый лист бумаги. В голове мелькнула мысль написать, что он допущен к полетам днём и ночью, с подбором площадок в горной местности и в тайге, но тут же остановил себя, здесь это не зачтётся, и размашисто написал: “Фсе”! Затем внизу поставил свою подпись и дату.

Секретарша взяла листок, прочитала и протянула новый.

— “Всё” пишется через “вэ”, — сказала она.

— Вы в каком полку служили? — ещё не зло, но уже с ответным раздражением поинтересовался Григорий.

— Я служила в авиационном училище, — помедлив, ответила секретарша. — Преподавала историю.

— Оно и видно. А как же попали в кино?

— Ну, здесь еще не кино, — протянула она. — Вы что, из Нукутска?

— А что, этот город не значится в вашем перечне? — спросил Григорий.
— Почему же, — с какой-то новой интонацией произнесла секретарша, — я сама родилась и жила там.

— Вот как! — удивлённо отозвался Григорий. — Выходит, мы с вами земляки?

— Выходит.

— “Проникновенье наше по планете особенно приметливо в Москве”.
И что же вас привело сюда?

— Это отдельная история. Училище закрыли, курсантов ночью посадили в самолёт и отвезли в Воронеж. Городок прикрыли. Все, кто работал в училище, подались кто куда, а я поехала в Москву.

Григорий вновь подивился перемене в её лице. Оно жило своей, неподвластной хозяйке жизнью: всё, что было у неё на душе и что она так старательно по-детски прятала, было на лице, и она никак не могла справиться с собой, хмурясь, кусала губы, морщила лоб, сдвигала в одну полоску брови.

— Как вас зовут?

— В армии не зовут, в армии требуют, — с серьёзным лицом ответила секретарша.

— Сурово! — протянул Григорий. — Но, насколько я знаю, армейские уставы на это заведение не распространяются.

Раздался телефонный звонок, и Григорий услышал голос Арсения Петровича.

— Наталья Владимировна, зайдите ко мне!

Наталья Владимировна встала, одёрнула рубашку и чуть ли не строевым шагом двинулась в кабинет начальника.

“Ну, здесь и порядки!” — подумал Григорий.

Он вдруг вспомнил, что встречал Арсения Петровича во время предвыборной компании несколько лет назад в авиационном училище. Тогда Григорий, поддерживая Толстых, предложил показать курсантам и преподавателям документальный фильм, в котором один из героев фильма накануне войны закончил Нукутское авиационное училище. Толстых согласился, посчитав, что фильм будет интересен преподавателям и курсантам. Но вся беда была в том, что в избирательной компании, которая развернулась в одном округе с Толстых, за депутатский мандат решил побороться Арсений Петрович Дудко. В училище насчитывалось несколько тысяч потенциальных избирателей, и за их голоса развернулась нешуточная борьба. Когда Пряхин с Толстых приезжали на встречу, то заместитель начальника училища тут же назначал для курсантов строевые занятия или очередную уборку территории, и Толстых приходилось встречаться разве что с работниками библиотеки да пошивочной мастерской.

— Чего вы хотите? — говорили им. — У нас есть свой кандидат.

С курсантами Толстых всё же встречался, происходило это тайно, перед отбоем. Уже другие офицеры на своих машинах провозили Толстых и Пряхина, минуя контрольно-пропускной пункт, прямо в казармы. Те выборы выиграл Толстых, но Дудко ещё долго писал кляузы в избирательную комиссию. Потом его следы потерялись, поговаривали, что после закрытия училища он перевёлся в авиационную часть, которая базировалась под Нукутском.

“Чудны дела Твои, Господи! — думал Григорий, разглядывая сквозь окно низкое московское небо. — Кто бы мог подумать, что та давняя история будет иметь такое продолжение”.

— Арсений Петрович просит вас зайти, — сказала секретарша, выходя от начальника, и уже по-иному, с каким-то любопытством глянула на Григория.

“Выходит, что и здесь меня вспомнили”, — подумал Григорий, открывая дверь в кабинет.

Дудко мельком глянул на Григория, затем, словно раздумывая, постучал пальцами по столу.

— Мы вас возьмём с испытательным сроком, — сказал он. — Нам нужны работники пера. Но запомните, у нас здесь все же не кабина вертолётá, здесь нужны мозги.

— А что, по вашему мнению, вертолётчики без мозгов?

Пряхин уже пожалел, что пришёл сюда. Нет, он не ждал, что его возьмут под ручки, усадят в кресло и спросят: “Чего изволите”? Как говорится, не тот случай. Едва увидев Дудко и вспомнив всё, что было связано с этим человеком, он понял: мимо него и муха не проскочит.

— Я бы хотел напомнить, что за вас хлопотал уважаемый человек, — медленно, но с особым металлом в голосе, точно говорит не ему — Пряхину, а кому-то еще невидимому, сказал Дудко. — И мы это учитываем.

Затем нажал на столе какую-то кнопку.

— Жанна Андреевна, не могли бы вы зайти ко мне?

Через минуту в кабинет не вошла, а влетела красивая, одетая во все красное молодая женщина. Каблучки выбили по паркету покающую пунктирную строчку. Она мельком, по ходу, глянула в сторону Пряхина, по-хозяйски уселась в жёлтое кожаное кресло, ладонью встряхнула на затылке копну светлых завитых крупными кольцами волос.

“Вот на неё-то действие армейских уставов и других норм внутреннего распорядка в киностудии не распространяется, — подумал Пряхин. — Работать здесь от подъёма до отбоя, высчитывая каждый шаг! Нет уж, увольте”, — решил Пряхин, и от этой мысли ему стало легче и свободнее.

От присутствия Жанны Андреевны в кабинете стало светлее, всё мгновенно преобразилось, приобрело домашний вид, и даже хмуρο глядящий с портрета Дмитрий Медведев, казалось, заулыбался в обе щеки.

— Жанна Андреевна Королёва, режиссёр и художественный руководитель студии, — с уважительными нотками в голосе представил её Дудко.

— Жанна Андреевна, как там у нас со сценаристами? — уже другим, пониженным голосом спросил он.

— Арсений Петрович, хорошие сценаристы на дороге не валяются, — засмеялась Жанна Андреевна. — Ищем.

— Вот, нам порекомендовали Григория Ильича, — Дудко заглянул в лежащие перед ним бумаги, — Пряхина. Поговорите с ним, дайте ему задание. Посмотрим.

— Хорошо, — улыбнувшись, сказала Жанна Андреевна, — но я сегодня вечером улетаю в Берлин, а после мне надо слетать на Байкал.

— Как скажете, Жанна Андреевна, — с неожиданной торопливостью и угодливостью сказал Дудко.

— Вот что! Пойдёмте ко мне, — повернувшись к Пряхину, сказала она, — там и поговорим.

— Передавайте привет Эрику Петровичу, — уже вслед негромко крикнул Дудко. — Удачной ему охоты.

— Передам, передам! — быстро отозвалась Королёва. И уже в приёмной, когда за ними закрылась дверь, вздохнула. — Ох, уж эти горе-охотники! В глаза бы их не видела.

Этот вздох не стал для Пряхина новостью. Как правило, многие женщины недолюбливают охоту и охотников. Но здесь, судя по всему, речь шла о муже Королёвой.

— Откуда вы знаете Толстых? — неожиданно спросила Королёва, когда они с Григорием зашли к ней в кабинет.

— Я его знаю давно. Вместе работали в Забайкалье, я возил геологов в Чару.

— Вот как! И что же вас подвигло писать сценарии?

— Я любил читать книги.

— Ну, это понятно. И что, вы прямо за штурвалом начали писать?

Пряхин окинул взглядом кабинет Королёвой. На окне было много цветов: кактусы, фиалки, орхидеи. Небольшой столик, компьютер, удобное кресло. И неожиданно он увидел в углу на тумбочке в голубой вазе засохшие цветы бессмертника.

— Это мне муж передал, — поймав его взгляд, сказала Королева. — Он привёз их откуда-то из тайги, — и, помолчав немного, добавила, — выходит, начали писать, не выпуская из рук штурвала.

— Да, я включал автопилот, брал в руки карандаш — и вперёд, — в тон Королёвой сказал Григорий. — Но я хоть синопсис не путаю со скепсисом, хоспис с хостингом, а контент с контингентом.

— Вы такой грамотный?

— Образованный, — поправил Григорий. — Как говорил мой отец, не можешь считать до десяти, тогда думай лопатой или иди в армию и занимайся строевой подготовкой. “Дураков не бывает, их назначают”, — так любил говорить генерал Лебедь.

— Кстати, вы пишете сами или делаете ремейки? — приподняв брови, неожиданно спросила Королёва.

— Я ещё со школы не любил списывать.

— Замечательно. Вот вам рукопись. По сюжету террористы пытаются похитить нашего ученого-физика, изобретателя ядерного чемоданчика, а после хотят шантажировать бомбой весь мир. Принес её какой-то офицер-фантаст.

— Помню одного такого, — засмеялся Пряхин. — На груди его могучей одна медаль висела кучей.

— Не все же в армии занимаются строевой подготовкой, — с еле заметной иронией заметила Королёва. — Как говорил любимый вами Лебедь, оставьте свои шутки для девочек без погон.

— Извините, если что не так, — сбавил обороты Пряхин. — В армии говорят, летящий лом не остановишь.

— Здесь у нас не армия, — сухо заметила Королёва. — Лому мы найдём другое применение.

Жанна Андреевна посмотрела в окно, точно размышляя, как ей поступить с Пряхиным дальше. Затем взяла со стола рукопись, полистала её.

— Арсению Петровичу рукопись понравилась. Сказал, что можно попробовать для кино. Прошу вас прочитать сей роман, — при этом Королёва сделала ударение на первом слоге, — и написать по нему синопсис. Описания, длинноты надо убрать.

— Понятно, нужен экшен.

Она быстро глянула на Григория.

— Вы говорите по-английски?

— Мне приходилось работать за границей, — пояснил Григорий. — Ещё немного владею бурятским. Но перевозжу только со словарём.

— О, да вы настоящая находка! — протянула Королёва и уже с подчёркнутым интересом посмотрела на Пряхина.

— И в какой же стране вы работали?

— В Непале.

— Переводчиком.

— Зачем? Вертолётчиком.

— Вот как! И что дальше?

— Дальше была Сагарматха.

— Что это такое?

— В переводе с непальского “Мать богов”. Ещё её называют Джомолунгмой, Эверестом. Гора, имеющая три названия. Самая высокая точка на Земле.

— И что вы на ней делали?

— Я на неё восходил.

— Что, правда?

— Да нет — шучу, — засмеялся Пряхин. — Восходил по воздуху до высоты пять тысяч семьсот метров. Высаживал там альпинистов, а дальше они восходили на своих двоих.

— Ну, и шуточки у вас.

— Что поделаешь, — улыбнувшись ответил Пряхин. — Это следствие взлётов и падений. И не только своих.

— И чему вы всё время улыбаетесь? — неожиданно спросила Королева.

— Я — улыбаюсь? Я вами любуюсь.

— А, это делайте на здоровье, — засмеялась Королёва. — Хотите кофе?

— С удовольствием, — быстро согласился Пряхин.

Королёва вскипятила воду, насыпала в чашку кофе и залила водой.

— Вам со сливками?

— Да, спасибо.

Королёва подала Пряхину кофе и налила себе.

— Чего вы стоите? — неожиданно улыбнулась она. — Я погони не ношу.

— Я тоже списан в запас, — отшутился Пряхин.

— И что там в Непале? — спросила Королёва.

— Что вы имеете в виду? Государственное устройство или обычай?

— Ну, какие, например, там растут цветы?

Пряхин пожал плечами.

— Цветы? Да кто их знает? В мои обязанности не входило собирать цветы. Скорее всего, эдельвейсы. Ещё, кажется, были недотроги. Хорошее название для девочек. Правда? Очень красивые цветы. Кстати, красное платье у непальцев — цвет замужней женщины. Там не принято обниматься и здороваться за руку. Левая рука у непальцев считается нечистой. Нельзя есть из одной тарелки и пить из одного стакана. Нельзя перешагивать через ноги.

— А что можно?

— Всё остальное можно. Непальцы — скромные и выносливые люди. Особенно шерпы. Бывает, у него собственный вес — пятьдесят, а он взваливает себе на спину при разгрузке вертолётa восемьдесят. — Пряхин решил перевести разговор. — Я заметил, к авиации у вас особое отношение.

— Да, студию мы назвали “Медведь”. Мой муж служил в авиации, и какой-то тяжёлый самолёт они называли “Медведем”.

— Ту-95, — сказал Пряхин. — Так его называют американцы.

— Вот и мы решили так назвать киностудию, символом нашей страны. Кроме того, есть ещё Берлинский кинофестиваль, с которым мы поддерживаем хорошие отношения, у них главный приз — “Золотой медведь”.

— Можно ещё подружиться с непальцами. У них водится гималайский. Его за белую полосу на груди называют лунным. Говорят, гималайский медведь встречается и в России. Кажется, он изображён на гербе Хабаровска.

— Интересная мысль, — улыбнулась Королёва. — Мы часто бываем заложниками своих желаний. Например, мой муж любит охоту. Другие любят спагетти. Третьи — Агату Кристи. И что из того? Давайте вернёмся к вашим делам. В этой рукописи, — Жанна Андреевна кивнула на лежащую папку, — агент говорит о какой-то “сыворотке правды”. Не могли бы вы пояснить мне, мирному человеку, что это за сыворотка?

“Что, хотите взять препарат на вооружение?” — хотел съязвить Пряхин, но тут же схватил себя за язык. Разговор начал плавно выходить из штопора и заваливать его вновь в пике не имело смысла.

— Это современное оружие спецслужб, — сказал Пряхин. — Человеку вкальвают препарат, и он говорит всю правду. У бурят есть выражение: худларись, то есть не говори неправду. Видимо, в ответ правдоискатели изобрели сыворотку.

— Фу, какая гадость! — Жанна Андреевна поднялась. — Вот что, давайте я вам покажу нашу студию.

Студия находилась в подвале, прямо под офисом, и попасть туда можно было только имея собственный ключ. Королёва сняла со стены связку ключей, и они по отдельному коридорчику и узкой лестнице спустились в подвал. То, что студия была предметом гордости Жанны Андреевны, Григорий понял сразу же. Все сотрудники разместились в разных комнатах: отдельно студия звукозаписи, съёмочный павильон, монтажная и маленькая кухонька. В конце коридора, где имелся телевизор и стоял диван, располагался конференц-зал.

— Это я у Табуреткина выпросила, — с гордостью сказала Королёва.

Пряхин понял: это она говорит о министре обороны. “О, да она, видать, птица высокого полёта”, — подумал он, разглядывая компьютеры, другую аппаратуру и завешенные фотографиями стены. Студия ему понравилась, в ней не было той помпезности, которая была наверху.

— Если не возражаете, то ваше место будет здесь, — сказала Королёва.

Вот так, уже в который раз в жизни, ему указывали место. Он не выбирал, ему показали не привычное пилотское кресло в вертолётe — Пряхина

привели туда, куда он не стремился, но всё же попал. И что будет дальше? Это можно было только предполагать. “Видимо, пришло то время, когда уже решают за нас, где сидеть и что делать дальше”, — подумал он, следуя за Королёвой.

Дальше Жанна Андреевна пояснила, что основная задача студии — поддерживать депутатов, представляющих интересы комитета по обороне и безопасности, а также органы власти на местах.

— Ещё мы плотно сотрудничаем с межфракционным объединением авиации и космонавтики России, — сказала Королёва. — Насколько я поняла, это и ваша тема.

Уже позже Пряхин узнал, что работникам студии платили крохи, но закрывали глаза, когда они искали приработок на стороне. Звукорежиссёр записывал музыку, монтажёр копировал фильмы, сканировал и чистил старые фотографии. Хорошо платили за съёмки и монтаж, когда частники приглашали на свадьбы и другие юбилейные торжества. Кроме того, в подвале было ещё отдельное помещение, которое сдавали в субаренду. Но это была отдельная, закрытая для всех зона. Здесь же, в студии, технические работники обедали, собираясь в монтажной комнате. Здесь же отмечали свои праздники, накрывая маленькие “поляны”. Пряхин отметил, что, когда в монтажную вошла Королёва, видеоинженер проявил неподдельную радость, не зная, куда усадить и чем угостить неожиданную гостью. Было видно, в студии её любили. Потом, по большому секрету, Наталья Владимировна скажет, что Королёва фактически руководит “Фондом поддержки патриотического кино” и что её муж, Эрик Петрович Королёв, недавно назначен губернатором Прибайкалья. Секретарша обмолвилась, что Королёва бывает строга и может врезать правду-матку в глаза, но камня за пазухой не держит, и никто на неё не обижается.

— Ну, кто и когда обижался на красивых и умных женщин! — добавила она.

Дудко, в основном, осуществлял представительские функции. Он встречал и провожал знатных и нужных для фонда людей. Наталья Владимировна подавала кофе, коньяк, конфеты и бутерброды. То, что к студии существует интерес, Пряхин отметил сразу же. Но сюда, в творческие катакомбы, иногда заходила, даже заскакивала, мелкая публика, кому-то срочно нужна была копия фильма, другому камера или оператор с камерой. К техническому персоналу Дудко спускался редко, но, когда появлялся, все тут же вскакивали. Он приглашал в конференц-зал и проводил, как говорили, “разбор полётов”. Творческие и технические работники стояли, слушали его, уткнув глаза в пол. Когда за ним закрывалась дверь, все облегченно вздыхали и вновь принимались за свои обычные дела.

Пряхин прочитал шпионский роман и в тот же вечер сел писать синопсис. Написал быстро, принёс в студию, но Королёва улетела на кинофестиваль в Берлин, и, казалось бы, о Григории на киностудии забыли. Он приходил к девяти и интересовался у секретарши, не приехала ли Королёва.

— Она сейчас на Байкале, — сообщала секретарша. — Звонила, будет в конце следующей недели.

Пряхин вздыхал и спускался к себе в подвал. Там, не зная, куда себя приладить, он заваривал плиточный китайский чай и угощал им своих новых товарищей. С ними ему было легче и проще, они, как и он, были собраны в этом подвале по случаю, чтобы отсидеться и посмотреть, авось подвернётся другая работа. “В этой берлоге можно просидеть до пенсии, — шутили они. — Хоть и небольшие, но деньги платят. Чего ещё надо? Хочешь больше — иди в шахту”. Когда узнали, что Пряхин летал на вертолёте, удивились: такая птица сюда ещё не залетала. Пряхин и сам не понимал, как же это его угораздило попасть сюда, но ответа так и не находил. Ставя себя на место Королёвой, он успокаивался и, как бы оправдывая Жанну Андреевну, говорил: “На нет и суда нет!” Неопределённость угнетала: вроде пообещали, даже определили место, но не было логичного в таких случаях распоряжения или приказа о зачислении на работу. Идти и пытаться прояснить сей юридический момент, выяснять свою дальнейшую судьбу у Дудко не имело

смысла. Ему дали испытательный срок. Чего ещё? Сиди и жди! В авиации это было привычным занятием: нет погоды, нет топлива, неисправна часть. Первое, чему он научился в те начальные дни, это умению ждать.

Но через некоторое время Дудко напомнил о себе. Он вызвал Пряхина и поручил ему писать поздравительные адреса и, бывало, что тут поделаешь, — некрологи. Мало того, Арсений Петрович взял на себя обязанности главного редактора. Те тексты, которые Пряхин передавал через секретаршу, Арсений Петрович вычитывал с особой тщательностью. Он вызывал Пряхина на ковёр, делал разнос, а после устранения, как ему казалось, стилистических и смысловых недостатков поручал Наталье Владимировне отправлять адреса по почте. Пряхина поражало, с какой дотошностью Дудко относился к написанным текстам, он демонстративно, на глазах Пряхина, правил текст, комментировал тот или иной пассаж, расставлял запятые, словно от этого зависело, будет ли дальше существовать студия или её закроют. География адресов была обширна: депутаты Государственной Думы, Министерство культуры, Союз кинематографистов, руководители фондов, компаний и другие важные персоны.

Попривыкнув к Пряхину, Наталья Владимировна порою просила его, чтобы он съездил и вручил очередной срочный адрес. Но среди этой суетливой повинности случались минуты, когда никто не радовал своим рождением и не огорчал уходом в мир иной, и тогда Пряхин, едва открывая дверь в студию, по глазам Натальи Владимировны угадывал, что сегодня все нужные люди поздравлены и других особых, срочных заданий не предвидится. А поскольку на хозяйстве она одна, то можно будет спокойно посидеть, поговорить и выпить чашку чая. Пряхин доставал из пакета сладости, которые покупал по дороге, и протягивал секретарше.

— Ну, зачем вы тратитесь! — восклицала Наталья Владимировна. — У меня всё есть.

Григорию нравились такие минуты, непривычно домашние и тёплые; секретарша кипятила воду, заваривала чай, нарезала хлеб и делала бутерброды. Пряхин с улыбкой следил за нею, мысленно собирая себя по кусочкам, того, прежнего, уверенного и влюблённого в свою лётную работу, слегка жалея себя нынешнего, потерянного, но старательно скрывающего это, пытающегося приладиться к новой жизни.

— А вы будете? — спрашивал Наталью Владимировну Пряхин. — Улица должна быть с двухсторонним движением.

— Нет, мне нельзя, я боюсь пополнеть. Уже скоро не влезу ни в одну юбку.

— А я буду. На улице сегодня промозгло и сыро. Кроме того, в отличие от шотландцев, я юбок не ношу, — шутил он, наливая в чай сливки и добавляя немного соли.

— Буду пить по-бурятски, — говорил он, — у меня, как у сохатого, не хватает в организме соли.

Однажды Наталья Владимировна обмолвилась, что у неё сегодня день рождения, и достала початую бутылку коньяка. Пряхин попросил подождать его, надел лётную куртку и чуть ли не бегом полетел в ближайший супермаркет. Возвращаясь, возле метро купил цветы, а потом увидел в ларьке голубой шёлковый платок. “А что, к её глазам, наверное, подойдёт”, — подумал он и попросил продавщицу завернуть платок в цветную бумагу.

Наталья Владимировна не ожидала подарка, смутилась.

— Как ваша работа? — спросила она, примеряя перед зеркалом платок.

— Да вот, не могу коньяк совместить с сывороткой правды, — пошутил он.

— И что вас заставило писать сценарии? — поинтересовалась она.

— Нужда.

— Что, правда?

— Я шучу. Придумывая на бумаге чужую жизнь, я как бы отвлекаюсь от всего, что окружает меня, и погружаюсь в мир, который не существовал, но родился в моей голове. Не тот, который есть вокруг нас, а в котором бы мне хотелось жить. Я придумываю людей, ими населяю сюжет и двигаю их

от одной ситуации к другой. Потом вдруг начинаю понимать, что они живут самостоятельно и уже диктуют мне, куда они пойдут и что скажут в следующую минуту.

— Я тоже, когда не могу заснуть, начинаю придумывать, что я нарядная и красивая, — засмеялась Наталья Владимировна.

— А вы на самом деле красивая, — улыбнулся Григорий.

— Это вы говорите, чтобы не обидеть меня. Я знаю, какая я на самом деле.

— Какая же?

— Обыкновенная. Вот Королёва действительно красивая. А я всего боюсь. Особенно здесь, в Москве. Кстати, когда я собралась сюда, мама мне в дорогу дала мешок картошки. Я была не одна, с подругой. Мы с ней устроились на квартиру в Подмосковье и, можете себе представить, хозяин оказался наркоманом. Мы там у него всё побросали и убежали, боялись, что убьёт.

— А сейчас вы где живёте?

— Мы с подругой снимаем квартиру в Тушино. Конечно, ездить далеко, но некоторые ездят в Москву из других городов. Вот им-то не позавидуешь.

— Это так, — согласился Пряхин.

— Потом встретила Арсения Петровича, — продолжила она. — Дудко предложил мне работать в фонде. Я ему очень благодарна. Он умелый администратор. Жёсткий, требовательный. Знает, с кем и как обращаться. Где смазать, где погладить, а где и построить. У него есть присказка: “Я сказал люминь, — Наталья Владимировна рубанула рукой воздух, — значит — люминь!” А вообще-то мужчины делятся на две категории: одни охотятся, другие коз загоняют.

— К какой же вы относите Арсения Петровича?

— Ко второй, — не глядя на Пряхина, ответила Наталья Владимировна. — Загонщик он умелый. Как-то Жанна Андреевна пошутила: я думала, Арсений Петрович дарит цветы мне, оказалось — моему мужу. А чем в свободное время занимаетесь вы? — неожиданно спросила она.

— У меня его не бывает.

— Как это?

— Вот так, не бывает. Зимой во дворе заливаю для ребят каток, летом чиню забор.

— Вы что, подрабатываете дворником?

— Вроде того, на общественных началах. Мяч гоняю. Красота!

— И вам платят?

— Зачем же? Мне хватает того, что я общаюсь с ребятами.

— А жена вас понимает?

— У меня нет жены. Умерла.

— Извините.

Наталья Владимировна с сочувствием посмотрела на Пряхина, и он тут же выругал себя: лучше бы ему промолчать, но в коньяк, видимо, действительно научились добавлять сыворотку правды — и не хочешь, всё равно развяжет язык.

Пока Наталья Владимировна готовила новые бутерброды, Григорий тут же, на открытке, набросал стихи:

*Осень, ветер, под ногами лужи,
Я в толпе размеренно бреду,
Поворот направо. Мне туда не нужно,
Но зачем-то я туда иду...
Захожу и вижу за столом Наталью,
Кроток взгляд, а я стою, молчу,
Мне бы пригласить её в Италию,
Вот в Сибирь я ехать не хочу.*

— Вы ещё и стихи пишете, — удивилась Наталья Владимировна. — Но почему так грустно? Так нельзя. А вот про Италию — хорошо, я бы полетела.

— У Жанны Андреевны это второй брак, — помолчав немного, сообщила она. — От первого у неё дочка. И у Эрика Петровича тоже была семья. И ребёнок остался. Сейчас она живёт как бы на два дома. Сын, Юрик, здесь в Москве, заканчивает школу. Эрик Петрович уже полгода, как в Сибири. Жанна Андреевна не может бросить сына и уехать к нему в Нукутск. Скоро у Юрика выпускные экзамены. А ему хоть кол на голове теши. Гоняет по ночной Москве: друзья, подружки, какие там экзамены. Они живут по принципу: успеть всё, сегодня и сейчас. А Жанна Андреевна не может ему отказать. Где-то понадеялись, что за ум возьмётся. Так бывает, когда люди больше заняты собой. — Наталья Владимировна замолчала. — Она, Жанна Андреевна, Эрика Петровича сильно ревнует. Особенно когда узнала, что он взял к себе в протокольную службу какую-то симпатичную девушку.

— Кто любит, тот и ревнует, — заметил Пряхин.

— Женщина чувствует, когда мужчина, глядя ей в глаза, видит другую, — сказала Наталья Владимировна. — Вам, может, ещё чаю?

— Вода ломает мельницы, — пошутил Пряхин. — На сегодня хватит. Говорят, что в ревности больше себялюбия, чем любви.

— Возможно, вы и правы, — заметила Наталья Владимировна.

— Скажу одно: Жанна Андреевна — личность! Чего в этом больше, хорошего или плохого, — не разберусь. Мне кажется, женщина предназначена для другого. Любить и быть любимой. Командовать? Нет, нет, только не это! Говорят, когда две личности соприкасаются — искры летят. А что в итоге?

Она улыбнулась и, что-то вспомнив, всплеснула руками.

— Ой, совсем из головы вылетело! Вас разыскивают журналисты из телевидения. Анна Шнайдер. Она оставила телефон.

Это действительно было для него новостью. И, видимо, не только для него. Пряхин тут же вспомнил, что эту телеведущую он часто видел на канале НТВ. Не откладывая дело в долгий ящик, Пряхин тут же набрал номер.

— Вы знаете, что в Сибири произошла катастрофа вертолёта, — услышал он знакомый голос телеведущей. — Мы бы хотели дать комментарий специалиста.

— Ну, таких у нас много, — заметил Пряхин.

— Вас рекомендовал альпинист Саша Яковенко. Он утверждает, что вас его забрасывали в лагерь под Эверестом и что вас в шутку альпинисты называли гималайским медведем.

— Было такое, — засмеялся Пряхин. — Только не гималайским, а сибирским. Так о чём вы хотели спросить?

— А вы приезжайте к нам на телевидение, здесь и поговорим.

Григорий развел руками, показывая Наталье Владимировне, что должен срочно ехать. Она понимающе закивала головой. Он надел свою куртку, пожалев, что на нём не совсем свежая рубашка, спустился в метро и поехал на телевидение.

Григория встретила ассистентка, сказала, что Аня ждёт его. Затем повела его в гримёрную, и уже оттуда он попал прямо в студию.

Шнайдер попросила Пряхина рассказать о полётах в Непале, о работающих там вертолётчиках и русских альпинистах.

— Да что рассказывать? — пожал плечами Пряхин. — Мы их на вертолёте поднимали до Самбочи. Это площадка на высоте пять тысяч семьсот метров. Помню, меня поражало, что там, куда они дальше поднимаются, десятки лет лежат тела замерзших альпинистов. Сегодня при восхождении у альпинистов есть ориентир: зелёные башмаки на ногах погибшего десятки лет назад англичанина. Люди проходят мимо, вверх — вниз, и всё! Кислородного баллона хватает всего на несколько часов. Спускать погибшего альпиниста вниз нет ни сил, ни средств.

— А как же вы летали туда без кислородных масок?

— Мы летали с масками, — ответил Пряхин. — Но выше вертолёт уже не мог подняться. Поднимались только эти ребята-альпинисты. А мы на этой Самбоче, после выгрузки людей и снаряжения, вновь запускали двигатель и, насколько позволяла площадка, делали коротенький разбег, и уже с обрыва

падали в пропасть. А она была глубиной почти два километра. И это мы называли взлётом!

— Да, работёнка у вас! — покачала головой Шнайдер. И, помолчав, перешла к тому вопросу, ради которого она пригласила Пряхина.

— Какое значение в вашей работе имеет человеческий фактор?

— Мой знакомый альпинист, о котором вы вспомнили, — Саша Яковенко — побывал на многих высочайших вершинах мира. Он говорил, что у гор нет души. Продолжая его мысль, добавлю: у вертолётца тоже нет души, хотя мы перед полётом притрагиваемся к нему, как к живому существу, мол, не подведи, дружище! Душа есть у человека, ещё у него есть мозги и характер. Вертолётцы и самолётчики падают не сами по себе. В них сидят люди. Но не надо сразу же талдычить: “человеческий фактор”, “ошибка пилота” и тому подобное. У нас разрушена система подготовки авиационных специалистов и, как следствие, система контроля. Получилось так, что лётчик стал истиной в последней инстанции. Вот вы, — обратился он к Шнайдер, — осознанно не пойдёте к врачу-троечнику, он же свой аттестат и диплом не вывешивает на двери. Но вы понимаете, что рискуете. Не показывает свой диплом и пилот. А может, он его купил? Нынче возможно и такое. Но народ всё равно садится в кабины самолётов и вертолётчиков и ложится на операционный стол. Генерала Лебеда погубил не лётчик, а собственный характер. Он привык всегда и везде командовать, и в вертолёте он тоже был главным. Пилоты это понимали. Погоды нет, всё равно — вперёд! В том роковом полёте командир в самый последний момент увидел в снегопаде высоковольтный трос, он попытался поднырнуть под него и зацепился хвостовым винтом. Так же было и с сахалинским губернатором Игорем Фархутдиновым. Чтобы угодить начальству, вертолётчики ушли с трассы, попали в снегопад. Второй пилот, что стало известно при расшифровке “чёрных ящиков”, вроде бы сказал командиру: “Давай вернёмся”. Какой там! Лучше разбиться, чем вернуться. И, в конечном итоге, нашли гору. Сегодня лётчиков стали нанимать... как бы это помягче? Ну, вроде лакеев. И они вынуждены вести себя так, как им приказывают! В противном случае: вот вам Бог, а вот порог.

— Что бы вы хотели сказать нашим телезрителям? — спросила Шнайдер.

— Что лучше гор могут быть только вертолётцы, на которых ещё не летал.

Уже прощаясь, Анна Шнайдер сказала, что хотела бы сделать с Григорием свежую, добрую передачу, где все герои оставались бы живы.

— Двумя руками “за”, — улыбнувшись, ответил Пряхин.

Вечером передачу показали по телевидению, а утром, когда Пряхин пришёл в офис, Наталья Владимировна сообщила, что его разыскивает Жанна Андреевна.

— Что-то срочное? — спросил Пряхин.

— У нас всегда всё срочно. По пустякам она не звонит, — ответила Наталья Владимировна.

Пряхин почувствовал, как, набирая обороты под рубашкой, тревожно забилось сердце. Сочинять поздравления мог кто угодно. В конечном итоге, сюда он шёл не для этого. То, что Дудко из всей киностудии для этого дела выбрал его, было для Григория понятно. Возможно, он захотел проверить, сможет ли вертолётчик справиться с простой, но важной в его понимании работой. Поразмышляв немного, Пряхин позвонил Королёвой.

— Нам надо поговорить, — сказала она. — Если у вас есть минута свободного времени, я сейчас подъеду.

Пряхин не мог сообразить, чем же его сценарий заинтересовал Королёву. Он знал, что Наталья Владимировна пересылала текст по электронной почте, а потом подтвердила, что Королёва получила материал. И вот наконец-то можно будет узнать, что понравилось или что, наоборот, не устроило её.

Пряхин вышел из офиса и стал ждать у входа в метро. Шёл мелкий осенний дождь, мимо него, по капелькам сбрасывая на асфальт небесную влагу, сплошным потоком двигались мокрые зонтики, и Григорию то и дело приходилось прикрывать лицо от их острых краев. Попав впервые в огромный город, он удивлялся этому бесконечному потоку людей, они напоминали Пряхину бруновское движение. Он не пытался уловить какой-то смысл

в этом бесконечном движении, поскольку и сам являлся его частицей. Толкая друг друга, люди входят в вагон или автобус, какое-то время даже стоят, прижавшись друг к другу, переговариваются, а потом исчезают навсегда.

Вскоре напротив Пряхина остановился чёрный дорогой джип. Королёва вышла из машины, протянула мягкую руку.

— Мне бы не хотелось разговаривать в машине, — сказала она. — Здесь неподалёку есть неплохой ресторан — “Омулёвая бочка”. Не возражаете, если мы перекусим и поговорим там?

Пряхин был готов к разговору, но не готов к походу в ресторан. Он понимал, приглашая его в ресторан, Королёва тем самым оказывала ему особое внимание. Он мгновенно пересчитал в кармане все свои наличные деньги. Не то, что на ресторан, их не было даже на захудалую кафешку. Идти и заранее знать, что не сможет расплатиться, — нет, это было не в его правилах.

— Я приглашаю, — словно угадав его мысли, сказала Королёва. — Мне сообщили, что вы хорошо работаете с документами, и думаю, можете рассчитывать на первый гонорар.

— Это звучит обнадеживающе, — усмехнувшись, вздохнул Пряхин. — Скажу честно, у меня сегодня нет денег.

— Бывает, — сказала Королёва. — Сегодня нет, завтра будут.

Они сели в уголке, тут же подошла официантка. Пряхин отметил, что сегодня Королёва была в черном деловом костюме, белой рубашке и тёмном галетуке. Официантка окинула её оценивающим взглядом, сделала это по-женски быстро с головы до ног и застыла, приготовив блокнотик. Поймав взгляд Пряхина, она убрала с лица казённое выражение, улыбнулась и вмиг превратилась в настоящую красавицу.

— Я познакомилась с вашей лётной биографией, и мне пришла в голову одна мысль, — протянув меню Пряхину, сказала Королёва. — Как бы вам её выразить? Байкал, Саяны, Тункинские Альпы. Согласитесь, звучит как песня. Горы, тайга, природа, олени, медведи. Рядом — родина Чингизхана. Рай для туристов. Но его надо раскрутить. Туда могут поехать китайцы, американцы, японцы, европейцы, — Королёва внимательно посмотрела на Пряхина, должно быть, проверяла, какое впечатление произвели её слова. — А что, если снять фильм и показать его на Берлинском кинофестивале? — продолжила она. — В Нукутске долгое время не было хозяина, появлялись на время и отбывали.

— Они там появляются и пропадают с частотой электричек, — засмеялся Пряхин.

— Для начала снять рекламный ролик, — сказала Жанна Андреевна. — Я уже говорила с губернатором, он дал добро. За основу взять полет на вертолёте в урочище Шумак. Меня туда недавно свозили, я была потрясена: на одном гектаре — сотня целебных источников. Можно лечить все болезни. Но добираться туда непросто, десятки километров по горам.

— На вертолёте быстрее и удобнее, — согласился Пряхин.

— Вот-вот! Надо наладить туда постоянный рейс, — заторопилась Королёва. — Каждый день. Это всё быстро окупится.

— Кажется, сейчас туда возят туристов и состоятельных людей вертолётом с авиазавода. Ещё время от времени летает вертолёт ДОСААФ, — сказал Пряхин. — Но это не выход. Туда нужно вкладывать средства, и немалые.

— Собственно, за этим я вас пригласила. Я предлагаю вам взяться за организацию этого дела. Надо набросать бизнес-проект. Пора прекращать московскую киношную спячку и выходить на международный уровень. Я вас слушала по телику, вы же профессионал! Здесь вырисовывается ещё одно интересное направление — обслуживание ВИП-клиентов.

“У меня был уже некоторый подобный опыт, — вспомнив свои камчатские полёты, подумал Пряхин. — Нет уж, увольте!”

— Знаете, Жанна Андреевна, я пытался устроиться на работу к вашему мужу, но не сложилось.

— Почему? Расскажите!

— Вот вы хорошо говорили: “Одни любят спагетти, другие — детективы...” — Пряхин замолчал.

Прошлой осенью, когда Пряхин по наводке Торонова прилетел в Нукутск, он попросил Толстых, приехавшего тогда в Прибайкалье во главе делегации земляков-москвичей, чтобы тот взял его на приём к губернатору.

— Одно дело, когда за тебя просят, другое дело — поговорить самому, посмотреть в глаза. Это уже другая ситуация, — сказал он Толстым. — Если откажет, то и вопросов не будет, почему и отчего. Я знаю, что когда перед тобой сидит человек и смотрит в глаза, отказывать труднее.

Но разговор за столом у губернатора приобрёл неожиданный поворот. Все уже знали, что в своей работе Королёв решил опереться не на местную элиту, а на своих, проверенных ещё в прошлой московской жизни людей. И уже гуськом полетели в Нукутск перелётные московские птицы. На встрече с новым губернатором Толстых витиевато и осторожно, как подобает опытному политику, начал выяснять, почему Эрик Петрович в своей сложной и ответственной работе решил опереться на приезжих? Сказал, что знает среди местных немало грамотных и опытных специалистов.

Губернатора вопрос Толстых буквально взорвал:

— Да все местные повязаны! — сжав кулаки, буркнул он. — Кумовство, воровство, коррупция! Рука руку моет. Губернаторы приезжают, их съедают, а местные этим сыты бывают!

Пряхину бы помолчать, но он, не сдержавшись, влез в этот непростой разговор.

— Скажите, а чем приезжие будут лучше?

— Они порядочнее и честнее, — глядя Пряхину прямо в глаза, медленно, но с особым значением произнёс Королёв. В этот момент взгляд губернатора напомнил Пряхину наставленную на него в упор двустволку. В маленьких, глубоко посаженных глазах сверкнул холодный металлический блеск. Пряхин понял, что натолкнулся на человека, который не привык к тому, что его ставят в неудобное положение, в такой момент губернатор был похож на поднятого из берлоги медведя.

— Раз они выросли на столичных улицах, то не знают, что такое коррупция?

— Вы что, считаете, что я поступаю неправильно? — глухо, сквозь зубы спросил губернатор.

— Нет, это ваше право набирать себе команду. Но не в пробирке же вы их вырастили. У них там всё, а здесь только работа. Каждую пятницу они будут летать в Москву, туда, где у них друзья и семьи.

— Я знаю, что вертолётчика, кстати, первоклассного пилота, губернатору подыскал Арсений Петрович Дудко. Да, да, именно он! — выслушав Пряхина, сообщила Королёва. — Он устраивает моего мужа.

Пряхин развёл руками, показывая, что он не возражает, если подбором кадров для губернатора занимается Дудко, кто будет спорить, пусть будет Дудко. Перед тем как расстаться, Пряхин спросил про переделанный сценарий.

— Да, я просмотрела и передала Арсению Петровичу, — думая о чём-то своём, ответила Королёва. — Шпионы, погони, слежки — я в этом не разбираюсь. Пусть он сам принимает решение.

Королёва тряхнула своими золотистыми волосами, как бы показывая, что эта тема закрыта.

— Ко мне приехал гость, — неожиданно сказала она. — Из Берлина. Раньше он жил в России и хорошо говорит по-русски. У меня есть предложение. Не могли бы вы сопроводить его, он никогда не был на Байкале.

— Если надо, я готов, — быстро ответил Пряхин. “От такого предложения трудно отказаться”, — хотел было добавить расхожую в таких случаях фразу, но промолчал. Королёва могла подумать, что он набивается на эту поездку. Он и сам удивился столь неожиданному предложению.

— Вот и хорошо, — улыбнулась Королёва. — Завтра я приглашаю вас к себе на дачу, познакомьтесь с ним. За вами заедет мой сын. Предупреждаю, Юра гоняет, но вы не обращайтесь внимания.

На Юру трудно было не обратить внимания. Крепкий, коротко стриженный, очень похожий на мать, спортивный парень, пожал Пряхину руку,

усадили на переднее сидение, и они понеслись по утренней Москве. Уже позже Пряхин узнал, что к моменту их встречи у Юры за быструю езду набралось больше сорока штрафов из ГАИ. Он откупался и продолжал гонять по Москве и окрестностям.

Немца из Берлина звали Карлом, фамилия у него была Румпель. Родился он в Казахстане, затем, когда распался Союз, уехал в Германию.

Спустившись в фойе гостиницы “Метрополь”, Карл протянул Пряхину руку. Григорий уловил, что от него крепко наносит парфюмом. Юра открыл для него дверь машины, и они по запруженным московским улицам начали выбираться из города. Немец хватался за сердце, наблюдая за Юриными выездами. Визжали тормоза, джип то притормаживал перед светофорами, то, набирая огромную скорость, оставлял далеко позади красные светофоры и другие машины, водители которых, глядя им вслед, должно быть, использовали весь набор ненормативной лексики.

— О, майн Готт! — восклицал Карл после очередного перекрёстка. — Вы скажите ему, — обращался он к Пряхину. — Нельзя ездить на красный свет!

Но правила для младшего Королёва были не писаны. До дачи, где их ждала Жанна Андреевна, он домчал гостей за полчаса.

Дверь во двор Юра открыл при помощи кнопки на электронном брелоке, который болтался у него на груди. Жанна Андреевна ждала гостя на крыльце с хлебом и солью. Карл тут же показал, что ему плохо, он взволнован и расстроен до такой степени, что ему даже трудно дышать. Жанна Андреевна, одетая во все серое: тёмно-серый с блёстками кокетливый пиджак, серую юбку, туфли на высоком каблуке, — полуобняв дорогого гостя, как могла, старалась успокоить Карла. Она повела его по комнатам и этажом огромного особняка, показала бильярдную, шкаф мужа с ружьями. Карл уже отошёл от сумасшедшей езды и с улыбкой и любопытством начал рассматривать особняк, комнаты и картины на стенах. Не остался он равнодушным к коллекции охотничьих ружей, его внимание привлёк немецкий “Маузер” в кожаном чехле, затем он осмотрел ружья фирмы “Зауэр”, “Меркель” и “Зимсон”.

— Фантастишь! — то и дело восклицал он.

Действительно, коллекция у Королёва-старшего была отменной. В ней были ружья, приобретённые как самим Эриком Петровичем, так и те, что дарили друзья и знакомые; несомненно, они хорошо знали о страсти Королёва к ружьям. Рядом с оружейным шкафом на полу лежала выделанная шкура бурого медведя. Карл приподнял голову медведя, потрогал клыки, зачем-то заглянул под шкуру. Затем достал из сумки видеокамеру и начал снимать.

— Большой, очень большой, — сказал он. — Мне не поверят.

— Его добыл Эрик — мой муж, — с некоторой гордостью в голосе, сказала Королёва.

— Эвенки говорят, что вместе со шкурой в дом заносится и душа убитого зверя, — заметил Пряхин. — Прежде чем добыть зверя, они долго шаманят и уговаривают его, чтобы он не обижался и не злился на них. Боятся, что может отомстить. Они верят в то, что человек может превратиться в медведя. Чтобы такое не произошло, собираясь на охоту, произносят такие слова: “Пень, колода, крутая гора, не видать чёрному зверю меня”. Почему-то считается, что медведь особенно не любит беременных женщин и, если среди ягодниц появляется такая, то медведь будет преследовать, прежде всего, её, чтобы убить вместе с нею будущего охотника.

— Я была против, — вздохнула Жанна Андреевна, — но Эрик настоял, чтобы шкура лежала здесь.

— Но вы не расстраивайтесь, — сказал Пряхин. — Буряты обычно хранили голову медведя на крыше дома, она должна была отпугивать злых духов. Если у женщин случалась опухоль груди, то шаман проводил по ней медвежьей лапой сверху вниз, и опухоль пропадала. Никто из охотников не называл медведя топтыгин, косолапый, чёрный зверь. Эвенки зовут его хозяином или дедушкой.

Когда Пряхин начал рассказывать про медведя, Карл навёл на него камеру, стараясь не пропустить ни одного слова. Григорию польстило внимание зарубежного гостя, и он вспомнил ещё один случай. Было это на Севере, когда Пряхин только начинал летать. Охотники на Ми-4 преследовали медведя. Догнали, выстрелили через дверь — он упал. Подлетели, посадили вертолёт рядом с лежащим зверем. Командир решил выключить двигатель и отключил трансмиссию несущего винта. Едва охотники, выбравшись из вертолёта, ступили на землю, медведь вдруг ожил, встал на дыбы и, откашляваясь кровью, двинулся на них. Охотники бросились в кабину вертолёта. Командир вновь запустил двигатель, раскрутил винт и даже успел оторвать колеса от земли, когда медведь схватился за колесо, и машина опрокинулась. От полученных ран зверь всё же сдох неподалёку от упавшего вертолёта, но своё дело он сделал. Позже говорили, что тот медведь весил восемьсот килограммов. А ещё в старину охотники вели подсчёт добытых ими медведей. Считалось, что сороковой — роковой. Даже самые заядлые охотники прекращали ходить на тоштыгина, когда вплотную подходили к этой цифре.

Не выпуская из рук камеры, Карл показывал Григорию большой палец, он был очень доволен рассказом. Довольна была и Королёва. Григорий улыбался, чувствуя, что в этом доме со своими рассказами он неожиданно оказался к месту и ко времени.

И всё же Карл не забыл стресса, полученного от сумасшедшей езды Юры. Когда сели за стол, он попросил Жанну Андреевну, чтобы обратно его отправили на такси.

— Я вас повезу сама, — сказала Жанна Андреевна. — Если говорить честно, я боюсь за него. Юрий с моим мужем участвовали в гонках по Байкалу и однажды даже опрокинулись. Хорошо, что были привязаны.

— Немцы всегда ездят пристёгнутыми, а вот русские почему-то забывают это делать, — заметил Карл. — К тому же, Москва не Берлин. У нас за такую езду очень строго наказали бы.

— Но он попросил, и я не могла ему отказать, — смутившись, ответила Королёва.

Угощала Жанна Андреевна широко, по-русски, с размахом. Сначала холодные закуски: рыба, мясо, салаты. Затем борщ, запечённое свиное мясо на косточке. Потом подали баварское баночное пиво “Шпатен”. Пряхин вспомнил, что его первый командир, когда ему предлагали отведать этот заграничный напиток, говорил: “Не пей, Гриша, пиво немецкое, козлёночком станешь. Я знаю, лучше нашей водочки ничего не придумано. Пить пиво — пускать деньги на ветер”.

Королёва решила угодить дорогому гостю: кроме немецкого пива на столе стоял мускат “Троллингер”.

Домработница подала к пиву сушёную рыбу, байкальского вяленого омуля и копченого сига.

Позже, когда сидели, пили кофе, Королёва вспоминала прошедший в Берлине кинофестиваль, обсуждали предстоящую поездку Карла в Сибирь. Жанна Андреевна сообщила Румпелю, что сопровождать его будет Пряхин.

— Он опытный вертолётчик. В Непале охотился на гималайских медведей.

— Снять на камеру гималайского медведя — моя мечта! — воскликнул Карл.

— Я пытался там всего лишь увидеть снежного человека — йети, — поправил Королёву Пряхин. — Но, к сожалению, не встретил.

Уже поздно вечером Жанна Андреевна отвезла их в Москву, высадила Карла у “Метрополя”, затем повезла домой Пряхина.

— Карл — наш потенциальный инвестор, — прощаясь, сказала она. — Завтра зайдёте в офис, получите билеты и деньги. В Нукутске вас встретят. Ваша задача сделать так, чтобы у Карла осталось хорошее впечатление о Сибири.

— Понял, — кивнул Пряхин. — Только мне надо предупредить Арсения Петровича.

— Не беспокойтесь, — сказала Жанна Андреевна. — Наталья Владимировна оформит командировку. Я подпишу распоряжение, думаю, Арсений Петрович не будет возражать.

Их действительно встретили люди из администрации. Начались объятия, поцелуи, намерения схватить чемоданы гостей и отнести их в машины. С Карла Румпеля попытались даже сдвигать пылинки, но немец держался молодцом, выставив вперед руки, он показывал, что знает границу гостеприимства. Когда везли из аэропорта, Карл с некоторым удивлением и неподдельным интересом осматривал деревянные дома, потрескавшийся асфальт и зелёные заборы. Чуть было не подпрыгнул, когда увидел перебегающую через дорогу огромную лохматую дворнягу, и быстро полез в сумку, чтобы достать видеокамеру. Пряхин усмехнулся: “Вот так и рождаются мифы о шагающих по сибирским улицам медведях”.

Водитель сообщил, что губернатор в отъезде, но для них уже составлена программа.

Пряхина и Карла разместили в гостинице “Ангара”, они приняли душ, затем быстро перекусили в ресторане, и почти тотчас за ними пришла машина с охотоведом, крепким бурятom невысокого роста.

— Кеша, — коротко представился он. — Мне поручено вас сопровождать, вместе с Гансом.

— С Карлом, — поправил Пряхин.

— Нам, бурятам, один хрен, — засмеялся Кеша. — Что Карл, что Ганс. Помню одно: “Гитлер капут!”

— Вот что, Кеша, Иннокентий, — поправился Пряхин.

— Намоконов, — подсказал Кеша.

— Так вот, товарищ Намоконов, немец жил у нас в России и хорошо знает русский.

— Я, хоть и бурят, но тоже хорошо знаю русский! — прикрыв рот ладонью, прыснул Кеша. — И, как мой дед, с трёхсот метров с первого раза попадаю в консервную банку.

— Выходит, ты родственник того самого Семёна Намоконова? — удивлённо протянул Пряхин.

— Однаха, так.

— Вопросов больше нет! Я сопровождаю Карла, — пояснил Григорий. — Чтоб всё было тип-топ.

— Не беспокойся, командир! — заулыбался Кеша. — Нам, бурятам, не впервой. Здесь мы таёжный спецназ губернатора. Всё можем. Медведя из берлоги поднять, коз загнать, разговором занять и бухлер на стол подать.

Через пару часов, миновав пригородные русские села, затем серые, сливающиеся с травой осенние бурятские улусы, они приехали на охотничью “заимку”. Там их уже ждали. За металлическим крепким забором на крыльце особняка выстроилась почти вся обслуга. Намоконов сообщил Пряхину, что это ближняя заимка, а есть ещё дальняя. Всё это Королёв приобрёл после назначения на высокий пост, поскольку любил тайгу и охоту. Оказалось, что всё хозяйство — это огромный кусок тайги, обнесённый металлической сеткой. Внутри него жили и паслись олени, маралы, изюбри. Место для маленькой гостиницы было выбрано со вкусом: на зелёной поляне был выстроен кирпичный особняк, чуть поодаль топились деревянные, собранная из кругляка баня. Дальше, за баней, виднелись стеклянные теплицы. Всё хозяйство было обставлено с размахом. В так называемой “заимке” в прихожей на полу лежала шкура бурого медведя, в зале, где охотники отдыхали после дальних разъездов по тайге, на стенах располагались чучела голов снежных баранов, козлов, сохатого. В углу, готовая к прыжку, напружинилась огромная пятнистая рысь. А прямо ей в глаза скалила зубы серая волчица.

Пока гости обедали, охотоведы загружали машину снаряжением, ружьями и продуктами. Пряхину раньше не приходилось видеть привычную “Ниву” на таких несуразно огромных колесах. Кабина напомнила ему божью коровку, которая, непонятно почему, присела на огромные колеса, и оттого

стала непропорционально уродливой, с виду неповоротливой, скорее похожей на фантастический луноход машиной. Карл внимательно осмотрел “Ниву”, поцокал языком, достал свою камеру и с немецкой педантичностью начал снимать всё, что видел его глаз. Должно быть, его сознание не могло сразу же смириться с необыкновенной выдумкой русского гения, который собрал такую фантастическую машину. Теперь он пытался понять, сможет ли вообще тронуться с места это чудовище, а ещё, чего доброго, полететь над тайгой. Немецкая логика подсказывала, что именно на ней ему предстоит дальняя и непростая дорога.

Кеша переделал гостей в военную, приспособленную для поездок по тайге противоклещевую одежду, предложил выбрать ружьё. Карл взял привычный и знакомый ему “Маузер”, Пряхин предпочёл отечественную двустволку. Едва они отъехали пару сотен метров, как машина медленно вползла в огромную лужу, потом спустилась в низину и оказалась посреди огромного, заросшего кустарником болота. Затем, поднатужившись, “Нива” переползла через упавшую на дорогу сосну, подняла и погнала перед собой заросшую ряской волну, опять перескочила очередное препятствие и потащила дальше через тайгу.

— Чего только русские не придумают, чтобы не строить хорошие дороги, — похлопав по сидению, пошутил Карл.

— А ещё, однаха, придумали “катушу”, — прищурился и без того узкие глаза и улыбаясь каким-то своим мыслям, заметил Кеша. — Была такая песня: “Разлетались головы и туши, когда пела русская “катуша”.

— Мой отец работал на Красную армию, здесь, в Сибири, — буркнул Карл.

— В трудовом лагере? — поинтересовался Пряхин.

— Я, я! — быстро подтвердил Карл и, помолчав немного, начал расспрашивать, какие деревья и кустарники растут в этих местах.

И тут Иннокентий проявил удивительную осведомленность, должно быть, на лекциях в институте он мух не ловил, а учился прилежно, всё честь по чести.

— Вот это лиственница, чуть дальше сосны, берёзы, а под ними растут сарана, щавель конский, заячья капуста, пырей, — начал рассказывать и показывать он. — Ещё дальше — кусты осины, можжевельника, кусточки беголовки, пастушьей сумки, болотной хлебницы, иван-чай.

— О, знаю, иван-чай! Его заваривают вместо чая, — закивал головой Карл.

— Олени, маралы, изюбры и лоси очень любят это разнотравье, — продолжил Кеша. — Для них это и корм, и лесная аптека. Медведь очень любит малину и бруснику.

— Мед, он любит мёд, — заметил Карл.

— Ну, мёда здесь нет, — улыбнулся Пряхин. — А всё лесное зверьё — козы, олени, лоси — любят ходить на солонцы, им не хватает минеральных солей, вот там их и прикармливают.

Через час они остановились около высокой лиственницы, на которой были прибиты огромные олени рога, а чуть ниже на ветках и на стволе повязаны разноцветные тряпочки.

— Зелёный цвет защищает от болезней, — начал рассказывать Иннокентий, — синий — от невезения и гнева, красный дарует долголетие, жёлтый — мудрость и возможность постигать знания.

Он попросил своего напарника достать бутылки с водкой и провизией.

— Будем бурханить, — сказал Кеша.

— Что, что делать? — начал переспрашивать Карл.

— Отдавать дань Богу Бурхану — хозяину этих мест, — пояснил Кеша.

Карл сбегал в машину, достал камеру и начал снимать рога, стол и весь этот первобытный обычай сибиряков. Когда ему поднесли кружку водки, у Карла глаза полезли на лоб.

— У нас есть правило, — начал отказываться от выпивки Румпель. — На охоте — ни грамма. Шнапс запрещён. Обязательная инструкция, что можно и что нельзя.

— Но мы ещё не на охоте, — сказал Пряхин. — Мы в дороге. У нас даже в самый строгий пост тем, кто в дороге, можно употребить скоромное. И пропустить стопочку.

— Да, да, знаю! — заулыбался Карл. — Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.

И все же немец не смог оказать должного сопротивления Намоконову, сказал “капут” и принёс себя в жертву Бурхана. Его хлопали по спине, говорили, что если гость не примет на грудь, то хозяин тайги будет на него очень сердит, и с ним может случиться всякое. Карл вздохнул, он был законопослушным немцем и не мог отказать хозяину тайги. Когда Кеша начал подвязывать к дереву цветные ленточки или, как их называют буряты, хо-даки, Карл сбежал в машину, принёс свой красный, с коричневыми полосами галстук, в котором при желании можно было угадать цвета национального флага, и, как только его ни пытались отговорить, повязал на рога изюбря так, чтобы это видела вся тайга: Карл Румпель здесь был!

— В Потсдаме, где стояла наша часть, я был единственным бурятом на всю группу войск, — обнимая Карла, начал рассказывать Кеша. — Чтобы не пугать немцев моим, — Кеша обвёл лицо рукой, — ликом Чингисхана, меня даже в увольнение не пускали. А тут Ельцин приехал к нам в часть. Я прорвался к нему: товарищ президент — не пускают. Где же демократия, однаха? Он тут же дал команду: пустить, понимаешь! И меня пустили. Я на-чистил сапоги, пришил свежий воротничок — и в город. Походил по улицам, зашёл в гаштет. Гляжу, все немцы на меня уставились. Я попросил прине-сти мне чаю по-бурятски с молоком. И тут один из фрицев идёт ко мне и под-носит стопку пшанса. Я ему пальцами: чего мелочишься, уж если пить, то стакан. Приносит мне стакан и булочку белого хлеба. Я выпил и показываю, что закусывать не буду. Немцы все разом притихли. Смотрю, несут ещё. Я же кино “Судьба человека”, про Соколова, ещё пацаном смотрел. Хлопнул стакан и показываю, что закусывать не буду. Они загалдели, как по команде. Смотрю, несут третий. Я залпом его махнул, закусил и говорю: “Где тут ваш оркестр, дирижировать буду! И петь: “Кочевник, степь и небо”. Это песня моего дальнего брата, шамана. Немцы ещё пуще загалдели: “О, о, о! Капельмейстер! Прима!” Спел я им, вышел на улицу и первому же нашему патрулю говорю: “А теперь несите меня в часть”. И отрубился!

Карл долго смеялся, затем, когда машина тронулась, он тут же, сидя, за-снул сном младенца.

Проснулся Карл, когда Иннокентий остановил “Ниву” возле огромной кучи. Казалось, кто-то специально собрал её из кустов, обломков деревьев и опавших жёлтых листьев в одно место. Иннокентий достал ружьё, зарядил его патронами.

— Однаха, мишка завалил здесь сожжоя, — пояснил Кеша, — съел сколько мог, остальное прикрыл. Мишка любит тухлятину. Может подойти, ё кала мэнэ!

Карл вначале не понял, о чём идёт речь, но когда понял, достал свой “Маузер” и, поглядев по сторонам, опасливо прыгнул в булькающую болотину.

— Немцы говорят: “Посади лягушку хоть на золотой стул, она всё равно прыгнет в лужу”, — пошутил он, поглядывая на ближайшие кусты.

— А ещё у вас есть хорошая поговорка: “Косолапый останется косолапым, даже если его за море отвезти”, — глядя куда-то в таёжное пространство, простодушно сообщил Иннокентий. Пряхин засмеялся и, подлаживаясь под тон Иннокентия, добавил:

— Карл, мишка, как только узнает, что к нему за тысячу верст в гости приехал немец, обязательно придёт поздороваться. У нас в тайге все медведи говорят по-немецки.

— Яволь! — пристукнув резиновыми каблуками и встав наизготовку, выпалил Карл. — Придёт, тогда мишке — капут!

Посмеявшись над воинственной позой Румпеля, Кеша начал рассказывать очередную байку, как однажды он шёл с рыбалки и вдруг увидел, что за ним топает косолапый.

— Его, должно быть, привлёк запах рыбы, — поглядывая на Карла, Кеша сделал страшные глаза. — Что делать, от мишки не убежишь, однаха, бесполезно! Он лошадь, да что там лошадь, лося может догнать. Я соображаю: побегу, догонит и сомнёт. А потом как осенило, значит, надо делиться. Остановился, кричу мишке: “Хальт!” Он замер. — Вытянувшись в струнку, замер и Карл. Он не ожидал, что здесь в тайге прозвучит знакомая команда. — Я по-бурятски ему: “Сайн байна! Батюшка. Я садаа!” по-нашему это: “Здравствуй, мишенька, я уже наелся!” Достал из рюкзака хариуса и бросил ему. Тот поднял рыбку, опустил к себе в пасть, хрумкнул и снова за мной. Я снова бросил. Он опять проглотил. Так я откупался от него, пока не дошёл до зимовья. Заскочил, прикрыл за собой дверь, глянул в рюкзак, а там пусто, а мишка стоит, ждёт. Потом ушёл, а на другой день появился вновь. Прихожу, а он, ё кар гэнэ, уже избушку разграбил. Рыбы не нашёл, но отыскал сгущёнку и пепси-колу, вскрывал банки когтями и где-то зубами. Могу подтвердить, вскрыл не хуже ножа, и все высосал.

Кеша беззвучно рассмеялся, ему понравилось детское выражение на лице Румпеля. — Вот так, Ганс, у нас бывает, — Кеша почесал себе ухо, вновь хитровато улыбнулся. — Добрый мишка попался. А однажды злой застучал меня в том же зимовье. Проснулся я от шума, кто-то ломится в дверь, потом начал трясти избушку за угол. Силища у него немереная, ну, думаю — конец, “аллес” по-вашему! Ходит вокруг, орёт, злится. А после и вовсе выломал оконце и злобно на меня уставился. Тут я его снова ошеломил, крикнул по-немецки: “Хенде хох”! Пока он переводил, что бы это значило, я подбежал к печи, схватил чайник и плеснул ему в хариу кипятком.

— О, о, о! Майн Готт! — застонал Румпель.

Кеша, как опытный рассказчик, тут же подбросил в печь уголька.

— Мишка взревел так, что подо мною потекло, должно быть из чайника. А может, и нет! Кто проверял? Да никто! — Кеша засмеялся самому себе. — И такое бывает у нас в тайге, ё кала мэнэ!

— Скажите, а здесь водятся гималайские медведи? — неожиданно спросил Карл.

— Старые охотники говорят, что раньше попадались, — ответил Кеша. — Вот в уссурийской тайге есть, а здесь — кто их знает? Тайга большая. Я, например, не встречал. Наш сибирский будет побольше и посильнее. Мой старший брат Бато Торонов, который добыл уже не один десяток мишек, говорит, что самые крупные обитают на острове Кадьяк. Это уже в Америке.

— Я про вас сделаю фильм! — воскликнул Карл, обнимая Кешу. — Это будет сенсация!

— Да чего здесь особенного, — вздохнул Кеша. — Приехали, подняли из берлоги мишку, стрельнули. Гостям забава, а нам — сплошные хлопоты. Что поделашь — работа...

Иннокентий не стал договаривать.

— Давайте я вам лучше свои стихи прочту:

*Закон тайги суров, но у людей намного жёстче,
Ревы, сокжой, ведь здесь такая тишь,
Кричат в тайге намного проще,
Вот у людей, попробуй, докричись.*

*Кричи, сокжой, соперник отзовется,
Придёт на крик, возьмёт тебя живьём,
И пуля для тебя всегда найдётся,
А после скажет сыто: “Однава живём”.*

— А кто такой сокжой? — поинтересовался Карл.

— Дикий северный олень, — ответил Кеша. — Я говорил, возможно, он в той куче, что видели, лежит. Мишка, если и убивает, то по надобности, а человек по прихоти.

— После меня хоть потоп, — заметил Румпель.

— Вот что, Людовик, извиняюсь, Карл, — похлопав Румпеля по плечу, сказал Кеша. — Возьму-ка я тебя в лабаз с собой. Однаха, я ещё стишки почитаю. Может, заодно вспомним Гегеля, Канта. Гегель, кажется, говорил, что особь имеет родовое вне себя и помнит его как потомство.

— О, о, о! Зер гут! — воскликнул Румпель. — Это его философия природы.

— Их либэ дир. Гее цу мир, — глядя на Карла, старательно выговорил Кеша. И, рассмеявшись, добавил: — А то, я, понимаешь, по-немецки не калякал аж с Потсдамской конференции.

Вскоре они приехали на место. Машина остановилась посреди широкой, заросшей невысоким чапыжником и можжевельником долины. Осенняя тайга, что невеста на выданье, горела гроздьями созревшей рябины на солнечных складках, сразу же беря на себя взгляд; цветом губной помады полыхала ольха, чуть ниже к земле густо пламенела калина. Пряхин вспомнил, что в эти сентябрьские дни, сверху, с высоты птичьего полёта, тайга напоминала ему неизвестно кем раскинутый и оставленный, точно для просушки, персидский ковёр, который радовал и притягивал глаз. Это всегда наводило его на мысль, что время быстротечно, пройдёт день-другой, и перед близкими холодами всё начнёт осыпаться и увядать.

Взяв ружья, охотники, путаясь и цепляясь сапогами за густую траву и кусты, дальше пошли пешком. К самому солонцу подходить не стали, чтобы не оставить след. Как объяснил Кеша, звери чутки на посторонние запахи и, учитывая это обстоятельство, скрадок они разместили ниже солонца.

— Ночью воздух движется вниз с хребта, туда, где теплее, — сказал он. — Здесь зверь не учует охотника. — Возле скрадка Кеша потрогал землю, покачал головой. — Не придёт, — сказал он. — Вот если бы прошёл дождь, тогда наверняка.

Охотники разделились на две группы. Пряхин с шофёром пошли к ближайшей срубленной из бревен избушке, а немца взял с собой Кеша. Ему понравился зарубежный гость, который, к тому же, оказался добросовестным слушателем. Уж что-что, а для охотника свободные уши на всю ночь в тайге редкость.

Пряхин с шофёром зашли в ближний скрадок, прикрыли дверку, поставили ружья в угол и расположились на лавках. Сруб был собран недавно и сделан крепко, бревно к брёвнышку. Пряхин похлопал по стенкам, словно проверяя на прочность. “Поставить здесь печь и можно зимовать”, — подумал он. В скрадке прямо пахло нагретой за день свежей корой и смольём. У избушки были прорезаны небольшие бойницы в сторону ближайшего солонца.

Наступил тихий солнечный осенний вечер. Тайга жила своей жизнью, но то, что в ней присутствуют посторонние, она уже знала. Точно обследуя местность над тем местом, где укрылись охотники, стал нарезать круги копчик, а вскоре на далёкие чёрные сухостоины уселись косачи. Лесной народ, как это бывает и у людей, стал собираться, чтобы обсудить между собой последнюю новость: появление на подконтрольной им территории вооружённых людей. Но и у птиц не хватило терпёжу, немного погодя они засвистели, защёлкали свои привычные таёжные песни.

Солнце быстро закатилось за далёкую гриву, щебет птиц начал потихоньку умолкать. Где-то далеко ухнул филин и тут же, заставив учащенно биться сердце, послышался далёкий лай козла. Затем вновь всё стихло. Сизые сумерки начали заполнять низины, медленно и как бы нехотя подступали к одиноко стоящей избушке. Они были невесомые, без хребта и плоти, подползали неслышно, как сон. Пряхин почувствовал, что на него, на голову начал давить невидимый столб, и, закрыв глаза, стал засыпать. Он даже не сопротивлялся, нагрузка за день получилась изрядная, как в старые времена, когда ему приходилось делать с десяток взлётов и посадок, а потом, вечером, притрагиваясь головой к подушке, он засыпал мгновенно, без всяких сновидений. Из Москвы они вылетели вечером, в самолёте поспать не удалось, а по прилёту их под белы ручки взяли хозяева и привезли вот сюда, где на десятки километров не было живой души. Впрочем, было... Вот ещё раз

залалял марал, ему тотчас отозвался другой. Но на солонец, как и предполагал Кеша, никто не выходил.

Приладившись к узкой лавке, Пряхин всё же среагировал на звериный лай, но только на какой-то миг. Сквозь реденький сон ему вспомнился первый полёт на вертолёте. Было это в училище. Перед тем как поднять его в воздух, инструктор сказал, что пилотировать вертолёт легко и просто, но нужно знать и помнить одну особенность.

— Ты точно держишь в руках живую птичку, — сказал он, — передал, придушил — она отбросила лапки; отпустил — она выпорхнула, только её и видел.

“И в жизни так же, — отрывисто думал Григорий. — Передал — всё порушил, отпустил — всё разлетелось, вылетело из рук, только и видел”.

Очнулся Григорий от холода. Сквозь бойницу на него глянули близкие звёзды, небо всей чернотой лежало на деревьях, и казалось, можно было руками потрогать ковш Большой Медведицы. Пряхин отыскал главную в навигации, да и во всей человеческой жизни, Полярную звезду и начал размышлять, кто и когда придумал этому созвездию название. Со школы он помнил греческую легенду про охотника, который хотел убить превращённую в медведицу красавицу Каллисто. Зевс унёс её на небо, а что с нею произошло дальше, Григорий так и не вспомнил.

Вскоре начало светать, но зверь так и не пришёл на подконтрольный солонец. Пряхин даже порадовался: одной живой душой в тайге будет больше. Вскоре тайга стала наливаться светом, ожила, заполнилась звуками, но не теми, что были к ночи, а более смелыми и радостными. А когда проглянуло солнце, так вообще устроила настоящий концерт, зашевелилась, защебетала, защёлкала уже где-то под ухом, и Пряхин понял, что охоте конец.

“Слава Богу, никого не убили!” — вновь подумал он, и тут неожиданно вдали грохнул выстрел. Вся тайга, всё окружающее пространство замерло, переваривая эту новость. Но длилось это недолго, через минуту, вновь радуясь, что далёкий выстрел миновал их, защебетали невидимые птички.

Через полчаса к ним подъехала “Нива”. Пряхин увидел довольное лицо Карла. Он показывал пальцем на приваренный бампер, где болтались рога убитого изюбря.

В тот же день, ночью, они вернулись в город, а утром охотоведы и представленные для таких поездок работники администрации повезли Румпеля на Байкал. Пряхин остался в городе, он решил съездить к своему бортмеханику Цырену Цыреновичу Торонову, с которым проработал несколько лет. Цырен Торонов был бурятом, с которым Пряхина связывала давняя дружба. Они вместе налетали не одну тысячу часов. Теперь Торонов работал сторожем в гаражах на окраине города, и Пряхин долго плутал, чтобы разыскать его. Сторожка запряталась за бетонным забором и напоминала одиночную камеру с единственным, засиженным мухами окном, которое снаружи было заварено железными арматурными прутьями. Возле стены, рядом с пластинчатой батареей, стоял прикрытый покрывалом топчан, а прямо напротив окна Торонов соорудил какое-то подобие стола. Он добросовестно подготовился к встрече с командиром, выставил на стол бутылку водки, подогрел на сковородке захваченные из дома пирожки, мясо, сварил картошку и нарезал солёные огурцы.

— Вот так и живу, — окинув глазом комнату, сказал он. — Для меня ничего не поменялось. Как говорят, “не жили богато, и не хрен начинать”. Всё под рукой, всё по-походному.

— Совсем неплохо, — окинув взглядом столик, заметил Пряхин. — Даже мясо нашлось.

— Это я специально для тебя. Мне Кеша Намоконов медвежатину принёс. Не побрезуешь?

— Сойдёт, — ответил Пряхин. — Давеча твой Кеша возил меня на охоту. Рассказчик — поискать надо!

— За ним не станет, — согласился Торонов. — У них, охотников, есть обычай — делиться. Вот он и притортал кусок. Я его вымочил в холодной

воде, потушил в лотке. Почти без запаха. Да ты, командир, не стесняйся, проходи, садись. Официанток здесь нет. Или привык к московским разносолам?

Пряхин достал из портфеля бутылку армянского коньяка, поставил рядом с “белоголовкой”.

— У блондинки должен быть кавалер, — пошутил он.

— Не возражаю, — коротко улыбнулся Торонов. Он взял бутылку, начал внимательно изучать наклейки, затем даже поглядел на свет. — Где брал?

— Да здесь, в супермаркете.

— Боюсь, что поддельный. Сейчас залететь — пару пустяков. Люди, и те поддельные.

— С чего начнём? — спросил Пряхин.

— Всё равно. Давай с водочки.

Бортмеханик разлил водку в эмалированные кружки.

— Что я тебе, командир, скажу. Авиации — кирдык. Так получилось, не мы с тобой в этом виноваты. Наши, те, кто ещё летает, иногда получают заказы от новых русских. Крохи с барского стола. Раньше за полмесяца налёгивали санитарную норму, её, бывало, даже продляли. Как у нас говорили: “Большой винт рубли считает, маленький — копейки”! Теперь, рассказывают, на полёты военных привозят журналистов, чтобы показать, что авиация ещё существует. А результат? Те, кто сегодня сумел взлететь, не факт, что сумеют нормально сесть. И бьются! А с другой стороны... Вот ты бы сейчас спросил: “Пойдёшь летать? Ведь там всё плохо”. Я бы не только пошёл — пополз бы.

— Я пробовал, — усмехнулся Пряхин. — Вот, дополз пока что до тебя.

— И на этом спасибо. Должно быть, трудно было от Москвы оторваться?

— Эх, Цырен Цыренович! Как говорится, кому-то ветчина, а кому-то хрен с горчицей. Вот и ты не уехал в свой родовой улус.

— Утешил. Это чтоб я здесь не переживал. Я и не переживаю! Вот за тебя обидно. А насчёт улуса, так нет его. Разъехались. Даже мой сын в Москву подался.

— Ничего, соберёмся. Я ведь не просто так к тебе приехал. Есть предложение.

— Нет возражения, — как, бывало, раньше, подхватил Торонов. — У нас, у бурят, как тебе известно, нет иммунитета, — Торонов выразительно щёлкнул себя по горлу, — к спиртному.

— Так за что будем пить? — спросил Пряхин.

— А знаешь, давай помянем твою Женьку, извиняюсь, Евгению Ивановну. Помнишь тот полёт в Старую Юхту?

— Как же не помнить! Конечно, помню... — ответил Пряхин. — Но давай сначала по махонькой.

— От винта!

— Чокаться не будем, — предупредил Пряхин.

— Куда уж дальше. Давно чокнулись, — махнул рукой Торонов. — Но, однаха, ещё держимся.

— Когда поминают, то у нас это не принято.

Вмиг лицо у Цырена Цыреновича сделалось каменным, веки прикрыли глаза, и Пряхин, подивившись произошедшей в нём перемене, вдруг подумал, что в Торонове, при желании, можно было разглядеть многовековую задумчивость и спокойствие Будды.

Женя работала врачом санитарной авиации, и они часто виделись при выполнении срочных заданий. Он удивлялся, как её, вчерашнюю студентку, посылали на такую сложную и ответственную работу. Конечно, она была не одна, с нею вылетала целая медицинская бригада.

Вертолёт забирался в такие места, куда ни одна “скорая помощь” добраться не могла. Но в тот день была какая-то особая погода, как говорили сами вертолётчики, атмосфера словно взбесилась: фронты, снежные заряды, ветер. Позже Пряхин узнал, что тогда за день в стране произошло сразу пять авиакатастроф с вертолётами.

Когда они уже были в воздухе, на связь вышел Казачинск и попросил сесть на площадку в верховьях Улькана и забрать раненого охотника. Как выяснилось, охотники подняли из берлоги медведя, но что-то пошло не так, косопланный поднял одного из них и снял скальп. Пряхин прикинул по карте: выходил крюк почти в двести километров. Но деваться некуда — просьба была подкреплена указанием командира лётного отряда. И они полетели. Забрав раненого, Пряхин повёл вертолёт в Старую Юхту, там он рассчитывал дозаправиться, забрать роженицу и вылететь на базу. К Старой Юхте они пришли под заход солнца. Уже перед самым снижением загорелась лампочка критического остатка топлива. Произошло то, что обычно происходит, когда вместо одного дела пытаешься сделать сразу несколько. Всё тут обернулось против: и ветер был в нюх, и погода окончательно испортилась, и времени было в обрез. А тут ещё перед глазами вспыхнул красный семафор. Он-то и обещал экипажу главную неприятность, не оставляя выбора. Надо идти только в Старую Юхту. Нет, Пряхин не сгущал ситуацию, выбор был всегда, но в данном случае выбирать предстояло между плохим и очень плохим; падать без топлива в тайгу или всё же сесть туда, где можно было заправиться, и, забрав больную, отвезти её на базу, где их ждала “неотложка”. Казалось, он должен был давно освоить лётную математику, просчитать все возможные варианты заранее, а не лихорадочно, в последний момент, выбрать безопасный эшелон, где заправиться, сколько людей и груза взять на борт. А ещё — как взлететь и как сесть, с ветром или без, какова высота снега на площадке и будет ли он свежим или лежалым. Вспомнить размер площадки: если она с пятак, тогда при посадке придётся втискиваться в неё, как в колодец. Вот именно такая и поджидала его в Старой Юхте без вычищенных подходов и боковых полос безопасности: на такую не сядешь и не взлетишь с неё “по-самолётному”.

Когда они зависли над площадкой, Пряхин понял, что площадка покрыта свежеснеженным снегом. Его опасения подтвердились буквально через несколько секунд. От вращающегося винта поднялся снежный вихрь, воткнутые в снег ёлки разлетелись в стороны, и он мгновенно потерял пространственное положение и визуальную связь с землёй: глазу было не за что зацепиться. Уйти и сделать следующий заход не было никакой возможности, топлива не осталось и на круг. Весь окружающий мир сузился для него до размеров кабины, оставив для глаз две точки — красную лампочку остатка топлива и авиагоризонт. Радиовысотомер потерял свою надобность — при снежном покрове он начинал врать.

И тут Пряхин внизу неожиданно увидел зелёную с набалдашником травинку. Засохший стебелёк кровохлёбки не раскачивался, а трепетал под снежным вихрем, но держался за землю из последних сил. Пряхин вцепился в неё глазами — эта травинка стала их спасением.

По ней Пряхин определял расстояние до земли. Бортмеханик по авиагоризонту подсказывал крен. Медленно, очень медленно Григорий начал опускать машину. Сначала он почувствовал, что невидимой пока ещё земли коснулось правое колесо, затем — левое, и дальше машина твёрдо встала на передние. Не успел он вытереть пот со лба и посадить медицинскую бригаду, как буквально через пару минут медики сообщили, что у больной упало давление. Она держалась до конца, а когда ей сказали, что всё же прилетел вертолёт, потеряла сознание. Евгения Ивановна решила сделать венесекцию, чтобы ввести иглу шприца, и тут неожиданно в посёлке погас свет.

Пряхин попросил Торонова снять аккумулятор и принести его в дом. Второй пилот нашёл провода, лампочку, и они дали врачам свет. Пока медики делали своё дело, экипаж заправил вертолёт, и, уже ночью, они с больными вернулись на базу. Прощаясь с медицинской бригадой, Пряхин вручил Евгении тот самый сухой стебелёк кровохлёбки:

— Она спасла нам всем жизнь, — сказал он. — Так бывает.

Мог ли тогда Григорий знать, что вскоре Евгения Ивановна станет его женой, а тот стебелёк будет талисманом до самого конца их совместной жизни.

— Ну, а сейчас как? — спросил Торонов.

— Живу один, — помолчав, ответил Пряхин.

— Это не дело. Тебе надо иметь рядом женщину, — сочувственно сказал Торонов. — Придёшь домой — не с телевизором же разговаривать! Может, помочь? Есть тут одна.

— Как-нибудь обойдусь.

— Я тебе уже сказал, мой сын Веллингтон тоже в столицу подался, — вздохнув, сказал Торонов. — Летает на парапланах. Недавно звонил мне. Ездил в Австралию и стал там чемпионом мира.

Пряхин слушал Торонова рассеянно: чемпионаты, полёты на планерах, вертолётах. Ему казалось, что всё это осталось в прошлом. Неожиданно для себя Григорий подумал, что должен позвонить в Москву Наталье Владимировне. Ему захотелось послушать её голос, узнать, чем она занимается и какая сегодня погода в столице. А может, привезти ей отсюда цветы? Например, ветку багульника. Он вспомнил, как перед отлётом в Сибирь зашёл к ней. Она поднялась навстречу, едва он вошёл, светлая, нарядная, с его голубым шарфиком на плечах, улыбнулась, мол, заметит или нет. Заметил, похвалил, сказал, что к её глазам идёт этот цвет. Умолчал только, что короткая стрижка делает её похожей на подростка, и хорошо, что на ней нет той форменной, с погонами рубашки. Она была рада именно ему, его появлению в офисе. Лишь только сейчас, отсюда, Григорий понял: она ждала его. Устало и запоздало улыбнувшись своим неожиданным мыслям, он начал рассказывать Торонову о предложении Королёвой наладить полёты в Шумак.

— Так это надо к Серёге Елисееву обратиться, — заметил Торонов. — Они туда летают. Ты же его хорошо знаешь. Он, как и ты, работал за бугром, где-то в Африке.

— В Найроби, — уточнил Пряхин.

— Съезди к нему в Оёк. У него в ДОСААФе есть вертолёты. Если будет финансирование, мы можем ещё пару вертолётов на крыло поставить.

— Хорошо, — согласился Пряхин. — Съезжу.

Разговор с Елисеевым получился недолгим, но, как посчитал Пряхин, хорошим. Елисеев пообещал подготовить всю документацию, переговорить с вертолётчиками и другими специалистами, которые могли бы пригодиться для этой работы.

— Мы на Шумак летаем редко, — сказал Елисеев. — Все полёты держатся на одном: авось пронесёт! Там сейчас турбаза. Несколько вполне приличных комфортабельных домиков, столовая. В основном туда прут по горным тропам “дикари”, в прямом и переносном смысле! Они живут в зимовьях, палатках, шалашах и, естественно, после себя оставляют горы мусора. Мы договорились с директором, оттуда в мешках забираем отходы: консервные банки, пакеты, плёнку, стеклотару и прочий мусор. Вывезли уже больше пятидесяти тонн.

— На Байкале уже завалили Ольхон, — заметил Пряхин.

— А раньше какая там была чистота! Какой Господь сотворил землю, такой она там и оставалась. А что думает по этому поводу губернатор, власть?

— Им, Гриша, до этого нет дела, — усмехнулся Елисеев. — Кто и когда с нами советовался! Тот же Ольхон! Раньше туда за день выполнялось несколько рейсов. Сегодня аэродром есть, его в чистоте и опрятности содержит Прокопьев. Ты его помнишь! Но туда уже лет пятнадцать никто не летает, все туристы едут через Малое море. Часами стоят в ожидании переправы. Так вот, каждый день Прокопьев включает радиостанцию и сообщает погоду на аэродроме, кому и зачем — неизвестно. Он там, как последний самурай. Денег ему не платят, живёт подсобным хозяйством. А вот на Шумаке нет своего Прокопьева.

— Но зато там есть целебные источники, — вспомнив слова Королёвой, сказал Пряхин.

— Поздно пить боржоми, — усмехнувшись, сказал Елисеев. — Здесь нужна не прихоть отдельного человека, а государственная программа.

Пряхин был согласен с Елисеевым. Но он догадывался, Жанна Андреевна ждала от него иного. Для неё было важно понять, как быстро и наименее затратно наладить полёты на Шумак.

Вечером Пряхин позвонил Наталье Владимировне в Москву. Она обрадовалась звонку, сообщила, что Королёва сейчас с сыном отдыхает в Испании, но сразу же после отпуска собирается поехать к мужу на Байкал. Затем сказала, что Арсений Петрович интересовался, когда Пряхин прилетит в Москву.

— Дудко привык, что все у него должны быть под рукой, — сказала она. — А то нас здесь бумагами завалили, сплошная переписка.

Пряхин догадался, что его опять хотят использовать как сочинителя приветственных и прочих адресов.

— Наталья Владимировна, может быть, вы в курсе, Арсений Петрович прочёл мой, вернее не мой, а правленный сценарий?

— Григорий Ильич, он прочитал, — уже другим и, как показалось Пряхину, поскучившим голосом ответила Наталья Владимировна и, кашлянув, замолчала.

— И что? — поинтересовался Пряхин, уже поняв, каким будет ответ.

— Сказал, что вы не Бергман.

— Это высокая оценка! — засмеялся Пряхин. — Называется, осудил овин баню. К тому же Арсений Петрович должен помнить, что в “резею” у меня фамилия не Бергман.

— Да вы не обращайтесь внимания, — начала успокаивать Наталья Владимировна. — Все знают — Дудко не Пряхин. А я без вас скучаю. Жду, когда вы прилетите и расскажете, как провели время на Байкале.

На другой день Пряхин с Карлом полетел на Шумак. Григорий знал, что туда с инспекционной поездкой собрался и Королёв. К присевшему за городом на поляну вертолёту, сигналив во все дудки, прибыл губернаторский эскадрон — вереница чёрных никелированных джипов. Эрик Петрович вышел из машины, пожал руки гостям. Командир вертолёта доложил о готовности к полёту. Королёв был одет по-походному: в пятнистые десантные брюки и кожаную лётную куртку. Затем подъехала другая придворная челядь — операторы, журналисты из пресс-службы губернатора, группа актёров народной драмы, которые должны были показать немецкому гостю сибирских казаков-землепроходцев. Все, подлаживаясь под вкусы руководителя края, натянули на свои животы и плечи военную униформу — ни дать, ни взять на Шумак отправлялась группа захвата.

Пряхин заметил рыжеволосую крашеную блондинку — руководительницу пресс-службы губернатора, рядом с ней — ещё одну молодую особу. Стройная, высокая, в сером костюме, серой джинсовой куртке, с короткой спортивной стрижкой. Поверх куртки — длинный чёрный, повязанный вокруг шеи шарф, концы которого свободно спадали на грудь.

Она с любопытством поглядывала на попутчиков, держалась независимо, стараясь не выделяться и не привлекать к себе повышенного внимания. Но мужской губернаторский спецназ начал расшаркиваться перед ней: о, да надо было одеться потеплее, на горах, говорят, уже лежит снег, а вдруг придётся заночевать. Тут же нашлись те, кто был готов поделиться своей одеждой.

— А вы раньше летали? — начали интересоваться другие.

— Нет, вы посмотрите, закукарекали! — засмеялся губернатор. — Сообщаю для глухих: Вера Романовна первый раз летит на вертолёт. И прошу не приставать. Пожалуетесь — будете иметь дело со мной.

— Вера Романовна Сугатова, — оказавшись рядом, представилась она Пряхину. — Вы из Москвы?

— Не совсем так, но из Москвы, — подтвердил Пряхин. — Судя по всему, здесь, в основном, летят москвичи.

— Я из Нукутска, — сказала Сугатова

— Уже теплее, — улыбнулся Пряхин. — Губернатор делает правильные шаги.

— На то он и губернатор, — засмеялась Сугатова. — Мне сказали, что вы раньше летали?

— Было дело, — улыбнулся Пряхин. — И даже пытался полетать здесь.

— Можно, я сяду рядом? — неожиданно попросила Сугатова. — С вами мне будет спокойнее.

— Не возражаю.

Пряхин начал размышлять, кто успел сообщить Сугатовой о его прошлой работе. И пришёл к выводу: когда подавали губернатору список пассажиров, то те, кому это положено, позаботились, чтобы в нём не было случайных людей. Поглядывая на Сугатову, Григорий решил, что руководителя пресс-службы губернатор взял для освещения предстоящего мероприятия, а вот Веру Романовну, скорее всего, чтобы порадовать глаз. Но в своих предположениях ошибся: уже во время полёта он выяснил, что Сугатова, оказывается, работает в протокольной службе губернатора. Все честь по чести — не придерёшься.

Поднатужившись, вертолёт оторвался от земли и взял курс в горы. Под застеклённую пилотскую кабину напоззала тайга, все прильнули к иллюминаторам. У Пряхина сжалось, заняло сердце. Он мог бы сейчас сидеть в пилотском кресле и вести вертолёт, но не судьба! Сиди и смотри, как твою работу исполняют другие.

Через несколько минут винтокрылая машина втиснулась в узкое ущелье, острозубые гольцы поползли вверх и уперлись в облачность. Немного погода полёт уже напоминал езду в тоннеле. Под ними петляла река, на откосах были видны озёра, а сверху, обрезав острые вершины, лежала плотная облачность. Но вертолёт, снизившись, упорно шёл вперёд, уже над самой водой. Губернатор встал в проход и наблюдал за работой пилотов — своё дело они знали. Сюда, в Тункинские Альпы, они летали не раз и трассу изучили досконально. Когда облака прижали вертолёт к самой воде, Пряхин заволновался, он поднялся с пассажирского кресла, чтобы глянуть в лобовое стекло. Но вертолёт уже замедлил ход и начал целиться на каменистую отмель, там, где из речных окатышей был выложен огромный круг. Их уже ждали.

К открывшейся двери вертолёта надвигалась многоликая орда. Впереди шёл прибывший в Шумак на лошадях и одетый по случаю в национальный праздничный синий бархатный халат крупный, с большим животом, бурят — местный дарга. Он церемонно поприветствовал гостей традиционными для бурят словами:

— Сайн байна!

Губернатора и Румшеля угостили молоком из пиалы, надели на них атласные халаты и повязали на шею белые шёлковые шарфы-хадаки. Обменявшись подарками, хозяйка повели гостей по урочищу.

Из деревянного дацана к ним вышел огромного роста бурят и простодушно начал объяснять, что здесь обитает главный Бог района. Пряхин улыбнулся наивности буряты, поскольку “Главный владыка” не только этого урочища, но и всего Прибайкалья стоял, теребя висевший у него на шее белый шёлковый платок, поглядывая глубоко спрятанными медвежьими глазками, видимо, не зная, как ему поступить: передать хадак шефу протокола или оставить на месте.

Тут же, перед дацаном была сложена побелённая известкой кирпичная печь. Из трубы вился слабый дымок. Вокруг печи в фиолетовом халате ходил лама и, не обращая внимания на прилетевших, напевал одну и ту же фразу:

— Ом мани падмэ хум! Ом мани падмэ хум!

— Огонь очищает душу человека, — начал объяснять гостям огромный бурят, — а лама вызывает к Будде. Он поёт, что Вселенная дарует процветание и изобилие тем, кто принимает их с открытым сердцем.

На дереве рядом с дацаном был прикреплён деревянный щит, на котором кириллицей были нанесены правила и поучения Будды для тех, кто решил выйти на путь просветления:

— Трудно бедному быть щедрым, — прочёл Пряхин. — Трудно власть имущему не употребить свою власть для достижения своих целей. Трудно не рассердиться, когда тебя оскорбляют. Трудно спорить о правильном и неправильном.

Дарга рассказал губернатору о всех достоинствах Шумака, не забывая пожаловаться на недостаток средств для развития урочища. Тот с любопытством поглядывал по сторонам, он был приятно удивлён встречей и бурятским гостеприимством. Когда лама закончил свою службу, гости, ведомые всё тем же даргой, перебрались через висячий мостик. На другом берегу,

среди сосен, на поляне их уже ждал шаман с бубном. На груди у него висели круглые железные и медные амулеты, чёрные когти медведя, старинные монеты. На голову была надета отороченная лисьим мехом островерхая шапка. Завидев гостей, шаман начал прыгать вокруг разведённого костра и бить в бубен, призывая почтить души ушедших предков.

Потом у часовенки для гостей уже пели песню про Ермака казаки. Пели хорошо, с чувством:

*Шумит тайга, седая вековая,
Течёт Иртыш, могучая река!
И не померкла слава боевая,
И не забыто имя Ермака.
Иван четвёртый — государь Московский —
Возликовал от радости душой,
И Ермака за тот поход геройский
Он наградил кольчугой золотой
За то, что он Кучума пересилил
И государю послужил, как мог,
И приросла Россияшка Сибирью,
И раздалась Россия на Восток.*

Припев песни уже подтягивали хором все, кто прилетел и кто оказался на этом импровизированном концерте:

*И пусть проходят годы и века —
Мы не забудем подвиг Ермака!*

После концерта губернатора повели вдоль реки, мимо сотен маленьких, сложенных из плоских каменной-окатышей тонких пирамид. В грязевых ваннах, не обращая внимания на высоких, упавших буквально с неба гостей, лежали отдыхающие. На берегу, обмазав себя жирной лечебной грязью, толпились “папуасы”, а рядом, помахивая хвостами, бродили лошади.

Тут же стояли раскрашенные в синие и красные тона деревянные идолы.

Прямо от горной речки отдыхающими был сооружён водоотвод. Бегущий поток крутил деревянные мельницы, крылатых лебедей, поднимал и опускал игрушечные перегородки, переворачивал лопатки всевозможных гидросооружений. Вдоль тропы на крупных булыжниках виднелись надписи, утверждающие, что “Коля и Оля были здесь”. Горячие источники обозначались каменными и деревянными знаками. На некоторых раскрашенных камнях были нанесены китайские иероглифы. Карл Румпель трудился не покладая рук и не жалея ног. С немецкой дотошностью он расспрашивал Пряхина, тербил бурята, губернатора, Сугатову, чтобы они на камеру сказали, что это за камень и о чём говорят иероглифы. Надолго задержался около кладбища костылей. Пряхин объяснил, что сюда, на Шумак, многие прилетают на костылях, а обратно уезжают на своих двоих.

Вскоре утомлённые гости собрались в столовой, где им был приготовлен обед. Губернатору, как самому почётному гостю, предложили варёную баранью голову, Карлу — убуун, баранью грудинку. Пряхин отметил, что и здесь на столе было выставлено немецкое пиво. Он посоветовал Румпелю отведать приготовленные бурятские молочные пенки — урмэ.

— Зер гут! — отведав пенки, поднял большой палец Румпель.

На десерт подали сваренные в котле лапы медведя, с острой приправой. Видимо, варили их долго, мясо успело остыть и превратилось в холодец. Но под водку пошла и медвежатина.

За столом Эрик Петрович произнёс речь в честь немецкого гостя и сообщил, что достигнута договоренность о прямом рейсе из Мюнхена в этот край вечно синего неба.

— Что, будут летать прямо сюда? — вытаращив глаза, спросил глава района.

— Сюда будет прямой рейс на вертолётках, — ответил губернатор. — Скоро вы не узнаете Шумак. Здесь будет курорт европейского уровня. Заведём охотничье хозяйство, огорожим источники металлической сеткой, чтоб лошади не бродили. Зарубежные гости смогут здесь не только полечиться, но и поохотиться, порыбачить и подышать нашим саянским воздухом. И как это в песне: “И приросла Россияшка Сибирью. // И раздалась Россия на восток”. Будем укореняться и здесь, в этих диких местах.

Было видно, что он доволен оказанным гостеприимством и ему захотелось ответно порадовать приятной вестью хозяев.

На обеде шаман исполнил для присутствующих песню: “Кочевник, степь и небо”.

— *Природа, Бог — одно и то же, — помогая себе руками, пел шаман, — Кругом орлы, пасущие отары. И стрекот дикой саранчи. И посвист суслика степного впитал в себя сей горизонт. И склоны снежных гор.*

Уже в конце долгого, как бурятская степь, напевного монолога он с какой-то обречённостью в голосе выдохнул: “И где теперь аймак районом стал, и Ельцин этот путь нам указал”.

Пряхин не стал уточнять у шамана, про какой путь вспомнил вдруг он, должно быть, песня была написана давно, и ничего нового в ней не появилось. Вожди указывают, отары бредут, куда им укажет пастух. Пряхин вспомнил Кешу, его рассказ про оркестр в Потсдаме и пожалел, что его нет здесь, на Шумаке.

Вспоминая о своей поездке на охоту, Румпель сказал Пряхину, что обязательно сделает о Намоконове фильм.

— Думаю, Кеша не будет возражать, — улыбнулся Пряхин.

Румпель молча и недоверчиво посмотрел на Пряхина. И та лёгкость, с которой Григорий решил за Кешу, улетучилась. О таких вещах говорить за другого было легковесно и несерьёзно. С присущей немцам педантичностью и дотошностью Карл, должно быть, привык больше доверять подписанному договору, а не брошенным походя словам. Всё-таки Румпель имел не только немецкие корни, но и большой отрезок жизни, который он провёл в России, где от сказанного обещания до конечного результата — дистанция огромного размера.

— Майн фройнд, должно быть, вы знаете, что в природе не существует частицы “не”, — неожиданно сказал Румпель. — И многие не понимают её значения. Говорят: “Я желаю тебе не болеть!” Уберите частицу, что получится?

— А как, по-вашему, надо?

— Желаю быть здоровым. Ещё вы любите огораживать свою территорию, — продолжил Карл. — Даже после смерти. Я понимаю, заборы и ограды, кирпичные стены достались от прошлого. Но они в обычной жизни мало полезны. Например, Берлинская стена. У немца ограда или черта в голове. Он не пересечёт её и не поедет на красный свет. У вас же это сплошь и рядом.

— И что из того? Что, после падения Берлинской стены вы стали жить лучше?

— Мы вновь стали единым народом.

— Поделенным на три сорта, — сказал Пряхин. — Первый — западные немцы. Второй — восточные. И третий — приехавшие из России.

— Но это быстро рассасывается, сглаживается.

— И мы меняемся, — подытожил Пряхин.

— Я, я! Всё течёт, все меняется, — согласился Румпель.

Всё хорошее когда-нибудь заканчивается: гости начали собираться в обратный путь. Пока гуляли и обедали, облачность приподнялась и показала зубатые каменные глыбы, кое-где уже прикрытые снегом высокие кльки Тункинских Альп. Вдоль ущелья потянул холодный, порывистый ветер. Пряхин знал: при таком ветре в этой узкой трубе взлетать будет непросто. Он вспомнил Гэсэра — мифического героя бурятского народа, который, как и Христос,

спустился на землю. Ему так полюбилась земная жизнь, что он не вернулся обратно на небеса.

“Он-то не вернулся, а нам лететь. И хорошо, что погода не заперла нас в этом урочище”, — подумал Григорий, поглядывая на заснеженные гольцы. Прав был Елисейев: летать на Шумак было сложно и, скорее всего, регулярные рейсы сюда будут ещё нескоро.

По пути к вертолёту губернатор напевал полюбившуюся ему казачью песню:

*И пусть проходят годы и века —
Мы не забудем подвиг Ермака!*

— Как говорил Кант: “Две вещи поражают моё воображение, — сказал Румпель, обращаясь к губернатору, когда они садились в вертолёт, — звёздное небо над головой и нравственный закон во мне”. Я бы добавил ещё — и русское гостеприимство.

— Дорогой Карл, хочешь, я возьму тебя с собой в тайгу на берлогу, — расплылся в улыбке губернатор. — Пощекочешь нервы.

— О нет, нет! — воскликнул Карл. — Я — пацифист.

— Хорошо, тогда я тебе подарю шкуру медведя.

— Гималайского?

— Будет тебе и гималайского, — покровительственно похлопал по плечу Румпеля губернатор.

— Эрик Петрович, я бы хотела поехать с вами на охоту, — попросилась стоявшая рядом с губернатором Сугатова. — Я сегодня пролетела на вертолёте, получила огромное удовольствие. Мне захотелось посмотреть медвежью охоту. Особенно, когда слушаю рассказы охотника Иннокентия Намоконова.

— Не женское это дело, — ответил Королёв. — Тайга требует к себе особого внимания.

— Эрик Петрович, французы говорят: “Чего хочет женщина, того хочет Бог”, — сказал кто-то из сопровождающих. — Женщины тоже требуют к себе особого внимания.

— А кто против? — засмеялся губернатор. — Бог хочет одного, женщина — другого.

— Мы будем делать фильм о губернаторе и его таёжном спецназе, — сказал Румпель. — И, конечно же, о Шумаке. Европа уже забыла, что здесь ещё остались дух и потомки Чингисхана.

— “Те, кто сидят в юрте, уподобляются камню, упавшему в глубокую воду, либо стреле, выпущенной в заросли тростника”, — говорил Чингисхан. Тот и другая бесследно исчезают. Мы себе этого не позволим. Можешь считать, что договорились, — сказал Королёв Румпелю. — Деньги на фильм найдём.

“Осталась ещё в нас лёгкость, с которой мы даём обещания. И себе, и за других”, — вспомнив разговор с Карлом, хотел сказать Пряхин, но вовремя прикусил язык. Сейчас его откровенность ни немцу, цитирующему Канта, ни тем более губернатору была не нужна. Румпелю хорошо, а это именно то, о чём его просила Жанна Андреевна, когда посылала сопровождать Карла. Конечно же, Эрик Петрович вспомнил Пряхина, но делал вид, что того неприятного разговора у них не было. И, скорее всего, причиной тому была охранная грамота, которую выдала ему Королёва.

К новому году Елисейев переслал Пряхину документацию, списки необходимого лётного и технического состава. К ним он передал все финансовые расчёты. Каким-то образом о создании авиакомпании узнал Дудко и пригласил к себе Пряхина.

— Вот что, уважаемый Григорий Ильич, — поглядывая на Пряхина ничего не выражающими водянистыми глазами, непривычным для него вкрадчивым голосом начал Арсений Петрович. — Я вдруг, совершенно случайно узнаю, что вы, являясь сотрудником киностудии, на казённые деньги путешествуете по Саянам.

— Арсений Петрович, я летал туда по вашему распоряжению и, кажется, уставов студии не нарушал, — стараясь держать ровный тон, ответил Пряхин. — И, честно говоря, даже рассчитывал, что вы отправите на Шумак приветственный адрес. Там было всё начальство, был губернатор.

— Да, я знаю, — помолчав немного, сказал Дудко. — Но не надо прикрываться губернатором. В таких делах нужно иметь трезвую голову.

— Лётчиков всегда перед вылетом проверяли доктора, в том числе и на трезвость.

— Хорошо, хорошо. Что тут скажешь. Но почему не написали отчет о поездке? Есть порядок, его нельзя нарушать.

— Если надо, я напишу, — пожал плечами Пряхин.

— Сделайте, пожалуйста, и передайте его Наталье Владимировне.

— Хорошо, будет сделано, — пообещал Пряхин.

— Ну, а кратенько, как там себя чувствует Эрик Петрович? Румпель в восторге от поездки. Губернатор его очаровал. И кто такой Намоконов? Только о нём и слышно.

— Герой войны. Снайпер. На его личном счету около четырёхсот фрицев.

— Что, до сих пор живой?

— Да что вы! Умер. Давно. Если вы имеете в виду Иннокентия, то это его дальний родственник.

— Надо бы с ним разобраться, — ответил Дудко. — Не дай Бог немец узнает, кого он собрался снимать.

— Внука героя войны.

— Это для вас он герой. А для немцев? Ничего, как-нибудь разберёмся! Жду ваш отчёт и конкретные предложения по фильму.

— Сделаем, — ответил Пряхин. — Был бы толк.

— Будет, — уверенно заявил Дудко. — Нам надо привлечь серьёзных инвесторов, составить бизнес-план. Я здесь кое-что набросал и даже уже кое с кем переговорил.

— Можно ознакомиться? — попросил Пряхин.

— Зачем? Скажу одно, там, — Дудко показал на потолок, — серьёзно заинтересовались люди, у которых есть деньги.

— Ясно, — протянул Пряхин. — Моё дело писать адреса.

— Не совсем. Я прочёл ваш сценарий. Пришлось кое-что поправить. Дадут деньги — будем снимать.

— Разрешите идти! — пристукнув каблуками, сказал Пряхин.

— Пожалуйста, — каким-то вялым, ватным голосом ответил Дудко. — Но учтите, — Арсений Петрович поднял вверх палец, — в бизнесе друзей и покровителей нет. Есть партнёры, с ними надо советоваться.

— Я могу быть свободен?

— Пока что да!

Наталья Владимировна быстрым взглядом посмотрела на вышедшего от Дудко Пряхина, попыталась ободряюще улыбнуться, но мгновенно поняла, что разговора не получилось, и тогда она, кивнув глазами на закрывшуюся дверь, сморщила нос и по-детски махнула перед собой ладошками, мол, не надо огорчаться, всё обойдётся.

Григорий улыбнулся, показывая, что понимает и разделяет её чувства. Надевая куртку, он посмотрел на мишкину мордашу, ему почудилось, что козопаный прощается с ним.

Через некоторое время Королёва пригласила Пряхина к себе. Она протянула ему папку, сказав, что ознакомилась с расчётами, и попросила, чтобы Григорий сделал свои предложения по бизнес-плану.

— Жанна Андреевна, я постараюсь сделать это как можно быстрее. — Пряхин сделал паузу, ему не хотелось затевать разговор о том, неприятном, о чём они говорили с Дудко. Королёва всё поняла.

— Договорились, — сказала она. — Я не люблю, когда кто-то вмешивается в мои дела. Не пойму, чего ему не хватает? Боится не успеть или прозевать, — поморщившись, добавила она. — И, вздохнув, улыбнулась: — Григорий Ильич, да вы не расстраивайтесь. Сейчас всё равно зима, туристы, что медведи в берлогах, — спят. К весне должно многое проясниться и сложиться. Губернатор двумя руками за этот проект, но просил подождать.

В начале мая Наталья Владимировна спустилась в монтажную и сказала Пряхину, что Арсений Петрович поручил передать, чтобы Григорий на выходные съездил на аэродром в Тушино. Она сообщила, что там при поддержке и покровительстве Королёва депутатское объединение “Авиация и космонавтика” ко дню Победы будет проводить фестиваль “Крылья России”.

— Надо написать о празднике и переслать материал в Нукутск, — добавила она.

— Хорошо, я съезжу, — сказал Пряхин.

— Говорят, будут известные исполнители, прыжки с парашютом, полёты на каких-то планерах, — сказала она. И тут же совсем по-детски попросила: — А можно мне поехать с вами?

— Я даже не мечтал побывать на этом аэродроме, — засмеялся Пряхин. — Рассказывают, что там принимал парады Сталин. Давайте примем парад и мы.

— А ещё там располагался лагерь Тушинский вор — так прозвали Лжедмитрия современники, — добавила Наталья Владимировна.

— Вот так-то! — удивился Пряхин. — Историческое место.

— Так я же заканчивала исторический факультет. И одно время преподавала историю, — засмеялась Наталья Владимировна.

— Тем приятнее сходить туда вместе с вами. Значит, завтра в десять, метро Тушинская.

— Я живу недалеко. В пяти минутах, — торопливо ответила Наталья Владимировна. — И, если можно, называйте меня Натальей, Наташей, как вам будет удобно. Мне кажется, до Владимировны я ещё не доросла.

— Договорились, — быстро согласился Пряхин. — Если позволите, то буду вас называть Натальей Любимовой.

И тут же сам покраснел от сказанного. “Уж лучше бы промолчал!” — выругал он себя. Но по Натальиному лицу он понял, что она услышала и по-своему оценила его шутку.

— Хорошо, пусть будет так, — просто и весело согласилась она.

Утром он не сразу узнал её среди вывалившейся из вагонов толпы. Светлая, весенняя, во всём белом, брюки в обтяжку, лёгкая шёлковая кофточка, которая не прятала, а наоборот — подчёркивала её фигурку, через плечо — коричневая кожаная сумка, в руках — летний зонтик от солнца.

Пряхин даже застыл — она ли это?

Да, это была она, подошла и сама, не спрашивая на то разрешения, поцеловала его в щёку. Здесь, среди множества совсем незнакомых людей, они почувствовали себя близкими людьми, как бы выброшенными на необитаемый остров. Так же, не спрашивая, она по-хозяйски, точно делала это уже не в первый раз, взяла его под руку, и он, уже повинувшись неожиданному и приятному чувству, пошёл за ней туда, куда шли все, — к выходу.

— Королёва вместе с Румнелем улетела в Нукутск, — сообщила Наталья. — А то она бы обязательно была здесь. Эрик Петрович является спонсором этого мероприятия.

День выдался на загляденье тёплый, тихий, солнечный. Они прошли через установленные на входе металлоискатели и очутились на лётном поле.

Перед самым входом на лётное поле Пряхин увидел бьющих в барабаны одетых в оранжево-жёлтые с бордовыми складками одежды тибетских монахов. Головы у них были выбриты, рубашки были без рукавов.

— Мне в Непале рассказывали, что монахи обладают удивительными способностями, — сказал Пряхин. — Например, они могут при помощи своего тела высушивать холодные мокрые простыни, одежду, без всяких видимых усилий подниматься в воздух и многое другое. Всё, что мы считаем существующим в реальности, они объясняют сознанием. Ещё они утверждают, что вселенная имеет не только материальную, но и духовную природу.

— Ну и что! Вот Христос накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами, — сказала Наталья. — А после ходил по водам.

— Так это же Иисус Христос! Но, как сказано в Евангелии, “Бесполезно быть с Христом тому, кто не принял к нему верой”.

Наталья Владимировна удивлённо глянула на Григория.

— Был у меня случай. Садилась мы в Старой Юхте, — начал рассказывать Пряхин. — На посадке вертолёт поднял снег, и я потерял пространственное положение. Могло все закончиться плохо, но тут Господь оставил на земле для меня травинку. И она спасла нас. Потом мы всем экипажем сходили в церковь и поставили свечи. Даже Цырен Цыренович, мой бортмеханик. А он из этих, — Пряхин кивнул на сидящих музыкантов. — Кажется, даже не крещёный.

— Посмотри, посмотри на их руки! — неожиданно сказала она. — Мне они напоминают движения многорукую Шивы.

— Это у них отработано. Машут, как лопастями, — засмеялся Пряхин.

Миновав монахов, они прошли мимо ряженого медведя, который раздавал прохожим рекламные буклеты. Из автобуса вышли и пошли строем курсанты авиационного училища. По всей вероятности, они должны были участвовать в праздничной программе. Пряхин пожалел, что его родное Кременчугское училище находилось теперь в другой стране.

На лётном поле одиноко, с ободранным хвостом стоял Ил-14, рядом с ним в высокой траве притулился вертолёт. Чуть поодаль Ан-26 — всё, что осталось от некогда знаменитого аэродрома Тушино, ставшего не менее знаменитой концертной площадкой первопрестольной. Вокруг сцены уже сидели на траве многочисленные зрители. Играла музыка, тут же готовились к выступлениям артисты, дымили шашлычные, разворачивали свои торговые палатки продавцы.

Пряхин с Натальей Владимировной походили по полю, затем взяли кофе и присели под огромный красный зонтик. Пахло весной, свежей травой и пьянящим запахом распутившейся черёмухи. Григорий вспомнил, как Наталья сказала, что здесь, в Тушино, на этом поле несколько веков назад табором стоял Самозванец. Сюда к нему стекались недовольные Шуйским казаки, подходили отряды поляков. Сигизмунд мечтал надеть на голову своего сына Владислава корону русских царей. А незадолго до этого казачья ватага под командой Ермака уже пересекла Каменный пояс и, преодолевая сопротивление хана Кучума, под парусами и вёслами, без мобильных телефонов и компасов по сибирским рекам пошла навстречу солнцу, отстраивая по пути остроги и зимовья. В жизни ничего не бывает лишнего и случайного. Здесь, посреди каменных улиц и домов, как сотню лет назад, оставался заросший травой кусок нетронутого поля. Здесь, как тысячу лет назад, цвели одуванчики, каждую весну пробивались на свет чертополох, подорожник, клевер и татарник. Григорий уже знал, что очень скоро на этой низине построят каменные дома и тушинский аймак станет очередным районом, и станут здесь табором не вольные, свободные казаки, а такие же, как и он, понаехавшие в Москву люди, которые с удовольствием загонят себя в бетонные клетки, сядут к телевизорам, компьютерам и будут требовать от властей хлеба и зрелищ. Закон спроса и предложения никто не отменял и не отменит. Зрелище должно быть наполнено, его будут откусывать, как пирожное, и потягивать, как пиво. И какое дело всем до величайшей Смуты, поразившей в самое сердце русскую государственность. И уже новая поросль будет ходить по магазинам, больницам, ругаться в очередях, хаять существующие порядки и хранить в своих карманах связки ключей от всех замков и дверей, от самих себя. Что изменилось за эти столетия? Вместо живых коней стоят на привязи у подъездов лакированные, воняющие бензином железные кони. И попробуй притронься к ним — хозяева будут биться за них, не жалея своих сил. Пряхин улыбнулся. Слава Богу, что рядом с ним сидит не Марина Мнишек, а Наталья Владимировна. И пришли они сюда, на это поле, на своих двоих. Глядя на неё, Григорий размышлял, для чего и зачем они здесь на этом поле? Если в этом мире нет ничего случайного, значит надо принять то, что происходит или произойдёт с той неизбежностью и повторяемостью, которая происходит в нашей жизни, что придаёт смысл всему, что происходит и происходит вокруг него, да и в нём самом. Он смотрел на её лицо, на полураскрытые подвижные губы. Говорят, что женщину выдают губы, глаза можно закрыть очками, губы не закроешь. У Натальи они жили своей

жизнью, расплывались в улыбке, когда она ловила взгляд Пряхина, вытягивались вперёд, как у ребёнка, когда мимо них строем проходили курсанты и раскрывались лепестком, обнажая белые зубы, когда она, задрав голову, смотрела вверх, наблюдая, как над полем, высматривая добычу, делая плавные круги, парил копчик. Он высматривал добычу, зная, что там, где собирается много людей, будет чем поживиться.

— Скоро это поле обнесут забором, — сказала Наталья. — Говорят, здесь построят стадион и новый микрорайон.

— Уже и тайгу обносят изгородью, — ответил Пряхин.

— И ничего не останется тем, кто будет после нас, — вздохнула Наталья.

Пряхин вспомнил свою прежнюю лётную жизнь. Она пролетела в один миг, без светофоров, толчеи в метро, автомобильных пробок, бетона, асфальта, указателей на перекрёстках, без аптек и афиш... Лопасты над головой отсчитывая секунды, складывали их в часы и недели, и тогда казалось — нет им износа. Но всё закончилось, быстро и неожиданно. И в той жизни не было ряженых, всё было настоящим — и медведи, и люди. И был в ней ещё особый смысл, без которого он не находил себе места и применения в белокаменной, куда стремятся тысячи и тысячи людей со всей России.

Вскоре над аэродромом загремел металлический командный голос ведущего, и праздник начался.

Откуда-то сбоку донёсся звук приближающегося самолёта. Пряхин отыскал тёмно-зелёный крестообразный профиль Ан-2, от которого вскоре начали отделяться крохотные точки.

— Смотри, смотри! — громко крикнул он. — Парашютисты!

Стремительно падающие тёмные точки выкинули разноцветные купола и начали свой неторопливый кругообразный ход по синему небу.

А через полчаса, уже с взлётной поля, в небо поднялся парашютист.

Быстро допив кофе, они пошли к тому месту, откуда взлетело это чудное, летающее на капроновом парашютном крыле приспособление. Сделав круг над Тушино, парашютист приземлился неподалёку от них. Григорий с Натальей подошли к планеристу, и тут Пряхина ждала приятная неожиданность; пилотом на парашюте оказался сын Цырена Цыреновича Торонова — Веллингтон. И он узнал Пряхина, протянул руку.

— Григорий Ильич, вот так встреча! Не ожидал!

— И я не ожидал, — удивлённо протянул Пряхин. — Но мне твой батя Цырен Цыренович про тебя рассказывал. Говорил, что ты чемпион и летаешь по всему миру.

— Какой там, — махнул рукой Торонов. — Но несколько раз довелось. Вот что! Пока не слетаете со мной, я вас не отпускаю, — сказал Веллингтон, поглядывая почему-то на Наталью.

— Я согласна, — тут же ответила она.

— Ну, ты поперёд батяни на небо не лезь, — наставительно сказал Пряхин. — Сколько стоит такая прогулка?

— Я вас, командир, подниму бесплатно, — ответил Веллингтон.

И вот, после короткого разбега, Пряхин уже сверху смотрел на крошечные дома Москвы, на запруженные автомобилями дороги, на ровную зелень парков, на стальной блеск реки Сходни. Под ногами качалась бездна, Веллингтон кренил парашютист, делал крутые развороты, ветер рвал волосы, тугий воздух бил в лицо, норовил залезть под куртку, лизнуть грудь — всё было, как и при полёте на вертолёт, но не было защитной оболочки. Приземлились они по-самолётному, пробежали немного по траве и остановились. Купол погас и обессиленно свалился на землю.

— С крещением! — сказал Веллингтон.

— А теперь моя очередь! — сказала подбежавшая к ним Наталья. — Я хочу понять, как поднимаются над землей тибетские монахи.

Григорий не ожидал от неё такой смелости и настойчивости. Уже вдвоём с Тороновым они привязали её к креслу. Наталья Владимировна молча смотрела на Григория, бледная и сосредоточенная, видимо, читала про себя молитву. Веллингтон уселся в своё пилотское кресло, которое располагалось прямо за спиной Натальи, но чуть выше.

Вновь за спиной у Веллингтона загудел вентилятор, пробежав по полю, парашютист поднял на стропах парашют и, оторвавшись от земли, понёс Наталью Владимировну от Пряхина куда-то в небеса. И только тут Пряхин разглядел, что на аэродром надвигается гроза. Чернея своим вислым брюхом, она, увеличиваясь на глазах, быстро ползла в сторону Тушино. Пряхин с тревогой начал следить за куполом парашюта, углядывая под ним висевшую белую фигурку, она, как живая капля, по огромной дуге отклонялась то в одну, то в другую сторону. Сделав пологий пролёт прямо перед чёрной пастью грозы, Торонов со снижением начал заходить на посадку. Приземлилась Наталья все такая же бледная, но счастливая. Григорий помог ей отстегнуть ремни, она, неожиданно для него, бросилась к Веллингтону, расцеловала его, затем обернулась к Пряхину.

— Я слетала! — только и смогла вымолвить она. — Я смогла!

— Все, сегодня шабаш, — сказал Торонов складывая своё нехитрое хозяйство. — А вам посоветую бежать в укрытие. Сейчас ударит такой дождь, Боже упаси!

— Кажется, действительно, на сегодня всё, праздник заканчивается, — согласился Пряхин.

Он увидел, что продавцы быстро сворачивают палатки, а все зрители толпой бегут к выходу с аэродрома, стараясь до дождя успеть спрятаться в метро. Пряхин схватил Наталью за руку, и они бросились за бегущими с аэродрома людьми. Бежали быстро, но не успели. Внезапно сверху без всякой подготовки на них будто вылили воду из ведра. Хорошо, что Наталья взяла с собой зонтик. Но и он не помог, укрыться или даже спрятаться под ним двоим на бегу было невозможно. Попасть в метро тоже оказалось не просто, толпа лезла к дверям буквально через головы.

— Вот что, Григорий Ильич, прошу за мной! — неожиданноскомандовала Наталья. — В метро не обсохнешь. А воспаление схватить можно.

— А может, куда-нибудь в кафе? — закрутил головой Пряхин.

— Там не сушат, — засмеялась Наталья. — Там людей шелушат.

Она не договорила и, схватив за руку, потянула его прочь от входа в метро. И они побежали через мутные потоки по весенним лужам, уже не выбирая дороги; тому, кто промок до нитки, вода уже не помеха. Пряхин чувствовал, как к коленям липнут промокшие брюки и бухает прямо у горла сердце. Давненько он так не бегал. Давненько!

Жила она действительно недалеко. Они забежали в подъезд, поднялись на третий этаж. Наталья Владимировна достала из сумочки связку ключей, открыла дверь.

— Вот здесь я живу. Вернее, снимаю комнату, — сказала Наталья, сбрасывая мокрые туфли.

— Сколько берет? — поинтересовался Пряхин, оглядывая комнату.

— Ой, не спрашивайте! Но по московским меркам недорого. Жанна Андреевна мне приплачивает. Так что жить можно. Быстро раздевайтесь. А я поставлю чай. — И, улыбнувшись, добавила: — Ну, чего раздумываете? Это тибетские монахи могут сушить одежду своим телом. А мы ещё не научились.

Пряхин зашёл в ванную, присел на краешек стиральной машины. Ещё полчаса назад он не мог себе представить, что окажется здесь, в этой крохотной ванной, и будет смотреть на себя в чужое зеркало. И чувствовать за спиной свисающие с вешалки махровые полотенца. Даже по этим вещам можно было составить представление о привычках человека, обладающего ими. Наталья была аккуратна, на полочке под зеркалом стояли флаконы с дезодорантами, зубными щетками, духами, одеколонами, массажными щетками и другими дамскими принадлежностями. Здесь витал особый запах, присущий только женщинам, это был мир, который приоткрывают самым близким людям.

За дверью раздался голос Натальи Владимировны:

— Григорий Ильич, возьмите полотенце. И халат. Извините, но у меня нет мужского.

Пряхин открыл защёлку, в образовавшуюся щель влезло белое полотенце и зелёный махровый халат.

Пряхин взял полотенце, разделся и, включив кран, стал под душ.

— Григорий Ильич, выходите, — вновь напомнила о себе Наталья. — Теперь моя очередь.

— Лечу, лечу! — откашлялся Пряхин.

— Я включила чайник.

Выходя из ванной, Григорий в узком коридорчике натолкнулся на ожидающую Наталью и ненароком, как медведь, коснулся её груди. Она испуганно снизу вверх глянула на него, он извиняюще улыбнулся, показывая, мол, не виноват, скорее всего, виноваты проектировщики, которые слепили такие узкие коридоры, в них не разойтись, не разъехаться. Она, вздохнув, моргнула глазами, поправила мокрые от дождя волосы и сделала движение в полуоткрытую дверь. И вновь натолкнулась на Пряхина, он, неожиданно для самого себя, преградил ей дорогу, ему уже не хотелось все сваливать на строителей — полёт в кабине вертолёт под оболочкой обеспечивает определённую защищённость, на парашуте же все было напрямую с природой, и от неё, как известно, не уйдёшь. Он, запустив пальцы в мокрые волосы, положил руку ей на плечо и потянул к себе. Она закрыла глаза и, выгнувшись всем телом, мягкими податливыми губами ответно потянулась к Григорию. На кухне, пытаясь остановить их, засвистел чайник. Но им было не до него. Вновь, как и на лётном поле, над головой щёлкнул, но уже не раскрывшийся парашют, а обыкновенный коридорный выключатель...

На другой день, по дороге на работу, Пряхин купил букет подснежников. Прежде чем спуститься в монтажку, он зашёл в приёмную к Наталье Владимировне и протянул ей цветы. Она как-то странно посмотрела на него, на цветы, и вдруг по её щекам побежали слёзы.

— Что? Что произошло? — быстро спросил Григорий.

— Только что по телевизору сообщили, что под Нукутском на вертолёт разбился Королёв, — прикрыв лицо рукой, ответила Наталья.

— Не может быть! — выдохнул Пряхин. — Возможно, ошибка!

— Нет, — сквозь слёзы тихо ответила Наталья. — Жанна Андреевна позвонила рано утром. Она там, уехала на праздники.

Пряхин тут же из приёмной позвонил Цырену Торонову. Тот уже знал о катастрофе, сказал, что вертолёт разбился ночью, пытаясь взлететь с подобранной площадки.

— Они охотились на медведя, — сообщил Торонов. — Мишка лапой провёл по брюху вертолёт.

— Какой лапой, по какому брюху! — не понял Пряхин.

— Медведь оказался сороковым.

— Каким, каким?

— Роковым. Так говорят.

— Ты перестань нести ахинею! — крикнул Пряхин. — Говори дело!

— А дело всё в том, командир, что наши власти наложили в штаны. Выворачиваются и врут. На всех каналах утверждают, что был плановый облёт территории. Сначала завалили мишку, а потом решили отгартать на базу. Но на лебёдке, ты помнишь, можно поднять не больше двух человек. Это сто шестьдесят кило. Туша могла потянуть на все четыреста.

— Если бы её потащили на подвеске и, допустим, она зацепилась за сухостой, то её можно было сбросить, — начал лихорадочно соображать Пряхин. — С лебёдки не сбросишь”.

— Летающий с губернатором шеф-пилот раньше вообще не летал на этом типе, — добавил Торонов. — Насколько мне известно, до этого он служил у вояк. Потом его, как и многих, отправили в отстой.

Пряхин мысленно начал перебирать, кто ещё мог быть в вертолёте с губернатором. Кеша? Сугатова? Румпель? Может, кто-то ещё из знакомых? Для кого медведь оказался сороковым? Уж точно не для губернатора. Скорее всего, для такого дела наняли или уговорили опытного охотника. Возможно, что им оказался родственник Цырена — Бато Торонов.

И неожиданно Григорий встретился с глазами Натальи. Она смотрела на него теми же глазами, как и та больная, к которой они прилетали по сани-

тарному заданию на вертолёт. Смотрела с той надеждой и верой в чудо, с какой вглядываются в лица взрослых дети; а вдруг то, о чём говорили по телевизору, неправда, просто какое-то недоразумение, и он, Пряхин, скажет об этом, поскольку только что говорил с верным человеком и узнал от него те подробности, которые могут дать хоть какую-то надежду.

— Какая-то мистика, — откашлявшись и отводя глаза, сказал Григорий. — Сороковой — роковой!

Из кабинета вышел растерянный Дудко.

— Слышали, какая беда! Вот это кино! Как же они так неосторожно...

Пряхин молчал.

— Машиной управлял первоклассный лётчик. Я вас спрашиваю. Вы же профессионал. Как такое могло случиться?

— Лучший врач — практикующий врач, — хмуро ответил Пряхин. Его покоробил тон, каким пытался заговорить с ним Арсений Петрович. — Лучший лётчик тот, который каждый день поднимается в воздух. Всё будет хорошо, если у него над душой не стоит командующий, шеф протокола или другой чиновник.

— Вы имеете в виду смоленскую трагедию?

— Не только! Лебеда, сахалинского губернатора, охотников на снежных баранов на Алтае. Бараны были не только в горах, но и в кабинах вертолётов.

— Вы здесь не занимаетесь демагогией, — фальцетом выкрикнул Дудко. — Здесь нужны факты!

— Факты, вон они! — Пряхин ткнул пальцем в телевизор.

— Чего вы мне тычете! — перебил его Дудко. — Я вас спрашиваю, прежде всего, как специалиста.

— В таких делах я не специалист. Я не был в кабине. Для вертолётчика работа с губернатором была не повседневной, а разовой. Слетал туда-сюда, и жди следующего раза. Я слышал, недавно в Нукутск привезли канадскую машину. Компактная, удобная игрушка. Это не привычная “восьмёрка”, на которой летал шеф-пилот губернатора. Он попробовал машину и ничего необычного в ней не нашёл. И, взяв на борт губернатора, полетел в тайгу. Охотоведы выследили медведя и ждали главного охотника. Остальных деталей я не знаю. Сейчас, как это бывает, сами погибшие не могут ни опровергнуть, ни подтвердить, что на самом деле произошло.

— Там произошёл теракт!

— Как только что вы сказали, нужны факты, — заметил Пряхин. — Они у вас есть?

— Всё, можете быть свободны, — махнул рукой Дудко. — Теперь мы все будем свободны.

Через некоторое время после похорон Королёва попросила Пряхина о встрече. Григорий поразился перемене, произошедшей с Жанной Андреевны: опухшее лицо, под глазами — тёмные круги. Пряхин понял — она была потрясена, и любое неосторожное слово, догадка могли больно ранить её.

— Все мне врут! — плача, начала она. — Все, абсолютно все! Кого ни спрошу, что же там произошло, прячут глаза. Бормочут: “Не повезло, ошибка пилота, человеческий фактор”. А ещё день назад многие мечтали прилипнуть, поехать с ним на охоту, сесть в один вертолёт, а потом — по всем коридорам: “Губернатор — мой кореш”! Скажите, а может, всё-таки был теракт? — неожиданно спросила Королёва.

— Кому он мешал?

— Он мешал многим. Своим положением, характером: он стал закручивать гайки.

— Это ещё не повод.

— Сейчас убивают за бутылку водки, — махнула рукой Королёва.

Пряхин решил не говорить то, что думает на самом деле. Он понимал, что в таком состоянии она не способна воспринимать сказанное.

— Вы знаете, полёт с ВИП-персоной — особый случай, — мягко сказал он. — Бывало, мы меж собой говорили: полёт с начальством на борту —

это всё равно, что полёт под наркозом. Бывало, сидишь, смотришь на приборы, а в них вместо стрелок видишь важное и часто надушенное, строгое лицо. Попробуй тут, собери стрелки в кучу.

— Какую кучу? — переспросила Королёва.

— Да это я не для вас. Для себя, — вздохнув, ответил Пряхин. — Куча мала, спать не дала. Да!

— Понятно. В переводе на русский, смотришь в книгу, видишь фигу, — Королёва вытерла платком слёзы и спокойным, отстранённым голосом сказала:

— Ребята-охотоведы, которые остались на земле, сказали, что перед тем, как сесть в вертолёт, он нарвал букет подснежников. Хотел меня порадовать. Вот, порадовал.

Пряхин вспомнил, как Кеша Намоконов говорил, что в приёмной Королёва, где всегда толпился народ, губернатор без очереди принимал его — Намоконова.

— Я приносил и показывал ему новые патроны, рассказывал, где обнаружил берлоги и лёжки изюбрей, — хвастал Кеша. “Вот уж действительно: охота пуще неволи”, — думал Пряхин, пытаясь понять и решить для себя, что бы сделал он, очутившись в кабине того вертолёта. А ведь такое могло произойти. Но в дело вмешался случай, и фамилия у того случая была вполне определённой — Дудко.

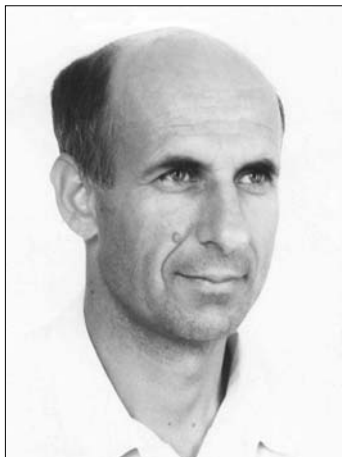
— Что он сделал плохого? — спросила Королёва.

“Ничего плохого он не сделал. Но и хорошего не успел, — подумал Пряхин. — Он прибыл в Нукутск, как на сафари”. Конечно, губернатор пытался вникнуть в дела и заботы края, много ездил, встречался с людьми, но, чтобы адаптироваться, вжиться, нужно было время. К сожалению, судьба ему такой возможности не дала. Ушел сам и вместе с собой забрал ещё троих, хотя первоначально сообщалось о пяти погибших. За пятого пассажира, скорее всего, приняли обгоревшую тушу медведя, которую приехавшие спасатели пытались оттащить в сторону.

Пряхин хотел было повторить Королёвой то, что когда-то говорил на телевидении Анне Шнайдер. Но зачем? Жанна Андреевна слышала это, но ничего не запомнила. К чему помнить то, что произошло с другими? Зачем ей знать и напоминать о том, что говорил и делал генерал Лебедь? Григорий мог бы вспомнить, как на охоте за горными архарами на Алтае погиб ещё один “краснокнижный” охотник из Москвы. Желая угодить ВИП-персоне, командир вертолёта посадил на место второго пилота женщину. Следствием было установлено, что во время стрельбы по баранам вертолёт лопастью зацепил склон. У тех, кто по долгу службы расследовал это происшествие, не нашлось слов в оправдание; экипажем было нарушено всё, что только можно было нарушить.

Но вряд ли Королёва сейчас могла это услышать. Любую боль лечит время. Слова, даже самые правдивые, — слабое лекарство. Что толку звать к глядящим с необъяснимой высоты звёздам, напоминать о нравственном законе, который, по словам Канта и Румпеля, есть и должен быть в каждом из нас. Большая и Малая Медведицы ничего подсказать не могли, но они видели и знают, что было и что будет дальше.

АНАТОЛИЙ ОБЪЕДКОВ



У НАС ОГОНЬ В КРОВИ

* * *

Да, скифы мы...
А. Блок

Мы, выросшие в варварстве своём,
Себя мы в нём достойно узнаём.

Наш путь от Бога. Запад свой исток
Запратал в гуще искажённых строк.

Исток есть мы. Всё остальное — ложь,
Историю не кинешь на правёж...

И вера наша всходит на любви.
Мы — варвары, у нас огонь в крови.

* * *

В лугах — ромашковая грусть,
В лугах — простор певучий.
Я не один сюда вернусь,
Где дремлет солнечная Русь,
Где синева и тучи.

ОБЪЕДКОВ Анатолий Романович родился в 1949 году на Тамбовщине. Автор семи поэтических сборников. Стихи публиковались в еженедельнике "Литературная Россия", в газете "День литературы", журналах "Север", "Невский альманах", "Наш современник", в альманахах "День поэзии", "День русской поэзии". Член Союза писателей России. С 1974 года живет в Великом Новгороде.

Я затерялся вдалеке,
Где хочется взять грабли...
Жизнь не прожить мне налегке,
Коль дали в ситцевом платке
Ромашками пропахли.

Их оттеняет твой загар.
Иконный лик славянки
Рождает к вечеру пожар,
И кажется, что слышен жар
Есенинской тальянки.

Она по-прежнему зовёт
К земле моей родимой.
У родниковых чистых вод
Берёзы водят хоровод
Желанный и любимый.

Испепелится боль и грусть,
Когда под звон певучий
Я не один в луга вернусь,
Где столько льётся светлых чувств,
Где синева и тучи.

* * *

Покрыта мохом капищ береста,
Поляны скрыты грозными лесами.
Целуя лик незримого Христа,
Они ведут беседу с небесами.

Они ещё порой волнуют нас,
В них предков дух витает в тёмных чашах.
Языческий огонь давно погас,
И живы мы лишь верой настоящей.

* * *

Земное и небесное слились
В тебе одной на долгие года,
И распахнулась облачная высь,
Где лик твой вспыхнул ярко, как звезда.

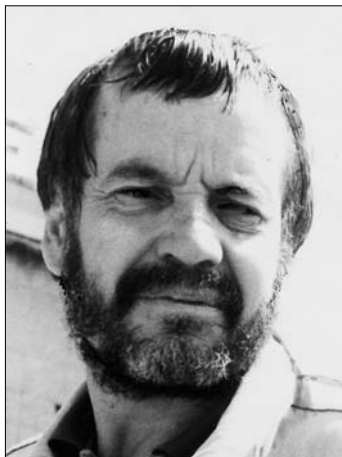
И понял я, что это подан знак
Из отшумевших и забытых дней.
И осветился дальний полумрак,
И растворился в нежности твоей.

* * *

В наших ночах отражаются звёзды,
Нет в них звенящих оков...
Только безмолвно колыхнется воздух,
Словно дыханье веков.

В наших ночах воскресают из пепла
Звуки безбрежной земли,
Где наше чувство возшло и окрепло,
Где мы его сберегли.

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН



СКОТНИК ЕРЕМЕЙ

РАССКАЗ

Памяти Василия Шукшина

Чудом дожил колхоз “Заря Прибайкалья”... власть уже добивала горемычное село, и без того лежащее под святыми лицами... но и “Заря”, избитая, изволоченная, зачахла на обморочном закате усталого века. Обмелели колхозные пашни и покосы в долине Иркутка, заросли травой лебедой, осотом, чертополохом с лиловыми шишками; и стали нивы похожи на мужика, забородавшегося по самые очеса, залохматевшего, почерневшего от паленого спирта; и лишь увеселял взгляд озорной березняк и осинник, стаями кочующий по житным полям. Сдали на убой обредевший скот, и Андриевский Еремей Мардарьевич, потомственный скотник, лишился работы. Виногато погладил унылую буренку... слеза блуждала в седой щетине... и в слезной мгле попрощался со скотным двором, дрожащей ладонью обласкал листовичные прясла ворот, вышарканные до бурого блеска, с присохшей коровьей шерстью. Как чалка сдох, и мужик засох: затосковал Еремей, поминая скотный двор, бывало оглашённый сытым мычанием, поминая и чалого коня: взял степняком, не ведаящим узды, седла и хомута, объездил и лет десять пас телок и бычков.

Эх, было времечко, ела кума семечки... От кумачового рассвета до глухого, дымного заката жизни Еремей обихаживал рогатый скот, и хотя еще

БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич родился в забайкальском селе Сосново-Озёрск. После окончания Иркутского университета работал в областных газетах, преподавал русскую литературу в школах. С начала 90-х годов — преподаватель стилистики и русской этики на филологическом факультете Иркутского госуниверситета. Автор книг “Старый покос” (повесть), “Поздний сын” (повесть), “Боже мой...” (роман), “Яко богию землю нареки” (фольклорно-этнографические, историко-публицистические и художественные очерки), “Русский месяцеслов” (обычаи, обряды, поверия, приметы русского народа). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

не ночь, а синеватые житейские сумерки, хотя еще поработал бы вволюшку... раззудись плечо, размахнись рука... да нет, Ерема, сиди дома или дремли на завалинке, копти небо махрой и гляди: в багровых закатах до слез то склони чернеют скелеты бывших овечьих кошар, ферм, скотных дворов, где сутулыми тенями слоняются мужики, обезумевшие от паленого пойла. Слушай, Ерема, как рыщет, свищет варначий ветер на бывлых пашнях, треплет лихие, сухие травы, словно седые старческие космы; и, словно светлые призраки, лишь Еремею видимые, плывут по ниве миражные виденья, — бывлые комбайны, трактора, стада, отары, табуны... Эх, сплыло времечко, осталось лишь беремячко...

Сидел бы по-стариковски на завалинке, положи зубы на полку, коль пенсию пока не дали, да голод не тетка, погнал в тайгу, где Еремей валил строевой лес на хозяина; да шибко уж мерзко было на душе от пакостного, воровского ремесла, да и лес жалко.

“Эх, что за народ люди?!” — сокрушался Еремей, перво-наперво себя и коря; и если бы его укоризненные думы обрели книжную обличку, то выглядели бы так...

Хотя у Бога и милости много, не как у мужика горюна, и не по страстям и похотям жалостлив Бог, но попустил скорби и печали, ибо, отрекаясь от старого мира, от брехливых попов, люди изувелились в бессмертии души, отвергли Царя Небесного и Царство Небесное, возжелали земного утробного рая без Бога и помазанника Божия. Но, отрекаясь от Вышнего, братолюбивый народ не отрекся от ближнего, не отрекся и от Божиих заповедей, запечатленных в Нагорной проповеди, а посему, в поте лица своего создавая утробный рай даже не себя ради, но ради грядущих потомков, рвал жилы, ломал спины. И уж вроде замаячил “рай”, но избаловался, извередился на родец, даже деревенский, не говоря уж о городском; на Бога не уповая, зажил народец своеумно и своевольно, как савраска без узды, а своя воля — страшнее неволи. Воистину, посельга беспутая: робыли шалай-валяй, через пень-колоду, а с полочки, бывало, гуляли даже в сенокосную страду, когда всякий солнечный денек на вес золота. Лонясь гуляшки, да понес гуляшки, вот и по миру побрели без рубашки... Трудяги, матеря лодырей, из остатних сил держали колхозы и совхозы на матерых плечах, но... тут, изъеденная крысами, рухнула держава и погребла трудяг в камень, пыли и крови.

На Руси кудеса — дыбом волоса: на окровавленных камнях, напялив маскарадные хари, кобели и сучки по-пёсьи лают и соромные песни поют. А то и на церковной паперти собачья сбегишь... Одолели беси святое место... Выросший подле богомольного деда Прокопа, а когда богомольцам дали волю, и сам облаченный во Христа и даже в храме Божиим золотым венцом повенчанный с дояркой Нюшей, Еремей с горечью выписал из божественной книги: “...И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями...”

Попустил Господь: морок печали и скорби укрыл черными тучами васьильковое сельское небо, и счернели, обуглились солноликие подсолнухи... О ту злокозненную пору палёное пойло косило деревенских мужиков, словно курносая со стальной косой на плече, и деревня Шабарша обезлодела, а могилки зловеще разрослись в отрогах степного увала. Скотник Еремей и раньше, не сказать, что запивался, но пил редко да метко: ежели шлея попала под хвост, мог за присест литр осадить, а потом люто хворал, яро проклинал гулянку, и зарекался. Ну, да зарекался блудливая имануха в чужой огород не шастать...

И вдруг на исходе лет Еремей попрощался с зеленым змищем, и... чудно для деревенского скотника... привадился к чтению, отчего бабы сердобольно вздыхали, а мужики, косясь на книгочея, крутили пальцем у виска: мол, у Еремы не все дома, в тайгу ушли. А Еремей... на всякий роток не накинешь платок... плевал на суды и пересуды с пожарной каланчи; и, бывало, выкинет навоз из-под коров, отложит совковую лопату, из внутреннего кармана телогрейки явит на белый свет Библию и читает. Книжечку с ладонь, похожую на резной ковчежец, книгочей разорил и купил в свечной

лавке Ильинского храма, куда за пять верст похаживал на Всенощное бдение и заутреню.

Почитывал Еремей Святое Писание, а безбожные книги, кои, помнится, в школе проходили, в руки не брал, чурался, — страшился искуса, как и царь Давид: “Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе... но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и ночь...”

* * *

На закате лет забывалось ближнее, но чаще и чище, отраднее виделось дальнее или воображалось, ибо о ту пору еще пешком бродил под столом. Злым и тоскливым, волчьим воем выла крещенская метель, грызла венцы, зелеными зрочками пучилась в заросшие куржаком окошки, ведьмой плакала в трубе, но благодатью, покоем дышала жаркая русская печь. Лютые крещенские морозы загоняли домочадцев в избу: отроче млада полеживали на печи, а мать Еремы, пряха смолоду, сидя на изножье пряслицы, тянула нить из кудели, словно из белесого облака, мотала нить на юркое веретено; отец, вековечный пастух и скотник, посиживая на низкой лавочке, под ласковым печным боком, чинил хомуты и сбруи и, до слез умиляясь, слушал, как набожный дед Проккоп, привязав к ушам круглые очёчки, придвинув мерцающий жирник-светильник, степенно читал Четы-минеи* о житие-бытие святых угодничков. Бывший древлевер, потом единоввер, скудный книгочей, коего в церковно-приходском учении азы, буки, веди страшили, яко медведи, тихой поступью, бережной ощупью, по слогам одолевал дед Проккоп божественные глаголы про пустынников, скитских постников и молитвенников, вечевых юродов, страсотерщев, а по весне поведал и о пророке Иеремии**. Из дедова бормотания Ерема уразумел лишь то, что Иеремия, словно бык впряженный в соху, ходил с ярмом на шее; но, зажив за полвека, Еремей самолично прочел житие страсотерща, и даже красного словца ради выписал в заветный свиток из святого Иеремии: “Сие глаголет Господь: Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром; а вы вошли и осквернили землю Мою, и достояние Мое сделали мерзостью... Раб Мой и домочадец, как резвая верблюдица, как дикая ослица, рыщущая в пустыне, в страсти души своей глотающая воздух, сказал: не надейся, нет! ибо люблю я чужих и буду ходить путями их... И вот за то, что они поступают по упорству злого сердца своего, Я приведу на них с севера бедствие и великую гибель...”

В память о святом Иеремии по святцам и с молчаливого родительского согласия богомольный дед Проккоп, самочинно окрестив, нарек отроче млада Еремеем; и чаду с ветхозаветным именем вроде ничего не осталось, как, заматерев, сунуть шею в ярмо скотника...

Коли пророк Иеремия бродил с бычьим ярмом на вые, зримо запечатлев безбожным евреям грядущий полон и рабство, коли память святого юрода пала на зачин вешней страды... пора паялить на быков ярмо, запрягать тягловую скотину и сеять жито... то мужики повеличали первое мая по старому стилю — Еремей-запрягальник, Ярёмник, проще говоря. И может, не случайно, и власть, хотя и безбожная, а всё же народная, день Еремея-запрягальника намалевала в численнике красным цветом: мол, гуляй, подъярёмный труженик серпа и молота.

Еремей явился на белый свет в месяц травень-цветень, когда деревенские мужики и бабы с хмельной и тихой радостью, с молитвенным упоени-

* Минеи-четы (греч., слав. “ежемесячные чтения”) — сборники житий святых.

** Святой пророк Иеремия (VI в. До Рождества Христова) — пророчествовал в Израиле, обличая иудеев за отступление от Истинного Бога и поклонение идолам, предрекая евреям бедствия и опустошительную войну. По повелению Божию Иеремия надел на шею вначале ярмо деревянное, потом железное и так ходил среди народа, изображая иудеям рабство царю вавилонскому. За пророчества, которые предрекали евреям, богоборцам и богоотступникам, кары Господни, был убит иудеями.

ем, всем сердцем чуяли, сколь щедра и красовита, сколь обласкана Богом Русская Земля, будто воистину в месяц травник, в пору юных зеленей и робких цветов, среди вешнего половодья древний сказитель воскликнул о земле российской: “О, светло светлая и украсно украшена, Земля Руськая!.. Все-го еси исполнена Земля Руськая, о правоверная вера христианская!”

В честь рождения Еремея полыхало зелеными таежное и степное Прибайкалье; девыми щеками зардеел сиреневый багул на таежных солнопечных угорах; зацвела черемуха и боярка в поймах рек, и жор напал на карасей, коих мужики гребли и бродниками*, и сетями, и удами. Хвалили старики май: травень леса наряжает, лето в гости поджидает; явился май — под кустом рай; радовались конюхи и скотники: май — коню сена дай, положи вилы на сарай, а сам на печь полезай. Лишь коню и нужен навильник сена, а коровы и овцы на вольном выпасе прокормятся. Хотя деревенские темноверы сокрушались: мол, родился в мае — век промаешься, в мае женишься, от венца добра не жди. Еремей же, уроженец мая, и женился в мае на доярке Нюше Житовой, и лишь под старость познал маету, когда овдовел, когда и деревня овдовела, осиротела, запустела.

Помнится, дед Прокоп говаривал, глядя мутными, слезливыми глазами в сельскую старь: де, к Еремею-запрягальнику мужики чинят плуги, бороны, телеги, дути, сбруи, хомуты, а бабы и девки ткут из конского волоса личины — сетки от мошки и комаров и прочего летучего гнуса. Ждут мужики, когда земля прогреется; смышленные, расторопные навещают поля и, преклонив колена, кладут обе руки на пашню, гадают: тепла ли мать сыра земля?.. А то пошлют старика, хлебороба вековечного, и старче, дабы проверить, поспела ли земля для сева, прогрелась ли, скидывает порты и садится на пашню, яко насадка цыплят выводить. Дед Прокоп поминал: “На Еремея погоже, то и уборка хлеба пригожа... На Еремею-запрягальника и ленивая соха выезжала в поле. Да... Одни мужики, бывалочи, пашут пары, другие под пашню вздымают залежи — отдохнула заморенная земля, иные орут залого — у тайги отвоевали пашню. В мае же, паря, начинают сеять яровые... Перед севом мужики на заутрене в церкви молились — душу очищали; а глядя на ночь в бане парились — плоть омывали, хворь из костей изгоняли; и с бабой не спали — упаси Бог... Но жили, не тужили... А в поле, снявши шапку, молились на солноуход: “Батюшка Илья, благослови семена в землю бросати. Напой мать сыру землю студенкой росой, дабы несла пашня зерно, вскольхала зерно, возвратила зерно щедрым колосом...” Плох овес — наглотаешься, паря, слез; не уродится рожь — по миру пойдешь, а безо ржи, паря, жеребцом ржи...”

* * *

Науськанные лукавыми мудрецами мира сего, галдели пустозвоны: перестройка!.. перестройка!.. порушим былое и заживем, как за бугром, а там народец как сыр в масле катается. Поверили... ждали обоза... дождался навоза. Спихватившись, начальство кто за гриву, кто за хвост растащило весь колхоз; дурнопыяным бурьяном заросли пашни, где пахотные мужики с Еремею-запрягальника сеяли жито; лишилась деревня и скота, и обредело полесное поселье; иные, опившись паленой сивухи, заселили могильный угор, иные укочевали в губернские города и живые села, лишь приросло к подворьям старичье, а мужичье либо глухо спивалось, перебиваясь случайными калымами, либо, неисповедимо обзаведясь скотом, инвентарём, пахало от зари до зари, абы выжить да ребятишек выкормить, выучить. Отчаянные, подрядившись у барыг, кинулись пластать тайгу, — валить строевой лес, трелевать, возить на нижний склад; и... застучали колеса по рельсам, погнали сибирскую тайгу в страну восходящего желтого солнца, а барыши мимо государевой казны с золотым, зловещим звоном посыпались в сусеки мироедов.

Слава Те, Господи, отец Еремея, Мардарий Прокопьевич, раненный, контуженный да и умалишенный, не узел мерзости опустошения... Иисус

* Бродник, бредень — короткий невод.

Милостивый лишил старика дольнего ума и, может, одарил горним... не видел вековечный пастух и скотник... сердце бы лопнуло... как супостаты, искусив художий народец, полонили и разорили русскую землю. Схоронив богоданную, что надорвалась в войну на лесозаготовках, Мардарий Проконьевич коротал век подле Еремея... иные сыны и дочери рано упокоились либо разбрелись по земле... но жить в избе старик не пожелал, а ради молитвенного уединения заочевал в тепляк*. Истово молился, страшась воздушных мытарств, когда ангел-хранитель поведет грешную душу по лестнице на небеси, а тут налетят чернокрылые ангелы, заграят, закаркают, лихо зашипят: “Греш-шник!.. греш-шник, наш...” и повлекут в тартары, и оборонят ли белокрылые ангелы...

Нюша кормила, поила, обихаживала старого Мардария, а Еремей беседовал; вернее, старик пытал, сын отвечал. Раненько, зажив лишь за восемьдесят, отец оскудел земным разумом, потерял память; но странно, забыв ближнее, ясно и живо зрел дальнее, довоенное и доколхозное, когда Прокон Андриевский и сын его Мардарий пасли пять коров, восемь телок и бычков, трех коней и дюжину овец, а после Покрова Божией Матери, когда выставлялся снежный наст, креп санный путь, промышляли ямщиной. А ныне Мардарий, остаревший, выживший из ума, вопрошал Еремея, когда тот заворачивал в отеческий тепляк: “Ты коней-то, сына, напоил?..” — “Напоил, тятя, напоил...” — “А коровам сенца кинул?..” — “Кинул, тятя, кинул...” — послушно отвечал Еремей, хотя из живности бродил по усадьбе лишь лохматый сибирский кот да вяло брехал одряхлевший пес. “Гляди, сына, в оба: Зорька стельная, со дня на день отелится; не заморозить бы телка...” Для интереса Еремей другой раз перечил: “Кого стельная? Зорька же нонче ялова...” — “Ты меня не путай, баламут. У меня чо, шарабан совсем не варит?! Я же сам Зорьку к быку водил...” — “Дак ты, батя, не Зорьку, ты Красулю водил...” Так и судачили сын с отцом...

Погрѐб Еремей тятю, затем сына винопивца, что однажды дозелена упился паленой водки, а год назад и жену, Богом данную, и, вдовый, безработный, удумал кочевать в Иркутск, где в Знаменском предместье бобыльничала старшая сестра, которая и сомущала в город.

В канун кочевья собрался на могилки, где утихомирился сын, от безбоя, безробья и тоски запивший, да так во хмелю и загнувший, где упокоился и прах сердобольной Нюши. Еремей волочился на могилки, устало шаркая подошвами; шел прощаться, просить совета у Нюши: кочевать или век в Шабарше доживать. Брел по улице, пустынной, добела опаленной августовским зноем, тоскливо озирал гнилые, черные избы, утаенные в сырых и заплесневелых сумерках черемухи и боярки, высматривая выбитые глазницы окон, выломанные двери. Словно слепцы-христорадники очутились посреди степи без поводыря, затагнули кручинную старину, и ветер, по-волчьи подывая, треплет лохмотья, укрывающие иссохшую, костистую плоть. Угрюмо дыбились и добротные пятистенки, рубленные из матерого леса да, как повелось в притрактowych деревнях и селах, крытые на четыре ската матерым тѐсом. Кулацкие хоромины, счерневшие, словно облаченные в предсмертные, монашеские рясы, с мрачной горделивостью, не падая ниц пред супостатами, молчаливо и стратотерпно глядели в небеса крестообразно заколоченными ставнями. Иные усадьбы уже смела лихая судьба черным, дымным хвостом; рассеялся дым, осел пепел, и вместо изб, амбаров и бань ныне чащобный березняк и осинник.

Чахла лесостепная деревенька Шабарша, вытянутая в поредевшую избам, притрактovou улицу, похожую на обезумевший и обеззубевший, провалившийся старческий рот, обметанный сухой ковылью, где вольно гулял и ночами разбойно свистел гулевой ветер, бухал ставнями, взвизгивал капитками.

Глухо в закатной деревушке; лишь подле речушки Шабарши, что тихонько шабаршила среди буйно зеленой осоки и лохматой кочкары, Еремей

* Тепляк — теплый флигель в деревенской усадьбе, где варили корм коровам, свиньям, а иногда в тепляках доживали век старики либо, наоборот, заселялись молодожены, которые пока еще не срубили избу.

встретил Настасью, костистую, жилистую бабу, что по-соседски подсобляла горемычному вдовцу по-хозяйству и, сама давно уж овдовевшая, в душевном потае, похоже, метила в хозяйки. Но Еремей, и тоскующий по жене, и палимый виной перед покоенкой, чтит Настасью лишь как пособницу да сестру во Христе, дружески склоняя ее ко святому крещению и тоже подсобляя, если в усадьбе нужна была мужичья рука. Настасья черпала воду во флягу, умощенную в детскую коляску без кузова, и при виде Еремея заговорила было, но сосед лишь кивнул головой; о чем толковать, коль с утра перетолковали?! сулилась присматривать за домом.

А подле магазина Еремей рысью обогнул родича... дальний, седьмая вода на киселе... который раньше пахал без продыху, а ныне пьет не просыху; миновал торопливо, иначе взаимы попросит, и, как обычно, без отдачи: дай мне, а возьми на пне. Проморгал родич Еремея; спорил с козлом по прозвищу Борька, которого винопивцы привадили жевать окурки и, злобясь на Президента, величали иной раз Николаичем, прости, Господи, пьяным безумцам, не ведали, что творили. Еще вчера рослый и русокудрый, ныне счерневший, оплывший, до срока оплешивевший да и завшивевший, родич шатко сидел на магазинском крыльце и, глядя мутными, заиленными глазами, вопрошал козла, повинно опустившего рогатую башку:

— Эх, Борька, Борька, сука ты лагерная, обычай у тя бычий, а ум телячий... Ты чо, пахан, решил народ голодом уморить?! Коровью бурду лопают... Кого, кого?.. чо?.. чо говоришь?.. Чья бы корова мычала, твоя бы молчала... Сам-то, сука, коньяк хлещешь... пять звездочек, а мы катанку, паленку*... Кого?.. Не ври, сучара!.. Кто врет, тому бобра в рот... Видали мы тебя в гробу в белых тапках...

“Пропал мужик, — обернувшись на ходу, посетовал Еремей. — А был механизатор широкого профиля; губерния гордилась, грамот полон комод и две медали; а как рухнула держава, рухнул и мужик. По первости хоть заглядывал в рюмку, но, бывало, и калымил на лесоповале, трелевал лес на тракторе; а ныне каждый день да через день пьяный в дымину. Пропил мозги, коли со козлом скандалит. Да чудится, видно, что Борька ему еще и отвечает...”

За порушенной поскотиной... жерди мужики растащили на дрова... среди бодыльника бродила жалкая дюжина коров... а вроде еще вчера Еремей пас стадо... и в небе, что добела выгорело на пальцем августовском солнце, одиноко и сиротливо кружил ястреб-куроцап.

На могилках, кои слезливо и понуро разбрелись по степному увалу, Еремей зауспокойной мольбой помянул спящих родичей, а перво-наперво отца Мардария Прокопьевича, потом деда Прокопа, бабу Настасью и горемычного сына, сгоревшего от паленой водки... “Эх!.. — Еремей покаянно закрипел зубами, заплакал, поминая сыновей, — надо бы рóстить не всё лаской, а ино и таской: старший бы не пил, младший бы по белу свету не блудил. В люди бы вышли... Старики же говорили: толк-то есть, да не втолокон весь. Ремнем-то и втолкал бы через задние ворота... Брать бы сосновую орясину, чем ворота подпирают и варнаков угощают, и выхаживать через день да каждый день. Ноне бы руки целовали... Мужик умён, пить волён, мужик глуп — пропьет и тулуп. Вот и мой... Царствие ему Небесное... — вина вновь опалила Еремееву душу. — Слава Богу хоть окрестился...”

А вот и Ньюшина ограда, словно женой и крашенная васильковым цветом... Еремей виновато уложил на могильный бугорок голубоватые и белые ромашки, со вздохом вспомнил, что сроду не дарил Ньюше цветы, сроду не пел в ее уши о любви, — стеснялся, пень горелый, а Ньюша любила ромашки... Издалека, из юности, тихо доплыла песня: “Если б гармошка умела всё говорить, не тая... Русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя?..”

“Да-а, где ж ты, ромашка моя?..” — Еремей тяжело вздохнул, вгляделся в морщинистый, пепельный крест, в замытую дождями, хоть и застекленную, туманную карточку, и накатила рябь в глаза, и лицо Ньюши поплыло,

* Катанка, паленка — контрабандный (паленый) спирт низкого качества.

стало далеким-далеким, заоблачным, бесплотным. Но лишь отвел взгляд от креста, увидел Ньюшу живой: крепко сбита, но махоня, Бог росту не дал и красы бабьей, да колы отпахнутые глаза лучились любовию, а с бугристых губ не сходила странная виноватая, смиренная, ласковая улыбка, с чем и почила, то на Еремееву жену соседи, бывало, налюбоваться не могли. А что уж говорить о муже... Правда, сырая уродилась, слезливая: ладно бы в горе, а то, бывало, и в застолье радостном люди поют и пляшут, а Ньюша улыбается и слезами уливается...

Еремей трижды перекрестился на солновсход и, давно уж вызубривший молитвы, промолвил зауспокойную:

— Помяни, Господи, душу усопшей рабы Твоя Анна, и прости вся согрешения вольная и невольная, даруй ей Царствие Небесное и причастие вечных Твоих благих и Твоя бесконечная и блаженная жизни наслаждения...

Молитвенно помянув жену, пал на колени, сунулся лбом в щетинистый, могильный бугорок и, давась слезами, глухо зашептал:

— Прости, Ньюша... прости, Христа ради... Настродалась ты, Ньюша, подле меня... ох, настродалась, прости мя, Господи... — Еремей осенился крестом и покаянно вжался лбом в сырой могильный бугорок, словно надеясь услышать прощение из земного чрева. — Прости, и попилвал, бывалочи, и гулял... очухался, дак и жизнь за увалом... Наплакалась, Ньюша, прости меня грешного...

И вдруг Ньюшин голос почудился, но не тяжкий, из могильной глубины, а ветерком спорхнул с облака, плывущего в синеве, колыхнул чахлую листву кладбищенской березки:

— Бог простит, Ерема, а я не вино тебя... Без стыда рожки не износишь, без греха век не изживешь... Един Бог, Ерема, без греха... А слезы мои... слезы — роса: ночью пала, а утром солнышко слизало. Да лишнего-то не присбирывай... А год лежнем лежала, дядя за мной ухаживал?! мыл, горшки выносил, кормил и поил?! А ты и скотом не попускался...

Помолчав, собравшись с мыслями, Еремей поведал нынешнюю беду и просил благословить на кочевье:

— Надумал я, Ньюша, кочевать в Иркутское... к сеструхе. Тяжко в деревне, один же как перст... — помянулась дочь, что мотается по белу свету за мужем офицером; помянулись и сыны: один в деревне угорел от паленой сивухи, другой на Тихом океане болтается, как навоз в проруби, вроде треску и селедку из океана гребет совковой лопатой да шлет изредка весточки: мол, жив-здоров, лежу в больнице, с переломом поясницы, но скоро гряну с долгими деньжищами, и, однако, уж пятый год грядет. Ньюша, бывало, в печали родительского сердца молилась преподобному Сергию Радонежскому и великомученику Евстафию Плакиде за чад, безвестно летающих по белу свету; а за сына, палимого вином, денно и ночью Иисусу Сладчайшему: де, умоляю Тя пощадить мое чадо и избавить сына от пьянства греховного; истреби зависимость мерзкую и навлеки на сына волю дерзкую. Пусть к питью он не притронется, и тяга его успокоится... Но опоздала заздравная молитва, зауспокойной пришел черед...

— Лихо мне в деревне, Ньюша, глаза б не глядели, как деревня загибается... А в Иркутском, Ньюша, хоть душа родная — сеструха... Зовет... Тоже одна кукует... Говорит, в Иркутском и пенсию оформишь... Ничо меня в Шабарше не держит, Ньюша; а вот как с тобой расстаться?..

— Езжай, Ерема, с Богом. С родной душой и доживешь век. Вот и будете на пару домовничать... А добрая баба подвернется, дак и женись, не монах же. Вон и Настасья одна горе мыкает... О могилке не печалься, в могилке — прах, а в город укочуешь, сходи в церкву, поставь свечку на помин души рабы Божьей Анны да помолись о многогрешной...

— Помолю-юсь... чего не помолиться? Да вот беда, услышит ли Бог... во грехах, как в шелках... Писание-то почитываю, а... чо уж греха таить... лоб перекрестить забываю. Да... Помолось, конечно... помолось, Ньюша, и ты молись за меня, грешного...

— Молось...

Еремей хотел бы молвить ходовое, могильное: мол, “пухом тебе земля”, но смекнул, что костям безразлично: земля — пух, камень, корень, песок, суглинок, а вот душе... а посему повторил заупокойную мольбу:

— Упокой, Господи, душу усопшей рабы Божией Анны, и прости ей вся согрешения вольная и невольная, и даруй ей Царствие Небесное...

“Даровал, поди; недаром батюшка и отпел на святую Анну-пророчицу... Ежели Нюше рай не даровать, дак кому тогда?! И Богу молилась, и билась, как рыба об лед, всем пособить норовила; никого не осудила... и сроду худого не помыслила. Век прожила, на чужом дворе щепки не подобрала... Крутилась, как берёста на огне: и на дойку поспеть, и свою скотину обрядить, и домочадцев накормить...”

Вернувшись с могилки, словно во сне, неприкаянно бродил по усадьбе, глядел сквозь слезный туман, и везде — в коровьей, куричьей, овечьей стайках, в амбаре, на сеновале, в сенях и избе, — везде виделась Нюша: плечом к плечу городили, обихаживали подворье, что досталось от деда Прокопа. Старик... а тогда еще маслатый мужик... срубил избу, стайки, амбары и баню не в лапу, как привадились иные плотники, а по старинке в охряп, когда, высунувшись из угла, венцы светятся, словно череда солнц. Даже баня... опять же от деда Прокопа, Еремей поменял лишь нижние венцы и полы... даже баня, как встарь, топилась по-черному, дым валил через волоковое окошко. Не рушил Еремей заведенной стариком подворной облички, и когда верей, на коих висели тесовые ворота, подгнили у земли, вкопал свежие листвяничные столбы, а заодно поменял и тес на воротах и на двухскатной крыше. Потом обновил свежим лесом и бревенчатый заплот. А сколь в завозне выжило дедова инвентаря, начиная от стожней, длинных трезубых вил для метания сена в зароды и кончая кожемялкой.

Сглупа Еремей пытался продать усадьбу, но даже по дешевке никто не брал, коль и брошенные гнили под дождем-сеногноем. “Оно и ладно: может, не заживусь в Иркутском, прибегу в Шабаршу, — подумал Еремей. — На всё воля Божия...”

По доброму-то погодить бы до бабьего лета, выкопать картошку, моркошку, свеклу, сыпать в подпол, но не лежала душа, всё валилось из рук, и мужик попустился; огородину на корню отдал соседке, — сгодится: через три дома от Еремея жила Настасьина невестка, безработная, овдовевшая, с тремя чадами мал мала меньше. Муж, тридцатилетний Настасьин сын, по первости горбатился на воровском лесоповале, и крох, что хозяин кидал с барского стола, едва хватало семью прокормить, а надо и голь прикрыть; благо, мать подсобляла, выкраивала из пенсии на внуков, благо, корову, бычка да кур держали, а то хоть по миру бреди с холщевой побирушкой-помирушкой. Если при народной власти сельские, а ино и городские, прыткие мужики мотались за длинным рублем на севера и великие стройки, то сын соседки, отчаявшись, завербовался на кавказскую войну, где и сложил буйную головушку; да так сложил, что и отыскать не могли; друзья-однополчане нашли лишь обезглавленное тело. Мать от горя почернела; а невестка все глаза выплакала...

Еремею собраться — подпоясаться; укутал в наволочки дедовы иконы и семейные карточки, набитые в узорчатую раму, лобзиком самолично выпиленную из фанеры, потом собрал скудные пожитки в заплечный сидор и чемодан, повесил на сенные двери ржавый амбарный замок без ключа, земно поклонился родному подворью, в заветном укроме души чая вернуться, и тронулся с Богом.

* * *

Поселился у сестры; слава Богу у вековой бобылки водилась за душой двухкомнатная квартирешка в древнем бараке Знаменского предместья, затаенном в тополевой чаще. Ветхое жильё, сырое, зябкое, но век доживать можно; да и грех жаловаться — с крушением страны столь народу обездомело.

По приезде огляделся, прописался, вспомнил, что пора пенсию выхаживать, и рванул в собес... так по старинке звал Еремей пенсионный фонд...

и подивило мужика: пенсишкы — грошовые... хлеба купишь, на чай занимай... а собес — роскошный дворец, похожий на муравейник с гору; задержишь башку, чтобы крышу узреть, фуражка падает; а в муравейнике мельтешат чинуши мурашами, бумагами шелестят, перьями скрипят, меж собой судачат на тарабарном говоре, где изредка мелькают словеса русские.

Долго потомственный скотник выхаживал пенсию; пластался по собесу, как савраска без узды; в муравейнике то выходной, то проходной... поцелуй пробой и вали домой... да еще на кого нарвешься. Еремей и нарвался на пучеглазую, дебелую деву, маскарадно крашенную, со взъерошенной копной белесых волос; про эдакие прически в деревне говаривали: “Не одна я в поле кувыркалась...” да приговаривали: “Щеки свекольно наподадила, глаза насурьмила, — черные да узкие, как у дикой тунгуски, корольки на шею надевала в три нитки, и пошла трясти подолом, мужиков сомущать...”

Топорно рубленный в охряп, скуластый, в черном, коробистом пиджаке, на лацкане которого алел знак “Ударник коммунистического труда”, Еремей стеснительно мялся с ноги на ногу подле стола, тряскими руками скручивал в жгут фуражку с долгим, похожим на клов, жестким кондырем. Мысленно бранил себя: “От чучело замшало, от чухонь, и кого начепурился?! Еще и фурагу американскую напялил; смешно смотреть, сидит на башке, как седелка на корове...”

Похожая на сову, дива пучеглазая вальяжно посиживала, растекшись крупом на вертлявом стуле, и, не глядя на мужика, кроваво крашенными коготками скребла бумажную гору, лениво листала бумаги. Над ее лохмами в бурой, слизистой раме висел кичливый, горделивый Президент, вылитый тать придорожный, атаман разбойный. Еремею почудилось: глаза Президента, как у быка необлегченного, вспучены хмельной удалью; и отчаянные, мутные думы забродили в Еремеевой голове; но если, обличая варнака придорожного, поведать мысли книжным слогом, думы горемычного простеца обрели бы эдакую обличку...

С упованием на чудо, с надеждой на грядущего отца народа, и выживало бабье и мужичье, а то и просвета в ночи не зрело. Под чужебесный шабаш кремлевской нежити, что за тридцать сребреников продали Русь, под звериное рыканье кабацкого ярыги — кремлевского самозванца-самохвала, — холопы тьмы и смерти похабили и грабили Россию, уже лежащую на смертном одре под святыми ликами; хитили тати российское добро, что отичи и дедичи кровью и потом добывали, а ддя содомской утехи и потехи изгалялись, нетопыри, над русским словом, древним обычаем и отеческим обрядом, чтобы народ и голодом-холодом уморить, и душу народную вынуть и сгноить. О ту злочастную пору смешно и грешно было бы стучаться в кремлевские ворота с горестями; се походило бы на то, как если бы мужики из оккупированной Смоленщины и Белгородчины били челом германскому наместнику, лепили в глаза правду-матку и просом просили заступиться: мол, *батюшка-свет, наше житье — вставши и за вытье, босота-нагота, стужа и нужа; псари твои денно и ношно батогами бьют, плакать не дают; а и душу вынают: веру православную хулят, святое порочат, обычай бесчестят, ибо восхотели, чтобы всякий дом — то содом, всякий двор — то гомор, всякая улица — блудница; эдакое горе мыкаем, а посему ты уж, батюшка-свет, укроти лихомцев да заступись за нас, грешных, не дай сгинуть в голоде-холоде, без поста и креста, без Бога и царя...* Пожалел бы чужеверный правитель горемышное русское народишко, как пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву: ухмыльнулся бы в рыжие арийские усы и подпалил сигарету от горящей челобитной.

Еремей тут же покался в душе, что всяко высрамил Президента; все мы — день во грехах, ночь во слезах, да и речено же в Писании: не судите, ногами не топчите, а то и сами в лоб схлопочите.

С горем пополам крашеная дива вырyla Еремеевы бумаги, которые он давненько уже высучил собесу, и стала заполнять бланк.

— Ере...мей... Мар...дар...евич... — диве почудилось имя смешным, а отчество еще потешнее, и она едва сдержала смех, распирающий пышные щеки. — Еремей Мардаревич?.. верно?

- Верно...
- Вначале “мар” или “мор”?
- Мар... Не от “морды”, от “мар” и “дар”...

Вспомнился колхозный ветфельдшер Яша Ягодицын, — конский врач по женским болезням, как величал себя во хмелю, — лысоватый, узенький, сутливый мужичок с ноготок, который, знакомясь в застольях, протягивал сухонькую, нервную руку: “Ягодицын — не от ягодицы, от ягоды...”

С фамилией у Еремея ладно — Андриевский, а вот с именем, а тем паче с отчеством, ох, не подфартило... Боговерущий дед Прокоп, начитавшись житийных сказов, одарил внука эдаким имечком, от коего Еремушка наплакался в школьном отрочестве, — потешались сверстники, дразнили: “Ерёма-дрёма, сиди дома, вокруг дома бродит бома*...” Бывало, впорхнет Еремушка в избу, размазывая слезы по щекам, пожалуется деду Прокопу, а дед утешает, поучает: мол, дразнят, а ты им: не ставь кулему на Ерему, сам попадешь... Сплошь Владимиры в память об Ильиче, повально Юрии в честь парня, что занебесной тропой обошел землю, а тут Ерёма... дрёма; отчество же и того хлеще — Мардарьевич. И угораздило же отича родиться по святцам в день памяти святого Мардария... Отроком Ерема подслушал, как хмельной отец жалобно пытал дада Прокопа: “Отец, а отец!.. ты пошто меня Мардарием назвал?” “По святцам, сына, по святцам... — дед Прокоп кивал по-птичьи махонькой, белопушистой головушкой. — Ты же, сына, родился в память святого Мардария, Киево-печерского рачителя нищеты...” — “А получше-то имя не нашлось?.. Чо, в святцах один Мардарий был?.. Видел я в святцах и Сашу, и Вову, и Колово, и Женю... Ты пошто, отец, мне страшное имя-то дал?..” Дед хитро и ласково глянул на сына: “А для смирения, сынок...”

Хотя Еремей на своем веку встречал имена и похлеще, навеянные волчьими ветрами: в деревне померла древняя Изаида* Ивановна, избачка, так в досюльные лета звали библиотекарей в избе-читальне; колхозом одно время правил Мэлс*** Исакович, а на районном слете доярок, пастухов и скотников... запомнилось же... вручала похвальные грамоты секретарь райкома партии Даздрасмыгда**** Ибрагимовна Мухутдинова.

— Год рождения? — спросила дива, глядя в бланк сквозь синие ресницы.

— Сорок первый.

— Место рождения: деревня Ша-бар-ша... — дива опять ухмыльнулась.

Еремею хотелось тихо и зловеще попросить: “А вот этих ухмылочек не надо, а то мы тоже можем...”, но что мы можем, мужик не ведал, а посему лишь кивнул головой и далее отвечал послушно; лишь споткнулся, замешкался, когда дива пыталась насчет образования.

— Образование?

— Образование! — дива раздражалась.

— ШРМ...

— Это что, колледж?..

— Школа рабочей молодежи! — отчеканил закипающий скотник.

— ШРМ... — крашенная дива не удержалась, рассмеялась: похоже от созвучия, соцветия ШРМ с “шарашкой” и “шарамыгой”.

Еремей, отроду комолый — так в деревне звали безрогих быков и смиренных мужиков, что муху не обидят, нынче, словной блажной, психанул и, катая желваки под скулами, про себя зловеще упредил: “Смотри, телка, не лопни!..”

— Кем работали последние годы.

— Скотником.

— Профессия такая? — опять ухмыльнулась дива.

— Профессия... за коровами говно убирать...

— Вы как разговариваете?! — вспыхнула дива. — Вам здесь что, скотный двор?!

* Бома — одно из многочисленных имён чёрта.

** Изаида — иди за Ильичем, детка.

*** Мэлс — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин.

**** Даздрасмыгда — от сокращения лозунга “Да здравствует смычка города и деревни”.

— А чо ты мне, халда, дурацкие вопросы задаешь?! И хайло распазила... Не с той ноги встала?..

Еремей не глядел на диву, а вроде лаялся с Президентом, холодно и презрительно глядящим на скотника из глубокой и грузной, резной рамы, словно из лакированного гроба. И вроде стыло усмехается, пуская мимо ушей Еремееву брань: собака лает, ветер носит, караван бредет...

Дива презрительно глянула на потомственного скотника и, грозно молотя копытами, ускакала из кабинета. Еремей подивился: и как она, дура, ходит на эдаких высоченных каблуках, словно на скоморошых ходулях?! лодыжки же вывернешь, упадешь, убьешься... Не успел Еремей додумать горестную думу, как дива и ворвалась с начальником, таким же стильным, молодым, хотя и с брюшком, начальственно нависающим над брючным ремнем. Оглядел Еремей начальника, глянул на размалеванную красу, и мужичье чутье подсказало: блудят исподтишка...

— Вы почему грубите?! — начальник со свинцовой тяжестью уставился на Еремея сквозь толстые очки.

— А кого она смеется?! Прекраса, кобыла савраса... Чо смешного? ШРМ да ШРМ... Я с четырнадцати лет пошел в колхоз чертомелить, из-под коров навоз выгребать. Отец хворал... раненный с войны пришел, и мать хворая... Вот и доучивался в ШРМ...

— Мужик, нам до фени твое гребаное ШРМ!.. ты, хамло, извинись перед сотрудницей!.. — по-рачы пуча зенки под очками, багровея опухшим лицом, начальник пёр брюхом на мужика, дива заполошно кудахтала, словно кура, кою петух оттоптал, но Еремей уже худо слышал, худо видел: уши забило сенной трухой, глаза заволокло жарким туманом, и привиделось во мгле: вроде парень — бульдог с тупым рылом — бежал, бежал, хрясь об столб, и харя плоская, и глаза налиты кровью, а дива — долгая такса, и не люди, а псы лают на него, потомственного скотника.

Еремея затрясло, как в родимчике; потомственный скотник, обходя взглядом начальника, глядел на портрет и бранился с Президентом.

— Ты норки-то не раздувай, не раздувай, не боюсь, — это звучало молитвенно: де, "...страха вашего не убоимся, ниже смутимся: яко с нами Бог...". — И на арапа не бери, глотку-то не рви, глаза не пучь... Ты чо, думаш, я пыльным мешком из-за угла пуганный?! Не на того нарвался; на Руси не все караси, есть и ерши... Страну разворовали, сволочи... Да вам!.. — Еремей обреченно махнул рукой на Президента, — вам хоть напшой в глаза, всё Божья роса!..

Как пробка вылетел из собеса, пал на садовую лавку под корявым тополем, и когда дрожь унялась, гнев утихомирился, горестно сплонул в ржавую траву: "Тьфу! и поче, балда, облаял мужика и девуку?! От язык, а!.. прежде ума рыщет, беды ищет..." А тут еще и голос Ньюши померещился: "Эх, Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил веретёна... Кого ты на них накинулся, будто пес щепной?! А дед Прокоп, помню, говорил: злое слово и добрых обращает в злых, а доброе слово и злых обращает в добрых..."

В Еремеевых глазах потихоньку разъяснело, словно ветер-верховик угнал стадо серых туч, и в стыло синих небесах привиделось: мужик молодой, а весь оплыл, мамон, как у бабы на сносях, лицо одутловатое, багровое, — однако, паря, не заживется на белом свете. До слёз стало жалко мужика: палит душу, гневливый, горделивый, надсаживает тело, — любит крепко вышить, закусьить, чревогодник. Пузо лопнет — наплевать, под рубахой не видать... Не долго протянет, бедолага... И дева приблизилась: пустоцвет, махом отцветет, опадут лепестки в осеннюю лужу, где кочуют облака, обнажится жалкий пестик, и рванет октябрьский ветер-листодер, сломит хилый стебель... — словом, женатый мужик... в поле ветер, в штанах дым... с коим жила в блюде, бросит ее, увядшую, бесплодную... грязно выдавила плод, сгубила душу ангельскую... и запьет, и запоет лазаря обесположенная бабонька, и озлобится, да следом за мужиком и улетит в тартары...

Выветрилась обида, и томительная жаль стиснула душу, словно сам и породил парня с девкой; и так стало жалко горемычных, что, преодолев сомнения, робость, Еремей вернулся в кабинет, где, как и ожидал, застал

начальника и подопечную. Сидят и, поди, его мужичьи кости перемывают... Смутно помнил Еремей, как путано... чухонь чухонью же... бестолково извинялся, но врезалось в память, что вдруг и начальник извинился, потом и дива смущенно опушила глаза синими ресницами...

А в сестрином бараке, некогда сиреневом, ныне облупленном, утаенном в тополином плетеве, у Еремея впервые мучительно защемило душу, кинуло в жар, перед глазами поплыла цветастая рябь, и белый свет померк. С горем пополам доползла до Знаменского предместья "скорая помощь", уторгала сердечного в губернскую клинику. Пенсионные документы оформляла сестра, а Еремей, выйдя на волю, опять занедужил и лежал под святыми образами, едва живой, как осенний лист, как догорающая лучина.

Но прежде веку не помрешь; одыбал и подолгу сидел недвижно, томился, непривычный к праздному сидению без заделья; а истомившись без дела, пошел искать хоть заваливающую работенку, но нигде не брали пенсионера, невзрачного и нерослого. По настоянию сестры, богомольной бобылки, прибился к Знаменскому собору и, почитывая Писание, исповедуясь и причащаясь Святых Тайн, стал помышлять о Царствии Небесном, куда, полагал, скоро Господь поманит. И однажды после литургии, укрыв левую ладонь правой, пробился к батюшке под благословение и посетовал на то, что мается без работы. Батюшка и пристроил Еремея церковным сторожем; а уж дворничал безкорыстно: в отраду прохладным летним утречком подмести ограду, в утеху, рдея щеками, пихать, кидать хрусткий снежок.

Но лишь оттепелело, и городской снег побурел, набух влагой, Еремей, чуя себя кукушкой без гнезда, по-вешнему остро затосковал по дедовой избе; даже виновато плакал ночами, словно и не избу, а мать родную бросил; и мать, одинокая, скорбная, печалится у калитки да, заслонив ладонью закатный свет, долго глядит сквозь слезный туман в край улицы: не покажется ли блудный сын... Оно и перемогся бы, перехворал тоской... пенсию выходили, выхлопотали и работа благодатная при храме... но скучно стало Ерёмушке на чужой стороншке, да вдруг от шабаршинской соседки Настасьи еще и письмо пришло, где после вестей — кто спился, кто утопился, кто женился, кто родился, кто крестился, — Настасья писала: "...бывший зоотехник Илья Гантимуров, у которого два магазина и заправка, надумал хозяйство открыть, скота держать. Говорят, уже справил бумаги на землю и ферму, что возле речки, хорошо хоть не успели её расташить. На собрании говорил, что по весне будет скот закупать. Работников нанимает, и тебя спрашивал. Чо уж у Ильи выйдет, Бог весть, но мужики надеются..."

Сколь ни отговаривала сестра, по весне Еремей собрался в родную Шабаршу: мол, пора картошку сеять...

МИХАИЛ КОРНЕВ



“ЖИВЫЙ В ПОМОЩИ”

РАССКАЗЫ

Мы сидим на втором этаже Луганской администрации в штабе округа Луганского казачества, исторически относящегося к Всевеликому Войску Донскому. В помещении то и дело заходят бойцы ополчения, казаки. Атаман Рубан Леонид Александрович неспешно ведёт беседу с бойцами, расспрашивает, подсказывает, планирует, кому и когда оказать помощь продуктами, обмундированием, снаряжением. Разговор идёт о войне, о казаках, кто где сейчас стоит, как идут боевые действия, есть ли потери. Мы внимательно слушаем. Мы — это игумен Пимен, режиссёр документального кино Валерий Тимощенко и я, заместитель атамана Иркутского войскового казачьего общества, директор Иркутского городского театра народной драмы. Вчера нам удалось привезти в Луганск две машины гуманитарной помощи. А сегодня мы все вместе планируем отвезти её на боевые позиции.

Дверь отворилась, в комнату осторожно вошёл высокий средних лет казак в зимнем камуфляже. Был он сутуловатый, на не седой ещё голове виднелись широкие залысины, которые он приглаживал сильными крупными ладонями. Казак да казак. Ничем он не выделялся. Только привлекали внимание повязанные “липами” на рукава бушлата зелёные ленты-пояса “Жи-

КОРНЕВ Михаил Георгиевич родился в 1958 году в городе Раменское Московской области. С детских лет по настоящее время живёт и работает в Сибири, в городе Иркутске. Один из создателей широко известного в России и за рубежом Иркутского городского театра народной драмы, директором и главным режиссёром которого является. С группой театра неоднократно бывал в “горячих точках”: в Приднестровье, Югославии, Чечне, Сербии, Косово, на Донбассе. Автор двух книг песен и рассказов. Член Союза писателей России, Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств России. Живёт в Иркутске.

вый в помощи”. И казачий взгляд... Серые глаза казака смотрели глубоко и спокойно, словно человек знал что-то, что высказать нельзя, а узнав это, обрёл покой и силу.

Человек улыбнулся, оглядел сидящих за столом, поздоровался.

— Коля! Здорово, брат! — несколько казаков привстали навстречу. — Как ты?

— Слава Богу, — с улыбкой ответил Николай. — Со Счастья приехал. “Укропы” из миномётов по позициям нашим бьют. От оно, ихнее перемирие! Ну, ничего, терпеть можно.

Казаки обступили Николая, горячо заговорили о ребятах-казаках, ведущих боевые действия сейчас в посёлке Счастье. К нам подсел атаман.

— Видали Коло? — как-то особо, по-отцовски ласково спросил он. — Это ж наша легенда, а не человек! Разведчик, четыре месяца в плену у нациков был. Недавно только поменяли его на украинского полковника.

— Ребята, ребятунки! — заволновался батюшка Пимен, человек богатырской комплекции и добрейшей души. — Это ж надо услышать, это ж надо всё узнать! — Игумен притиснулся к Коле: — Коля, брат! Расскажи, как там, в плену-то было? Небось, не сладко?

Коля улыбнулся, глянул на батюшку ласково и спокойно:

— Да ничего, отче, терпеть можно. Я же молился, чего они мне сделали бы?

— Расскажи, Коля, если можешь, — попросил батюшка.

— Да почему нет? — всё так же спокойно и доброжелательно ответил казак. — Я ж тут, в Луганске, всю жизнь лесником был. Лес защищал, браконьеров, порубщиков ловил. А полгода назад, как началось всё, — в ополчение и сразу — в разведку. Повидал за это время много. Что сказать? Бандеры они бандеры и есть. Вроде украинская армия называется, а на поверку выходит нацики, нацгады, людей не только убивают, но и мучают, детей, стариков расстреливают, дома жгут, одно слово — гады. Так вот, если раньше немцы кожу человеческую на сумки, волосы женские на матрасы пускали, то эти дальше пошли. Убитых и живых потрошат на органы. Причём своих и наших. Бизнес такой, оно понятно, деньги большие дают.

Коля задумался, глядя серыми глазами куда-то сквозь окно. В казачьем штабе стояла тишина.

— Так вот... У нас в ЛНР с лета начали людей находить. Ну, сами понимаете, как они выглядели после встречи с потрошителями. Надо было найти тех, кто эти дела творят. Мы их обозначили “мясники”. И мне поставлена была командиром задача вычислить и найти этих “мясников”. С добровольцем из России Женей Свиридовым мы почти полтора месяца ходили по тылам “укропов”.

— Как ходили? — спросил молодой казак.

— А так. Я ж лесник. Одели мы с Женей форму и на “уазике” с документами объезжали леса.

— Так они ещё с “укропов” штрафы требовали за уничтожение лесопосадок, — хохотнул батька-атаман. — Даже ругались на них. А позывной у Коли — “Железный дровосек”!

— Было дело, — улыбнулся Коля. — Так вот... Под Лисичанском только напали на след “мясников” и — провал! Попались случайно. Нацики остановили “уазик”, спросили документы, Женя ответил, и тут один отскочил от машины, затвор автомата передёрнул и заорал: “Цэ москали! Цэ москали!” Нас повязали. На допросе тот нацик показал, что слышал брянский акцент. А Женя точно ведь с Брянщины. Как тот учуял? Ну вот, повезли нас, в камеру бросили. Я вижу, Господь испытание даёт. Говорю: “Женя, молиться надо”. Начались дни плена. Били сначала не очень, на допрос каждый день, мол, сознавайтесь, что наёмники из России, фээбэшники-шпионы. Документы у нас “лесников”, мы на своём стоим. А на четвёртый-то денёк пожётче с нами обошлись: мне два ребра сломали, Женке голову разбили. Ну, ничего, терпеть можно... Я молитву творю, не бросаю и думаю, что поменялось? А оказалось — интернет подвёл.

— На сайте написали? — спросил игумен.

— Нет... На нас у них ничего не было. А ведь они тоже интернет-войну ведут, сайты наши просеивают. И наткнулись по переписке да ссылке на одну страницу, где ребята наши казаки фотку выставили. А я на фотке во всей красе в казачьей форме. Ну и всё...

— Ты смотри, а... — с досадой хлопнул батюшка большими ладонями по коленям. — Ну, вот нельзя никакие фотографии выставлять, ну, вот нельзя!

— Нельзя, — тихо вздохнул Коля. — Так Господь ведёт. У меня “Живый в помощи” всегда со мной. Во, сейчас на рукавах нашиты, а раньше у сердца всегда они были. Заходит ихний следователь: “Ну, ты попался! Мы тебя долго будем на ремни резать, у нас с тобой время много!” Я ему говорю: “Вот видишь, девяностый псалом “Живый в помощи”, что ты сделаешь со мной? Я молюсь. Господь говорит, ни один волос не упадёт с головы твоей без Воли Моей. Ты что сделаешь?” Он постоял, посмотрел, как на больного, да и ушёл. Бить уже стали утром и вечером. Ну, ничего, терпеть можно. В камере с Женей читаем “Живый в помощи”, молитвы, какие помним. Где-то через месяц вытащили меня, глаза пластиком заклеили, бросили в какую-то комнату. Кровь взяли. Через час слышу голос: “Ну что, казачок! Ты нас искал?” Я понял — это “мясники”. “Может, и искал”, — отвечаю. “Ну, вот и нашёл. И молодец. Главное, анализы у тебя хорошие. Завтра оперировать тебя будем... На запчасти!” И захохотал. “Ты послушай. Я “Живый в помощи” читаю, ни один волос без воли Божьей с меня не упадёт. Что ты можешь сделать?” — говорю спокойно ему. А его не вижу, глаза у меня заклеены. Слышу, молчит, потом сказал: “Ну, помолись, можа, Бог поможе”. Слышу: шаги, ушёл. Отвезли в камеру обратно, Жене рассказал, он говорит: “Ну вот, Коля, это всё, наверное”. Я говорю: “Женя, ничего не всё. Читай: “...не придет к тебе зло и рана не приблизится телеси своему, яко Ангелам Своим заповесть о тебе сохранить тя во всех путех твоих...” Читай, говорю, Женя, брат!” Женя с трудом на колени опустился, мы начали молиться, сколько по времени, не знаю, ночь прошла, утром узнаю: “мясники” срочно уехали в другой район. Легче, правда, не стало. Допрос — каждый день, быют — каждый день. Следователь особо меня хотел сломать, не понимал, ведь я в полной его власти, а как-то держусь. Хотел совсем унижить. Вызвал татуировщика.

— Кого вызвали? — опешил игумен Пимен.

— Татуировки который колет. Армия у них странная, кого там только нет... Ну, и притащили, связали, следователь говорит: “Сделай ему на лоб наколку...” и похабные всякие маты говорит. “К вечеру наколем”, — отвечает татуировщик. Следователь ушёл, татуировщик мне: “Ну что, боишься?” Я ему говорю: “Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни”. Ты мне ничего не сделаешь”. “Посмотрим”, — говорит. До вечера сидел в помещении, а татуировщик вдруг начальству заявил, что устал, работу не сделает, а утром вообще инструмент у него сломался. Так и не стал мне лоб портить... Слава Богу.

Уже месяц четвёртый пошёл. Мы в камере утреннее и вечернее правило ни дня не пропускаем. К нам мародёров-нациков кинули. Это ж сколько надо было разграбить, если украинская армия, которая сама первым мародёром является, их за такой грех в кутузку кинула?.. Мы с ними разговаривали, через некоторое время они тоже с нами молиться стали. Не знаю, от сердца или нет. Бог всё видит.

А я узнал, что первым стою на обмен военнопленными. У следователя душа горит меня добить побыстрее: “Я тебя расстреляю через неделю”. “Ничего ты не сделаешь, я первый на обмен”, — говорю. “На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия...” — про себя твержу. И они видят: всё это время я их не боялся. Ничего не могут сделать со мной. Ножом руки, ноги резали, в суставы нож втыкали, били по-чёрному. Электрический ток к половым органам подводили. Неприятно конечно. Но ничего, терпеть можно.

И вот четыре месяца я у них просидел, и у них приказ — меня поменять. Готовят к освобождению. Я следователю говорю: “Вот ты вспомни те-

перь, что я тебе вначале говорил. Ни один волос с головы моей не упадёт без воли Господа моего. “Прибежище моё — Бог и уповаю на Него”. Ты читай “Живый в помощи”, может, Господь откроет тебе, что родных братьев убиваешь”. Следователь долго смотрел мне в глаза, потом зло буркнул: “Прикажут — буду читать, прикажут — буду убивать. Иди давай. Радуйся, что жив остался”. Очень он был недоволен таким поворотом дела. За мной ребята приехали, на обмене забрали. А Женья Свиридов остался в плену. Со здоровьем у него сейчас плохо. Все силы прилагаем, чтобы его вытащить оттуда, также по обмену военнопленными.

Николай задумался, глядя спокойными глазами куда-то вдаль. Все, кто был в казачьем штабе, молчали. Батюшка Пимен обнял Николая, перекрестил его. В глазах его стояли слёзы.

— А знаешь, Коля, вот я слушал и думал, а я бы смог всё это выдержать или нет? — спросил отец Пимен.

— Ничего, батюшка, терпеть можно. С Господом всё можно.

Коля встал, попрощался с казаками и ушёл по своим военным делам. Казаки ещё долго с гордостью рассказывали о нём, и было видно, что воинский подвиг Николая широко известен и почитается в Луганске. Несокрушимая вера пленного разведчика, не дрогнувшего перед лицом смерти и мучений, потрясла нас. Вспомнились древние могучие казаки, разившие врага на этой самой земле, со Христом побеждавшие и со Христом на устах умиравшие.

Время исповедничества близко. И воистину сегодня мы с тревогой спрашиваем себя, насколько тверда наша вера. И вслед за казачьим разведчиком Николаем говорим слова грозного псалма: “Воззовёт ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долгою дней исполню его, и явлю ему спасение Моё”.

КОЛЬКА

Семилетний Колька часто спрашивал бабушку Аню, почему их село называется Новосветловка.

— Да кто его знает, унучёк... — задумывалась бабка. — Новосветловка, значит новый свет, что ли? Радость значит, свет-то. Вот. Дали людям эту землю-кормилицу когда-то, урожаи у нас хорошие — значит, людям всё радость, всё свет. Храм в селе когда-то выстроили Покрова Матушки нашей Богородицы — вот свет Божий на людей пролился. Храм-то новый? Разумешь, нет-ли? И свет новый... А боле я не знаю как тебе рассказать, — отмахивалась бабка, вечно занятая то в огороде, то мытьём полов в конторе поселковой администрации, то продажей овощей с того же огорода на маленьком сельском рыночке.

Колька рос с бабушкой, без родителей. Мамка уже давно жила в Киеве, редко приезжала, а отца Колька никогда не видел.

Жили они с бабой Аней в крохотном домике, окна которого выходили на проезжую дорогу. Если по ней поехать вправо, то приедешь в Луганск, а если в обратную сторону, то можно доехать даже до России — возле посёлка Изварино начиналась граница. Сам Колька там не бывал, но его подруга Света рассказывала, что её папка ездит через эту границу в Россию на заработки. Когда Светин папа, дядя Петя, приезжал, то привозил ребятишкам подарки, перепало и Кольке. В последний приезд дядя Петя подарил ему игрушку-трансформер, умеющий превращаться то в машину, то в робота. У Кольки от радости всё замерло внутри — ведь этот трансформер был точь-в-точь такой же, каких Колька видел в американском фильме “Трансформеры”. Только в фильме они были огромные, страшные, легко растаптывали людей, их машины и уже почти завоевали весь мир. Колька бережно спрятал в карман заморскую игрушку.

А потом, выпивши, дядя Петя стучал кулаком по столу, мотал головой и кричал: “Всё развалили, гады ползучие, всё захапали. Как людям жить?!”

Слава Богу, Россия ещё кормит...” Колька со Светой грустные тихонько выходили из хаты и шли на речку.

На берегу сидели и глядели на солнечные зайчики, весело прыгавшие по воде.

— А что, твой папка не хочет больше в Россию ездить? — спросил Колька.

— Наоборот. Там можно деньги зарабатывать. А как нам жить, у нас ещё двое маленьких и мама не работает, — вздохнула Света.

Колька, обхватив руками колени, смотрел на воду, о чём то думая.

— Бабушка моя тоже зарабатывает, полы моет. Но мало. Мы ещё даже портфель к школе не купили.

— Мне папка из России привёз.

— Тебе хорошо... Свет, а кто такие гады ползучие, что всё захапали? Это люди или как вот эти, — Колька достал из кармана подаренный дядей Петей трансформер.

— А я почём знаю? Папка всё время ругается, говорит, что это фашисты недобитые, бандеры...

— А чо их не добили?

— Когда война была, немецких здесь всех добили, а бандеры в Киеве спрятались.

— Надо было вот так их! Кия! Кия! — Колька сделав зверскую физиономию и выпучив глаза, начал вертеть голову и ноги зловещей игрушки-трансформера. — Ни фа себе! Свет, смотри. У него башка и ноги не отрываются, а во что-то другое превращаются. Он вообще бессмертный! — мальчишка восторженно уставился на Свету.

— Колька, отстань! Пошли лучше купаться, — отмахнулась Света и дети побежали к песчаной отмели.

Ночью Кольке приснились “гады ползучие”. Они ползли по улице, разваливая маленькие домики Новосветловки, легко, как песочные хатки, загребая перед собой огромными железными руками-клешнями. Вот клешня прошла над их с бабкой домиком, и уже вместо него лишь жалкая куча досок и земли. Колька с бабкой почему-то стояли на улице, а не в доме. Колька хотел крикнуть, но не смог. А потом увидел, что хвост у гада огромный, сделанный из железа, и на нём, как на магните, висели велосипеды, мотоциклы, телевизоры, школьные ранцы. Вот хвост пополз мимо их двора, и Колька с изумлением увидел, как из подвала вылетают бабкины банки с вареньем, огурцами, помидорами и все до одной магнитятся к железному хвосту. “Стекло же не магнитится, как банки не падают?” — подумал он во сне. На него со скрежетом повернулась огромная злая морда “гада”, и Колька увидел образину трансформера и его страшные злые глаза. Колька зажмурился от страха. А когда открыл глаза, “ползучий гад” с грохотом превратился в огромную машину и, грохоча по асфальту, медленно поехал мимо разваленных песочных домиков, в сторону Луганска. Зарев во сне, Колька проснулся затемно, успев заметить, что не плачет, а подвывает, как щенок. Он растолкал бабушку, пожаловался на страшный сон.

— Ничего, унучёк, ничего, Коленка... Это враг-сатана пугаеть... А Господь Пресветлый в обиду не даёт. Утром в Церкву Божию пойдём, — успокоила внука бабушка.

Раннее майское утро выдалось тёплым и ласковым. И пока бабушка Аня возилась с замком двери, Колька выскочил на обочину и оглядел дорогу, асфальтовой лентой далеко уходящую влево и вправо. В воскресный утренний день она была пуста от автомобилей. Над асфальтом вдалеке стояла белая дымка, и Колька что есть мочи рванул по самому центру трассы. Он быстро бежал, отчаянно рыча, как самый мощный мотоцикл, растопырив руки на вообразаемом руле. Убедив довольно далеко, мальчик услышал, что его зовёт бабушка и так же быстро вернулся назад и побежал напрямиком к храму.

У церковных дверей он оглянулся. Никого из прихожан ещё не было. Колька тихонечко зашёл в храм.

Он каждое воскресенье, сколько себя помнил, ходил сюда с бабушкой. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы стояла на холме, нарядная, кружев-

ная, выкрашенная синим и голубым колером, она как бы ласково глядела сверху на низенькие домики Новосветловки, а прямо перед выходом была большая веранда, где в праздники для всех прихожан ставили столы, и Колька всегда ждал их, потому что только на Пасху можно было отведать вкуснейшие куличи, пасху, печенье, конфеты, сладкие пироги, что приносили со всего села прихожане. Все обнимали друг друга, поздравляли с праздником. Батюшка, особо торжественный и важный, благословлял людей, освящал святой водой кушанья. И когда солнечные брызги святой водицы летели на прихожан, Колька со Светой всегда старались протиснуться ближе, чтобы окропили их как можно больше, а потом они с восторгом вытирали мордашки, и почему-то было так радостно, что хотелось смеяться и прыгать.

Проскользнув в дверь, Колька тихонько подошёл к алтарю. В полутьме читали “часы”, под куполом, через огромную люстру, называемую паникадиллом, голос с тихим гудением улетал и растворялся где-то высоко. Колька подошёл к иконе Николая Чудотворца. Бабушка говорила, что назвала его в честь святого Николая. “Мать, отец бросили дитя, так хоть ты, Никола Угодник, не оставь сироту”, — частенько всхлипывала она, и Колька не любил это, стеснялся, что кто-нибудь увидит и засмеёт его, он дёргал бабушку за рукав, умоляя замолчать. А сегодня ему никто не мешал, и он тихо стоял, глядя на лик Святого. Он никак не мог сообразить, о чём попросить доброго седовласого святителя Николая, в воображении ворочался то страшный стальной хвост “гадов”, виденный во сне, то печальная Света с новым школьным портфелем.

И тут Колька заметил, что на лице Святого у левого глаза что-то блестит. Колька встал на цыпочки и, насколько мог, до боли в глазах стал вглядываться в лик святого. Из глаз Николая Чудотворца текла обильная слеза, и сияющий маленький ручеек уходил прямо через бороду и исчезал под облачением. “Никола Чудотворец плачет”, — подумал Колька, и ему вдруг стало нестерпимо жалко и плачущего седого Святого Николая, и бабушку, и Светку, и себя. Он не заметил, как тоже заревел и побежал к бабушке и собравшимся на службу людям.

— Никола Чудотворец плачет! Баба, смотри, Никола заплакал! — кричал он, размазывая слёзы по щекам.

Пришёл батюшка, люди, включили яркий свет, внимательно осмотрели иконы, спросили сторожа, всех служащих храма, а батюшка-настоятель сказал:

— Братья и сестры! Сие явление в жизни церкви называется слезоточение. Только Господь знает, о чём через икону своего Святителя он хочет сказать нам, о чём предупредить. Будем же послушны воле Божией, будем любить друг друга, любить мать-Церковь, любить свою родную землю.

Новость быстро облетела всю Новосветловку, после службы отслужили молебен Святителю Николаю, на который собрался почти весь поселковый народ. И уже все знали, что первым чудо заметил отрок Николай, Кольку поздравляли, обнимали, говорили добрые слова, а бабушка Аня задумчиво сказала:

— Ох, Коленька, Коленька... Что-то Святой Никола хотел тебе сказать, сироте... Не остави нас, Пресвятая Богородица.

— Чтоб я гадов с железным хвостом не боялся, — гордо заявил Колька.

— Каких гадов? С каким хвостом? — нахмурилась бабушка.

— А-а! Баба! Ну, потом расскажу, — нетерпеливо буркнув, Колька побежал рассказывать про чудо своим друзьям.

А впереди было ещё целое жаркое лето! А впереди ждала таинственная школа, куда Колька готовился пойти в сентябре в первый класс, и ему очень хотелось сидеть за одной партией со Светой.

Но всего через два месяца изменилась вся жизнь Новосветловки и всей Украины. Колька услышал слово “война”, когда пришёл, как всегда, поиграть к Свете. На кухне сидел Светин папка в пятнистой военной форме, у ног его стоял настоящий автомат. Колька с замиранием сердца осторожно потрогал тускло-блестящий ствол.

— Вот, Колька, будем землю свою защищать, — устало сказал Светин папа.

— От гадов?

— И от “гадов”, и от фашистов, Коля.

Света и её мама заплакали.

— Свет, не плачь. А твой папа теперь командир? — тихо спросил Колька.

— Нет, ополченец. Его убить могут, — всхлинула Света.

— Свет, не плачь. Не убьют. Я Николая Чудотворца попрошу, — утешал Свету Колька.

— Шагай-ка ты, брат Колька, домой, — похлопал мальчишку по плечу папа-ополченец. — Не дай Бог, обстрел начнётся, бабка с ума сойдёт.

— Пойду... — вздохнул Колька и пошагал к своему дому, глядя, как ополченцы разгружают мешки с песком, выкладывая из них круглую стенку возле асфальтовой дороги. Почти все они были из Новосветловки, и Колька, конечно, знал их. “Ещё один блокпост строят”, — подумал Колька. Он уже знал это слово и много других. “Ураган”, “Смерч”, “Град”. Пол-литровая банка в сених стояла полная осколков, которые он собирал на улице между обстрелами.

Колька не знал, что случилось в мире, почему сверху, сея смерть, врлуг в дома людей полетели снаряды. Кто мог, уехал, увёз детей, а Кольке с бабушкой ехать было не к кому, при обстрелах они прятались.

Самый страшный обстрел начался рано утром. Бабушка схватила на руки вместе с одеялом заспанного Кольку, стены дома ходили ходуном, на кухне с треском вылетело стекло в окошке, на улице стоял пронзительный вой и свист, как будто кто-то огромный изо всех сил дул в огромный железный свисток и никак не мог взять высокую ноту. Бабка, прижав к груди Кольку, спустилась в подвал. Всё это произошло во мгновение, но Кольке показалось, что спускались они целую вечность, и бабка Аня никак не могла закрыть крышку в подвал. Стены подполья вздрагивали от ближних разрывов.

Колька почему-то не плакал, но его сильно трясло, было холодно, как в морозный день, он кутался в одеяло, но холод и озноб не отпускали. Он хотел разглядеть, что там наверху, но видел только полосу тусклого света, проникавшего в подполье. Бабка, прижав внука к себе, шептала молитву. Кольке казалось, что время исчезло, исчезли часы, минуты, утро, день, ночь, а их место занял непрекращающийся грохот и вой, от которого тошнило и голова раскалывалась и горела.

Неожиданно грохот стих. Бабушка Аня осторожно поднялась по лестнице наверх, наказав Кольке не высовываться. Было слышно, как она чем-то торопливо стучала. Потом стало тихо. “Куда она ушла-то? Могут опять бомбить.” Кольке очень хотелось посмотреть, что там наверху теперь, он полез было по лестнице вверх, высунул голову, но бабушка, заметив его, прикрикнула:

— Колька! Куда высовываешься? Хочешь, чтобы этими железяками прибило? Ну-ка марш обратно!

— Баба! Чего там?

— Чего-чего! Война там страшная, — бабушка всхлинула. — Убивцы эти проклятые людей поубивали. Тётя Вера погибла, соседка наша.

— А Света живая? — спросил Колька.

— Почём же я знаю, Коленька? Дай Господь, чтоб живая была. Возьми вот хлебушка, консервы, да водицы с чайником. Кто его знает, сколько в подполье с тобой ещё сидеть будем, — бабушка сунула Кольке булку хлеба и чайник. — Оденься быстренько и возьми икону Николая Чудотворца, она маленькая, в кармашке её держи всегда. На улицу не ходи, меня жди, — бабушка открыла дверь, вышла на улицу.

Не сдержав любопытства, Колька сразу же вылез из подвала и на цыпочках подкрался к окну. За окном кричали люди, слышался громкий женский плач. А в их комнате на полу валялось разбитое стекло, щепки от подоконника, в двери шкафа появились круглые дырки. Колька медленно оделся,

спрятал икону Святителя Николая в карман, перетаскал продукты в подполье. Бабушки всё не было. Колька выглянул в окно. Соседи по улице стояли возле дома тёти Веры, у ворот лежал кто-то прикрытый шерстяным одеялом в синюю клетку. “Это тётю Веру убило”, — подумал Колька. Ему стало страшно, он на цыпочках отошёл от окна, сел на стул в углу и задумался. “Вот когда люди умирают, то это страшно. А батюшка в храме говорит, что люди, когда умрут, то домой возвращаются, в Царство Небесное. И бабушка так всегда говорит”, — Колька прислушался... За окном громко плакали женщины. “А почему люди тогда не радуются, что родные пришли домой в рай, а наоборот, сильно горюют, и им страшно, что их родные ушли от них?” — Колька поднёс к лицу свои ладошки и стал разглядывать их. “А если в меня попадут эти мины, осколки, то вся кровь вытечет, и я тоже помру. Тётя Вера же не знала, что её убьют, а сейчас лежит под одеялом на улице, и все о ней плачут”. Колька вдруг почувствовал ледяное одиночество, его опять стало морозить, он нащупал в кармане иконку св. Николая и прижал к губам. “Святой Никола, дедушка, помоги мне! Баба сказала, что мне никто больше не поможет, только ты, мой Святой. Сделай так, чтоб никого больше не убило!” — Колька заплакал, прижавшись лицом к иконе. “Я слёзки твои в храме первый увидел. И бабушка говорила, что ты мне сказать что-то хотел. Помоги нам! Скажи Господу, чтоб в нас не стреляли, чтобы Новосветловку не бомбили...”

Когда бабушка Аня вернулась домой, Колька спал в углу, свернувшись калачиком на ватнике. Она перенесла внука на диванчик, укрыла его одеялом, зажгла свечу перед иконостасом, встала на колени. Колька в полусне увидел огонёк свечки, до него донеслись таинственные слова, которые со слезами шептала бабушка. “Доколе, Господи, забудеши мя до конца, доколе отворачиваши лицо Твое от мене. Доколе положу свет в душе моей, болезни в сердце моем день и ночь; доколе вознесётся враг мой на мя...”

Колька опять крепко заснул, и виделось ему, что он из последних сил идёт по жёлтому сухому полю, а вокруг множество народа!.. И все плачут, рыдают и кричат: “Доколе, Господи, забудеши нас до конца...” Люди воздевали руки к небу и отчаянно просили о чём-то. Оглянувшись, Колька увидел, что за толпой народа с грохотом и воем движутся огромные “гады-трансформеры” с железными хвостами и клешнями, которыми они захватывали бегущих от них людей. А высоко в золотом небе грозно уходил сам Господь, такой, каким видел его Колька, когда стоял перед открытыми воротами алтаря в храме во время Пасхи, — в царской короне, с державой и скипетром. Господь грозно оборачивался на толпы людей и вновь уходил всё дальше над жёлтым полем. А за ним летели ангелы, его Святые, и Колька увидел святого Николая Чудотворца, который, повернувшись лицом к людям, плакал, утирая светлые добрые глаза. Колька закричал, но его голоса не было слышно в рыдающей толпе. А Господь и Святые его уходили всё дальше и дальше, и Колька знал, что ни в коем случае нельзя отступать от Них, и бежал из последних сил, но ноги его, как и бывает во сне, едва шевелились.

Батюшка Сергей теперь служил каждый день, и сельчане старались прийти на службу, даже те, кто раньше редко заглядывал в храм. Теперь, когда под обстрелами бандеровцев, украинской нацгвардии гибли люди, в прах стирались дома, очаги людские, народ потянулся к Господу, прося защиты, молясь о живых и поминая убитых.

Колька видел, как к заутрене собирались знакомые люди, соседи. Пришла Света с матерью. Мать всё время плакала, вытирая глаза платком.

— Свет. А папа-то где? — спросил Колька.

— Не знаем мы. Он уже неделю с блокпоста не приходит. Их обстреливают сильно.

Света заплакала.

— Он придёт. Не плачь, — Колька вздохнул, не зная, как успокоить девочку. — Наши все равно победят.

Люди зашли в храм. Началась служба. Колька со Светкой поставили свечки перед иконой Спасителя, а Колька косился на икону Николы Чудо-

творца, что была слева от алтаря, и, протиснувшись поближе, улыбнулся Николе, как доброму другу. Слеза на иконе Николы была уже меньше, но все равно можно было разглядеть, что лик седого Николы был печален.

— Никола, пожалей нашу Новосветловку, видишь, сколько людей уже погибло... — чуть слышно прошептал Колька.

Он хотел ещё что-то сказать, но не успел. От страшного удара качнулись стены храма, а пол вдруг выскользнул из под ног, и Колька увидел себя лежащим возле большого бронзового подсвечника. Пронзительно закричали женщины. Колька увидел на потолке храма большую зияющую дыру, сквозь которую было видно серое небо. Вниз сыпались кирпичи, штукатурка. Люди бросились к противоположной стене, с ужасом осознавая, что храм расстреливают из тяжелой артиллерии. Второй снаряд пришёлся в большой храмовый купол с крестами. От удара оборвалось полутонное огромное паникадило и начало падать вниз на прихожан. Колька лежал, не шевелясь, заморожено глядя, как медленно, как бы во сне, опускается железный круг с лампами на кричащих в отчаянии людей. Колька зажмурился, ожидая удара, но на него ничего не упало. Он открыл глаза и увидел, что отец Сергей стоит перед алтарем, не сделав ни шага назад, с бледным лицом молится и часто крестится. “Спаси Господи люди Твоя и сохрани достоинство Твое...” — услышал Колька. Он глянул на потолок, откуда ещё мгновение назад летела огромная люстра. Паникадило, не долетев метра три до пола, качалось на тоненьком проводочке то ли освещения, то ли ещё каком. Люди, оправившись от первого ужаса обстрела, сгрудились возле отца Сергея. “Спаси Господи люди Твоя...” — повторял вместе со всеми Колька, сидя на полу, обхватив руками ножку большого подсвечника. К нему подползла и прижалась к плечу испуганная Света. За стенами храма стоял визг и свист. В храме то и дело слышались щелчки, тонкие взвизги, после которых на стенах вспыхивали искры, взвивались фонтанчики белой пыли. Несколько раз звенели разбитые окна, и в них появились аккуратные круглые дырки с трещинами. И вдруг всё стихло. Колька с изумлением, прижавшись к подсвечнику, оглядывал изменившийся за несколько мгновений храм.

— Братья и сестры... — тихим голосом обратился к прихожанам отец Сергей. — Господь явил чудо Божие. Сохранил нас от адской напасти. Все ли живы, никто не ранен?

— Живы, батюшка.

— Слава Богу.

— Никто не ранен даже, — вразной отвечали люди. Многие, не в силах стоять, опускались на пол храма, кто-то плакал навзрыд, матери прижимали к груди детей.

— Я прошу вас пока не выходить из храма Божьего... Некоторое время побудьте здесь, — устало обратился к людям отец Сергей. — Сотворим благодарственную молитву о спасении нашем.

За стенами храма было тихо. Негромко гудели голоса людей, лилась молитва, и Кольке не верилось, что так мгновенно может прийти смерть, и также исчезнуть.

“Вон дыра, вон люстра висит здоровенная, на полу кирпичи, — думал он, — а люди все живы”.

Колька поднял глаза к иконе Николая Чудотворца.

— Спасибо, Николушка, миленький, — мальчик встал с пола и, осторожно ступая между упавшими с потолка большими кусками штукатурки, тихо подошёл и поднял глаза к иконе Николая Чудотворца. Святой всё так же ласково и грустно смотрел с высоты. К Кольке подошла Света и, прижавшись к его плечу, замерла.

— Достоинство есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, — пели люди, и огоньки свечей, сохранившиеся чудом после обстрела, оживали вновь в людских руках и давали жизнь новому тёплому свету.

В Новосветловку пришла осень, но Колька и его друзья не пошли в школу, потому что здание её во время боёв было разрушено, в стенах были дыры от снарядов, а новые пластиковые рамы, вставленные летом, были раз-

биты и искорёжены осколками. Когда не было обстрела, Колька приходил попроведовать Свету. Ополченцы после боёв отступили к Луганску и с ними Светин папа, мать с детьми осталась в доме и так же, как Колька с бабушкой, пережидали бои и бомбёжки, прячась в подполье.

Когда ополченцы ушли, вечером в село вползли танки карателей, на больших грузовиках приехали солдаты украинской армии с оружием. Они начали занимать здания, обживаться. Колька не выдержал и, не послушав бабушку, побежал смотреть на танки. Они были огромные, громко чихающие вонючим, удушливым сине-чёрным дымом, облепленные коричневой грязью, с зелёными тусклыми боками. Они напоминали Кольке динозавров, которых он видел в кино, кровожадных, всегда готовых вцепиться в добычу. Но солдаты Кольке очень не понравились. Почти у всех глаза были пустые, как будто стеклянные. Разговаривали они со злостью, даже друг с другом. Когда один раз Колька подошёл близко к машине с ракетами, солдат плохими словами отогнал его, наставив автомат. Колька припустил до дома, что есть мочи. Дома спросил бабушку:

— Баба, а что такое “сепар”-выродок?

— Тебя эти фашисты обозвали?

— Да.

— Зачем ты к ним подходишь! — заплакала бабушка. — Это, Коля, люди. Они и детей малых убивают.

— А мы “сепары”, да?

— Коленька, мы рабы Божие, православные христиане. А они — бесовское отродье, раз в храмы Божьи из пушек бьют.

Колька опустил голову, помолчал, затем решительно вышел во двор, достал из кармана игрушку-трансформер и положил его на старый кирпич. Колька долго смотрел на зловещего уродца и вдруг понял, что он ему совсем не нравится, как раньше.

— Ты у меня будешь знать, как посылать к нам сюда гадов-бандеровцев, — сурово прошептал мальчишка, взял кирпич и, примерившись, с размаху прихлопнул трансформера. — Вот тебе! Получай! — Колька поднял кирпич и с любопытством уставился на кучку цветной пластмассы, которая ещё недавно была зловещей игрушкой. — Ну вот, и никакой ты не бессмертный, — усмехнувшись мальчишка и, смахнув с кирпича пластмассовый мусор, спокойно пошел в дом.

Утром похолодало. Но Колька с бабушкой Анной, не глядя на погоду, с утра уже были в церкви. Колька с друзьями Васькой и Петром до службы разглядывали огромную пробоину в куполе.

— Гляди, Коля, батюшка с мужиками уже заделали, — говорил ровесник Кольки, соседский мальчишка Пётр.

— Ну... Досками только забили, а надо кирпичами кладку делать, — со знанием дела отвечал Колька.

— Эй ти! Сэпари, мать вашу! — вдруг кто-то рявкнул им в спину.

Мальчишки с перепугу взвизгнули и отскочили к стене храма. Перед ними стоял громадного роста детина с чёрной щетиной, с автоматом за плечами, на поясе у него болтался кинжал в блестящих белых ножнах.

— Киде отес? Пиротив нас воюет? А? — заорал вояка, с трудом выговаривая русские слова. — Гавари, тивар малэнький!

— Нету у меня отца, я его не видел никогда, — вжимаясь в стену, почти прокричал Колька.

Мальчуганы прижались к друг другу. К ним подходили увешанные оружием, в массивных зелёных касках украинские гвардейцы. Их было уже больше десяти.

— “Джигит”, чо эти щенки тут мутят, — угрюмо пробасил маленький толстый солдат с вислыми рыбьими усами.

— Отес, говорит, нэту! Папа нэту! — осклабился чёрный “джигит”, — а папа там сидыт, воеват хочет, да!

Мальчишки испуганно молчали, смотря на подходящих вояк.

— Ну, и мочкани их, гадёньшей, — равнодушно бросил длинный молодой солдат в чёрных очках. — По любому сепарята хреновы, отцы против нас воюют, эти вырастут — тоже будут. Так лучше сразу их задавить.

— Подожди пока, — остановил усатый, — ватники на службу в церковь тащутся, выстрелы услышат — разбегутся по щелям, хрен отыщешь. Кто окопы рыть будет, ты, что ли?

— Ага, буду на.... Сепары рыть будут, — зло взвизгнул молодой в очках.

— Коля, Коленька, — к детям подбежала, задыхающаяся бабка Анна. — Обыскалась везде, тебя нет нигде. — Бабушка вдруг увидела наставленный на внука автомат. — Да вы что, сволочи, совсем спятили? С детьми воюете, — закричала она.

— Не ори, старая. Бери лопату, копай могилу, а сначала окопы, — усатый кивнул на кучу лопат, которые разгрузили солдаты.

— Я своё в войну откопала, когда наши таких как вы, бандеровцев, как бешеных собак, стреляли, — спокойно и твёрдо вдруг выговорила бабка, с ненавистью глядя в пустые глаза усача.

— Всэ будут копат! А тэбя с внуком — к стэнки! — заорал огромный “джигит”.

Колька с мальчишками выглядывали из-за спины бабушки Анны.

— А ты чего сюда притащился? Из Чечни, что ли? — спокойно глянула на “джигита” бабка.

— Э-э... старая дура! Я из вэликой Грузии! — презрительно процедил детина.

Бабушка посмотрела на огромного солдата, обвешенного оружием, в сердцах плюнула ему под ноги.

— Шоб ты сдох, вражина!

Грузин, ругаясь на своём языке, передёрнул затвор автомата. Каратели остановили его. Бабушку и ребятишек, пихая в спину и пиная ногами, погнали к выходу из храма. Площадь перед храмом уже была окружена цепью солдат. Перед крыльцом лежала куча лопат. У ограды стояло два крытых грузовика. Солдаты выпихивали людей из помещения храма, и вскоре на площадке перед выходом теснилось шестьдесят пять человек, впереди стоял отец Сергей.

— Ну, чо, товарищи сепары, ватники, колорады и прочая шушера, — забасил усатый нацгвардеец и вдруг истошно заорал: — Слава Украине! Героям слава!

Люди молчали, угрюмо глядя на жирного коротконового карателя.

— Ну, я так и думал, — усмехнулся усатый. — Короче, мрази! У вас есть шанс... Небольшой такой шанс послужить великой Украине. Тогда останетесь живы-здоровы вместе с вашими щенками, — цедил, размахивая автоматом перед молчащими людьми, усатый. — Шас берёте лопаты все вместе и с вашим попом, дружно помолясь, начинаете рыть окопы вокруг вашей церквушки.

Люди со своим пастырем стояли, не шевелясь. Колька глядел на злое лицо усатого, которое наполнялось злобой и покрывалось лоснящимся потом. Он вдруг стал шевелить вислыми усами, нервно жевать губами, и Кольке на мгновение показалось, что усатый не человек, а огромная злая рыба. “Это злой сом, — подумал мальчик, — сомочеловек такой”.

Солдаты прикладами автоматов стали пихать людей, заставляя взять лопаты. Никто не хотел их брать, в народе слышались крики, плач. Люди с ненавистью встали против карателей, готовые броситься на них с голыми руками. Те тотчас выставили автоматы, над площадью полилась матерщина нацистов. Лязгнули затворы.

— Стойте! Братья, стойте! — вперёд вышел отец Сергей. Он тяжело дышал, поднимая ладони, как будто защищая храм и людей. — Господин военный. Братья! Вы же православные люди. Перед вами ваши братья. Во имя Христа, помилуйте ближних своих и сами помилваны будете!

— А ты попяра-то москальский, не наш... — злобно зашипел молодой каратель в чёрных очках. — “Слава Украине” не кричал... Говоришь: “Помилуйте!”, ну, так я тебя сейчас помилую.

Очкастый вдруг подскочил к батюшке и резко ударил его справа прикладом в грудь. Отец Сергей упал на руки подхвативших его прихожан. Люди в ярости бросились на карателей, оглушительно затрещали автоматные очереди, народ отпрянул назад.

— Гони их в загон! — хрипел усатый.

Кто-то из карателей стрелял в воздух, остальные ударами стали загонять в храм кричащих людей. Колька бы свалился под ноги бегущим людям, если бы его не подхватила бабушка.

— Баба, где Света?! — кричал он, забегая в помещение церкви.

— Тихо, Коленька. Здесь она, здесь, — кричала в ответ бабка, со стоном привалившись к стене.

Громыкнул замок. За дверью слышалась отборная брань солдат.

Бабка Аня, оставив Кольку и ребятишек, помогала вместе с женщинами избитому батюшке. Его положили на лавку, дали воды.

Колька со Светой и другими ребятишками сидели, прижавшись к стене.

— Они нас всех расстреляют? — устало спросила Света Кольку.

— Не знаю... — Колька пошевелился, двигаться совсем не хотелось, хотелось только попить. — А может, у них патронов не хватит. Нас же много.

— У них хватит, — тихо ответила девочка, — они не жалеют никого. Мне очень страшно, Коля.

— Да мне тоже... — Колька поглядел под купол наверх. — Но бабушка моя их не испугалась, и они её не тронули. Знаешь, как она кричала на них? Надо их только не бояться, мы же в храме, нас Бог защитит. — Колька привстал на колени. — Я сейчас осторожно гляну в окошко, что они там делают. Держи, — сунув в ладошку Светы бумажный образок Николая Чудотворца, мальчишка пробрался к окну.

— Что там, Коленька? — едва слышно спросил отец Сергей.

— Не знаю, батюшка. Какие-то бомбы большие притащили, провода разматывают, — бодро сообщил Колька. — Я сейчас получше разгляжу.

— Не надо глядеть... Ты иди, миленький, скорее к нам, — ласково позвал батюшка. — Мы помолимся, и Господь вразумит, что нам дальше делать. Да будет, Господи, Воля Твоя... — батюшка с трудом сел на лавке и перекрестился. — Теперь на всё воля Божья, милые мои, родные... Не бойтесь же убивающих тело, души же коснуться не могут... Помолимся.

Люди услышали рёв отъезжающих от храма машин. Батюшка с трудом встал, ему помогали прихожане. Молоденький дьякон возгласил: “Господу помолимся”, и начался молебен. Баба Настя со свечной лавки принесла ящичек со свечами и раздавала свечки всем до единого, и Кольке со Светкой, и Ваське, и Петру, и всем взрослым и ребятишкам.

Пламя свечей вдруг ярко осветило лики икон, лица людей. Колька, засмотревшись на людей, не узнавал их, много раз видевши их и в храме, и в магазине, и на улице. Они вдруг стали как-то строже, торжественнее. “Как на иконах, — подумал Колька, но почему-то вспомнил о мультфильме про царя Гвидона, который превращался в комара, чтобы бороться со своими недругами. — Вот мы со Светкой обратились бы в комаров и вылетели бы в форточку, позвали бы ополченцев. А те бы, раз! И прилетели по дороге на танках, да и исколотили бы этих “бандер”-фашистов, а мы бы со Светкой опять превратились в людей и всем бы двери открыли...” — Колька, забывшись, заулыбался своим думкам.

“Живый в помощи вышнего в крови Бога Небесного водворится”, — тихо читал батюшка, и Колька, думал о живом могучем Христе, представлял, как он с войском Святых своих с небес идёт на помощь в их Новосветловку. Мысли его прервались грохотом замка. Под ударами распахнулись двери.

— На выход, сепары! — на пороге стоял тот злобный человек-рыба с усами. За ним высился обвешанный оружием “джигит”.

— Даже сдохнуть по-человечески не можете. Фугасы, в натуре, не сработали! Наколдовали, что ли, а?! — орал в бешенстве усатый. — Москали долбаные!

Люди опять сгрудились на небольшой площадке перед церковью. Из подъехавшей машины быстро выскакивали солдаты. Так же быстро они

окружили людей и прикладами отогнали их левее веранды, где всегда справляли церковные праздники, а теперь висела принесённая сельчанами одежда для тех, кто потерял в этой войне последнее.

Колька оказался с бабушкой близко от очкастого солдата. Тот закурил вместе с усатым, Кольку обдало запахом вонючего курева, а потом он услышал:

— Всё! Кончай, Грицко, этот цирк с конями, к вечеру “сепары” в атаку полезут. Точная инфа.

— Да куда их девать-то...

— Видишь, они идейные, упёртые. Ну, и отправь их до Луганска.

— Отпустить, что ли?

— Гонишь, что ли? Отпустить... “Лугандонов” отправляем в сторону Луганска, к своим... Только через балку справа.

— Где мины, что ли? — усатый Грицко понизил голос.

— А то! — усмехнулся солдат в черных очках. — С горячим приветом!

Подшли ещё несколько военных, но слов Колька уже не слышал.

Измученных людей построили в колонну.

— Ну, что, “сепары”! — хрипло заорал усатый. — Шагом марш вон в ту балку. Мы вас отпускаем. Передавайте горячий привет своим! — и усатый, повернувшись к солдатам, по-жеребьячи заржал.

Людей погнали в овраг, в балку по направлению к селу, занятому ополченцами.

Колька, слышавший разговор карателей, по-настоящему испугался.

— Баба, там мины, — громко шептал он бабушке, дергая её за рукав.

— Господи, Твоя Воля... Господи, Твоя Воля... — как в забыты повторяла бабушка Анна.

— Баба, — умоляюще теребил её Колька, — они же нас на мины гонят.

— Господи, Твоя Воля... Коленька, уберёжёт тебя Никола Угодник, — на ходу отвечала бабушка.

Люди шли, прибавляя шаг. Батюшка Сергей шёл впереди. “Яко Ангелам Своим заповесть о тебе, сохрани ти во всех путех твоих. На руках возмут тя, да некогда преткнеша о камень ногу твою, на аспида и василиска наступивши и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю, и покрою и яко позна имя Мое”, — доносилось до Кольки едва слышно, но постепенно он услышал, как эти слова звучат громче и громче и заполняют всё серое дождливое небо и слякотную, разъезжающуюся под ногами землю. И ноги уже не вязнут в жирной грязи, не скользят по травяным кочкам и холмикам, а словно взлетают над землею. Будто кто-то невидимый подхватил и перенес через минное поле истрадавших людей. А нелюди в украинской форме бандеровцев, с жадностью ожидавшие взрывов и смертей, спохватившись, заорали, начали полосовать очередями минную балку, но поздно.... Люди ушли. Это всё Колька уже не слышал. Он шагал вместе с людьми по мокрой траве, уходя за редкий лесок, покидая свой разрушенный дом, храм, свою дорогу Новосветловку, повторяя: “Спаси, Господи, люди Твоя!..”

И словно не вынесло небо этого бесовского бесчинства на древней Святой земле, Небесные Силы властно положили предел мучению людей, кои пережили все, не отступив от Христа.

В этот же вечер началась и всю ночь продолжалась сильнейшая атака всех сил ополчения. Каратели сгорали в танках, взрывались в машинах и среди боекомплектов, падали от пулеметного огня и исчезали, испаряемые “Градами” и “ПТУРСами”. Предатели-иуды, сдававшие на расстрел односельчан, родственников воюющих ополченцев, бежали, бросив всё, цепляясь за остатки бегущей также украинской армии. А армия эта катилась в ужасе к поселку Изварино, где ополченцы Луганской народной республики готовили ей справедливое возмездие за лютые преступления — “Изваринский котёл”.

Эпилог

— Матушка, а где Николин образок? Ну, бумажный, тот самый?

— Какой, батюшка? Наш? То есть Аниутин?

— Ну да, бабушкин и твой...

— Колька в портфеле носит. Говорит папку от двух смертей спас и меня не оставит.

— Конечно, не оставит! Не потерял бы только. Ну, готова?

— Готова, отче. Благослови.

Из небольшого аккуратного домика на территории Храма Покрова Божьей матери вышла красивая пара: статный белокурый священник со светлой мягкой бородкой и стройная голубоглазая девушка с русой косой в легком белом платке. Отец Николай и матушка Светлана (Фотинья), ласково приветствуя прихожан, вошли в храм. Через некоторое время храм наполнился бархатным глубоким голосом настоятеля иерея Николая: “Спаси Господи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси... Спаси Господи Самодержавного Царя...”.

К дверям храма подлетел велосипед, с него соскочил белобрысый мальчишка лет семи. В руках у него был букетик голубых незабудок.

— Колька! Ты на праздничную службу опаздываешь! Папка накажет, а Николай Угодник обидится, — не проговорила, а пропела сидящая на лавке невысокая бойкая девочка с рыжим хвостиком на голове.

— Да я цветы собирал к празднику. Настя! — мальчик Колька сунул цветы девочке, что-то достал из кармана и присел рядом на лавочку. — Вот гляди, икона Николы Чудотворца!

— Та самая?

— Да...

— Теперь твоя будет?

— Ну, если папка... ну то есть батюшка благословит.

Девочка с серьезным видом внимательно рассматривала иконку, улыбувшись сказала:

— Благословит. Идем скорее в Храм.

— Идём, — улыбнулся Колька.

Дети, взявшись за руки, вошли в церковь.

Солнечные лучи горели, отражаясь на позолоченном огромном новом куполе Храма, и свет это был виден далеко через поля, перелески и дуга Новосветловки.

ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ



ПОТОК БЫТИЯ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДОК

Провинциальный городок
Касимовом зовётся...
Здесь детства моего исток —
Ока под сердцем бьётся.
Глухие улочки его
И вьются, и пегляют...
Однако более всего
Овраги удивляют
Да церкви белые... А им
Должно быть лет под триста,
Обдuty ветерком тугим...
И птичьим пересвистом
Наполнен древний городок,
Где текие* мечети
Напоминают мне Восток,
Что есть такой на свете.
Я в этом тихом городке
Сто раз за жизнь влюблялся...

МОРОЗОВ Геннадий Сергеевич родился в 1941 году в г. Касимове Рязанской области. Окончил Касимовский индустриальный техникум и Литературный институт в Москве. Работал в геологических экспедициях в Карелии и Якутии. Был редактором в издательстве "Лениздат". Автор более десятка книжек поэзии и прозы. Член Союза писателей России. Живёт в г. Касимове Рязанской области.

* Текие — мусульманские захоронения.

В любви же клялся лишь... Оке,
Где голышом купался.
Ты в этом городе любя
Была мне... Но уехал
Я в Ленинград, звала судьба,
Там я вкусил её "хлеба"...
В ней больше слёз, чем смеха.
Но я держусь ещё пока,
Ритмично бьёт сердечко.
И свет родного городка
Горит во мне, как свечка!

ПОТОК БЫТИЯ

*Памяти Валентина Григорьевича
Распутина*

*Всё сущее опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них.
Ф. И. Тютчев*

Лиловые тучи, багровый рассвет,
Щебечущий весело птичник...
В росе земляничник, в росе бересклет,
В росе ежевичник.
А неоглядный равнинный простор
Доносит до слуха,
Как стонет мещёрский, редуемый бор
Протяжно и глухо.
За стоном протяжным не услышать
Твой шелест, осина.
Лишь мертвенно зыбится водная гладь
Свинцовой стремнины.
Лишь волны бегут на прибрежный песок,
Борясь с валунами.
И русской природы таинственный ток
Проходит меж нами.
Он зябкими росами смутно звенит.
Притихни и слушай.
Не он ли связует, не он ли роднит
Славянские души?
Не он ли, смятенный, таится во мне
И рвётся наружу:
При солнце и звёздах, мелькнувшей луне,
В жарищу и стужу?
О неукротимый поток Бытия,
Воздушный, незримый!
В нём жизни частица мерцает моя,
Землёю хранима.
Мерцай и не гасни! Ликуй и резвись
В космической ряби...
Вот-вот и объемяют небесную высь
Вселенские хляби.
И гибельный вихорь боднёт бурелом,
Угоры и кручи.
И молнии огненным стянут узлом
И хляби, и тучи.
И воды обумет смертельная дрожь,
Разверзнутся глуби...
...И нас поцелует Чернобыльский Дождь
В безмолвные губы.

СТАРЫЙ САД

Константину Воронцову

...А скоро тучки засинеют,
Набухнут влагою... И вот
Сверкучим ситничком* засеют
Мой старый сад и огород.
Я избяную дверь открою...
Едва порог перешагну —
В лицо пахнёт землёй сырою,
Я сырь и прель её вдохну.
И опанёт меня прохлада...
Замкнусь. И стану молчалив.
И явит взору сумрак сада
Ветвей чернеющих извив.
О, старый сад, насквозь промокший,
Ты всех мне близких пережил...
От бральной жизни изнемогший,
Как ты печален и уныл!
И хоть сегодня день ненастный,
Ты доверяешься ему,
Продрогший, блёклый, безучастный
И безразличный ко всему.
Та жизнь, которой жил когда-то,
Истаяла... И ты поник.
Живёшь, смятением объятый,
Но не срываешься на крик.
Вдыхая лиственное тленье,
Плоды роняешь в тишине...
Едва-едва сдержав волненье,
Храня завидное терпенье,
Совсем не свойственное мне.

В ЗИМНЕМ ПЕРЕДЕЛКИНЕ

О, как было тихо, покойно кругом
И сумрачно! Звёзды светили...
Я шёл в Переделкино, хрупал снежком,
И руки от холода ныли.
И веяло сырью от снежной гряды,
Кололись сосульки со звоном.
Темнели таинственно сосен ряды
Над белым кладбищенским склоном.
А где-то вдали, от меня в стороне,
Где сосен смыкались верхушки,
Посвечивал тускло при бледной луне
Задумчивый купол церквушки.
Казалось, что яркого не было дня
И не было нашей разлуки.
Подлунная мгла окружала меня,
Меня и краски, и звуки.
И слышно мне было, как в тишине
Ольху и осину знобило.
...Зима ещё длилась, но отзвук во мне
Она уже не находила.

*Ситничек — мелкий морозящий дождь (мест., рязанск.).

ПРИВЫКШИЙ К ПЕРЕМЕНАМ...

Как неустойчива погода!
Вчера был снег, а нынче дождь...
Дурной характер у природы.
Кто говорит — хороший... Ложь!
Но я, привыкший к переменам,
Спокойно их перетерплю...
Я даже женщине измену
Прощу, когда её люблю.
Прощу за то, что не любила,
Не укоряя, не кляня,
Чтоб милосердьем осенило
И благодатию меня.
И не на год — на многи годы...
Чтоб добрым был я, а не злым
В часы осенней непогоды
Под серым небом ветровым,
Где не мелькают нынче птицы,
Крылом и клювом поводя...
Лишь лёгкий облак светлолицый
Дырявят капельки дождя.
И я, прищурясь, озираю
Небес и даль, и высоту,
От коих взгляд не отрываю...
Но как мне выразить — не знаю! —
Всю эту Божью красоту.

УТЕШЕНИЕ

Те женщины красивые, которых
Я так любил, состарились они.
Угасли их взывающие взоры
Среди мирской, пустышной толкотни.
Нет, нет, они, конечно, не забыли,
Как мне дарили трепетную плоть...
Они меня за многое простили,
Поскольку их самих простил Господь.
Я тоже у него прошу прощенья...
За все грехи, о Господи, прости!
Сломи гордыню, дай мне утешенья,
Спрями к Тебе ведущие, пути.
Я нынче утешаюсь самым малым,
Словесный зов в душе своей храня...
Нет у меня ни злата и ни славы,
Зато есть хлеб духовный у меня,
Да чувства чистые, что я когда-то
С любимой разделял... Ну, а её
Науськивал бесёнок нагло: «
“Очнись! Его признания... враньё!”
Как странно! Я ничуть не оскорбился...
И злым не стал от злобы и хулы,
Но вдруг почувствовал, как весь преобразился,
Как будто надо мною засветился
Тот зыбкий луч, что вырвался из мглы.

*Поздравляем нашего друга и автора,
рязанского поэта Геннадия Морозова с 75-летием!*

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ



ЭКЗАМЕН ПО НАУЧНОМУ КОММУНИЗМУ

РАССКАЗ

Это было в конце шестидесятых годов, теперь уже прошлого, двадцатого века...

Летняя сессия на нашем охотоведческом факультете должна была закончиться к десятому июня. Однако уже в первых числах этого месяца — крайний срок! — я и мой сокурсник Серёга Мухин должны были прибыть на Командорские острова...

Туда из Тихого океана после зимовки на мелководной Банке Стейлмента начнут возвращаться на свои лежбища, для разведения потомства, морские котики. Вернее — котихи, поскольку двухсоткилограммовые секачи-самцы, в отличие от миниатюрных, редко превышающих вес в пятьдесят килограммов самочек, уже находятся, начиная с апреля, на всех постоянных лежбищах Командор, два из которых расположены на острове Беринга и два — на острове Медном. На этих лежбищах самцы и занимают заранее прибрежные участки суши для будущего, состоящего в среднем из сорока—пятидесяти самок, гарема, устраивая между собой порою нешуточные драки в отстаивании своего права на облюбованный участок.

МАКСИМОВ Владимир Павлович родился в 1948 году в селе Кутулик Иркутской области. Окончил охотоведческий факультет Иркутского сельскохозяйственного института; в 1987 году — Литературный институт им. М. Горького. Работал буровым мастером, грузчиком, учителем, был научным сотрудником Лимнологического института на Байкале, принимал участие в экспедициях по изучению котиков в Тихом океане. Много лет проработал корреспондентом городских, областных и региональных газет. Автор нескольких книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

Подход к островам самок, их расселение и дальнейшую жизнь котячьего сообщества до появления потомства нам с Серёгой Мухиным и предстояло отследить, пробыв на Командорах практически всё лето. Эта наша “производственная практика” по изучению повадок именно данного вида ластоногих была согласована с Тихоокеанским институтом рыбного хозяйства и океанографии, сокращённо ТИНРО, находящимся во Владивостоке. С сотрудниками этого института мы заранее списались, и из Владивостока в Иркутск был направлен именной вызов в деканат охотоведческого факультета на меня и Серёгу.

Отчётом же перед родным институтом и ТИНРО, в том числе и за то, что государство не зря потратило деньги на двух студентов, заканчивающих третий курс и отправляющихся из Иркутска на “край географии”, должна была стать очередная курсовая работа, копию которой необходимо было отослать впоследствии, после её написания, вместе с “полевыми дневниками” во Владивосток, в лабораторию ластоногих ТИНРО.

Да, в те незабвенные социалистические времена не студенты платили за своё обучение, как это зачастую происходит теперь, во времена олигархического капитализма, распустившегося (в обоих значениях этого слова) в нашей стране пыльным цветом, будто чертополох или иная сорная трава. В те же советские времена платили студентам. И за проезд к месту практики и обратно, да начисляли ещё и стипендию, если, конечно, учёба шла успешно, не только за учебные месяцы, но и за месяцы прохождения практики. К тому же во время самой практики можно было неплохо заработать, что мы с Серёгой, собственно говоря, и намеревались успешно сделать, заключив с ТИНРО соответствующий договор.

Однако чтобы всё это осуществить и прибыть на острова своевременно, нам нужно было, кроме сдаваемых по графику и уже сданных зачётов и экзаменов, сдать два зачёта и один экзамен досрочно. Разрешение на это от декана факультета Николая Сергеевича Свиридова, всегда идущего навстречу студентам, а заодно и “автомат” по его курсу “Морской зверобойный промысел” (раз уж мы едем изучать морских зверюг!) нами был получен. Так что нам, кроме плановых зачётов и экзаменов, надо было сдать досрочно ещё зачёт по “Основам дарвинизма” и экзамен по “Научному коммунизму”, который вела на нашем курсе молодая и очень привлекательная преподаватель Ирина Сергеевна. На её лекциях, как на некоторых прочих, казавшихся студентам не такими уж обязательными, прогульщиков почти не бывало. Хотя многие из будущих бравых охотоведов (а на этот факультет тогда принимали только парней) вместо того, чтобы внимательно слушать собственно лекцию Ирины Сергеевны, сосредотачивали своё внимание совершенно на иных вещах. Например, любовались не только её чистым красивым лицом, стройными ногами и ладной фигурой, но и другими частями тела. Особенно теми, словно просящимися наружу и из плотно облегающей бёдра серой юбки чуть выше колен, и из идеально сидящей на ней светлой кофточки с длинным рукавом, из которой тоже было чему проситься наружу, так сказать, на простор. Может быть, именно поэтому на этой самой кофточке порою нестерпимо хотелось, в дополнение к двум уже расстёгнутым верхним пуговкам, расстегнуть ещё и третью, и четвёртую (всего их было, кажется, пять — маленьких чёрненьких, как глазки ласкового зверька, пуговок). Для большего (чисто эстетического, разумеется) созерцания слегка кольшущейся при ходьбе у доски или между рядами груди, разделяемой короткой (перпендикулярно полу) “стрелкой”, уходящей дальше куда-то круто вниз, как с обрыва, под застёгнутые пуговицы, отчего была видна только верхняя, такая пленительная часть “айсберга” с идеальной белой кожей.

Зачёт по “Основам дарвинизма”, пожалуй, старейшему преподавателю факультета Нарциссу Исаевичу Литвинову, всегда изысканно одетому, с вечной ироничной улыбкой и весёлой лукавинкой в глазах, мне удалось сдать лишь со второго, а Серёге — с третьего захода. Когда мы пришли в кабинет к Нарциссу Исаевичу для передачи зачёта во второй раз, он, по своему обыкновению слегка улыбку и рассеянно глядя в окно на институтский

двор (за деревянным забором которого сразу начиналась усадьба декабриста князя Трубецкого, сосланного императором Николаем I в Сибирь за восстание на Сенатской площади 1825 года), чуть помедлив и повернувшись к нам, с уже совершенно весёлым выражением лица, словно мы только что рассказали ему забавный анекдот, спросил:

— Вот что, дорогие дарвинисты, я не стану мучить вас коварными вопросами, которые задавал на предыдущей нашей встрече. Надеюсь, что кое-какой материал вы проштудировали за те три дня, что мы с вами не виделись. Задам простенький вопрос обоим. Кто на него ответит первым — получает зачёт. Итак, полное имя Ламарка?

Серёга сдвинул к переносице свои широкие брови, нахмурил лоб, изображая нешуточный мыслительный процесс. Он даже для пущей важности зашевелил губами, будто мысленно уже произнося имя этого французского естествоиспытателя, предшественника Дарвина, который вместе с немецким учёным Тревиранусом в 1802 году ввёл в научный оборот термин “биология”. После недолгого раздумья он произнёс с вопросительной, впрочем, интонацией:

— Жан Батист Ламарк?

— Это не полное имя, — ещё лучезарней улыбнувшись, ответил Нарцисс Исаевич.

Больше никаких звуков из шевелящихся Серёгиных губ не последовало.

Преподаватель вопросительно, с нескрываемой иронией посмотрел на меня.

— Может быть, вы ответите? — спросил он, слегка покачиваясь за столом на стареньком, жалобно поскрипывающем стуле.

— Жан Батист Пьер Антуан де Моне шевалье де Ламарк! — чётко отчеканил я, выдержав необходимую паузу. И ловя на себе два любопытных, скрестившихся, словно лучи прожекторов, высматривающих в чёрном небе вражеский самолёт, взгляда — Серёгин и Нарцисса Исаевича. Честно говоря, я до сих пор не знаю, по какой такой причине запомнил наизусть накануне зачёта полное имя Ламарка.

— Ну, что ж, — чуть помедлив, произнёс преподаватель, переставая покачиваться, — давайте вашу зачётку.

Поставив в нужных графах зачёт и красивую витиеватую подпись, Нарцисс Исаевич уже суховаты, без всегдашней улыбки, возвратив зачётную книжку, произнёс мне:

— Свободны.

Выходя из кабинета, я уловил тоскливый и как будто о чём-то молящий меня взор Серёги и уже вновь ироничный взгляд Нарцисса Исаевича, устремлённый на моего товарища.

Минут через десять из кабинета в коридор, где я его поджидал, вышел Серёга. Веснушчатое его лицо было до удивления красным, словно он решил поработать светофором или стать привлекающим к себе всеобщее внимание первым помидором, привезённым на сибирский рынок из Ташкента ранней весной.

— Велел прийти через два дня, как следует подготовив ещё и сегодняшние вопросы, — угрюмо сообщил он, кивнув на прикрытую дверь. — И откуда он их только берёт?! И каждый раз всё новые, — искренне изумился мой товарищ. — Мы же с тобой вроде весь курс прочли, — уже менее уверенно закончил он.

— Значит, не весь, — включился я в разговор. — А может быть, и конспекты, что ты взял у старшекурсников, были не полные. Он же, говорят, каждый год свой курс дополняет какими-то новыми сведениями. А мы ведь с тобой его лекции до конца не дослушали. Вот он и тычет нас мордой об стол, чтобы знали своё место.

— Да... — только и молвил Серёга, шагая со мной по длинному гулкому пустынному коридору к читальному залу библиотеки, расположенной напротив центральной лестницы с двумя параллельными пролётами, ведущими со второго этажа. В “читалке” мы планировали начать готовиться к экзамену по “научному коммунизму”.

— Знаешь, Макс, — тормознулся Серёга, не дойдя двух шагов до двусторонней двери читального зала, — я, если “Дарвинизм” с третьего захода не осилю, оставляю “хвост” на осень. Да и “Коммунизм” сейчас сдавать не буду. Не успею подготовиться. Тем более что в этом году все как посудрели. Любое дело окрашено теперь у нас в стране предстоящим на следующий год столетним юбилеем вождя мирового пролетариата — Владимира Ильича Ленина! — словно передразнивая передовицы газет, раздражённо произнёс потенциальный двойной хвостист. — Заранее начали готовиться! Об этом только и талдычат теперь повсюду. А сколько нелепых порою сувениров с изображением вождя понаделали! Хорошо, что хлеб ещё выпекают без его чеканного профиля! А конфеты точно скоро, помняи моё слово, начнут с цитатами из его работ на обратной стороне фантиков производить. Типа: “Ешьте меньше, да лучше!”; “Шаг вперёд — два шага в сторону!”; “Империализм и эмпириокретинизм”*, ну и так далее.

— Да ты, Серёга, прямо знаток ленинских работ, — вставил я, но мой товарищ, не обратив никакого внимания на мою ироничную реплику, продолжал говорить о наболевшем.

— Уверен, что и наша “коммунистическая дама” будет лютовать не хуже Нарцисса, хотя и выглядит такой белой и пушистой.

— А при чём здесь Дарвин и Ленин? — снова встрял я.

— Да ни при чём, — вяло согласился Серёга. — Это я так, к слову. Так что иди, готовься к “Коммунизму”, — кивнул он на дверь библиотеки, — а я — в общагу. “Дарвинизм” долбить. Кстати, нам с тобой дней через пять надо в Петропавловск вылетать, чтобы на экспедиционное судно успеть. А оно уж через неделю отходит, — закончил Серёга свой печальный монолог.

— А я всё-таки попробую “Научком” спихнуть. Тем более что договорился с Ириной Сергеевной о том, что мы придём к ней в общежитие преподавателей через три дня. И прямо у неё дома сдадим экзамен. Глядишь, и чайком угостит, — размышлял я. — Ведь она старше-то нас года на четыре, не больше.

— На восемь, — уточнил всё знающий о подобных вещах Серёга. — Ей двадцать девять. Сведения из достоверных источников, — солидно добавил он. — А что касается чая, то я бы с такой женщиной с удовольствием... и не только чая попил, — проговорил он с мечтательной улыбкой и потянулся до хруста в костях. — Эх, такая баба пропадает! — продолжил он. — Поздно-вато мы с тобой, Макс, родились. Так что губу-то особо не раскатывай. Вряд ли тебе там чаёк обломится. Мы для неё щенки. Вот Нарцисс Исаевич, будь он лет на двадцать помоложе, был бы ей в самый раз... Но зато, — перевёл он тему разговора, — мы с тобой скоро по тем местам на судне пройдем, где занимался зверобойным промыслом Джек Лондон! Да и на Командорах он, кажется, бывал! — совсем оживился Серёга. Долго грустить мой приятель не умел.

* * *

Общежитие для преподавателей вузов и аспирантов располагалось в бывшем “Морском храме” — Харлампиевской церкви.

В прежние времена, отслужив в нём молебен, и поставив свечи перед иконой Николая угодника — покровителя путешествующих и странствующих — отправлялись в дальние моря экспедиции Григория Шелехова, названного Михаилом Ломоносовым “Русским Колумбом”, и других купцов. Отбывали на Аляску, в “Русскую Америку”, открытую и обжитую, в основном, сибиряками, и в другие дальние места.

В этом храме (после научной полярной экспедиции на судне “Заря” под предводительством Толля, пропавшего без вести в 1902 году при переходе по неокрепшему льду с острова Беннетта) в 1903 году со своей невестой Тими-

* Перефразированные работы В. И. Ленина: “Лучше меньше, да лучше”; “Шаг вперёд, два шага назад”; “Империализм и эмпириокритицизм”.

рёвой, приехавшей в Иркутск из Петербурга, венчался будущий адмирал Российского флота Александр Васильевич Колчак.

В мои же студенческие годы, по-видимому, некогда очень красивый большой храм представлял собою жалкое зрелище. Куполов с крестами на нём не было. А вот следы разора и запустения, как говорится, повсюду были налицо. И порою создавалось такое впечатление, что власти просто не ведают, что делать с этим “памятником архитектуры”. Разрушить такую махину, как были до того разрушены десятки церквей и соборов, хлопотно. Переоборудовать во что-то иное — ещё хлопотнее. Оставить на дальнейшее саморазрушение — также не годится. Центр города. Иностранные туристы из близлежащей гостиницы “Интурист” шныряют то и дело и фотографируют эту бесхозность. Одним словом — головная боль для властей предрежающих этот бывший “Морской храм”, вступив в который из солнечного майского дня, я ощутил какую-то сумеречную прохладу и явственный запах плесени.

Отыскав среди множества дверей нужную мне, под номером 3 (и вскользь подумав о том, что тройка бы мне вполне хватило, только бы уж поскорее свалить эту сессию), обитую, видимо уже очень давно потрескавшимся и некогда чёрным дерматином, я постучал по косяку, ибо звонок отсутствовал. Отчего-то с замиранием сердца, словно вступал в зазеркалье в стране чудес, ждал ответа и услышал через короткое время звонкое и бодрое:

— Войдите!

На миг мне представилось, что за растворённой дверью я увижу светлую, хорошо обставленную современной мебелью комнату. И Ирину Сергеевну, сидящую на мягком просторном диване в шёлковом халате с драконами, схваченным на её изящной талии шёлковым, как и халат, тонким пояском, а оттого, пусть и нечаянно, но смело распахнутом и сверху и снизу.

Однако всё оказалось гораздо прозаичнее.

Ирина Сергеевна была всё в той же серой, плотно облегающей её бёдра юбке и светлой кофточке, как и на лекциях, увы, с двумя, не более, расстёгнутыми сверху пуговками.

— А почему вы один? — спросила она недоумённо. — Вас же должно быть двое?

— Мой товарищ решил сдавать экзамен осенью, — как ефрейтор генералу, чётко отпарторвал я. И уже не так подобострастно добавил: — У него возникли проблемы с Дарвином.

— С самим Дарвином? — деланно удивилась Ирина Сергеевна и, улыбувшись, добавила: — Или с Нарциссом Исаевичем всё же?

— С “Основами дарвинизма”, — уточнил я, пытаясь неловко улыбнуться ей в ответ. И удивившись тому, как мгновенно, будто её там никогда и не было, приветливая улыбка сошла с её красивых капризно-пухлых губ.

Лицо стало непроницаемо официальным, и я подумал, что, наверное, Серёга в своих прогнозах был прав. И эта тоже будет лютовать, не сжалившись над бедным студентом, стремящимся в океан, на простор, на волю волн!

— Извините, что я вытащила вас к себе, — прервала мои не очень весёлые мысли Ирина Сергеевна. — Не хотелось мне ехать за город, в основной корпус. Тем более что лекций у меня сегодня нет. А в вашем охотоведческом здании, хоть оно и недалеко от центра города, но пришлось бы искать место, с кем-то договариваться о свободной аудитории или кабинете, а это, согласитесь, неудобно.

Она словно оправдывалась, и мои тяжкие предчувствия стали как-то меркнуть. “Однако чаем здесь, всё же, и не пахнет”, — понял я, слушая её объяснения и разглядывая комнату с единственным очень высоким окном и множеством переборок в раме, как бы разделяющих тянущееся вверх стекло на небольшие квадраты. Подоконник окна по ширине был, наверное, не менее чем метра полтора.

“Да, раньше стены клали — не чета нынешним. Особенно этим панельным бетонам в многочисленных безликих, а точнее — на одно лицо микрорайонах”, — мысленно похвалил я стародавних строителей.

Посреди довольно просторной комнаты стоял старинный круглый стол и два тоже не новомодных венских стула. Рядом с вытянутым окном, по всей

видимости, встроенный в нишу стены, до самого высокого потолка громоздился прямо-таки громадный чёрный шкаф, вызвавший у меня весьма сложные ассоциации. С одной стороны, он показался мне похожим на огромный, будто для сказочного богатыря, квадратный гроб, а с другой — этот шкаф, с его лёгкими фанерными длинными дверцами, одновременно будто бы был выходом, вернее входом в иной, таинственный, волшебный мир. Стоило только с лёгким скрипом отворить эти дверцы и ступить в него.

Ирина Сергеевна перехватила мой взгляд и, кивнув на шкаф за своей спиной, пояснила:

— Наследие прошлых времён. Впрочем, так же, как стол и стулья. По-видимому, прежде в этом шкафу хранилось церковное облачение... А мне порою, особенно на закате, кажется, что дверцы этого шкафа внезапно отворятся, и из него выйдет былинный, огромного роста богатырь, готовый исполнить любое моё желание.

“Надо же, она тоже про богатыря подумала. Значит, есть в этом шкафу действительно что-то богатырское”, — мелькнула у меня попутная мысль.

За ширмой, тоже старинной, с четырьмя створками, обтянутыми шёлковой тканью с каким-то замысловатым узором, слева от входной двери, скорее всего, помещалась кровать.

Ирина Сергеевна вновь, и теперь уже с неудовольствием, отчего она слегка нахмурила брови, перехватила мой изучающий обстановку её комнаты взгляд.

— Ну, что ж, — официальным тоном, произнесла она, прервав моё созерцательное состояние. — Начнём, пожалуй.

Она веером, достав их из сумочки, стоявшей на стуле, разложила на столе обратной стороной кверху экзаменационные билеты и, чуть улыбнувшись, предложила:

— Тяните своё счастье.

Я взял крайний слева билет, в котором было два вопроса.

Первый, про базис и надстройку в социалистическом обществе, я более-менее помнил по лекциям. А вот второй — “Моральный кодекс строителя коммунизма” — не знал вообще. Вернее, знал лишь понаслышке. Из прочитанных кое-где мимоходом лозунгов, касающихся этого самого кодекса. Сама же Ирина Сергеевна в своих лекциях до этой темы ещё не дошла.

— Присаживайтесь, — указала она на стул, убирая остальные билеты на край стола.

Я сел. Достал из портфеля ручку и лист бумаги, но вместо того, чтобы думать над вопросами, вдруг припомнил нечто давнее, казалось, навсегда уже забытое.

Мне было тогда, наверное, лет двенадцать. И вот однажды в поселковом клубе на стене рядом с небольшим глубоким квадратным оконцем кассы я прочёл красочный лозунг: “Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!” — уверенно утверждалось в нём.

На строительство коммунизма тогдашним Генеральным секретарём коммунистической партии и фактическим правителем государства — Хрущёвым — отводилось двадцать лет. С 1960-го по 1980 год. Несомненно, я мог считаться “нынешним поколением советских людей”. Поэтому, прочитав столь оптимистичный и радостный для меня лозунг и, естественно, не подвергнув его сомнениям, я огорчился только из-за того, что ждать коммунизма придётся ещё так долго. Тогда я ещё не ощущал, что года, десятилетия мелькают очень быстро, подобно небольшим станциям, едва уловимым взглядом из окна несущегося мимо них поезда. И ещё огорчило меня то, что я уже буду, по моим тогдашним соображениям, почти стариком. Ведь к 1980 году мне исполнится тридцать два года!

Но зато там, в этом “светлом будущем” всё будет по-другому, не так, как сейчас, когда мама вынуждена работать медицинской сестрой в воинской части то на полторы, то на две ставки, прихватывая частенько и выходные и праздничные дни, для того чтобы побольше заработать, чтобы семья не чувствовала ни в чём нужды и в доме был необходимый достаток. Дополнительные сведения о “светлом будущем”, ещё прежде, я тоже почерп-

нул из лозунгов, прочитанных мною не то в продуктовом магазине, не то в маминной санчасти, куда я частенько приходил в обед поесть из солдатского котла, точнее, из предназначенной для дежурной медсестры порции. Там, на этих тоже красочных небольших бумажных плакатах, выполненных типографским способом, разъяснялось, что рабочий день будет четырёхчасовой. И, самое главное, что там, при коммунизме, будет действовать принцип: “От каждого по способностям — каждому по потребностям!”

И когда я начинал думать об этом счастливом будущем, то мне оно представлялось почему-то всегда одинаково.

Вот я, уже взрослый, в бостоновом в полоску костюме (а именно такие при выходе на свободу приобретали себе недавние сидельцы лагерей — основные строители коммунизма, строившие наш город), в светлом плаще реглан, мягкой серой шляпе (в плащи и шляпы одевались уже бывшие недавние фронтовики), в блестящих тёмно-коричневых штиблетах с рантом... Само собой разумелось, что я высок, строен, красив, как доктор Журавлёв из маминной санчасти, года два назад, приехавший туда работать после окончания московского мединститута. У меня в руках небольшой лёгкий чемоданчик, так называемая “балетка”. С такой отец обычно ходил со мной по субботам в баню, укладывая в неё чистые трусы, майки, полотенца... Я стою на блестящем (как мои туфли) от недавнего дождя перроне у дверей влажного зелёного вагона поезда дальнего следования. Длинный ряд окон этого вагона так же чист, как глаза девушки-проводницы, стоящей у вагона в ожидании пассажиров.

Из нагрудного кармана свободного двубортного пиджака я достаю билет и протягиваю его этой симпатичной, улыбающейся именно мне, потому что у вагона больше никого нет, проводнице.

Куда идёт этот проходящий мимо нашего города поезд, где они обычно стоят лишь две минуты, я не загадывал. Но думалось мне, что обязательно куда-то очень далеко, подальше и от нашего города, и от нашего посёлка с его грязью на дорогах и коровьими лепёхами посреди улицы, с его неказистыми бараками на восемь квартир, в которых мы тогда жили. Наверное, мне грезились юг и море...

Много лет спустя я прочёл у Николая Рубцова в чём-то сходное по ощущениям с моими тогдашними мечтами стихотворение:

*Стукнул по карману — не звенит,
Стукнул по другому — не слышать...
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать.*

— Сразу будете отвечать или вам необходимо какое-то время на подготовку?

Вопрос Ирины Сергеевны вернул меня из дальнего далека (впрочем, лишь девятилетней давности) к действительности.

— Буду готовиться, — рассеянно ответил я.

— Хорошо. А я тогда пока выпью кофе, — приятным ровным голосом проговорила Ирина Сергеевна.

Она вышла из комнаты, а я лихорадочно, в чужом конспекте, которым меня снабдил Серёга, раздобыв у знакомых старшекурсников, испуганно реагируя на каждый шорох за дверью, попытался найти ответ на второй вопрос.

Минуты через две Ирина Сергеевна вернулась в комнату с источающей приятный аромат чашечкой кофе, при этом сделав вид, что не заметила, как я поспешно и неуклюже прячу в портфель общую тетрадь. А я сделал вид, что достаю из портфеля ещё один чистый лист бумаги.

Ирина Сергеевна подошла к окну, немного постояла возле него, рассеяно глядя на цветущую, заполнившую всю нижнюю часть окна сирень, а потом уселась с ногами на широкий подоконник, скинув на пол пушистые тапочки. Юбка у неё заметно приподнялась выше колен и туго обтянула бёдра. Вид был, надо сказать, просто изумительный! Но мне, увы, было сейчас не до него.

Ирина Сергеевна маленькими глотками, с видимым удовольствием пила кофе, время от времени ставя чашку на подоконник рядом с собой и завороженно глядя в эти моменты на пышную сирень, заметно затеняющую нижнюю часть высокого окна.

— Ну что, готовы? — спросила она через какое-то время, вставая с подоконника, оставив на нём изящную пустую чашечку из тонкого фарфора, стенка которой красиво просвечивала на свету.

Если учитывать мои мысленные переживания, связанные с Ириной Сергеевной, то её вопрос прозвучал весьма двусмысленно. И на свои смелые мечты я мог бы ответить, как юный пионер: “Всегда готов!” Но реалии были иными, и я осипшим отчего-то голосом ответил: “Да”, — решив про себя, что “двум смертям не бывать, а одной не миновать!”

— Достаточно. Этот вопрос вы знаете, — прервала мои пространные разглагольствования о базисе и надстройке Ирина Сергеевна. — Переходите ко второму.

Сидя напротив меня и, по-видимому, думая о чём-то своём, она машинально перебирала лежащие на краю стола билеты, то складывая их в стопку, как карточную колоду, то рассыпая веером, будто гадала на свою судьбу.

— Ну, что же вы молчите? — перевела она свой рассеянный взор от билетов на меня, когда пауза уж слишком затянулась. — Это же простой вопрос. Достаточно читать газеты, чтобы найти на него ответ. (Мне так захотелось ответить ей словами профессора Преображенского, из “Собачьего сердца” Михаила Булгакова, дающего совет своему коллеге-врачу: “Вы только не читайте перед обедом советских газет — это ухудшает пищеварение...” А к тому же я газет почти никогда не читал.) Правда, здесь нужны точные формулировки, — добавила она, после небольшой паузы. — На первый вопрос вы ответили очень хорошо, — подбодрила она меня.

На несколько секунд память вдруг унесла меня в ещё более раннее детство.

Я вспомнил как, став пионером (о чём давно мечтал), выбросил на мойку медные крестики — свой и младшей сестры, с которой нас одновременно крестили в Бурятии, в Улан-Удэ, где тогда жили наши родители. Мне было уже два года, а сестра только родилась. И потом крестики эти в те атеистические времена, когда Никита Сергеевич Хрущёв “грозился” не только построить коммунизм, но и показать “мировой общественности” последнего попа Советского Союза, хранились у мамы в комодке под стопкой чистых полотенец.

Бабушка, мамина мать, жившая тогда у нас, узнав о моём поступке, очень огорчилась. А по утрам к общим молитвам прибавила ещё и молитвы за меня. И теперь, проснувшись раньше времени, ещё в черноте раннего зимнего утра, я видел за шторкой, отделяющей бабушкину кровать, стоящую у шкафа, на боку которого была приделана лампадка и старая, почерневшая от времени икона, тёплый, таинственный, красноватый свет этой лампадки, простирающийся из-за ситцевой ткани, и кланяющийся бабушкин силуэт. Слышал среди непонятных мне слов, произносимых ею шёпотом, и понятные:

— Господи, — просила Ксения Фёдоровна, — просвети моего внука Владимира. Наставь его на путь истинный. Спаси и сохрани его от всякого зла и козней бесовских. Прости ему грехи его...

Может быть, благодаря бабушкиным молитвам мой воинствующий атеизм, культивируемый в школе, в основном, нашей пионервожатой — задорной, весёлой девушкой с вздёрнутым маленьким носиком и жизнерадостным румянцем во всю щёку — как-то незаметно пропал. И я всё чаще стал задумываться о смысле жизни и смысле смерти. Об этих великих тайнах. И как-то, когда бабушка ушла в стайку доить корову, я зашёл в её закуток и взял с полочки небольшую книжку “Евангелие”.

Присев тут же на кровать, аккуратно застеленную разноцветным лоскутным одеялом, начал её читать.

За чтением Евангелия и застала меня Ксения Фёдоровна.

Погладив меня по голове, она присела рядом. От неё так хорошо пахло молоком и как будто таким особенным, приятным, тёплым коровьим дыханием. Обняв меня, она негромко сказала: “Знаешь, внучек, можно не верить в Бога. Как говорится, не веришь — не верь, но богохульствовать всё же нельзя! Особенно о том, чего мы не знаем и понять своим скудным умом до конца не можем”.

— А тебе, кстати, понятно, что ты прочёл? — спросила она через некоторое время, кивнув на Евангелие в моих руках.

— Не всё, — почему-то тихим голосом ответил я.

— Ну, тогда давай будем вечерами, вместо Пушкина, вместе эту книжку читать. А что тебе будет непонятно, я буду объяснять. Только в школе, и особенно пионервожатой вашей, об этом лучше не говорить. Договорились?

— Договорились, — снова тихо ответил я, чувствуя тёплый бабушкин бок и её любовь ко мне. И от всего этого, такого хорошего, мне вдруг захотелось плакать.

Теперь, иногда по вечерам, неподолгу, бабушка стала читать мне Евангелие, многое из которого я воспринял как чудесную и в то же время страшную сказку. А кое-что из всех четырёх Евангелий — от Марка, Матфея, Луки, Иоанна — запомнил цепкой детской памятью на всю жизнь. Особенно вот это: “Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе”.

— Ну, что?.. — будто подталкивая меня к краю пропасти, уже нетерпеливо спросила Ирина Сергеевна, бросив взгляд на настенные часы.

— Не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и люби ближнего, как самого себя... — начал я монотонным голосом и увидел, как глаза Ирины Сергеевны округлились, а взгляд из рассеянного стал как будто бы даже испуганным и недоумённым, словно я готовил ей какой-то коварный подвох. — Не судите и судимы не будете, — продолжил я, чувствуя, как стремительно лечу в бездонную пропасть, к краю которой меня подтолкнула эта красивая женщина. — Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит, — продолжал я автоматически, вытягивая из своей памяти всё, что помнил, составляя немыслимую мозаику неведомого мне “Кодекса строителя коммунизма”. — Дух бодр, плоть же немощна. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но большее горе тому человеку, через которого соблазн приходит.

Я замолчал, почувствовав, что уже вычерпал из колодца памяти почти все запомнившиеся мне с детства фрагменты Евангелия, произнесённые мною, может быть, и не совсем верно. И ещё я почувствовал, что уже почти достиг дна пропасти и сейчас меня расплющит об острые, безжалостные, спокойные камни. Но перед тем как это произойдёт, я решил, не пряча больше глаз, прямо взглянуть на Ирину Сергеевну.

Удивительно, но взор её не был больше не возмущённым, ни удивлённым, а был каким-то затуманенным, словно она и не слушала меня, напряжённо думая о чём-то очень важном для самой себя.

— А ведь, по сути-то, верно, — произнесла она, наконец, каким-то изменившимся голосом. И будто откуда-то издалека добавила: — Давайте зачётку.

Взяв зачётную книжку и не открывая её, она спросила:

— Вы куда на практику отправляетесь?

— На Командоры. Проводить учёт морских котиков.

— Это где-то рядом с Японией, кажется?

— Нет. Эти острова находятся значительно севернее от основных японских — Хонсю и Хоккайдо, и Курильских островов, и Сахалина, и даже Камчатки. — Как перед нерадивым учеником, испытывая при этом некое тщеславное чувство, мол, “знай наших!” блеснул я своими географическими познаниями, да не перед кем-нибудь, а перед преподавателем высшей школы! — Там, кстати, бывал Джек Лондон, когда работал на зверобойных судах.

— А я почему-то думала, что это рядом с Японией, — рассеянно, словно продолжая думать о чём-то важном для себя, произнесла Ирина Сергеевна, вставая из-за стола и продолжая держать мою нераскрытую зачётку в левой руке.

Она прошла мимо меня и машинально потрепала по голове, слегка взлохматив мои волосы.

Наверное, так могла поступить мама или любимая девушка, но никак не преподаватель научного коммунизма.

— Мечтаете стать Джеком Лондоном? — словно и не заметив своего жеста, спросила Ирина Сергеевна. И не дожидаясь ответа, продолжила: — Куда же я её задевала?

Оглянувшись, я увидел, что она что-то ищет в своей сумочке на тумбочке, стоящей перед довольно большим, висевшим на стене зеркалом.

— А, вот она. Ну, слава Богу, нашлась. — Она вынула из сумки авторучку с золотым пером, добавив: — Люблю, знаете ли, расписываться перьевой ручкой с чёрной тушью. Тогда подпись выглядит эстетично, как иероглиф на рисовой бумаге. Да и ручку эту мне, кстати, давно уже, правда, мой бывший друг из Японии привёз.

Она вернулась к столу. Раскрыла зачётку. И на мгновение задумавшись, отчего у неё образовались две продольные складки у переносицы, с какой-то грустной улыбкой продекламировала:

*Порою заметишь вдруг:
Пыль затемнила зеркало,
Сиявшее чистотой.
Вот он, открылся глазам —
Образ нашего мира.*

— Это стихи Сайгё, из знаменитого воинского рода Сато. Он жил в Японии в двенадцатом веке. Не знаете такого поэта?

— Не знаю, — честно ответил я.

— Ну, ещё узнаете. Какие ваши годы, — сказала Ирина Сергеевна, склонившись над зачёткой.

Написав оценку и расписавшись в следующей графе, она передала её мне.

— Удачной вам практики, — пожелала Ирина Сергеевна, вставая со стула и как бы давая мне понять, что разговор окончен.

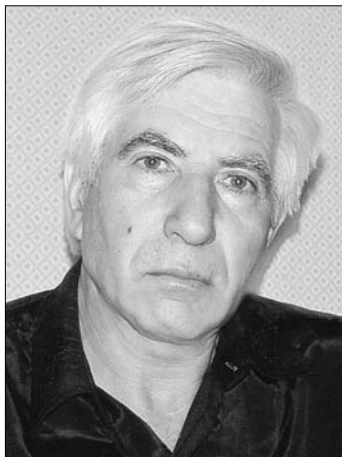
— Спасибо, — ответил я.

Выйдя из бывшего храма, я дошёл до близкой к нему набережной и, присев на первую попавшуюся скамейку, открыл зачётку.

“Значит она всё-таки отличает меня”, — мелькнула в голове мысль, потому что в графе оценок было написано: “Отлично”. И, чуть дальше, в следующей графе таким же красивым почерком была выведена подпись Ирины Сергеевны. Совсем, впрочем, не похожая на иероглиф.

“И. Казак” читалось в зачётке, потому что фамилия Ирины Сергеевны была Казакова.

ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО



ОСЕННИЙ ВЕТЕР С БАЙКАЛА

БАЙКАЛЬСКИЕ БЫЛИ

Когда-то давно, в отроческие годы я испытал истинное ликование души. Меня взяли на катер, в каюте которого мне предстояло пересечь Байкал. Море было взволнованным, и волны, плеща, забрызгивали иллюминатор, оставляя на стекле крупные капли. Катер покачивало на волнах, мерно урчал дизель, берег за кормой уходил всё дальше и дальше, пока не исчез совсем. Я, вопреки запрету, поднялся на палубу. Лицо опухнул свежий ветер моря, и я, представляя себя капитаном, ухватился за леера, пристально глядя в синеющий фарватер, полный неизвестности и романтики. Окрик командира вернул меня в каюту, но моё ликование от этого не угасло, напротив, я возмечтал стать капитаном дальнего плавания. Велико было впечатление, пережитое мной тогда...

После мне много раз приходилось подниматься на борт больших и малых кораблей, испытывать жестокий шторм, выворачивающий всё нутро наизнанку, нести вахту вперёдсмотрящим до наждачной рези в глазах, но подобного первому ощущению морской романтики, которое захлестнуло и переполнило душу, я уже не испытывал никогда.

Я изменил своей мечте, и теперь мне совестно перед тем мечтающим парнишкой, который хотел стать капитаном дальнего плавания и которому чудились пальмовые рощи и сказочная Индия.

ЗАБЕЛЛО Василий Константинович — поэт, прозаик — родился в 1947 году в небольшом прибайкальском селе Утулик на берегу Байкала. Печататься начал в конце 70-х годов в иркутских газетах и альманахе “Сибирь”. Стихи выходили в коллективных сборниках “Начало” (1981), “Час России” (1988), в журналах “Литературная учёба” (1983) и “Сибирь” (1983). Автор книг “Ледостав” (1988), “Возвращение” (1990), “Осенний пал” (2001), “Избранное”. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

*Пусть кораблей тогда не видел я,
И было пусть до них, как до звезды,
Но чудилась мне сказочная Индия
И пальмовые рощи, и сады...*

Временами и сейчас мне нестерпимо хочется подняться на борт какой-нибудь углой “посудины” и оставить родной берег. Можно себе представить, с каким трепетом я вышел в море на рыбацком катерке и с какой жадностью всматривался в бурлящую сферу Байкала. В ноябре редкий день бывает без шторма, но, как говорится: “Погоды ждать — моря не видать”.

Мы вышли в море навстречу ветру и быстро падающим вечерним сумеркам, имея на борту перетягу сетей длиной в 8 кабельтовых. Над горизонтом одна за другой вспыхивали звёзды, над кормой матовой лампой висела ущербная луна, и редкие чайки тенью проносились за бортом катерка. Достигнув середины Байкала, заглушили мотор и огляделись. Сумерки уже совсем сгустились, и небесная сфера чётко обозначилась. Звёзды яркими лепешками низко и ослепительно сияли по краям неба. Почему-то над морем они всегда крупнее и ярче, чем над твёрдой земной, и совсем рядом. Мне вспомнились звёзды над Японским морем в тихую тёмную ночь. Мы, свободные от вахты матросы, стояли на палубе эскадренного миноносца и вспоминали далёкую Родину, над которой проплывают самые прекрасные облака. Над мачтами сияли звёзды, точно вылепленные из бриллиантов, и тогда я впервые удивился их блеску и невероятно крупному размеру: каждая казалась величиной с ладонь.

Теперь же наша скорлупка находилась посреди холодного сибирского моря, и усиливающаяся болтанка подстёгивала действовать быстрее и чётче. Море промашек не прощает. Я включил задний ход, и наш “Амур” на самых малых оборотах двинулся курсом на север. Мы по ветру стали вымётывать сети. Час спустя выметанную перетягу наглухо привязали к баку — носовой части катерка. Натянули тент, зажгли газовый подогрев и наконец-то расслабились, блаженно растянувшись на топчанах.

Каждый думал о своём. Я вспоминал милые серые глаза, полные тепла и затаённой печали. Когда-то давно мы были в начале пути, и нашим взорам открывались необозримые влекущие просторы такой замечательной и многообещающей жизни. А как теперь живётся той берёзовой чаще, где набирала свою силу душа?.. И как живётся той девочке, которая остановилась на бегу в начале своего жизненного пути между двух белых порывистых берёз, чтобы сфотографироваться? Почему-то её, светло-русую, виденную мной однажды на фотографии, я полюбил сразу и бесповоротно. Где она сейчас и что с нею случилось?.. Храни её, Господи!.. С этими мыслями под зыбку моря забылся я и заснул.

Проснулись мы далеко за полночь от частого сильного содрогания “Амура”. Дул северо-западный ветер “култук”, и ключья вспененных волн хлестали по тенту. Временами катерок накрывало волной, он натужно вздрагивал, кренился, черпал бортом воду, нам то и дело приходилось падать на противоположный борт, выравнивая крен. Куда нас несло, мы не ведали. Луна и звёзды давно скрылись во мраке снежных туч. Стоя по циклотку в воде, я молил Николая Угодника о вспоможении, боясь, что ветер порвёт тент и от натяжения лопнет фал перетяги. Отрыв от сетей грозил явной гибелью. Но была ещё одна опасность — обледенение.

К счастью, порывы ветра поослабли, Николай Угодник услышал наши молитвы, и мы погрелись горячим чаем. Термос завсегда был под рукой. Мой спарщик Александр нагрел кастрюлю воды и в шесть часов утра, надев прорезиненные плащи и перчатки, мы открыли тент и оттаяли лёд на баке. О, этот студёный обжигающий северо-западный ветер, до чего ж напорист! Все наши возможные и невозможные силы ушли на борьбу с ним. Перетяга выбиралась очень трудно, с постоянным напряжением жил, от холодной воды крючило пальцы, они нестерпимо ныли, то и дело приходилось окунавать их в кастрюлю с горячей водой. Нас качало, швыряло, обрызгивало, плащи покрывались ледяной коркой, но мы метр за метром, напрягая жилы, всё же тянули сети на борт. И так все утро. К полудню наконец-то

перетяга улеглась на дне катерка, и мы, запустив двигатель, пошли обратным курсом навстречу волне к дому, не чувствуя ни рук, ни ног. Наш улов составил 120 кг омуля. Мне, как батраку, досталась четвёртая часть.

До вечера я выгонял из тела озноб, был измождён до предела. И всё же, несмотря на пережитое, я был вполне счастлив. Морская стихия выпустила нас невредимыми.

ЖУРАВЛИ И ЛАСТОЧКИ

— Смотри, Васька, журавли полетели.

Я взял бинокль из рук отца и, задрав голову, приставил к глазам. До слуха доносилось едва уловимое рыдающее многоголосье. В просини среди жидких облаков я отыскивал журавлиный клин, торопливо гребущий над горным перевалом.

— Пап, а что у них к хвостам прилепилось? Какие-то птички крылышками дрожат.

— Разглядел-таки... Это ласточки. У них, брат, взаимовыручка. Подумай, разве может такая маленькая птичка, как ласточка или, скажем, трясогузка, перелететь через моря и горы? — Ветром сбросит. Вот журавли и выручают. Птица мощная, две-три ласточки тянет и не чувствует. Перелетят на буксире через гибельные места, а уж после добираются сами.

Этот эпизод из далёкого детства запомнился мне на всю жизнь. С тех пор каждую осень с отлётом птиц я ощущаю мучительную утрату чего-то очень близкого и дорогого. Одно утешает, что по весне они вернуться. Но с каждым годом пролётных косяков становится всё меньше и меньше...

На дворе август. На Байкале говорят: “В июне ещё не лето, а в августе уже не лето”. К Успению деревенские касатки покинут родные гнёзда. Карнизы изб и стрехи сараев осиротеют, а вместе с ними осиротеет и мы. Казалось, ещё вчера вдоль улиц на проводах, точно ноты на нотном стане, неподвижно сидели ласточки, а сегодня, глянь, — ни одной. Они ещё какое-то время небольшими табунками живут на побережье Байкала, ловят над водой насекомых, которыми в эту пору изобилуют берега, но в деревню уже не залетают, ночуют где-нибудь под козырьками обрывистого берега или в лесу на болоте. С первыми журавлями откочёвывают на юг, по весне с ними же и возвращаются. Их прилёт означает стойкое бесповоротное тепло, равно, как и отлёт — конец сибирского лета.

В начале осени на рыбалке я не единожды самозабвенно наблюдал, как наши касатки то и дело чиркают брюшками по зеркалу воды, ловят насекомых, хаотично гоняются друг за другом, наращивая упругость в крыльях, выкручивают многосложные петли и зигзаги, а после, сливаясь с береговой чертой, исчезают. Но вскоре, откуда ни возьмись, шумно и весело появляется новая ватажка ласточек — и всё повторяется.

В то памятное утро отец посадил меня за вёсла, и я грёб в море к сетям. Туман едва рассеялся, было знобко и сыро. Мы отошли от берега мили на полторы. Отец, высматривая баклушку, направлял румпелем лодку строго по курсу. У ног покоилась двустволка на случай утино пролёта. Я в очередной раз машинально подался вперёд и занёс вёсла. Вдруг на правом весле, как по волшебству, появилась ласточка. В это время весло врезалось в воду. И ласточка в мгновение ока перелетела к отцу на колено. От удивления мы замерли, как бы соображая, что сие означает? Раздавшийся резкий пронзительный свист вывел нас из оцепенения. Над нами, вибрируя крыльями, завис пернатый хищник кобчик. Отец схватил ружьё и выстрелил. Кобчик ошалело понёсся к берегу и скрылся из виду. Тотчас вспорхнула и ласточка, выписав над нами полукруг, она полетела к своим и вскоре исчезла. Туман окончательно рассеялся, и солнце, брызнув лучами, засверкало по воде медными бликами.

— Ишь ты! — рассуждал отец. — Заигралась и попала под прицел кобчика. Мы, Васька, её случайные спасители. — Немного помолчав, радостно добавил: — У кого, как не у человека, искать ей защиты.

КАМЫШ

Бывало, в детстве забегаешься до густых вечерних сумерек, упадёшь в траву, а над тобою звёздное небо, и сколько в нём притягательной и в то же время пугающей тайны, и ты непостижными нитями, обо всём забыв, трепетно привязан к ней, привязан к этому мерцающему мирозданию, к Богу, о котором ты много слышал от мамы и знаешь, что Он всё видит и знает, и обмануть Его невозможно. Бог везде и во всём. Ты глядишь в небо, и твои детские чувства и мысли обращены именно к Нему. И только голос матери, зовущей тебя домой, нечаянно нарушает раздумья и возвращает из плена небесной тайны. Мама прижмёт к себе, поцелует, пригладит вихор на твоей русской голове и скажет: “Какой ты у меня забывчивый обещалкин, и когда научишься вовремя приходить домой? А телогрейка где? Опять оставил на поляне?..”

Теперь той поляны нет, и нет того звёздного неба. Нет и мамы, и ты, вошедший в могучие лета, больше и чаще думаешь о земном, нежели о небесном. И только слёзная скорбь да светлая память, что очищают душу, возвращают к Богу. И ты смутно начинаешь осознавать, что ты есть дитя неба, а не земли. “Господи, помилуй мя грешного!”

Мне было пять или шесть лет, когда мимо окон пронесли мальчика, моего ровесника, утонувшего в колодце. После этого я долгое время панически боялся кладбища. Издали завидев чужеродную краску могильных оград и памятников, я наглухо смыкал веки и с закрытыми глазами, поднимая выше обычного колени, прошлёпывал злосчастное место, и только когда чувствовал, что оно позади, открывал глаза. Но сердце, готовое выпрыгнуть из груди, успокаивалось не сразу.

Сегодня о старом заброшенном кладбище воочию напоминает единственная железная оградка синего цвета, перевитая высоким бурьяном. Там в 1958 году была захоронена молодая учительница Марина Васильевна Лысова. Зимним вечером она переходила железнодорожные пути, нога скользнула с рельса и была зажата пером стрелочного перевода. Что же касается первых насельников погоста, — ни крестов, ни имён, ни плит надгробных, только дорога, которую, как по шнуру, пробили они через лес к Байкалу, давая волю свежему бризу, поведает вопрошающему прохожему о жизни, проистекшей в этом краю.

Именно той дорогой мимо кладбища приходилось мне наугад вслепую пробегать, гремя удилами уздечки, в поисках Камыша Гнедовича, как любил величать отец нашего любимого коня гнедой масти. Камыша я не боялся. Это был испытанный коняга с породистым ирбином и тавром на задней холке, после Великой Отечественной списанный с военной службы по возрасту и, согласно предписанию, переданный в лесничество моему отцу — бывшему фронтовику, к тому времени лесному объездчику. Камыш и под седлом ходил исправно, и в упряжи, и с плугом бороздой, — словом, не конь, а подарок свыше, любимец детворы и не только...

Многие обращались к отцу: кому дров подвезти, кому огород вспахать, кому свадьбу справить, кому похороны, — да мало ли какие ещё нужды и требы приходилось выполнять с Камышом по просьбе селян. Неиссякаемое терпение и миролюбие, особенно к детям, было заложено и воспитано в нём.

Мы, мальчишки, буквально висели на нём, лазили между ног, с подбрюшья сковыривали присохшие бляшки, чистили уши, расчёсывали гриву, на подъёме в гору привязывались к хвосту, в сенокос на волокушах наперебой по очереди, сидя на загривке, подвозили к зароду копны. Любимым занятием у нас было чистить Камышу веки, выбирать впившуюся в мягкие места и между ресниц кровососную мошку. Камыш обычно подходил к тому, кто больше нравился, зачищав губами руку и, мотнув склонённой головой, просил почистить. Пока выбирались кровососы, он стоял смиренно, только помаргивал, закрывая большие бездонные глаза, в которых отражались наши лица. От него всегда приятно пахло парной пашней и обкошенным лугом. Почистишь веки, аккуратно смажешь дёгтем, после, обхватив голову, прижмёшься щекой к мягким губам и снова к волокушам возить копны.

В рыбацкой артели без Камыша тоже не обходилось. Его обязанностью было вытаскивать на каменистый берег четырёхвёсельную, гружённую выбранными снастями и рыбой лодку. Благо, если Байкал был зеркально спокойным, тогда можно было, не торопясь, привязать к упряжи канат, прикреплённый к носу лодки, и под крик “Пошёл!”, помогая коню, вытягивать её на берег. Но бывало и так: разыграется шторм, подойти к берегу с моря рискованно и опасно, не дай Бог, замешкаешься, того и гляди собьёт волной. И накроет перевёрнутой лодкой. Не единожды по пояс в воде вдвоём, втроём, напрягая жилы, приходилось рыбакам выправлять и удерживать поставленную лодку бортом к волне. Тогда-то и выручал Камыш. Кожился из последних конских сил, часто всхрапывая, под грохот прибоя он тянул и вытягивал гружёную, вдобавок захлёстанную волной лодку.

Конь был удивительно чистоплотным: из грязной или чужой посуды пить и есть его не заставишь. Я всегда с интересом наблюдал, как, выдув ноздрями рябь по воде и фыркнув, Камыш споро выпивал двенадцатилитровую бадью и, вскинув голову, просил ещё.

Помнится, до первой тони пять километров едем тряской грунтовкой. Камыш бежит рысцой, на ходу, приподняв хвост, густо обдаёт парным духом, под колёса телеги роняет шивяки. Отец, оборачиваясь, говорит: “Вишь, Васька, Камыш нас обдал луговиной, точно ладаном. Мы же морды не воротим, а поставь человека в оглобли... Этим, парень, и отличается травоядное от хищников да, вроде нас, всеядных. На вожжи, учишь править”.

В шесть лет старшие братья посадили меня на коня, на загривок. Сначала Камыш шёл шагом, потом рысью, потом плавно понёс галопом через поле. От страха я судорожно вцепился в гриву и заорал. Камыш нёс, я орал, и вдруг подумал: “Чего ору?” — ведь не падаю же и, слившись с гривой, замолчал. У калитки Камыш осел и передал меня в руки отцу. Так случился мой первый урок верховой езды. К восьми-деяти годам я уже с уздечкой разыскивал у побережья Байкала пасущегося на медоносах коня. Подводил к валежине, взбирался на загривок и скакал к дому, где поджидал отец.

Однажды конь пасся на клеверах за кладбищем, и я его не привёл. Я слышал, как глухо боталило ботало на шее у Камыша, но ступить за кладбищенскую ограду было выше моих сил. Меня ожидала порка. Обычно за непослушание или провинность батяня выписывал основательно. Зажимал голову между ног, спускал штаны и по голому зад... Хорошо, если ремень был широким, не так больно, но если же под руку отцу попадал узкий кожаный поводок от собаки, который буквально вжигался в тело десятками ос, тогда поневоле заорёшь благим матом: “Папа, золотой-серебряный, прости, больше не буду”, — прикрывая при этом ладонями причинное место. Теперь понимаю, что мало порол, ещё много дури во мне осталось. Но именно в тот раз я впервые сознательно перед тем, как переступить порог избы, обратился к Богу, прося у Него защиты: “Боже, сделай так, чтобы папа не порол”. И — о чудо! — отец, выслушав меня, только и сказал: “Ладно, иди, помоги матери на огороде”.

Как-то, вернувшись с рыбалки, в пригоне я не увидел Камыша. По ограде, надвинув на глаза кепку, мрачный, будто чего потерял, суетливо шастал батяня. Я спросил: “Где Камыш?”

Отец виновато и скорбно взглянул на меня и дрогнувшим голосом произнёс: “Нет больше Камыша, увезли в Кушук на колбасу”

День тотчас померк, стал пустым и ненужным; и телега в ограде, и розвальни под навесом, на которых зимой вывозили сено, и волокуши у тына, бадья у колодца и ботало, сиротливо висевшее на гвозде, и вся конская упряжь враз потеряли всякий житейный смысл. Я забрался на сеновал, зарылся глубже в сено и горько заплакал. Надо мной в гнезде под крышей хлопотливо щebetала ласточка, кормила своих желторотиков, но и она была не в радость, хлопотала где-то далеко, по другую сторону жизни.

С той поры прошло много лет, но светлую живую память о Камыше, о коне моего детства я пронёс через всю жизнь. К конской тушёнке и конской колбасе не притронулся ни разу.

НА ВОЗДВИЖЕНЬЕ

Под конец сентября с Байкала потянул стылый ветер с переходом на шквалистый, к вечеру хлётко загвоздил дождь, перейдя в мокрый снег, выбелил окоёмы прибрежных лесных озёр. Стаи перелётных северных гусей, прижатые непогодой, надрывным неумолчным гоготаньем оглашали болото и, словно живые тени, падали на воду, сбивались к заветренной стороне.

Анатолий любил эту пору, как опытный страстный охотник заранее сооружал скрадок на своём фамильном озерке, поджидал перелётную дичь. В послевоенные пятидесятые-шестидесятые годы на охотничьи ружья в органах МВД регистрация не велась и сейфов для их хранения не требовалось. Обычно в горницах они украшали настенные ковры вместе с трофейными рогами изюбра или сохатого, воронёным блеском стволов напоминали о значимости их владельца, порождали неудержимое любопытство у подростков. С четырнадцати лет по рекомендации старших выдавался охотничий билет. Первый памятный выстрел из дробового ружья Анатолий испытал в семь лет. Заряд был намного сильнее обычного, сосед подсунул, и Толя от выстрела под хохот старших ребят полетел в одну сторону, ружьё — в другую. Однако страх он переборол и уже к десяти годам имел личное ружьё — подарок отца. Патронов из чужих рук не брал, заряжал всегда сам. К семнадцати он расстрелял полпузда пороха и на десять выстрелов девять уток брал с лёту. Так что утиной солонины семье хватало до весны.

Последнее ружьё, на котором остановился охотник, было тульского производства с инжекторами. После выстрела при переломе ружья автоматически выбрасывались гильзы, и Анатолий приноровился в верхний ствол ещё загонять патрон и отправлять заряд вдогон улетающей дичи. И всё-таки по его сноровке и азарту трёх выстрелов бывало недостаточно, особенно на гусиной охоте, и Анатолий решил приобрести пятизарядный автомат. Но автомат стоил дорого — два месяца работать, и он упросил продавца до завтра попрдержаться ружьё, пока соберёт нужную сумму. Но к вечеру того дня задурила непогодь, и, гонимые ветром, заскрипели в небесах свою вечную тоску по Родине первые вереницы гусей. Анатолий не стал дожидаться предрассветного часа, застегнул на поясе патронташ на двадцать четыре заряда, закинул на плечо испытанную переломку и, набросив на голову плащ-накидку, торопко зашагал из города в сторону родной деревни. К полуночи он свернул с тракта, пошёл лесом, осторожно прощупывая поступью тропу, которая змеилась к болоту. Сквозь стенания непогоды то и дело доносились гусиные окрики. При плохой видимости в бурю, чтобы не потерять друг друга, гуси непрерывно ведут переключку, невольно выдавая себя затаившемуся охотнику. Наконец, лес расступился, и Анатолий вышел на озерко к своему скрадку. Снежный окаём воды и лунный свет, сочившийся сквозь рваные тучи, на фоне мглистого неба едва очерчивали безлистые грибы перелесков. Издали донесли обрывки гусиного гогота.

Охотник, затаив дыхание, напрягся и до боли в глазах стал вглядываться в омут неба. Гогот то приближался, то отдалялся, стало понятно: табун закружил. Анатолий, когда гоготанье приблизилось, втягивая в гортань воздух, призывно закричал по-гусиному. Переключка табуна стала усиливаться и приближаться. Охотник перевёл ружьё в исходное положение.

С правой стороны озера, откуда доносился нарастающий гогот, над чертой перелеска тёмным пятном высмотрелся силуэт первой птицы — вожака, за ним второй, третий, а шестой замыкал вереницу. Как только гуси оказались напротив, Анатолий вскинул ружьё и ударил по вожаку. Вожак оборвался камнем, остальные судорожно замахав крыльями, зависли и плотно сгрудились. Второй заряд выбил двух гусей, Анатолий молниеносно переломил ружьё, в верхний ствол загнал патрон, выстрелил вдогон. Четвёртый гусь завалился набок, послышался шлепок о болотную кочку.

Звено из оставшихся двух живых, скорбно зарывав, как показалось Анатолию, повернуло в сторону Байкала и, уносимое ветром, исчезло в кромешной темноте ночи. Сердце неумно билось, охотник резко с выдохом присел на корточки, сгасил волнение, немного успокоившись, поднялся, пошёл за

добычей. “А была бы у меня пятизарядка, — вдруг подумалось ему, — всех бы шестерых уложил”. При этой мысли чувство азартной радости внезапно сменилось ощущением подавленности. “Да что я, с голоду подыхаю?!” — спрашивал сам себя Анатолий. В ушах продолжало пронзительно звенеть скорбящее прощание, уносимой ветром пары. Если бы тогда он знал, что оно ещё долгие годы будет временами накатывать и преследовать его, вызывая неотвратимую грусть и раскаяние, — хоть лбом бейся об стену, а ничего уже не изменишь, — если бы знал... Но теперь Анатолий при свете фонарика подобрал краснолапых гуменников, рядом разложил на скамье и стал ждать следующих. Следующим налетел табун казарок, охотник автоматически вскинул ружьё, но палец на спусковой крючок не нажал, что-то сломалось в душе Анатолия, и впервые, провожая долгим взглядом кричащих гусей, он сказал про себя: “Летите, милые, летите!”

Утром в родительской избе мать, которая всю жизнь, сколько помнил Анатолий, молилась по ночам, прося Господа о милости, серьёзно и жалеючи глядя на сына, тихо сказала: “Толя, а ведь грех нынче охотиться. Сегодня большой праздник — день Воздвижения Честного Креста. Сегодня Господь всю тварь живую прощает... И человека...”

Пятизарядный автомат Анатолий так и не купил.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

АННА

Ждал её в совершенно пустом кафе посреди солнечного Донецка. Потом курил на улице, сидя на приступочках.

Подъехало тонированное такси, и я откуда-то сразу догадался, что она там.

Но целую минуту из машины никто не выходил.

Я смотрел на такси: ну, выходи уже, я тебя узнаю, уже узнал, Анна Долгарева. Хотя не видел её ни разу, только стихи читал, удивительные.

Нет, и всё, стоит себе машина, не шелохнётся. Думаю: подвела тебя твоя интуиция, парень.

Отвернулся. Но сам всё равно кошусь на авто: неужели ошибся?

Совсем разуверился уже, и вдруг вышла.

Чуть неуверенная в своих движениях, как человек вдруг, после долгой темноты, оказавшийся на свету.

Присела рядом.

Говорит:

– А я сигареты не взяла. Думала, в кафе нельзя.

– В кафе нельзя, – говорю, подавая сигарету.

Она была вся в чёрном. Майка, брюки – чёрные.

Сигарету держит как-то по-женски, не очень естественно.

Большую часть войны Аня провела в Луганске. В Донецке она недели, что ли, две или три – в Луганске сейчас стреляют меньше, а она старается всегда быть там, где стреляют.

Вообще Анна журналистка, поэтому и ездит туда, где бомбёжки. Сто раз уже видела всё это, и всё равно едет.

“Не страшно?” – спросил потом.

“Я же приехала сюда умереть”.

Она произнесла эти слова так, что почти невозможным образом в них не осталось ни пафоса, ни позы. Но она всё равно улыбнулась, словно извиняясь, что приходится так отвечать.

* * *

*Друг мой, друг мой
(друге),
Когда вы развернёте на нас оружие
(коли запалає сніг),
промедли пару мгновений
(помовч хвилину)
и вспомни меня (звернися до мене),
и помни, что куда бы ты ни стрелял*

*(пам'ятай, коли будеш стріляти),
у тебе под прицелом будет моя земля
(перед тобою будуть зморщені хати),
у тебе под прицелом буду я — растрёпанная,
с чёрным от боли лицом, как эта земля
(пам'ятай, моє сонце, коли ти стрілятимеш,
бо стрілятимеш в мене, куди б не стріляв),
потому что я — эта земля и её терриконы,
и её шахтёры, взявшиеся за оружие
(пару хвилин зачекай,
а потім все одно,
все одно стрілятимеш в мене, друже).*

* * *

Это она, её стихи.

Давайте я сразу выложу все карты, чтоб никаких театральных пауз не делать.
Анна Долгарева — поэтесса, родом с Украины, но последнее время жила в России, работала там, обживалась как-то.

Выпустила книжку стихов, ездила время от времени по России — выступала как поэт, имела свою толику успеха и узнаваемости.

У неё был парень, она его любила.

Когда началась война, парень пошёл в ополчение воевать. И его убили.

Она бросила всю свою прежнюю жизнь и переехала на войну.

И с тех пор она на войне.

Я знаю несколько аномальных историй, связанных с чем-то подобным: люди бросают свою жизнь, рвут все связи и оказываются на Донбассе.

Чаще всего это мужчины, но несколько женщин я тоже знаю.

Но только одна из них — прекрасный поэт. Это Аня. Стихи здесь будут только её. Они тоже часть рассказа. На самом деле, куда более важные, чем все остальные слова.

* * *

*встречаются осенью, детскую площадку заматают листья,
со временем выцветает смех, и глаза, и лица,
узнают друг друга не сразу,
настороженно курят,
переглядываются, словно враги;
при жизни не протянули бы друг другу руки,
но теперь они на другом берегу реки,
и текут облака, и режут быки...*

*сколько лет дружили они и сколько лет воевали,
под осколками мин, под дождём из стали,
сколько лет до того дружили,
покуда жили,
а не из последних сил выживали...*

*вот стоят они на детской площадке, как стайка детей,
на другом берегу реки, на перекрёстке путей,
и кто-то говорит: “А помните, мы здесь были,
вот в таком же холодном, пронзительном октябре,
и звенящий воздух, затянутый нитками пыли,
розовел, как живой, на заре...”*

*и тишина проходит, лопаются печатки,
и начинают они говорить и звучать,*

*и смеяться, и вспоминать былое,
и совсем не говорить про войну,
словно это братство так и было единым,
и летят листки по теням их длинным,
и вода течет сквозь легкую пелену
вечернего тумана, сквозь сияние и тишину...*

*раздвигаю пальцами воздух, ни пятнышка не найду...
“А помните, ребята, в одиннадцатом году...
а помните, в лес выбирались, а помните, как...”
вдалеке ревут быки, замыкается круг...
дай мне сигарету, мой старый враг,
дай мне сигарету, мой старый друг.*

* * *

Наверное, такие вещи нельзя говорить, но я скажу.
Поэзия способна оправдать многое. Поэзия, смею наивно надеяться я,
один из самых лучших адвокатов на любом страшном суде.

Ну, ладно, если не на Божественном, то уж точно – на человеческом.

Если о времени сложены стихи и песни, если время породило эпос – значит, оно удалось, оно останется, его запомнят. Даже если посреди этого времени выросла как самый страшный сорняк – война. Тем более – гражданская.

К примеру, про советскую власть, красноармейцев и красные знамёна – очень много хороших стихов, и как бы мы к той власти ни относились – она всегда будет реабилитироваться если не напрямую, то контрабандой, через Блока, Маяковского, Есенина, Багрицкого и Луговского. Мальчишка новых времён зацепится за поэтическую строку, словно рубахой за гвоздь на заборе, и зависнет в тех временах, и неизбежно начнёт о них ностальгировать.

А про постсоветскую “демократию” хороших стихов нет, и об этом времени будут думать и помнить только те, кому там было хорошо. Остальным там делать нечего, и цепляться не за что.

Когда начиналась вся эта история на Майдане и затем в Крыму, я меньше всего об этом думал. Но когда с той стороны зазвучала песня “Никогда мы не станем братьями...” – пришлось задуматься.

Хорошая новость, на мой пристрастный вкус, в том, что замайданная сторона любит не просто пафос, а пошлый, дурно срифмованный пафос. Видеть себя и только себя в качестве жертвы, расцарапать себе лицо и на камеру произносить страстные монологи в духе древнегреческого театра, только не очень умные.

Когда Россия бомбила Чечню, здесь никому в голову не приходило складывать стишки про ваххабитов и хором, по ролям, их читать. Я испытываю по этому поводу некоторое уважение к своему народу.

Не самые хорошие новости в том, что люди Донбасса (или, если угодно, Новороссии) пока не написали о себе так, чтоб это можно было занести на скрижали.

Первое слово здесь сказала Анна. Аня.

Это было слово ломкое и женское. Но очень важное и сильное.

* * *

*В гильзу от АГС помещается 20 грамм,
в данном случае — виски. Мы пьём без звона,
ветер с востока хлопает дверью балкона.
Пьём за тех, кто более не придёт к нам.*

*Пьём за любовь, за свою мирную жизнь,
за наше большое будущее, поскольку все мы
относительно молоды; убедительнейшим “держись”
пытается поддержать друг друга на время.*

*Сентябрь начался, с востока идёт гроза,
молчат миномёты, автоматы притихли даже.
Один комроты, смотря на меня, сказал,
что мечтает увидеть женщину не в камуфляже.*

*Здесь земля отверженных, нам уже никуда от неё не деться,
ветер степной пахнет смертью, мятой и мёдом.
Мы пьём за любовь, за правду, за счастливое детство,
пьём, не чокаясь, из гильз от гранатомёта.*

* * *

- Ты родилась в Харькове.
- ... в 1988 году. И в Харькове выросла. Родители у меня оседлые люди – они даже сейчас не хотят оттуда уезжать.
- У вас такая русская советская семья, родители – интеллигенция?
- Ну, да – инженеры.
- Когда ты росла, там уже было что-то специфически украинское в Харькове?
- Было. Учебники у нас были.
- Истории, имеется в виду?
- Истории и украинской литературы... Они создавали когнитивный диссонанс. Например, в учебнике истории могло быть написано, что Богдан Хмельницкий лучший сын украинского народа, потому что он нас освободил от гнёта поляков. Одновременно в учебнике украинской литературы писали, что Богдан – это зрада, предательство, потому что он нас присоединил к России.
- А в домашней среде, на улицах, были какие-то разговоры на эту тему?
- Нет. Люди старшего поколения – все были нормальные. И учителя, и мои знакомые, и родители.
- А одноклассники?
- Нужно сказать, что я была в школе, как бы это сказать, социофобом... С одноклассниками мы начали ругаться, когда началось всё это: УПА, Бандера и так далее. А потом случился оранжевый майдан, и многие у нас надели оранжевые ленточки.
- Многие – это как? Три человека в классе или половина класса?
- Человека три, но они были очень активные, поэтому казалось, что их очень много. Они были меньшинством, но у них была выраженная гражданская позиция.
- То, что сегодня говорят о себе самые заядлые украинофилы – о своей литературе, о своей истории, – как ты это расцениваешь?
- С украинской культурой я знакома, наверное, лучше, чем многие, кто про неё пишет. Украинская культура есть, и местами она очень неплоха. Та же Лина Костенко, вне зависимости от её политических убеждений, – прекрасный поэт. Украинские народные песни мне очень нравятся, есть хорошая литература, преимущественно XX века. Можно меня сейчас закидать камнями, но Василь Барка – ярый русофоб и антисталинист – писал с литературной точки зрения очень неплохо. Из поэтов – Микола Хвильевой, Сосюра, Малышко – замечательные поэты. А Лина Костенко просто моя любовь.
- Ты по-украински говоришь?
- Да, свободно... Только устала от него. Наверное, потому, что мне его слишком активно навязывали. Когда я приезжала в Россию, ещё живя на Украине, мне очень нравилось, что вокруг русский язык, надписи на русском языке, вывески. К украинским надписям тоже привыкла, но русские лучше, как оказалось. Читать на украинском тоже свободно могу. Но сказать, что украинская культура в чём-то круче русской – это будет очень большой ложью. И это не оттого, что Украина меньше России. Франция тоже меньше России. Просто у Украины истории толком нет. Вся её история заключается в том, что она была под тем-то и под тем-то... Но я категорически не согласна с утверждением, что в силу этого самой Украины нет. По факту мы её имеем. Давайте уже с этим что-то делать. А пытаться делать вид, что её не существует, – нелепо.

Аня заказала себе мохито. Безалкогольное.

Ну, и я за компанию с ней решил это выпить. Никогда в жизни не пробовал этого напитка.

На улице стояла ужасная жара, как в одной старой песне.

– Ты была единственным ребёнком в семье?

– У меня еще братец есть. Причём вот он – яростный украинский националист.

– А сколько ему лет?

– 21 год.

– Он же русский.

– Технически да, но он говорит, что раз он родился на Украине, значит, он украинец.

– А что, как ты выражаешься, “технически” происходит с людьми, раз у них случается такая перезагрузка программы?

– Во-первых – школа. Во-вторых, насколько я понимаю, у них там какая-то особая тусовка – я не очень в это вникала, но он очень интересуется бодибилдингом... Но я этой среды не знаю, я уехала из Харькова, когда он был ещё достаточно мелким.

– То есть вы ещё не успели с ним сдружиться, о чём-то поспорить?

– Да, всё же разница 7 лет.

– И ты с ним не общалась больше? Не звонила, не спрашивала, что с тобой стряслось, брат?

– Мы поссорились не из-за политики, а... он действительно очень хамоватый ребёнок вырос.

– А у родителей как с ним отношения?

– Родители к этому относятся так, что это, конечно, дурак, но это же наш сын.

– Он никуда не ездил воевать? Он просто бродит и кричит кричалки?

– Нет, он даже не кричит кричалки. Он больше в Инете воюет. Какое-то время я ещё думала, что можно с ним помириться, но когда после Одессы я увидела его пост про “жареных колорадов”, я подумала, что всё.

– Слушай, давай ещё раз проговорим. Я не понимаю, как юноше можно отказаться от принадлежности к огромной стране, к своему народу, который побеждал на протяжении почти тысячи лет и, вместо этого, присоединиться к народу, хоть и красивому, зазорному, даровитому, но, давай называть вещи своими именами, региональному. К тому же придумавшему очень увлекательную, но, к сожалению, крайне неправдоподобную собственную историю. Я понимаю, если человек реально украинец и он думает: малый народ, да свой. Это стоит уважать. Но когда русский человек меняет свой код... Кажется, молодые люди хотят быть причастными к чему-то, что ли, более сильному, более надёжному?

– То, что они хотят прислониться к сильному, как раз и было той причиной, по которой у них поплыли мозги. Дело в том, что Майдан шёл путём маленьких побед. Сначала там объявились какие-то люди, говорившие что-то про евроинтеграцию, следом побили студентов. Потом они собрались и увидели, что они сильны и могут на что-то влиять, потому что власть всё время шла на какие-то уступки – шаг вперёд и два назад. Они увидели, что если ещё чуть-чуть поднажать, то они смогут чего-то добить. В итоге это привело к тому, что уже в феврале Майдан без большой крови было не разогнать. А когда Майдан победил, они решили, что они могут называть себя сильными и ассоциировать себя с победителями. Если ты ассоциируешь себя с Майданом, ты ассоциируешь себя с победителями.

– Логика правильная, но только если начинать отсчёт с Майдана. Но ведь это раньше началось.

– Тогда всё-таки школа, потому что там все 10 лет их обрабатывали. И это действует на внушаемых подростков. В них уже сидит это знание, что Украина на самом деле прекрасна и крута. Плюс, когда мы учились, Россия была довольно слабая – ельцинская Россия, которая умудрилась промотать то, что было у Советского Союза. И в России было плохо, и у нас здесь было плохо. Да, был сильный Советский Союз, но он кончился – и это прошлое; логично на прошлое не ориентироваться.

– Из текущей ситуации ты можешь сказать, что твой брат, и многие его сверстники, и те, что постарше, могут измениться? В силу собственных неудач или в силу того, что, к примеру, Россия будет выглядеть объективно лучше?

– Они – нет. Их дети – да. Отказываться от того, во что вложено столько эмоционального ресурса, они не станут. Это всё равно для них, что отказаться от самоидентичности. “Если я столько времени вкладывался в неправоё дело, значит, я очень плохой? Невозможно”. Это чисто психологическая штука.

Мы некоторое время молчим.

– Как ты к ним относишься? – спрашиваю.

– Я не хочу ненавидеть. Потому что если начнёшь ненавидеть, скатишься туда же, где они сейчас. Потеряешь способность адекватно оценивать ситуацию и ничем от них отличиться не будешь. Мне скорее кажется, что это война идей не на уровне “великая страна” против “не великой страны”, а на уровне людей, которые способны трезво мыслить, против людей, которые одурманены. Одурманены ненавистью.

* * *

Откуда-то в кафе появился человек с гитарой, местный музыкант, и начал наигрывать что-то невыносимо лирическое.

– Пойдём-ка на веранду, – предложил я, – Заодно покурим.

Мы расположились на тихо вскипающей улице. Нам принесли наше мохито.

– Когда я закончила институт, я уехала в Киев, потому что была очень домашней девочкой и мне было страшно вот так сразу переезжать, например, в Питер. Я училась на химфаке, причём абсолютно не по прикладной специальности – квантовая химия. И думала, что буду наукой заниматься. Но у меня напрочь отсутствовали способности к тому, чтобы пробиваться в жизни. А в Киев меня как раз звали в аспирантуру – и я поехала туда. И мне очень повезло, потому что в аспирантуру я не поступила. На тот момент как раз вышла игра “World of Tanks”, я начала в неё играть и не смогла поступить.

– Ты так увлеклась компьютерной игрой, что не смогла поступить в аспирантуру?!

– Да.

– Стрелялка?

– Ну, да, танки.

(Пауза. Я даже вытащил себе ещё сигарету. И Аню угостил.)

– И что ты там делала, в Киеве?

– Прожила там три года, работала журналистом... Сейчас смотрю, что пишет моя бывшая редакторша из “Бюро новостей” – она даже не за Порошенко, а прямо за “Правый сектор”. А так это было очень хорошее, годное издание, настолько годное, что я только спустя год работы узнала, что оно принадлежит Яценюку. То есть, до этого я не знала, и нам разрешали там писать всё, что хочешь. Я там работала с Виктором Трегубовым – это был мой хороший друг, и даже сейчас мы остались хорошими приятелями.

– Это какой-то замайданный журналист?

– Да. Например, Виктор писал яростно статьи евроинтеграционные, я писала яростно за Таможенный Союз, и никого это не парило, главное, чтобы это было хорошо написано. Поэтому меня всё устраивало.

* * *

Когда смотришь на Аню... верней, даже так: когда говоришь с людьми, угодившими на войну, и расспрашиваешь их о прошлой жизни, всё последующее кажется совершенно невозможным.

Ну, вот человек родился. Ну, вот человек учился. Дальше работал. В танчики играл. Аспирантуру пропустил.

Всё время ждёшь, что будет какая-то тропка вбок, и человек не увидит смерти, не узнает смерти, не привыкнет к ней.

Потому что война – это же, как все мы знаем, не про женщин. Более того, это вообще не про людей. Это про какое-то кино. В лучшем случае – про историю: было когда-то, но сейчас так никто уже не делает.

Но продолжаешь говорить с человеком и видишь, что время на исходе, а боковой тропки всё нет и нет.

Из Киева она перебралась в Питер. Это было в 2013 году, совсем незадолго до Майдана.

В 2014 году, уже после победы Майдана, но ещё до войны, Аня приехала в гости к своим киевским друзьями. И один из них сказал: если придут русские, мы всех вас убьём. И если ты, Аня, придёшь воевать, мы в тебя тоже выстрелим.

– Это было всерьёз или вы шутили? – переспрашиваю я.

– Это было всерьёз. Мы не ругались, мы даже продолжали дружить. Собственно, это была констатация факта.

– А этот киевский круг, в том числе твой знакомый, – что это за люди по типу? Ну, грубо говоря, они реально украинцы?

– У большинства из них ярко выраженная самоидентификация “я – украинец” возникла уже после Майдана. До этого они не задумывались... До этого мы с тем же товарищем увлекались кельтской культурой и язычеством.

– А на украинском языке он разговаривал хотя бы?

– Киев в принципе весь русскоязычный был. В 2014 году я заметила, что в маршрутке чаще слышно украинский язык, но знакомые, в том числе и замайдановские, говорили на русском. И говорят на нём до сих пор.

* * *

Я, наконец, спросил Аню про её любимого. Про парня, которого убили. Кто он был, откуда.

– Лёшка мой? – переспросила Аня быстро, как про живого и очень родного человека.

Что-то по-хорошему деревенское было в этом её “Лёшка мой?”

Я кивнул: да, он.

Аня быстро, чуть близоруко посмотрела по сторонам, словно где-то рядом была подсказка.

– Нет, он тоже со сложной географией, – сказала она, собравшись. – Он сын военного, вырос в Одессе. Когда мы познакомились, он жил в Днепропетровске... Перед отъездом в Питер я некоторое время гостила у родителей в Харькове. А Харьков и Днепропетровск рядом находятся, и мы с ним... активно общались. У нас всё как-то глупо получилось, потому что встретились два человека с очень заниженной самооценкой. Я к тому же была после тяжёлого романа, в ходе которого меня активно убеждали, что я никто и звать меня никак. И мне было очень сложно поверить, что такой красивый и умный мальчик всерьёз ко мне потянулся.

– Он молодой парень тоже? – спросил я почему-то в настоящем времени.

– Мой ровесник, 88 года.

– И тоже русский?

– Русский, русский. И убежденный коммунист. Он за коммунизм пошёл воевать.

* * *

*на линии фронта мужчина в тельняшке рваной
называл святой меня, обещал не отречься веками,
а у меня за спиной была пара десятков романов,
а у меня за спиной текли алкогольные реки,*

*незнакомые лица, чужие похмельные утра,
нескончаемый стрекозиный танец от марта до марта,
ну, какая из меня святая, я странник на лодке утлой,
испытывающий на прочность границы карты...*

*изменилось всё на последнем из этих романов:
я купила крем от морщин, потому что захотела жить долго,*

*жить банально, но счастливо, это было больно и странно,
как в пустой квартире подарок найти под ёлкой...*

*не случилось, конечно, не сберегла, такие,
как я, не умеют, чтоб их молитва кого-то спасала...
я впервые тогда захотела жить, и впервые —
после всего — вообще хотеть перестала...*

*не хотела вина и мужчин, вообще не хотела,
крем от морщин я выбросила, не пригодилось,
и спустилась в ад, и не чуяла больше тело,
ни жару не чувствовала, ни сырость...*

*но такие, как я, никогда не доходят до рая,
и поэтому, в ад спустившись, в аду осталась...
ну, а ты говоришь — святая... ну, какая тебе святая,
обычная баба, просто очень, очень устала.*

* * *

— Мы оба были ролевики, — говорит Аня. — Я сама из ролевой среды вышла не так давно, когда уехала на Донбасс.

Тут я перестаю что-либо понимать. То есть я что-то слышал про ролеви-ков, но никогда с ними не встречался, и всю жизнь думал, что это какие-то подростки, штурмующие кусты с деревянными мечами.

— Ролевики — это не только те, кто с мечами бегают, — поясняет Аня. — Это субкультура, это тусовка, это общение людей, которые знакомятся через ролевые игры, через каких-то общих знакомых. Не все они постоянно играют в ролевые игры. Многие выезжают на игры раз в год, раз в два года.

— А как эти игры выглядят?

— Некоторые действительно выглядят так, что люди бегают с муляжами оружия. Но бывают игры не только по Толкиену, бывают по гражданской войне, и по Желязны, и по Агате Кристи. Господи, по чему только не бывают.

— Ты всю эту литературу читала? Она тебе нравится?

— Да, конечно. В наших кругах очень любят фантастику, фэнтези.

— И что, это действительно очень увлекательно?

— Очень.

— А Лёшка... что он был за парень, как выглядел?

— Рост — 1.95, худой и с длиннющими волосами, зелёными глазами, очень правильными чертами лица, низким голосом, и с какими-то очень детскими жестами, мимикой. Хотя на самом деле он был очень заморочен на гиперответственности.

— Какое у него было образование?

— Мехмат.

— А почему “левый”?

— Потому что структурализм — жизненная философия среди ролеви-ков. Плюс примат государства над человеком в его понимании. Плюс экономиче-ская точка зрения. Ему казалось, что жить для себя, в том смысле, что не-важно, что будет с государством, важно — что будет с тобой, — это позиция бактерии, вируса... — она недолго молчит, что-то вспоминая. — В общем, мы с ним так и не поверили, что друг другу всерьёз нужны. Я уже постфактум уз-навала, что он был готов переезжать за мной в Питер, но решил, что я не про-явила достаточной заинтересованности. Так мы разъехались. Он не продол-жил общение, ушёл из всех соцсетей. А потом позвонил мне уже с войны.

* * *

— Он пошёл воевать в середине июля. Приехал на поезде, тогда ещё по-езда ходили в Луганск.

Он собирался поехать в июне, но подобрал птенца стрижа и выкармливал

его. Птенца стрижа нужно выкармливать сорок дней. Он выкормил стриженка, а потом поехал на войну. Его взяли в батальон “Заря”, в артиллерию.

Сначала его вообще брать не хотели, потому что он действительно странно выглядит: очки, длинные волосы, худой. Потом спросили: “А ты кто? — А я математик-программист. — О, это же вычислитель в артиллерии”.

Там реально не было никаких книжек и лишь пара человек добровольцев из России, которые что-то знали, что-то умели и показали. Потрясающе! Я вообще не знаю, как они тогда умудрились Луганск удержать. На Металлисте стояла его батарея во время августовских страшных боёв. Там было две батареи. Потом, когда я уже после его смерти приехала, мне рассказывали, что вторая батарея страшно мазала, “...а вот наша не мазала, потому что у нас Паганель был вычислителем”. Позывной его был — Паганель.

Он погиб 26 марта 2015 года. В Лутугино под Луганском. К тому времени он уже командовал батареей, был капитаном. Хвост пришлось обрезать — обменять на капитанские звёздочки.

А потом его уволили задним числом...

Есть такая команда сверху: минимум боевых потерь. Поэтому избавляются от погибших задним числом. После активных боёв порой озвучиваются такие низкие цифры жертв — оттого что мёртвых увольняют.

* * *

*Я сижу у окна, в пасть гляжу фонарю...
мой возлюбленный благословен, — говорю,
и мне чудится за спиной у меня движенье...
И земля, на которой его шаги,
не остави ты нас, сохрани, сбереги,
и трава, что была под ногами его и тенью.*

*Жгу свечу на окне — заходи же, мой гость.
Будь же благословен его рыжий хвост
и лукавый прищур его, и большие ладони.
Будь же благословенна его родня
(я не знаю, в неё включают ли меня,
мой невенчанный вечный жених бездомный).*

*Будь же благословенна весна и трава,
и земля уготованная — два на два,
где мы тесно уляжемся рядом, словно впервые.
Будь же благословен. Не скажи: “Прощай”, —
лучше крепче держи меня, не отпускай,
пока мы идём сквозь вороний грай
по-над пропастью, и колосья ржи вокруг золотые.*

* * *

Сначала, когда первый раз прозвучало “Лёшка”, она чуть не заплакала.

Но как-то быстро и, показалось, уже привычно, взяла себя в руки.

Мы заказали ещё по мохито, уже алкогольного. Она предложила; хотя тут куда лучше подошла бы водка. Но... было бы странно, да? Купить водки и, чокаясь, её пить.

И вот мы сидели, и тянули это дурацкое мохито из трубочек. И всё время курили.

— Родители у него остались?

— Мать в Одессе.

— Ты её не видела?

— Видела. Она тоже была на похоронах.

— Какая она?

— Странная женщина. Последний год он не хотел с ней общаться... Как я

поняла из его слов, его мать очень истеричная и непоследовательная женщина, которая очень хотела, чтобы он был при её юбке.

— Обычная мама... Ты так и не приехала к нему?

— Самое удивительное: нет. Сначала он говорил, чтобы я этого не делала, потому что опасно. Потом говорил: подожди, мне отпуск буквально через неделю дадут, и я сам приеду к тебе в Питер. Я решила ждать. И этого себе никогда не прощу...

— Ты приехала на похороны и решила остаться здесь?

— После похорон я вернулась в Питер, раздала вещи, уволилась с работы...

— Где ты работала?

— Копирайтером на одну московскую компанию, которая игрушками занимается.

— И поехала в Луганск.

— Да.

* * *

В город пришла война.

В город ложатся мины.

*В городе разорвало водопровод,
и течёт вода мутным потоком длинным,
и людская кровь, с ней смешиваясь, течёт.*

А Серёга — не воин и не герой.

Серёга — обычный парень.

*Просто делает свою работу, чинит водопровод
под обстрелом, под жарким и душным паром.*

И вода, смешавшись с кровью, по улицам всё течёт.

И, конечно, одна из мин

становится для него последней.

*И Серёга встает, отряхиваясь от крови,
и идёт, и сияние у него по следу,
и от осколка дырочка у брови.*

И Серёга приходит в рай — а куда ещё?

Тень с земли силуэт у него чернит.

*И говорит он: “Господи, у тебя тут течёт,
кровавый дождь отсюда течёт,
давай попробую починить”.*

* * *

— Что мне запомнилось?.. — переспрашивает она.

Запомнилось, как я приехала на первое интервью. Бабушка из Новосветловки — там очень долго стоял батальон “Айдар”. Эту бабушку избили двое “айдаровцев” до такой степени, что она потеряла зрение. Причём избили её из-за совершенно нелепой и мутной темы. Дело в том, что у неё во дворе её знакомые поставили джип, но вытащили из него аккумулятор. И эти “айдаровцы” били её, чтоб она сказала им, где аккумулятор. А его просто не было, его забрали...

И вот этот первый разговор произвёл на меня ужасное впечатление. Потом уже были моменты, когда, скажем, неподалеку от Троицкого мы были на передовой, мины совсем рядом летали, но даже тогда не было такого ужаса. Потому что, блин, эта бабушка — она маленькая и худенькая, как воробушек, с абсолютно белыми глазами и с котеночком на руках. Плачет, ходит на ощупь...

— Что местные жители говорили про “Айдар”?

– Ничего цензурного. ВСУ многие жалеют, мол, ребята по призыву пришли. А про этих... Кстати, в Новосветловке ВСУ и “Айдар” перестреливались. В библиотеке сидят “айдаровцы”, в школе – “вэсэушники”. Спускается ночь, и они начинают друг с другом внезапно перестреливаться. Такое было.

– А среднестатистический наш ополченец – какой он? Взгляды, привычки, характер? Коммунист, анархист?

– Всё это очень эклектично. Много мужиков, которые всю жизнь работали на шахте, и тут к ним пришли. И они взяли в руки оружие и отправились воевать. Преобладают именно шахтёры. Многие из них как бы типа за казачество, но если копнуть поглубже, то окажется, что этот казак – за СССР и за коммунизм. В общем, они просто не заморачиваются на этот счёт.

– Как, по твоим наблюдениям, сегодня чувствуют себя ополченцы? Не устали они?

– Ещё в мае всё было жёстко – у нас, говорили ополченцам, нет никаких боевых действий и мы не имеем права на “ответку”. Помню, мы на передовой, в роте АС/ДС, по нам бьют и... ничего.

– Есть такая рота?

– Да, там командир роты Вася АС/ДС – он большой поклонник этой группы. И там везде эта АС/ДС – на бронетехнике, на машинах, на мотоциклах... И сам Вася дежурит по штабу и орёт в рацию матом, чтобы не смели давать ответку. “Ну как же, по нам же лупят!” – “Нельзя! А кто даст ответку – под трибунал пойдет!” Сейчас ситуация немного поменялась.

– У тебя есть знакомые, которые сюда приехали из России?

– Да. Есть знакомый питерский ролевик, он к тому же менеджер среднего звена. Он послушал, как я рассказываю про Луганск, и в августе 15-го сорвался и тоже оказался здесь. Пошёл в батальон “Ермак”, он стоял под Первомайском на передовых позициях ЛНР. Потом батальон расформировали, но он остался в Первомайске в полиции. Вообще – это по сей день передовая, город наполовину разрушен.

– И как он мотивирует свой переход?

– А что, говорит, я в Питере забыл?

– Ты сам прожила в Луганске чуть ли не год?

– Год.

– Потом решила, что там ты уже всё знаешь, и решила в перебраться в Донецк?

– Да.

* * *

Всё это время, целый год, тихая, невысокая и очень женственная Аня жила одна в квартире, снятой за три тысячи рублей в месяц, работая журналистом и военкором.

И появляясь время от времени в социальных сетях.

Сегодня её блог представляет собой удивительную, болезненно действующую на меня, но местами очень остроумную (и оттого ещё более болезненно действующую) смену постов – попеременно о бомбёжках, “двухсотых”, “трёхсотых” и следом – о жизни её котёнка по имени Феликс. Котёнок то болеет, то выздоравливает, с ним всё время что-то происходит. Он самый важный человек в жизни Ани.

– Феликс? – спрашиваю я. – В честь Дзержинского?

– Да.

– Где ты его нашла?

– В луганском приюте. Я его увидела в ленте Вконтакте. Он сидел с очень надменным лицом – и я поняла, что нет мне жизни без этого котёнка. Я сразу же позвонила и сказала, что дайте мне прямо сейчас котёнка. Мне было очень плохо тогда. Я даже ложилась в больницу, в неврологию, и месяц лежала с тяжёлой депрессией.

– Здесь?

– В Луганске. Я и сейчас на антидепрессантах.

– Они помогают?

– По крайней мере, они делают жизнь приемлемой, без желания каждый день вскрыть вены. Вот... И взяла котёнка. А женщина у меня спрашивает по

телефону: “Почему вы так торопитесь, почему сейчас? Это подарок?” – “Нет, я беру себе. Срочно”.

* * *

- По Харькову не скучаешь?
- Скучаю и по Харькову, и по Киеву, и по Одессе. Я же автостопщица, я очень много поездила по Украине.
- Вот как... Социофоб-журналист, и особенно социофоб-автостопщик – это, конечно, не рядовой случай.
- Разговаривать с человеком, когда он подбирает тебя – просто, – он уже не против общения.
- И что, никогда ничего плохого не происходило?
- Нет, от меня, наверное, идёт какая-то уверенность. Я долгое время занималась ножевым боем, у меня при себе нож. И этот факт уже несколько защищает... Нет, один раз мне пришлось его достать, но не воспользоваться. Просто сказала: чувак, давай разойдёмся миром.
- Поверил?
- Наверное, как-то чувствуется, что не побоюсь воспользоваться. Я смотрю на неё. Наверное, я чего-то не понимаю. Потому что я чувствую всего лишь, что это очень добрый человек.
- Какие у тебя планы? Будешь тут до конца войны?
- Она пожимает плечами, словно не знает ответа. Но тут же отвечает:
- Боюсь самое важное пропустить. Никуда пока не собираюсь.

* * *

- Как тут люди живут? – спрашиваю я.
- Мы немного говорим про то, что в Донецке очень много кафе и магазинов, и салонов, и новые рестораны открываются чуть ли не каждую неделю, и можно покупать корма для животных, и вообще здесь идёт вполне себе светская жизнь, в которую не поверишь, пока здесь не окажешься.
- В эту минуту к нам на веранду приходит гитарист из кафе, и подключает гитару уже здесь. И тут же начинает играть. Нам приходится ретироваться обратно в помещение.
- Но если пообщаться с людьми в том же посёлке Весёлом... – говорит Аня.
- Что они тебе говорят?
- Аня некоторое время раздумывает, чуть морщась, словно пересказывать ей всё это не очень хочется. Но отвечает всё равно.
- Там про одну женщину сосед рассказывает, как 1-го числа такого-то месяца убило её сына, потом 17-го убило её мужа, а 21-го, говорит этот мужчина, я заходил к ней, и тут начали стрелять. “Я сказал ей, чтобы уходила в подвал, но она не ушла, и ей голову оторвало. И 11 дней мы не могли оттуда её унести, потому что стреляли. Ну, и когда уже забрали, она была уже вся объедена собаками”. И это всё очень спокойно рассказываете...
- Ты считаешь, что Россия должна была ввести войска?
- Введение войск – это был бы гуманный шаг. Это особенно хорошо было видно и слышно, когда я была в Горловке.
- Совсем недавно?
- Совсем недавно. По нам стреляют украинцы. Стреляют, стреляют, стреляют. Стреляют, стреляют, стреляют. Два часа подряд... Тут вдруг отвечает наша гаубичная батарея. После этого тишина. Всё.

* * *

*Для тех, кто погиб в бою,
есть специальный рай,
где не надо просыпаться по крику “Вставай”,
где вражеская не прёт пехота,*

*не утюжит прицельно арта,
где нет дурака-замполита,
штабных бумаг,
вообще ни черта
из земного страшного;
и в обед
борщ с картошкой жареной вместо галет.*

* * *

Нам кажется, что мы знаем, о чём мечтает и о чём может говорить как о самом важном всякая женщина.

Едва ли мы ожидаем, что молодая женщина вдруг скажет:

— Есть надежда, что мы отобьём Авдеевку.

Авдеевка — это населённый пункт, находящийся под контролем ВСУ.

Я не помню, о чём я спросил Аню — уж точно не о мечтах, но о чём-то, что, по её мнению, сейчас может произойти хорошего.

Она сказала именно эту фразу: отбить Авдеевку.

— Авдеевка очень важная, — сказала она. — Там они очень хорошо сидят.

Они заняли промзону, и у них очень удобная наступательная позиция. Если их оттуда не выбить, они будут ползти вперёд. Либо они будут ползти вперёд, либо это будет гнойник, где постоянно гибнут люди. И потому нужно эту промзону отбить...

Спорить тут не о чем.

— Как ты добираться до передовой, Ань?

— До той же Горловки легко добраться на автобусе. А дальше за мной приезжают и подвозят.

— И тебе правда не страшно?

— Ничего хуже, чем случилось, уже не случится. В принципе, я, скорей, агностик. Но вот все говорят, что после самоубийства ничего хорошего не будет. А я хочу с Лёшкой встретиться.

БОРИС КЛЮЧНИКОВ

ФЕНОМЕН ТРАМПА

Мысли о президентских выборах в США

СМИ в Америке, да и в Европе переполнены обличениями Трампа: он опасный, психически неуравновешенный эксцентрик. Если он придет к власти, то непременно введет апартеид, расовые законы, подобные нюрнбергским в фашистской Германии. Он латентный нацист, новый Гитлер.

Но чем больше его клеймят, тем более он становится популярен в Америке, да и в Европе, где растет требование твердой руки. Трамп приветствовал британский референдум о выходе из Евросоюза, хотя это наносит удар по атлантическому единству, по влиянию США в Европе. Ясно, что у него радикально новые планы.

Главные противники Трампа – так называемые неоконсерваторы. Они чрезвычайно влиятельны. Неокконы оседлали не только Демократическую партию, но лидируют и в Республиканской, и в Конгрессе, и в Сенате, и в Верховном суде США. Так кто они, эти вездесущие неокконы? Как им удаётся более четверти века при всех президентах определять внешнюю политику ядерной сверхдержавы, несмотря на растущее число явных ошибок и преступных провалов? Чего они в итоге хотят добиться? Почему Трампу не по пути с истеблишментом, точнее, с его частью, в которой окопалась “антинациональная враждебная элита”?

Остановимся подробнее на этих вопросах. На политкорректном новоязе в мире неокконов давно называют “этнически сплоченными”, “враждебной элитой”. По сути, это спецназ мировой финансовой олигархии. Как пишут сами американцы-политологи, это “преторианская гвардия банковского военно-промышленного нефтекомплекса”. Их идейная основа далека от демократии. Её наметил крупный философ-реакционер Лео Штраус. Меня поразила вот такой его наказ неокконам: “То, что Германия пошла направо и изгнала нас, во все не означает, что принципы правой доктрины должны быть отброшены. Напротив, только на базовых принципах именно правой доктрины – фашистской, авторитарной, имперской – можно достойно протестовать против посредственных фикций и призывать к странному и жалким потугам соблюдать неотъемлемые права человека”. Ещё как отъемлемые, если следовать вот таким поучениям Штрауса: “Есть только одно естественное право: право высших править низшими... Страх и ненависть – это могучий объединяющий принцип, он обеспечивает контроль над вульгарными массами”. Никого это не напоминает? Не такие же кованые максимы вбивал в головы немцев фюрер? И, тем не менее, неокконы затыкают рот любым оппонентам именно тем, что грозно сравнивают их с фашистами, с Гитлером. Их идеолог Норман Подгорец

в статье “Почему надо бомбить Иран?” толкует об “исламо-фашизме”, Коран называет “исламским Майн-Кампфом”. “Я твёрдо убеждён, – писал депутат Европарламента Джульетто Кьеца, – что в США действует в буквальном смысле слова криминальная и безответственная группа людей, так называемые неоконфы”.

Итак, неоконфы – это не обычные политики-“ястребы”. Кто посмел бы так оскорбительно писать о великой религии, об исламе? Только люди, одержимые навязчивой идеей избранности и неукротимой ненависти. Уже четверть века нарастает влияние неоконфов. Их дух витает в вашингтонских кабинетах. В официальных речах и в документах всё чаще встречаем такую же несдержанность, ненависть, откровенный цинизм и наглость. Этот дух, этот тон не были свойственны ни американской, ни тем более британской политической культуре. Она была целеустремленна, напориста, безапелляционна по сути, но по форме дипломатична, деликатна, даже аристократична. Что случилось? Потеря самообладания из-за неудач и явных провалов? Серия цветных революций – дело рук неоконфов. Окружение и планы изоляции России – тоже их стратегия. Они сотворили геополитического змея “Анаконду”, который охватил своими кольцами все государства “дуги нестабильности” от Индонезии до Нигерии.

Трамп в своих речах ставит под сомнение, а то и начисто отвергает догмы неоконфов. Олигархические СМИ почти полностью контролируются финансовой олигархией и десятки лет вбивают в головы людей свои “истины”: глобализация полезна; свободная торговля несёт всем благоденствие; протекционизм вреден; Евросоюз незаменим; агрессия против народов Юга хотя и непопулярна, но абсолютно необходима; массовая иммиграция с Юга неизбежна, и с ней придётся смириться; все эти европейские “крайне-правые” националисты – Марин Ле Пен, Виктор Орбан, Милош Зеeman, Христиан Штрахе, Берлускони и Сальвини – крайне опасны для свободы и демократии.

Трамп бросил вызов этим “истинам” и заставил даже обывателя задуматься, а правильной ли дорогой идёт Америка? И потому независимо от того, победит ли Трамп на выборах или нет, в мире будут помнить, что он первый в США выступил против “мировой закулисы”, не захотел быть вместе “с кем попало”. Он замахнулся на Левиафана. Трамп не просто яркая личность. Это феномен в мировой политике.

Трамп опасен для истеблишмента уже тем, что он отказался соблюдать “политкорректность”. Мы в России с 90-х годов тоже приучены её блюсти. А это значит, что нас заставляют играть по чужим правилам, т. е. политкорректно! И очень часто из-за этого проигрывать в борьбе за национальные интересы. Мы как-то не удосуживаемся понять, что в самом факте навязывания людям, что “нормально”, может таиться мощный заряд дезинформации и заведомового проигрыша.

Тема политкорректности становится взрывоопасной для атлантистской элиты, особенно её неоконсервативного ядра. Потому что теоретики европейских национальных партий стали разгребать завалы идеологием и докопались до истоков “политической корректности”, уже почти век зомбирующей миллионы людей. В России как-то привыкли считать, что с троцкизмом в мире покончено. Едва ли. Троцкизм жив, хотя и мутировал до неузнаваемости. Насаждать политкорректность троцкисты стали ещё в Германии после поражения в 1923 года Баварской Советской республики. Пытались замаскировать троцкистские корни. В США они известны как “франкфуртская школа”, идеологи которой спаслись от Гитлера, успев перебраться в США. Там они продолжали обогащать арсенал политкорректности. Их соавторами часто выступают “маги Кэмбриджа”. Назову только перлы их творчества: “гуманитарные интервенции”, “гуманитарные бомбежки”, “попутные издержки” таких бомбежек, “экономически отсталые районы городов” – то бишь гетто, “внеправовой гуманизм” и т. д. Не ясно, знает ли Трамп, кто изобрёл политкорректность, понимает ли он, на кого замахнулся?

Это всего лишь несколько перлов лицемерия. Но есть и многие другие, которые стали штампами, а то и клеймом, не позволяющим поразмыслить, соответствуют ли они реальному содержанию явления. Особенно часто злоупотребляют штампом “крайне правые”. Реакция людей сразу однозначно негативная. Марин Ле Пен, например, безуспешно борется в СМИ против клейма “крайне правый Национальный фронт”. Станут ли крайне правые бороться

против безобразий, творимых мировой финансовой олигархией?! Это скорее борьба левых, популистов. Недобросовестно порой используются термины “нацисты”, “неонацисты”, “фашисты”. Перегибы, переборы вредят делу борьбы с ними. Этим грешат и российские журналисты.

Так вот, на “политкорректность” и обрушился Трамп с самого начала избирательной кампании. Атаковал привычное шаблонное лицемерие политиков, давно понятное и ненавистное простым людям. “Я устал от этой политкорректности... – говорил Трамп в речи в январе 2015 года. – Все знают, что Рубио и Джебб Буш ненавидят друг друга, а на публику, закатывая глаза, твердят: “Он мой лучший друг”, “Ах, как я рад, что он тоже кандидат в президенты”. Как и следовало ожидать, простые американцы с восторгом слушали Трампа: “Браво Дональд, режь правду-матку! Надоели эти лицемеры”. И в отличие от соперников, Трамп “режет” правду о Хиллари Клинтон. “Что вы о ней знаете, – говорил он 13 июня 2016 года. – Вы хоть понимаете, чем рискуете, если проголосуете за Хиллари Клинтон?! Даже её бывший агент из секретных служб, который наблюдал за ней в сложных обстоятельствах, а порой и в стрессе, заявил, что нет у нее ни характера (temperament), ни моральных принципов (integrity), которые бы позволили ей быть президентом”. Трамп не обмолвился о риске вручать Хиллари чемоданчик с ядерной кнопкой, с кодом ядерной атаки. Но многие в мире задумались и, думая, содрогнулись.

Цитата о Хиллари Клинтон взята из речи Трампа 13 июня 2016 года. Речь посвящена, в основном, внешней политике. Она настолько необычна, что привожу из неё важнейшие выдержки: “У нас не функционирует, – начал речь Трамп, – система контроля за иммиграцией”. Как видим, Трамп ставит во главу угла проблему иммиграции, которая, как и в Европе, больше всего волнует его избирателей, евроамериканцев, WASP, прежде всего, белых мужчин. В книге “Смерть Запада” (переведена и издана в России) кандидат в президенты Америки в 2004 году Патрик Бьюкенен писал: “Иммиграция, подобно реке Миссисипи, неторопливо оплодотворяет Америку. Но когда Миссисипи выходит из берегов, наступает чудовищное опустошение”. Это верный взгляд: иммиграция неизбежна, но регулирование процессов иммиграции требует научного подхода и строго выверенного планирования, учёта не только экономической выгоды, но и долгосрочных социальных и культурных последствий.

Трамп намерен защитить белое население США, так называемых WASP, от волн иммиграции и метисизации. Он осознал старую истину: демография народа – это судьба страны. Да, не экономика, не территории, не военные успехи, а количество и качество народонаселения.

Между тем, демографическая карта США стремительно меняется. Былое этническое единство стремительно размывается: в 1960 году доля белых составляла 88,6%; к 1990 году она сократилась до 75,5%, десять лет спустя, в 2000 году – до 69%, а в 2010 году белых осталось только 58%. Основатели Америки – белые европейцы или, как их ныне принято называть, евроамериканцы становятся этническим меньшинством. Именно неоконсервативные демократы пробивали либеральные законы об иммиграции, ссылаясь на права человека и потребность в дешевой рабочей силе. Они действовали прямо-таки согласно сарказму немецкого драматурга Бертольда Брехта: распустить народ и создать для себя новый, чтобы он за них голосовал, а они властвовали. Кандидат в президенты Клинтон в 1996 году перед выборами открыл двери для полутора миллионов легальных иммигрантов. Ещё полмиллиона въехали нелегально. За демократов-ослов в США ныне голосует всё большая часть афроамериканцев и латинос. За республиканцев-слонов – евроамериканцы, то есть наиболее состоятельные слои. Америка распадается не только по цвету кожи, но и по социальному положению*.

Ключом к спасению Трамп считает полное прекращение нелегальной иммиграции. Как он предлагает решать эту проблему? Просто многократно увеличить службы депортации и изгнать из США 11 млн нелегальных иммигрантов? Как начал это делать в 50-е годы президент Эйзенхауэр в акциях, вошедших в историю как “операция “мокрые спины” (отлавливали мексиканцев, переплывавших реку Рио-Гранде). Трамп обещает построить на границе с Мексикой стену в 1000 миль (более 1800 км) длиной, 40 футов вышиной (12 метров),

* См. мою статью “Борьба двух Америк”. “Наш современник”, № 8, 2006.

с фундаментом 10 футов, чтобы не делали подкопов. Трамп подсчитал, что на эту новую “китайскую стену” потребуется всего 12 млрд долларов. Уверяет, что эти расходы быстро окупятся. Специалисты настаивают, что стройка обойдётся в 26 млрд*. Спорят о деньгах, забывая, что за всем этим маячит перспектива многократного увеличения полицейских служб и законов, то есть полицейского государства. Надо признать, что начавшаяся партизанская исламистская война – новый вид городской герильи – делает эту перспективу почти неизбежной.

В программной речи 13 июня Трамп заявил: “Нарастает угроза терроризма внутри страны”. Он вновь возвращается к теме иммиграции: “Если мы не будем твёрдыми, умными и быстрыми, мы потеряем страну, ничего от неё останется”. То же предсказывают патриоты в Европе – Марин Ле Пен во Франции, Христиан Штрахе в Австрии, Виктор Орбан в Венгрии и многие другие. Совпадают их установки и относительно “радикального ислама”: “Многие принципы радикального ислама не совместимы с западными ценностями и институтами. Только вчера я вынудил Хиллари произнести “радикальный ислам”, а то она всё настаивает на ужесточении контроля за оружием. А это значит, обезоружить законопослушных американцев”.

В отличие от европейских националистов Трамп не хочет заигрывать с девятимиллионным мусульманским населением. Трамп много раз говорил, что введёт полный запрет на иммиграцию с Ближнего Востока. А как же тогда Израиль? В этой речи он требовал усилить слежку за потенциальными террористами, наказывать за недоносительство. И без всяких обиняков назвал войны в Ливии и Сирии ужасными ошибками, ибо они велись без “какого-либо плана, без раздумья, что будет завтра, что создало пространство для Исламского государства”. Это ценное признание, оно подтверждает оценки Путина.

Но договоренности с Ираном для Трампа – катастрофа (our desastorous Iran deal), ибо они “ограничили наши возможности партнерства в регионе с нашими мусульманскими союзниками”. Мог бы сказать просто – с нашими союзниками в регионе, что включало бы и Израиль, безопасность которого больше всех пострадала от договоренностей с Ираном. Не случайно премьер Израиля Нетаньяху в первые месяцы 2016 года уже трижды встречался с Путиным. Заключил свою внешнеполитическую речь Трамп так: “НАТО должна изменить фокусировку (“its focus”) на борьбу с терроризмом”. Это то, что уже давно предлагает и Россия, и крупные западноевропейские государства. “Но, – продолжил Трамп, – Америка должна объединить весь цивилизованный мир на борьбу с исламским терроризмом, как она это делала в холодной войне в борьбе с коммунизмом... Мы вновь сделаем Америку великой”. Это его главный лозунг. Претензии на новое лидерство заявлены, видимо, на потребу избирателям, верующим в исключительность Америки так же бездумно, как украинская молодёжь в незалежность неньки України.

Претензии, несбыточные при государственном долге США без малого в 20 триллионов долларов. Это больше, чем годовой ВВП США, больше даже, чем ВВП Китая. Долг отрезвляет элиту. Трамп уже много раз говорил, что европейцы должны взять на себя бремя расходов на оборону. Но, если они это сделают, то с какого перепуга они должны вручать лидерство Америке?

Вообще тема беспрецедентной 20-триллионной задолженности, преступное печатание триллионов ничем не обеспеченных долларов требует самого углублённого исследования. Эта мегазадолженность выбросит вскоре протуберанцы похлеще феномена Трампа. Просто потому, что за всё надо платить.

Раскол в элите Америки отражает наметившуюся деградацию среднего класса. А это, в основном, белое население, которое теряет доходы и влияние. Общество уже не может поддерживать социальные расходы. Государство ищет средства для обслуживания долгов. Китай, Саудовская Аравия и Япония держат американские долги на несколько триллионов и вместе с Россией готовы предьявить Америке счёт. Транснациональные корпорации начинают покидать США. Идёт мощный отток капиталов. Вашингтон требует от Международного валютного фонда и Всемирного банка пересмотреть Вашингтонский консенсус о свободе переливов капитала, торговли, о дерегуляции.

Короче, всё свидетельствует о том, что Америка перенапряглась, как СССР в 80-е годы. И потому вспыхнул бунт на корабле. Бунт, прежде всего, против капитана, против ненавистных зарвавшихся неоконков.

* The New York Times. May 19, 2016.

Ясно, что Трамп вовсе не одиночка-выскочка, как это доказывают народу СМИ. Трампа поддерживают многие сегменты истеблишмента США. Это многочисленные организации белых американцев, недовольных тем, что неоконны направили в Ираке, Ливии, Палестине, в Сирии, Египте, Иране, в отношениях с Россией. Этим недовольны многие руководители госдепа, верхушка ЦРУ и Пентагона, военно-промышленного комплекса. С неоконнами не желают иметь ничего общего почти все еврейские организации. Они отшатнулись, как пишут в Америке, от “истеричной этноцентристской клики неоконнов”. Всемерно поддерживая Израиль, они, тем не менее, все более недоверчиво относятся к правам в Израиле (Israeli Rights). Элита США действительно глубоко расколота.

Финансовая олигархия спешит завершить глобализацию и использовать США в схватке с Россией и Китаем. Но патриотическая часть истеблишмента, наконец, в лице Трампа, собралась с духом и говорит: хватит использовать нашу родину как дубинку, нет у нас прежних сил, надо по одежке протягивать ножки, надо сосредоточиться на проблемах дома, обеспечив своё величие и процветание. Как они говорят, сделать из Америки “сияющий град на холме”.

* * *

Взбунтовавшаяся часть элиты давно начала готовить программу реформ внешней политики США. За три недели до 13 июня 2016 года, когда Трамп произнёс внешнеполитическую речь, influentialный Институт Чарльза Коха (Charls Koch Institute)* организовал конференцию на тему: “Укрепление безопасности Америки. Будущее внешней политики США”. Её выводы заслуживают самого тщательного анализа.

Среди 14 ораторов были “изгои-политологи”, которые ещё недавно фигурировали в “списках ненависти” неоконнов. Среди них известный учёный, “добрый католик” и автор бестселлера “Смерть Запада” Патрик Буханэн (Pat Buchanan). Ведущими дискуссии назначили Стивена Волта и Джона Меэрсхаймера, авторов исследования “Еврейское лобби”**. В ней на неоконнов обрушился град обвинений: неоконны организовали блокаду Ирана, так как боялись, что, приобретя атомное оружие, Иран нападёт на Израиль. Вполне доказуемо мнение, что “у неоконсерваторов родилась идея, и они несут главную ответственность за то, что они втолкнули Америку в войну в Ираке” (с. 234). Авторы приветствовали создание государства Израиль, “которое было ответом на длинную череду преступлений против еврейского народа” (с. 92). Более того, авторы справедливо предупреждали, что “всякие попытки обвинить евреев-американцев в двойной лояльности ошибочны” (с. 147). Однако эти признания не смягчили ни критику книги, ни преследований Д. Меэрсхаймера и С. Волта. Их судьба сравнима с судьбой советских диссидентов, например, Сахарова и Солженицына. Они были изгнаны из Гарвардского университета, ректором которого является неокон Лоуренс Саммерс (Lawrence Summers).

Отклонюсь от темы: имя этого Саммерса давно фигурирует во многих серьёзных исследованиях как дирижёра чудовищного ограбления России в годы “шоковой терапии”. Американец Джеймс Петрас не побоялся доказывать, что русский народ вновь, как и в годы большевистской революции, ограбили более чем на триллион долларов, разорив заводы, транспорт, вывозя нефть, газ, уголь – всё то, что было создано поколениями советских тружеников***. Другой американец, Джефф Гейтс (Gates Jeff), тоже подсчитал, что русских ограбили более чем на триллион долларов. Трудно даже объяснить, что значит триллион долларов! Тем более долларов начала 90-х годов! Это заметная доля того, что производил весь мир. По плану Маршалла в 1945 году Европа получила от США в пересчёте на современные доллары всего 125 млрд долларов! Мародеры России и по сей день захлёбываются в роскоши.

Американцы знают, американцы подсчитали...! А где мы? Может, хватит на всех ток-шоу огульно клясть всех американцев. Может, пришло время исследовать самим это беспрецедентное ограбление! Не все поделники грабителей сбежали. Прав Эдуард Лимонов: пора рассчитаться с “этой мерзотой”.

* Институт основан и финансируется Ч. Кохом, мультимиллиардером (41 млрд долларов, т. е. в 10 раз больше, чем у Трампа).

** John Mearsheimer, Steven Walt. “Israeli Lobby”, 2007.

*** Petras James. The Power of Israel in the United States. Decline of US Power.

Вернёмся, однако, на конференцию американских диссидентов, на которой были сформулированы “альтернативные принципы внешней политики США” (так озаглавлен доклад С. Волта). Первое и главное: “Предвидеть последствия действий США за рубежом”. То, о чём уже давно говорит Путин. Далее: “Перестать создавать демократические государства”. Это ещё один лицемерный “моральный императив” неоконков. Образно об этом сказал С. Волт: “Хватит нам переделывать мир... Надо перестать воображать, что вся планета — это гвоздь, который постоянно всей своей мощью забивает американский молот”. Точно! Д. Меэрсхаймер, кстати, вспомнил наказ президента Адамса (XIX век): “Америка выходит за рубежи своих границ вовсе не для того, чтобы разыскивать и уничтожать чудовища”. Вот такими размышлениями они приглашают американцев вспомнить времена изоляционизма.

Докладчики говорили о безумных расходах, о жертвах интервенций НАТО. С. Волт прямо заявил: “Расширение НАТО было плохой идеей”, ибо “это ухудшило отношения с Россией”. В будущем надо реагировать “только на прямые угрозы”. Будучи главным докладчиком, С. Волт обосновал, какой в будущем должна быть стратегия США. Это “стратегия балансирования на грани” (off-shore balancing). Приведу её суть в длинной выдержке из его речи: “Важно поддерживать военное превосходство США в западном полушарии при сохранении не более чем достаточной военной мощи для сдерживания потенциальных гегемонов в Европе, на Дальнем Востоке, в Персидском Заливе, не вмешиваясь в конфликты, которые напрямую не угрожают безопасности США”. Д. Меэрсхаймер заявил, что это означает, что “США должны выйти из НАТО, оставив его европейцам”, добавив, что “ни на Украине, ни в Грузии у США нет жизненных стратегических интересов”.

НАТО действительно безнадежно устарело. Европейцы не хотят более слышать воплей поляков и прибалтов, что Россия им угрожает. Не верят в это и сами американцы. Для борьбы с реальным противником — терроризмом, с городской герильей — НАТО явно не годится. “НАТО, — остроумно заметил немецкий журналист Йохен Биттнер, — подобно старому сооружению, которое поддерживают разве что обои”*.

В учениях НАТО “Анаконда” не приняли участия две действительно серьезные державы — Германия и Франция, резонно решив не провоцировать Россию. А этого как раз и добивается Вашингтон: остановить взаимный дрейф Западной Европы и России. Для этого пустили в расход несчастную Украину. На Востоке создаются без ведома Вашингтона свои союзы. Японский премьер поехал к Путину, пренебрегая советами Вашингтона. Даже канцлерин ФРГ Меркель — за “Северный поток” и настаивает, что он носит экономический характер, хотя Вашингтон убеждал, что это политический проект, и он угрожает Украине.

Трамп видит, что Америку всё чаще посылают подальше, что надо менять курс. С. Волт прямо заявил: пусть европейцы сами себя защищают, а если там начнутся войны, то не надо в них вступать до самого конца, как поступили наши мудрые лидеры в I и II мировых войнах. “Начать действовать надо в конце с господствующих позиций”.

* * *

Посмотрим, что Трамп взял из итогового документа конференции, названного “Совет 45-му президенту”. Очевидно, что он многие советы смягчил, чтобы не шокировать избирателей. Их к крутому изменению курса американского корабля надо подводить не спеша, шаг за шагом. Иначе корабль перевернётся, как СССР при Горбачёве. Но делать это придётся, потому что Америка уже фактически зримо отстывает. Далее он видит, что долги душат страну, что обостряется расовое напряжение, что в Европе нарастает хаос, националистические партии и евроскептики теснят атлантистов — союзников Америки.

Трамп и его сторонники предвидят, что реформы Евросоюза будут очень болезненны, хаотичны. Америке лучше не вмешиваться и, как в прошлом, наблюдать и выжидать. Знает он и цену таким союзникам, как Болгария, Румыния и прочие лимитрофы. Знает, что новые члены Евросоюза выпрашивают

* РИА Новости. Статья из *Die Zeit*. 27 июня 2016 г.

огромные средства, без зазрения совести крича об угрозе, исходящей от России. Будет ли Польша получать ежегодно 12–15 млрд евро, когда у Евросоюза такие проблемы? Ведь Польшу подкармливали по новому “плану Маршалла”, делали из неё витрину – наживку для завистливых, недалёких временщиков в Киеве: нас же больше 45 миллионов, а поляков 38 млн! Нам больше дадут. Вот в такие примитивные ловушки поймали молодёжь Украины. Похмелье будет тяжёлым, и в ответе будет киевская интеллигенция с её кричалками: “Украина це Еуропа!”.

Всё чаще мелькают сообщения, что юг Украины, особенно Херсонская область, становятся воротами джихада ИГИЛ против России. Сбежавшие из Крыма радикальные исламисты – татары – вооружаются, безмозглые бандеровцы им помогают, мечтают посадить москалей на ножи. Забыли, а скорее – не знают историю набегов прошлых веков, когда крымчаки веками, каждой весной с появлением травы седлали коней и мчались в набеги, захватывали десятки тысяч поляков и малороссов и продавали их в рабство в Кафе (ныне Феодосия). Россия только при Екатерине Великой прекратила этот кошмар Украины. Украинцам бы почитать “Бахчисарайский фонтан” Пушкина, где он пишет:

*Среди безмолвных переходов
Бродил я там, где бич народов —
Татарин буйный — пировал.
И после ужасов набега
В роскошной неге утопал.*

Потомки проданных в рабство украинцев и поляков узнаваемы в голубоглазых, русоволосых турках. Не надо мирным татарам обижаться! Что было, то было! Все мы грешны. Наши предки, например, казаки, тоже ходили в набеги “за зигунами” и красавицу персидскую княжну “за борт бросали // в набежавшую волну”. Рабами и рабынями, однако, не торговали. Вера запрещала!

Однако главная проблема Европы – иммиграция. Трамп вслед за Путиным сказал так: “Уверен, если бы не проблема иммиграции, речь о развале сообщества не шла бы. Мне кажется, что ЕС распадётся”.

Итак, чего нам ждать? Что, по слову Пушкина, готовит нам “грядущего волнуемое море”? Поразмыслим трезво, чтобы потом “над вымыслом слезами не обливаться”. Трамп замахивается на то, что три четверти века упорно возводили атлантисты: на НАТО, его военную инфраструктуру. Ему не нужен Европейский Союз, он готов уйти с Ближнего Востока, не говоря уж об Украине, Грузии и прочих мелких и мельчайших клиентах типа прибалтов. Более того, Трамп готов сосредоточить усилия на борьбе с терроризмом. Это значило бы, что Россия перестанет быть главным противником США, а следовательно, и западноевропейцев. Это означало бы, что Запад мог бы стать заслуживающим доверия, реальным партнёром в борьбе с терроризмом.

В перспективе трамповской перестройки, зададимся вопросом: позволит ли мировая финансовая олигархия Трампу победить на выборах, стать 45-м президентом? Не случится ли с ним нечто подобное скандалу Стросс-Кана, “уличённому” в изнасиловании горничной? Он тоже готовился стать президентом Франции. Арсенал таких постановок у западных служб велик, список тех, которые увенчались успехом, очень длинный.

В речах Трампа многое близко избирателям. Но главное, что их привлекает, – это его обещание прекратить массовую иммиграцию. Мы воочию наблюдали, что массовая иммиграция стала важнейшим фактором и в жизни народов Европы. Медленно, но неизбежно этот фактор будет подрывать старые союзы, смягчать старые противоречия, заставит ломать стены недоверия и наводить мосты сотрудничества в большой Европе от Лиссабона до Владивостока.

Фактор массового переселения народов с Юга меняет прежние законы и приоритеты геополитики. Отступают старые постулаты о первенстве географических факторов в геополитике: о противоречиях моря и суши, о значении ландшафта, гор, рек, степи и леса. Сама жизнь показывает, что самым важным ныне становится этническая составляющая геополитики, экзистенциальный императив сохранения национальных культур, религии, языка, памяти предков. Это могучая духовная сила народов будет менять мир.

ИГОРЬ ЯНИН

ЧЕРНОМОРСКАЯ ПАЛЬМИРА

“Важная персона” – так называлась программа телеканала “Москва 24”. Вёл её журналист Евгений Додолев, известный своей дотошностью. Как правило, для откровенного разговора он приглашал в студию людей влиятельных, от которых во многом зависит жизнь общества. Людей, которым доверено принимать решения, способных в той или иной мере изменять окружающую реальность.

Каждый социально активный гражданин стремится понять, как работает государственный механизм, кто и каким образом приводит в действие законы, указы, постановления и прочие установления, продиктованные, как правило, самыми благими намерениями. Сила закона – в его исполнении. Исключительно важны личные качества исполнителей. Имеют значение склад характера, обретенный жизненный опыт, широта кругозора, особенности воспитания, уровень образования. Выявить это непросто. Бывает так, что человек, глубоко погружённый в пучину каждодневных реальных проблем, готов ответить на самые сложные и острые вопросы из сферы его профессиональной деятельности. Но когда вдруг его просят рассказать о себе, он поневоле теряется.

В этой “пыточной” телестудии “Москва 24” ранее побывали известные государственные и общественные деятели России – персоны, хорошо знакомые телезрителям. Другие, напротив, редко появлялись на общественных трибунах. В их числе помощник Президента России Игорь Евгеньевич Левитин, участник строительства БАМа, полковник ВСО, министр транспорта РФ в 2004–2012 годах.

Диалог с ним в эфире состоялся в марте 2016 года. Поначалу, в режиме разогрева, разговор шёл формальный, что называется анкетный. О том, что родился Игорь Левитин в поселке Цебриково Одесской области. Это фактически рядом с черноморским побережьем; до Одессы – рукой подать. Отец будущего министра транспорта служил в Одессе, был по своей работе связан с транспортом, с частыми командировками. Он хорошо знал Малороссию, её историю. За этот факт журналист и зацепился, стал допытываться о мотивах, которые могли подвигнуть юношу из вольного города-порта на стезю сухопутную, железнодорожную, строгую.

Путь к воинской службе у Игоря Левитина, по его признанию, был непростым. Желание не просто честно отслужить в армии положенный срок, а стать офицером, профессиональным военным инженером, созрело не сразу, хотя и присутствовало ощущение некоторой предопределённости выбора. Глава семьи был принципиальным сторонником спартанского воспитания, и ес-

Продолжение. Начало в №8 за 2016 год.

ли бы у него оставалось от поездок побольше времени, он наверняка установил бы в доме более жёсткий порядок, а так дело в основном ограничивалось личным примером и декларациями.

Впрочем, и пример личной собранности, да и назидания оставляли след. В семье Левитиных, как и в её ближайшем окружении, было немало военных; к государственной службе все относились ревностно. Один из дядёв, полковник, приходя в гости, непременно взбадривал Игоря: иди по воинской части, не бойся – у тебя получится, понравится служба.

Старшее поколение помнило уроки войны, люди жили работой, интересами страны. Мама трудилась по медицинской части – в областной больнице. Хлопотала по дому, заботилась о здоровье детей, напоминала, чтобы ноги держали в тепле, наставляла быть терпимее к людям. Она не очень-то хотела, чтобы дети выбрали воинскую службу, и тихо радовалась тому, что ребята здоровы, активны, много читают, любят музыку, спорт.

Жизнь всё расставляла по своим местам. И солёный ветер с моря, безуслонно, оказал своё влияние.

В поисках капитана Гранта

Как признался Игорь Левитин, в детстве его любимой книгой был научно-приключенческий роман Жюль Верна “Дети капитана Гранта”. Там действовали отважные, благородные и бескорыстные герои. В их числе шотландец лорд Гленарван, который вместо свадебного путешествия отправился на “Дункане” спасать капитана Гранта по трём морям и трём континентам по 37-му градусу южной широты. И понятно, что читатель-подросток вместе с экипажем “Дункана” с увлечением путешествовал по карте.

Это произведение – поистине звезда первой величины в библиотеке литературы, предназначенной юношеству. Между тем, книги Жюль Верна, его научные и социальные предвидения высоко ценили и основоположник теоретической космонавтики Циолковский, и основатель аэродинамики Жуковский, и путешественник Нансен, и радиотехник Марconi...

В романах Жюль Верна сюжеты развивались в русле происходившей в мире научно-технической революции, притом со значительным опережением времени. Они становились своего рода компасом эпохи активного преобразования человеком планеты.

На море паровые двигатели вытесняли парус. Первые прожорливые, капризные, огнеопасные, копящие небо паровики имели уйму недостатков. Тот же парусный красавец фрегат “Паллада” (52 пушки) с победным видом притащил в Нагасаки на буксире паровую шхуну “Восток”, купленную адмиралом Путягиным в Англии. Если парус обеспечивал плавание неограниченное, то первые пароходы были более “приземлёнными”, то есть привязанными к портам в связи с необходимостью пополнять запасы топлива. Парусникам с железными корпусами удалось продержаться ещё несколько десятилетий.

Увлечение романтикой поиска новых возможностей было типичным для нескольких поколений юношества.

*Я мальчиком мечтал, читая Жюль Верна,
Что тени вымысла плоть обретут для нас,
Что судно поплывет громадой “Грейт-Истерна...”*

– это строки, написанные 28 мая 1912 года поэтом Серебряного века, энтузиастом технического прогресса Валерием Брюсовым.

Нелишне напомнить, что автор “Детей капитана Гранта” вырос также в приморском городе – Нанте, в устье Луары, и тоже бредил морем и кораблями – океанскими, воздушными, сухопутными. Упомянутого Брюсовым стального левиафана вскорее заслонила трагическая тень “Титаника”. Ныне позабытый “Грейт Истерн” был огромным пароходом в 32 тысячи тонн водоизмещения, спущенным на воду в 1858 году. Построен он был для рейсов в Индию вокруг Африки без пополнения запасов угля. На нём поездку в Америку совершал и Жюль Верн. Однако судьба “Грейт Истерну” выпала нелёгкая. Началось с того, что взорвался один из паровых котлов, и труба взлетела на воздух, словно ракета. Конструктор морского исполина Изабард Брунелль умер, не перенеся страданий за своё детище. После нескольких

аварийных рейсов из лайнера сделали кабелеукладчик для прокладки телеграфной связи через Атлантику. Это чудо техники не только погубило автора и своего первого капитана вместе с ремонтными рабочими, но также разорило несколько компаний-владельцев.

Летом 1896 года Александр Грин (Гринеvский), 16-летний вятч, начитавшийся книг о мореплавателях и путешествиях, тосковал на одесской “Дюковской лестнице” (позднее названной Потёмкинской). Он мечтал о кругосветном плавании и приехал в Одессу поступать в мореходку, но оказалось, что, кроме аттестата реального училища, требовался ещё и полугодовой матросский стаж. Будущий писатель-романтик устроился учеником матроса на пароход “Платон”, совершавший каботажное плавание по Чёрному морю по маршруту Одесса–Батуми–Одесса с заходом в Севастополь, Ялту, Феодосию, Поти. Потом на парусной шхуне “Св. Николай” ходил в Херсон, на пароходе “Цесаревич” попал даже в заграничное плавание – до Александрии. . .

Мечта о путешествиях и для Игоря Левитина вполне могла остаться лишь мечтой. Однако в данном случае судьба отнеслась благосклонно к юношеским устремлениям. И даже оказалась чрезмерно щедрой: в дальнейшей взрослой жизни у него две трети времени проходило в пути. Но об этом позже.

Здесь невольно напрашивается мысль, которая, возможно, кому-то покажется спорной. Думается, высокие достижения в профессиональной деятельности и в том, что мы называем карьерным успехом, во многом зависят от того, насколько глубоко человек познал историю избранной им профессии. И чем раньше проявился в нём жгучий интерес к истокам дела, к процессу эволюции, тем впоследствии ярче в его работах проявляется творческая индивидуальность. Окружающим остаётся только удивляться каскаду оригинальных и, как правило, передовых решений: откуда у него что берётся? . .

История про географию

Прекрасная Одесса давала бесчисленные поводы для увлечения как географией, так и историей. 200-летняя её история со всеми взлётами и падениями протекала у всех на виду, и она весьма поучительна.

Этот город ещё в середине XIX века стали называть Южной Пальмирой по созвучию с Пальмирой Северной – с Петербургом. Вообще-то “пальмира” – от слова пальма. Хотя в невской Пальмире, да и в черноморской тоже пальмы растут, в основном, под крышей и в кадushках – таков наш климат. Настоящую Пальмиру – ту, что в Сирии, называют ещё “улыбкой пустыни”, открывающейся перед путником, изнывающим от жары. И вот к этой аналогии Одесса гораздо ближе. Город-сад можно было бы назвать тоже улыбкой в бескрайней засушливой степи. Рукотворным оазисом, где властвуют роскошные каштаны, где сводят с ума цветущие акации. . .

Оазис именно рукотворный. Потому что поначалу это местечко было далеко не райским. Морской Одесский залив достаточно глубок, но самой природой он не был защищён от жестоких штормов, особенно свирепых зимой. До сооружения заградительных молов корабельщики торопились разбраться с грузами и поскорей убраться отсюда подобру-поздорову. Проживание на берегу тоже было несладким. Питьевой воды не хватало ни людям, ни растениям. Колодцы, пробитые в известняках, скудны, и вода в них по качеству совсем нехороша. Что уж говорить о созданных по крайней необходимости подземных хранилищах дождевой воды!

Преимущество же состояло в том, что рядом пролегал легендарный торговый путь “из варяг в греки”, упомянутый ещё в “Повести временных лет”. Вдоль залива располагались древнегреческие колонии. Русь постоянно находилась под угрозой опустошительных набегов с юга, но торговые люди как-то умели с местными властителями договариваться, а неразумным давать вооружённый отпор.

Ситуация коренным образом изменилась с падением Константинополя 29 мая 1453 года. Христианнейшая Европа не оказала Византии должной братской поддержки. Никто не прислал подкреплений на Родос рыцарям-иоаннитам, никто не пришёл на помощь Венгрии и в решающей битве на Мохачском поле. В результате перед победителями турками открылись широкие возможности для покорения новых территорий Центральной Европы и дальнейшего распространения ислама.

Османский султан Мехмед II запер пролив Босфор двумя крепостями, построенными на азиатском и европейском берегу, и ввёл суровый режим пропуска судов. Главный торговый путь из Европы в Азию – черноморский транзит – был парализован. Угасал и обескровленный дунайский торговый путь.

Совесь (в широком смысле religio – лат.) Западной Европы была задета, но, как отмечает известный английский исследователь-византинист Стивен Рансимен, она так и не пробудилась. Всё, что европейские единоверцы попытались сделать для спасения христианского Востока, это облегчить судьбу несчастных беженцев, которым удалось спастись от турок. Простой народ вынужден был принять все страдания, выпавшие на их долю. Самые тяжёлые последствия это имело для судеб самой Центральной Европы и южнославянских народов, попавших под жестокое турецкое иго на полтора века.

Последняя византийская царевна София Палеолог (будущая бабушка Ивана Грозного), просватанная за православного русского князя – царя Ивана III, кружным путем через Италию, Германию, по волнам Балтики, затем по суше прибыла к своему жениху. В качестве особого рода приданого она привезла в Московское княжество древний герб Византийской империи – двуглавого орла.

До сих пор продолжают споры, кто виноват в гибели блистательной византийской цивилизации. Многие историки склонны считать дату падения Константинополя некоей хронологической границей, отделяющей Средневековье от эпохи Возрождения, связывая это с разочарованием и смятением, вызванным сменой прежнего религиозного порядка, а также развитием новых технологий, прежде всего военных.

Для Московии и практически для всей Восточной Европы наступила полоса самых тяжких испытаний. Только за вторую половину XVI века южные соседи совершили на Московское государство 48 набегов. За первую половину XVII века было угнано в полон более 200 тысяч русских пленников. Ещё сильнее пострадали украинские земли, входившие в то время в состав Польши. С 1605 по 1644 год на Речь Посполитую было совершено не менее 75 степных набегов. Лишь за 1654–1657 годы с Украины угнали в рабство свыше 50 тысяч человек. К 80-м годам XVII века оставшаяся под польской властью Правобережная Украина почти полностью обезлюдела. По мнению известного слависта В. И. Ламанского, с XV века по XVIII век включительно Великая и Малая Русь и часть Польши лишились от 3 до 5 миллионов жителей обоего пола, уведённых в турецкую неволю и проданных в рабство.

Османы захватили и разрушили практически все прибрежные торговые колонии. Поселение Хаджибей также пришло в упадок. Кроме вялой торговли пшеницей и кожами, занятиями жителей были рыболовство и выпаривание соли в прилегающих лиманах.

Жизнь, однако, продолжалась. В Причерноморье сохранилось много преданий о транспортных сообщениях той “блокадной” эпохи. Одной из оживлённых коммуникаций оставались перевозки по Днепру. Ходили настоящие легенды об отчаянных сплавщиках, водивших суда и плоты через грозные опасные пороги. Плавсредства разбивались на камнях так часто, что установились даже твёрдые тарифы на выкуп товаров, поднятых со дна после крушения купеческих барок, плотов и лодок.

Ещё больше рассказов, изрядно сдобренных юмором, ходило о чумаках. Это было целое сословие, занимавшееся торгово-перевозным промыслом. Чумаки отправлялись на волах к Чёрному и Азовскому морям за солью и рыбой, развозили их по ярмаркам, занимались доставкой и других товаров. Чумацкая торговля была уважаемой, так как была честной и сопряжённой с риском для жизни. Часто торговцы подвергались нападениям со стороны гайдамаков. Поэтому в дорогу снаряжались настоящие транспорты-конвои. Общее число пар волов – обычно бессарабских с длинными рогами – доходило тогда до 40. Вozy были тяжёлые и неуклюжие, но крепкие – поднимали до тонны с гаком. Колонна двигалась со скоростью от 15 до 20 верст в день. При особенно благоприятных условиях (или порожняком) скорость достигала 35 вёрст в сутки.

Соответственно строилась и чумацкая “логистика”. Сложность состоялась в том, что транспорт этот не был всепогодным. В мокрую погоду волы натирали себе шею ярмом. Возчики останавливались и ждали, пока они не просохнут. Тем не менее, с открытием в конце XVIII века черноморских торговых

портов, чумаки ежегодно доставляли 25–40 млн пудов зерна. Они обслуживали многие ярмарки – от Волги до Польши. Только с развитием железнодорожной сети этот промысел пошёл на убыль. Говорят, чумацкие алгоритмы унаследовали одесские биндюжники, но и они постепенно сошли с арены.

Конфликт двух набирающих силу империй – Российской и Османской – вокруг территории северного черноморского побережья стал исторически неизбежным. В 1787 году русская императрица Екатерина II предприняла знаменитое Таврическое путешествие. В сущности это была инспекция Новороссии, присоединённой к России в результате войн с турками и переданной под управление Григорию Потёмкину.

Спускаясь по Днепру, императрица основала город Екатеринослав. В устье реки Екатерина посетила новый город Херсон, после чего направилась в Крым.

Согласно Ясскому (1791) мирному договору в состав Российской империи вошёл и Хаджибей, насчитывавший в 1793 году всего десяток дворов. Было решено построить там крепость для прикрытия русской границы со стороны Бессарабии и сделать Хаджибейский рейд местом стоянки Черноморской гребной флотилии. Надзор за возведением системы пограничных крепостей был поручен А. В. Суворову.

Официально историю Одессы как города принято отсчитывать с 27 мая (7 июня) 1794 года, когда императрица Екатерина Великая издала рескрипт об основании города и гавани на месте Хаджибея. Городу давались привилегии: освобождение на 10 лет от налогов, от военных постоев, выдача ссуды из казны поселенцам на первое обзаведение, разрешение сектантам строить свои церкви... А в начале 1795 года Хаджибей переименовали в Одессу.

Черноморская Пальмира

В конце XVIII века в городе селились в основном военные. Первым градоначальником Одессы и генерал-губернатором Новороссии был Осип Дерибас (Хосе де Рибас), испанский дворянин, русский военный и государственный деятель, немало отличившийся в битвах, а также на дипломатической службе, высоко ценимый и Потёмкиным, и Суворовым.

Первые камни в основание крепости и нового черноморского порта закладывали ветераны суворовских походов. Мемориальная доска, прикреплённая к входному павильону морского пассажирского вокзала, гласила: “Здесь 22 августа (2 сентября) 1794 года были заложены первые сооружения, положившие начало строительства порта и города Одессы”.

В степном краю деловая древесина была дефицитной, как и питьевая вода. Для возведения стен использовали природный камень – ракушечник, и молодую Одессу называли “жёлтым городом”. Подземные каменоломни, где выпиливали строительный камень, постепенно образовали обширные лабиринты катакомб. В их систему входили разного рода шурфы, проходы, дренажные тоннели, ливневые коллекторы, подвалы, бункеры, а также карстовые пещеры. Длина одесских катакомб оценивается приблизительно в три тысячи километров.

Экспорту через Чёрное море правительство Российской империи придавало большое значение. В 1803 году император Александр I градоначальником города Одессы и генерал-губернатором Новороссийского края назначил Армана-Эммануэля де Ришелье, племянника знаменитого кардинала. Он эмигрировал после Великой французской революции и поступил на воинскую службу в России. Ришелье активно включился в руководство городским строительством. В 1815 году, получив приглашение возглавить правительство Франции, Ришелье покинул Российскую империю, Одесса была уже довольно-таки обустроенным городом.

В 1817 году граф Александр Ланжерон, сменивший Ришелье на посту генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии, для увеличения товарооборота добился открытия первой на территории России зоны свободной торговли – порто-франко (вольной гавани) – зоны, пользующейся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров.

Естественно, появилось и множество контрабандистов. Кроме тёмных товаров, через Одессу проходили в Россию герценовский “Колокол”, позд-

нее ленинская “Искра” и другая нелегальная продукция. Несмотря на усиленную карантинную службу, проникали в город и моровые болезни, такие, как холера, случалось — и чума.

Современники отзывались об Александре Ланжероне с симпатией: “храбрый генерал, добрый правдивый человек, но рассеянный, большой балагур и вовсе не администратор”. Граф имел склонность к литературному труду, дружил с Пушкиным и, говорят, немало помучил поэта чтением своих стихов и трагедий. Умер он от холеры в Петербурге, куда заезжал по делам, но похоронить себя завещал в милой его сердцу Одессе. Остроумного и обаятельного графа одесситы тоже любили, его именем называли часть города и роскошный песчаный пляж.

Весной 1823 года новороссийским генерал-губернатором и наместником Бессарабской области был назначен герой войны 1812 года Михаил Воронцов. Вот это был поистине блистательный администратор! Его трудами были решены многие остершие проблемы Новороссии, Крыма, Бессарабии, Кавказа. Недаром его фигура запечатлена на памятнике в Великом Новгороде “1000-летие России”.

При Воронцове Одесский порт стал быстро расти, чтобы, в конце концов, по грузообороту выйти на второе место после Петербургского. Одесса пережила период величайшего подъёма, стала подлинным культурным научным и просветительским центром. Количество населения увеличилось с 35 тысяч до 90 тысяч человек. Развивались транспортные связи с другими регионами Российской империи. Окончательно сформировалась фасадная часть города, Николаевский бульвар (ныне Приморский бульвар).

“Этот город — истинный оазис посреди окружающей его огромной степи — образует великолепную панораму дворцов, церквей, гостиниц, домов, построенных на крутом обрыве морского берега, основание которого отвесно погружается в море”. Так описывал Одессу Жюль Верн в приключенческом романе “Упрямец Керабан”. Он не забыл упомянуть и памятник дюку Ришелье (duc в переводе с французского “герцог”), и знаменитую лестницу.

О, эта легендарная лестница! Её строили долго, с 1837-го по 1841 год, и получилась она так хороша, что уж и не знали, как получить её назвать: то лестницей Николаевского бульвара, то Гигантской, то Ришельевской, Воронцовской, Приморской, и, кажется, успокоились на Потёмкинской. Задуманная как парадный вход в город с моря, она стала доминантой архитектурного облика Одессы и её символом.

Действительно, этот архитектурный шедевр передает неповторимый стиль города, — шикарный и с тонким сюрпризом. При взгляде сверху видны только лестничные площадки, словно ступеней нет вовсе. Притом кажется, будто ширина лестницы одинакова на всём её протяжении, а боковые парапеты строго параллельны. Но это зрительная иллюзия. У основания лестницы ширина её 21,6 м, в то время как в верхней части всего лишь 13,4 м. А при взгляде снизу лестница представляется гораздо длинней и выше, чем есть на самом деле. Виден слегка волнистый каскад ступеней, по которым — полное впечатление! — будто спускается к морю бронзовый “ангел-хранитель” города Эммануил Осипович де Ришелье.

20 апреля (8 по-старому) 1854 года англо-французская союзная эскадра — 32 корабля — бомбардировала Одессу. Досталось осколком и бронзовому Дюку. И тут город-порт показал свой характер. Не помогло агрессору 7-кратное преимущество (350 пушек против 48). Десант был опрокинут, интервенты потеряли две с половиной сотни только пленными. Один из кораблей — английский фрегат “Тигр” — так увлёкся стрельбой, что сел на мель, где одесситы разобрали его на дрова. Одну пушку сняли, чтобы установить на площади с язвительной надписью. Тяжело пришлось Севастополю. Но больше союзники не добились успеха нигде — ни на Балтике, где напоролась на мины, ни на Соловках, ни на Дальнем Востоке. Да и в Крыму победа признана союзниками пирровой: финансовые и людские потери (в том числе от желудочно-кишечных недугов) оказались неприемлемо велики.

Когда, наконец, железнодорожная сеть России дотянулась до черноморского побережья, перед Одессой открылись новые горизонты. Строился рельсовый путь за казённый счёт, движение первых поездов было открыто летом 1870 года. Дальнейшее развитие инфраструктуры происходило уже силами акционерных объединений. Акционерам гарантировали большие льготы.

Общая длина всей этой сети, получившей название Одесской железной дороги, составляла 963 км.

Кстати, с 1 мая 1870 года был принят на работу в управлении новой дороги свежий выпускник физико-математического факультета Новороссийского (Одесского) университета Сергей Витте, будущий премьер-министр. Во второй половине 70-х он уже возглавлял службу эксплуатации и уделял большое внимание развитию и техническому оснащению Одесского порта.

Рубль – перевоз

Тем временем на восточной окраине Российской империи назревали события исторического масштаба, в которых Одесскому порту суждено было сыграть важную роль. В 1858–1860 годах были заключены три договора с Китаем, которые окончательно решили территориальные споры и установили дипломатические отношения между двумя странами. Включение в состав империи новых территорий меняло всю систему международных отношений на Дальнем Востоке.

Свободных земель на Дальнем Востоке было в избытке, но людей, чтобы осваивать природные богатства, не хватало. Попытки расселить там ссыльных, нижних чинов, уволенных в запас, давали слабый результат. Между тем, в Европейской России, и особенно в Малороссии, уже наблюдался избыток сельского населения. Но добираться в Сибирь по сухопутью было слишком тяжело. Немногие решались тащиться с семьей на телегах и пешком за тысячи вёрст на неизведанные места. Такие путешествия занимали 3–4 года. Многие гибли, не выдержав тягот пути, другие оседали в селениях где-нибудь поблизости от Сибирского тракта или возвращались.

Более эффективными обещали стать морские перевозки. Северный морской путь оставался труднопроходим даже для стальных пароходов. От Кронштадта до Нагасаки адмирал Путятин на “Палладе” добирался вокруг Африки 10 месяцев. С открытием в 1869 году Суэцкого канала Одесса оказалась в наиболее выгодном положении для связи центральной России с Дальним Востоком. Обсуждался вопрос освоения острова Сахалин с использованием английского опыта заселения Австралии каторжанами.

Через Одессу началась доставка переселенцев и грузов на тихоокеанское побережье империи – во Владивосток, на Сахалин, в Николаевск-на-Амуре. Доставка туда 1 пуда груза обходилась в среднем не меньше 2 рублей. В результате, если пуд муки в европейской части России стоил 2 руб. 80 коп., то во Владивостоке все 10. Если в метрополии сахар продавали по 4 рубля, то в Приморском крае цена доходила до 20. Такая получалась разорительная пропорция. Дело в том, что к перевозкам привлекались иностранные суда, и оплачивался дорогий фрахт.

Разрушить монополию можно было, только создав свой коммерческий флот для перевозок на Дальний Восток. Ставилась цель снизить стоимость доставки хотя бы до 90 копеек за пуд.

Добровольный флот

История, география, экономика следуют в одном неразрывном строю – это понятно. Гораздо реже принято задумываться, например, о том, сколько стоит четкое, добросовестное проведение организационного решения? Любопытно проследить, как в позапрошлом, в XIX веке при отсутствии суперсвязи, сверхкомпьютеров, бесчисленных гаджетов и всякого рода наворотов оргтехники решались финансово-хозяйственные вопросы.

23 апреля 1878 года было подписано (не исключено, что подписывалось ещё гусиным, а не стальным пером) разрешение учредить Комитет по устройству Добровольного флота на жертвуемые для этой цели суммы. Схему избрали конверсионную – полукommerческую-полувоенную, – поэтому создали три отделения Комитета: учредительное, хозяйственное и военно-морское. Морское возглавил Константин Посъет, министр путей сообщения. Опубликовали приглашение к пожертвованиям. Без пустой говорильни и препирательств согласовали основные требования: скорость хода парохода должна быть не менее 13 узлов, запас угля на 20 дней плавания, возможность установки на палубах орудий и т. д.

Немедленно во всех губерниях развернулся сбор средств. Деньги вносили дипломаты, промышленники, дворяне, мещане, крестьяне и представители интеллигенции. Величины жертвуемых сумм колебались от нескольких копеек до тысяч рублей. Крупнейшим вкладчиком стал граф Строганов, внесший 100 тысяч рублей. Отчёты о пожертвованиях и затратах публиковались в печати с точностью до долей копейки. Общая сумма к 20 сентября превысила 3 млн рублей.

Специальная комиссия, выехавшая в Гамбург, закупила океанские грузопассажи́рские пароходы. Торговались умело: вместо трёх кораблей взяли четыре. И немедленно включили их в работу, поручив для начала перевозку на родину войск, принимавших участие в боевых действиях в Турции и Болгарии.

Первый рейс из Одессы во Владивосток и на Сахалин совершил пароход “Нижний Новгород”. Это было как раз четвёртое, сверхплановое судно. То есть вся операция от “озвучивания” идеи, от первой пожертвованной копейки до прощального пароходного гудка заняла всего 13 месяцев. В наше же время нередко гораздо более весомые суммы улетают со скоростью света, не оставляя никакого следа...

Отправление “Нижнего Новгорода” из Одессы проходило без особого шума. Пароход принял на борт 569 ссыльнокаторжных в сопровождении конвоя и 730 т груза. Французы издавна вывозили своих заключенных на дальние архипелаги и быстро переоборудовали торговый пароход “Нижний Новгород” в плавучую тюрьму. Европейское оборудование включало в себя ряд “прогрессивных” новинок, например, систему труб, по которым в случае бунта можно было подать в арестантские помещения жёсткий пар прямо из котельной.

Когда главное тюремное управление Министерства юстиции подсчитало стоимость морской транспортировки одного каторжника на Сахалин, вышло около 95 рублей. Пешие этапы из европейской России на дальневосточный остров обходились в три-четыре раза дороже. А времени это занимало около двух лет.

Обратный путь был чисто коммерческим. “Нижний Новгород” на Сахалине загрузился углем с избытком, который продал в Китае, а на вырученные деньги принял 1300 т чая для Англии. В Одессу пароход вернулся 19 декабря 1879 года. Затем судно включилось в график регулярных рейсов на дальневосточной линии Доброфлота.

Официальное открытие “правильного (то есть регулярного) товаропассажирского сообщения” с российскими портами на Тихом океане состоялось зимой 1880 года. Пароход “Москва” уходил уже не каторжным, а чисто коммерческим рейсом. Все предыдущие дни на причале было тесно. Биндюжники – грузовые извозчики – подвозили на своих “ломовых” продовольственные и промышленные товары. Чего только не укладывали в трюмы: тюки тканей из Лодзи, штуки ивановского ситца, ящики с парфюмерией, с конфетами; по спецзаказу Морского собрания Владивостока – “карты игральные, 51 пуд”... Особая статья – десять тысяч пудов казённой ржи и два частных пассажира. Бункеры заполнены высокосортным донецким углем.

Та зима выдалась на редкость суровой; бухта замерзла. Но капитан-лейтенант Сергей Чириков оказался достойным потомком своего предка – открывателя Аляски. По прорубленному во льду каналу он аккуратно вывел судно на чистую воду. А поскольку дул попутный ветер, до Босфора пароход, экономя уголь, прошёл под парусами.

Капитану порта Владивосток и губернатору Приморья отстучали телеграфное уведомление о выходе к ним из Одессы парохода Доброфлота.

Телеграмма на край света

История создания воздушной телеграфной связи с Дальним Востоком тоже прелюбопытная.

Спорили об этом Сибирском телеграфе горячо. Нет, после Крымской войны и Балканских кампаний никто не возражал против строительства новых рельсовых путей или телеграфных линий. Боевые офицеры в то время активно участвовали в решении вопросов, касающихся научно-технического прогресса. Спорили о приоритетных направлениях, о сроках, возможностях,

стоимости работ. Устройство 1 версты телеграфной связи в Восточной Сибири стоило в 3 раза дороже, чем в Европейской части. Было ясно, что Сибирский телеграф пока ещё не даст экономической выгоды и не может стать коммерческим проектом.

Проект горячо поддерживал Н. Н. Муравьев-Амурский. В докладной записке на имя министра иностранных дел князя А. М. Горчакова военный губернатор Восточной Сибири прямо отмечал, что “денег на Сибирский телеграф жалеть нельзя, т. к. в Японии и Китае утвердились Англия, Франция, Америка, и при всем нашем искусстве мы никогда не сумеем выдворить этих господ, если сообщения наши со столицей останутся в первобытном состоянии”.

21 декабря 1863 года телеграф заработал в Иркутске. Для сибирских городов это было огромное событие. Вот текст первой телеграммы, отправленной на монаршее имя: “Не нарадуемся, не налюбujemy дивному, полезному изобретению. За телеграф Сибирский – большое спасибо. Ура Всероссийскому монарху. Из бурятских мещан, мещанин Яковлев”. Телеграмма из Иркутска до Петербурга шла в то время 9 часов – небывало оперативная связь столицы и Восточной Сибири, между которыми почта шла более месяца.

В Забайкалье, Приамурье и Приморье линию тянули по безлюдной горно-лесистой местности. В вековой тайге рубили просеки; местами провод просто крепили к стволам деревьев. Грузы перевозились на лошадях по выючным тропам, а часто и на плечах.

17 марта 1872 года линия от Москвы до Владивостока вступила в строй. Долгое время она оставалась самой протяжённой электромагистралью в мире – более 12 тыс. км.

Владивосток встречает “Москву”

“Москва” была ещё на подходе; ещё никто толком не знал, что в трюмах, а цены на городском рынке пошли вниз. Встречать пароход из Одессы высыпал весь Владивосток. Первые письма и российские газеты владивостокцы получили всего через два месяца, а не на следующий год. Моряков закормили зваными обедами, в церкви отслужили молебен “О путешествующих”.

Кто по морю ходит, тот верует; или, по крайней мере, придаёт значение знакам, которые подаёт природа. В православной России среди людей, зависимых от капризов стихии, особенно моряков и рыбаков, наиболее почитаемым святым является Никола Чудотворец. В народе его обычно называют Николаем Угодником – он добрый и справедливый, способный помочь человеку в критической ситуации.

По преданию, удержав меч палача, святой Никола спас от смерти трех мужей, невинно осуждённых корыстолюбивым градоначальником. Совершая паломничество в Иерусалим, Николай Чудотворец по просьбе отчаявшихся путников молитвой успокоил разбушевавшееся море. В одном из морских путешествий он своей молитвой воскресил моряка, который сорвался с мачты. По прибытии в порт привёл спасённого с собой, где обратил его в истинную веру. После этого святой Никола стал считаться покровителем всех странствующих и путешествующих.

Началась массовая перевозка на Дальний Восток переселенцев. Время в пути составляло месяц-полтора. Только за первые десять лет судами Доброфлота были перевезены десятки тысяч людей, доставлено около 5,3 млн пудов грузов. Условия плавания были тяжёлыми и для пассажиров (в особенности для детей), и для экипажей. Как правило, в каждый такой переход умирало в пути от 5 до 30 человек. По преданию, именно на дальних рейсах Доброфлота родилась песня, ставшая народной, – “Раскинулось море широко”. Сегодня трудно даже представить, насколько тяжёлым был труд кочегаров, особенно в экваториальном поясе и в Красном море. При штормах и качке – изнурительная мышечная работа, связанная с опасностью ожогов и других травм. За одну вахту иногда приходилось каждому забрасывать в топку по 2-3 тонны угля – запредельная нагрузка на человеческий организм. Невыносимая жара и высокая влажность нередко приводили к гибели от теплового удара.

На пароходе “Петербург” возвращался из поездки на остров Сахалин 30-летний писатель Антон Чехов. Маршрут его путешествия на Сахалин и обратно, общей протяженностью 31400 км, был пройден за 228 дней (7,5 месяца).

А весь маршрут состоял из железнодорожных (2500 км), речных (5100 км), гужевых (4300 км) и морских (19500 км) участков.

Из Владивостока отправились 19 октября 1890 года. По пути из Гонконга в Сингапур судно испытало удары тайфуна; крен временами превышал 30 градусов. В судовом лазарете скончались два больных матроса, возвращавшихся домой, но так и не увидевших родины. Похороны в Южно-Китайском море произвели на доктора Чехова сильное впечатление, и по мотивам этих событий он написал рассказ “Гусев”. 1 декабря 1890 года “Петербург” бросил якорь на одесском рейде.

Деятельность Доброфлота оставалась убыточной, несмотря на большой объём заказов. Сказались потери: в 1882 году разбилась у сомалийского мыса Рас-Хайфун “Москва”, в 1887 году у берега Сахалина погибла “Кострома”, в 1893 году близ Императорской гавани разбился о камни “Владивосток”. В этих трёх случаях пассажиры и экипаж были спасены, а пароходы заменены вновь приобретёнными с присвоением им названий погибших кораблей.

Для поддержки моряков правительство утвердило субсидию в виде помесячной платы, а весной 1883 года Доброфлот передал Морскому ведомству. Помимо главной линии Одесса–Владивосток открыли ещё линию Одесса–Санкт-Петербург.

В 1891 году в Одесском порту работал грузчиком А. М. Пешков-Горький. Механизация порта составляла тогда 5 процентов. Это значит, что всё ложилось на плечи людей. Естественно, рассказ “Челкаш” всеми одесситами был прочитан особенно внимательно и с пристрастием. Игорю Левитину он многое объяснил о реалиях жизни, об отношениях национальных и социальных.

Существенную роль сыграли пароходы Доброфлота при строительстве Уссурийской железной дороги, доставляя рельсы, строительные материалы, паровозы, помогая своему будущему конкуренту – Транссибу.

В 1893 году в Чикаго открылась Всемирная Колумбова выставка, посвящённая 400-летию открытия Америки. Специально для этой выставки по поручению С. В. Витте Департаментом торговли и мануфактур Министерства финансов было составлено подробное описание Сибири и перспектив её освоения, прежде всего, в связи с началом строительства Транссиба. Отмечалось и развитие Добровольного флота, который к этому времени располагал девятью пароходами океанического плавания общей грузоподъёмностью 30 000 тонн. Причём каютный пассажир за 40 дней плавания от Одессы до Владивостока платил 500 рублей с продовольствием, палубный – 100 рублей также с продовольствием, а за перевозку товара удалось снизить цены в пределах от 30 до 40 копеек с пуда.

С годами Доброфлот стал мощной организацией, постоянно пополняющейся новыми судами. К 1914 году он имел около полусотни пароходов, немалую недвижимость в России и за рубежом: причалы, плавучие портовые средства, дома, склады.

И тут началась Первая мировая война, за ней следом – революция, великая смута.

Ворон ворону кричит...

Рассказывать об этом периоде истории своего города одесситы предпочитают с юмором. Но это всего лишь форма психологической самозащиты. В реальности был ужас. Кровавый хаос.

На поживу слетались падальщики-стервятники со всей Европы. 23 декабря 1917 года Англия и Франция подписали секретные протоколы по разделу России. В зону Великобритании вошли Кавказ и казачьи области; в зону Франции – Бессарабия, Украина и Крым; Сибирь и Дальний Восток рассматривались как зона ответственности США и Японии. Таким образом, Одесса попала в зону действия Франции. Французам импонировала конфедерация, в том числе и республика Новороссия. Но упёрся гетман П. П. Скоропадский: “Одесса це Украина”.

Гетман пришёл к власти в Киеве при поддержке германской оккупационной администрации, озабоченной тем, что Центральная рада плохо справлялась с вывозом продовольствия (хлеба) в Германию. В марте 1918 года австро-германские войска вошли в Одессу. Были разогнаны и городские власти, и профсоюзы. Большевиков, правых и левых эсеров, офицеров начали аре-

стовывать вместе с большевиками. Анархистов расстреливали наравне с бандитами. Фактически городом управляли австрийский фельдмаршал и немецкий полковник. В городе ходили кроны и марки. Но вскоре немцы потянулись домой, у них там случилась своя революция. Германцы уходили; власть захватывали ставленники Антанты.

В Киеве продолжалась борьба между сторонниками Республики, Центральной рады, Гетманства, Директории. Осенью 1918 года в Чёрное море был введён англо-французский флот с целью оккупация портов от Одессы до Таганрога. Десятки солдат сошли на берег. Затем в Одессу без боя вошли петлюровцы.

Утром 27 ноября 1918 года одесситы столкнулись с совершенно новым явлением — “государственными” границами посреди городских улиц, которые за одну ночь разделили Одессу на мини-государства. Часть Николаевского бульвара, огороженная городскими скамейками, была оцеплена постами из состава польского отряда, образовав “нейтральную зону”, над которой был поднят французский флаг.

Власти сменяли одна другую в Одессе 14 (четырнадцать!) раз. Одних только контрразведок, где трудились заплечных дел мастера из разных стран, историки насчитали не менее 18 (восемнадцать!)

Алексей Толстой, Иван Бунин, Василий Шувальгин описывали Одессу тех дней как город, где витал Ангел смерти. По улицам слонялись французские, английские, греческие, польские солдаты. Зуавы и сенегалцы пугали горожан своей чернотой и белозубыми улыбками. Вооружённые люди заходили в первый попавшийся дом и тащили все, что приглянулось. Тех, кто пытался защитить своё имущество, пристреливали на месте.

Дворники хранили в своих чуланах рядом с мётлами и лопатами наборы флагов — кайзеровских, белых, красных, зелёных, гайдамацких, петлюровских, денкинских, французских, британских, австрийских, румынских и проч. По утрам они вывешивали флаг, соответствующий обстановке, и общались жильцам о том, чья власть сегодня в их районе.

Это было очень важная информация. Выходя за хлебом, до булочной одесситам приходилось пересекать пару государственных границ. Например, петлюровцы контролировали одесские рынки и железную дорогу. Они установили высокие пошлины на пронос и провоз товаров, нелегальным ввозом которых тогда жила вся Одесса. Сербы и поляки, позже французы, напротив, поощряли свободную торговлю и фактически установили в подконтрольных им районах режим порто-франко.

Одесситы с присущей им изобретательностью попросту переносили товары из разных “государств” по своим “итальянским” длинным балконам и тайным ходам. В катакомбах возникали склады контрабандной продукции для оптовой торговли.

Белому движению в Одессе досталась пара кварталов на Маразлиевской и кусочек порта. На Молдаванке обосновалась армия короля одесских анархистов и бандитов. Соваться туда не рисковал никто из представителей других одесских “государств”.

Граница “Франции с Одессой” проходила возле Оперного театра. Назначенный вице-консулом капитан Эмиль Энно объявил порт и Приморский бульвар вместе с Потёмкинской лестницей зоной французских интересов. Премьер Жорж Клемансо требовал выдвижения на Киев, Юзовку (Донецк), Харьков, а затем на Москву силами трёх армий: гетманской, Добровольческой, Польского легиона. Но тут началась какая-то делёжка, солдатам захотелось домой. Тем более что английский премьер Ллойд Джордж сказал, что большевизм рухнет сам.

В Одессе начали печатать свои деньги. Цены на продукты питания выросли многократно. Вспыхнули голодные бунты. Повсюду формировались отряды самообороны: дружины офицерские, рабочие, портовые, боевые группы немецких колонистов, еврейские, интернациональные.

Отступавшие под ударами Красной армии войска Директории превратились в банды убийц и грабителей. Деятельность “атаманской группы” во главе с Петлюрой ознаменовалась кровавыми еврейскими погромами. В октябре 1919 года остатки войск бежали в Польшу, где Петлюра заключил соглашение с поляками о совместных военных действиях против России, а после заключения мира продолжал возглавлять правительство в изгнании.

Петлюру застрелил Ш. Шварцбард, вся семья которого погибла во время погромов. Парижский суд оправдал мстителя.

* * *

И как разительно отличалась Одесса периода смуты и интервенции от города, осаждённого летом 1941 года. Другой город, другой мир, ставший примером невероятной стойкости, отваги, единства, инициативы, чёткой организованности. Одно слово: город-герой.

Несмотря на многократное преимущество фашистов в живой силе, 10-кратное – в технике, Одесса продержалась 73 дня. Город не имел оборонных предприятий. Не хватало оружия, боеприпасов, питьевой воды. Воду выдавали по карточкам в августовскую жару. Сами делали вооружение, боеприпасы, противотанковые фугасы. Под огнём противника моряки совершили около тысячи рейсов. Эвакуацию по приказу провели в одну ночь – с 15 на 16 октября. Это была блестящая операция, практически без потерь. Вместе с вооружением вывезли 350 тысяч бойцов и горожан.

Немцы же, когда настал их черёд оборонять Одессу, продержались всего два дня. Наступательная операция называлась “Третий сталинский удар”. Оккупанты оказались под угрозой окружения и драпали они через сжимающийся коридор без оглядки, что называется, роняя гамаша, бросая исправную технику.

Давно восстановили город, но ещё десятилетиями Одесса удивляла обилием автомобилей всевозможных иностранных марок на улицах. В основном, это были трофейные машины, подобранные в 1944 году по обочинам дорог, у покинутых в спешке штабов, казарм. За время оккупации, продолжавшейся 907 дней, немцы и румыны натащили сюда автопарк со всего света. Были в том числе совершенно исправные машины, оказавшиеся без бензина или брошенные из-за какой-нибудь неисправности. Местные умельцы быстро их восстановили. Особенно ценились кабины, не пропускающие пыль и холод – их паяли, лудили, и они выглядели, как новенькие.

Одесские пацаны 60-х годов, в отличие от их сверстников в других городах СССР, были глубокими знатоками мирового парка автомобилей.

Пара слов за журналистику в Одессе

При выборе профессии Игоря Левитина привлекали сразу несколько направлений: и транспорт, и инженерия, и спорт, и музыка, и склонность к литературному труду. Он всегда активно участвовал в выпуске всякого рода “молний”, “боевых листов”, стенных газет, сотрудничал с многотиражками. Во время учёбы в училище ВОСО окончил школу военкоров ЛенВО.

Надо сказать, что журналистика в Одессе имела свои особенности, поскольку город-порт изначально для Российской империи служил воротами в мир – в Европу и в Азию. Практически вся документация до 1823 года – вплоть до губернаторства Михаила Воронцова – велась на французском языке. Сюда привозили английские, французские, итальянские коммерческие периодические издания, однако за время их доставки биржевая информация изрядно черствела. Одесским купцам частенько приходилось самим бегать в порт “взглянуть на флаги”, на товары, поступившие в карантин. Первая местная газета появилась при Ланжероне. Она была франкоязычной и называлась: “Мессаже де ля Руси меридиональ...” А в полном переводе название читалось как “Вестник Южной России, или Коммерческий листок, издаваемый с позволения начальства”. Помещать там какие-либо политические известия возбранялось строжайшим образом.

5 января 1827 года увидел свет первый номер “Одесского вестника”. Газета умещалась на двух листах размером 36,3 x 24,5 см – (чуть меньше современного формата А3 стандарта ISO) и имела двойной заголовок: слева – на французском языке – “Journal d’Odessa” и справа – на русском – “Одесский вестник”. Каждая из четырёх страниц состояла из двух полос, левая сторона напечатана по-французски, правая – по-русски. Тексты сторон не всегда совпадали по содержанию.

В первом номере преобладала коммерческая информация: известия о торговле, о ценах, курсе монет, сообщения о прибывших и отплывающих

кораблях. Неудивительно, что первым кораблем, вошедшим в порт в 1827 году, оказалась российская бригантина “Граф Воронцов” (понятно, что тут произошло “чисто случайное” совпадение). В газете печатались сведения о погоде (показания барометра, направление ветра и состояние атмосферы – ясно, облачно и т. п.) и зрелища. 11 ноября 1828 года город встречал прибывший из Николаева пароход по имени “Одесса”. Судно было построено на отечественной верфи Николаевского адмиралтейства и предназначалось для связи Одессы с Крымом. Газета “Одесский вестник” открывала публике волнующие подробности: корпус из крепкого дубового леса, паровая машина аж 85 лошадиных сил.

“Одесский вестник” выходил два раза в неделю. Подписаться на него можно было в канцелярии генерал-губернатора М. Воронцова; иногородних обслуживала Одесская почтовая контора. С каждым очередным номером газета расширяла круг своей тематики. Появились разделы “Заграничные новости”, известия из С.-Петербурга, Грузии, о ярмарках, проходящих в России. Много места отводилось репертуару оперного театра, приезжающим гастролёрам (например, труппе русских актёров под управлением Г. Штейна). В № 30 напечатаны общеизвестные ныне строфы А. Пушкина из “Евгения Онегина”: “Я жил тогда в Одессе пыльной...”

Затем появляется обширный раздел “Библиография”. И тоже не случайно: губернатор был потомственным библиофилом и, надо сказать, оставил в наследство несколько богатейших собраний книг. На страницах газеты появляются сведения о состоянии просвещения в Одессе. Из номера в номер печатаются “Прогулки по Новороссийскому краю” с продолжением, в том числе очерки Адама Мицкевича “Крымские сонеты в прозе”.

Редакцией первые экземпляры вначале раздавались бесплатно в гостиницах, ресторанах, на городских гуляньях, во время приезда пассажирских поездов и пароходов. Но очень быстро “Одесский листок” стал самой популярной газетой не только одесситов, но и приезжих. Тираж рос и в 1903 году составлял 15 000 экземпляров. Со временем на страницах газеты появилась городская хроника, афиши одесских театров и даже меню самых известных одесских ресторанов.

После революции 1905–1907 годов ежедневный тираж газеты достигал 40 тысяч экземпляров. На её страницах охотно печатались столичные литераторы, в частности, Аркадий Аверченко, Александр Амфитеатров, Иван Бунин, Александр Куприн, Корней Чуковский, Максим Горький, Влас Дорошевич. В редакции работали и Константин Паустовский, и Эдуард Багрицкий. Город был буквально наводнен специализированными изданиями для учёных, преподавателей, студентов, реалистов, гимназистов, курсисток. Выходили также и студенческие издания, в том числе журналы.

В советские времена вольности в словоизвержении поубавилось, а уж с победой “демократии” многие одесские вузы, учёные общества, другие общественные институты потеряли свои регулярные издания, а те, что остались, сделались более провинциальными.

Впрочем, одесситы, благодаря своей природной общительности, всегда знают больше, чем пишут газеты.

Мелодии русской Италии

Одессу часто называют городом музыкальным, певческим. Здесь каждый молодой человек, обладающий мало-мальски музыкальным слухом, любит петь, умеет играть хоть на каком-то инструменте, будь то гитара, мандолина, скрипочка, кларнет, клавесин, труба, ударник... Увидев свободное фортепиано, одессит невольно потянется к нему (хотя бы мысленно) и не упустит возможности попробовать подобрать мелодию на слух. При этом не имеет значения, вырос ли парень в аристократическом квартале Аркадии или он родом с Молдаванки или какой-нибудь Голопузовки. Впрочем, Голопузовка (проспект Швеченко) давно вышла из трущоб в разряд районов элитных. Ещё до появления радио оригинальная мелодия, прозвучавшая хоть в “итальянском” дворике, увешенном таранькой, хоть со сцены академического театра оперы и балета, могла с невероятной быстротой распространиться до самых дальних окраин Одессы.

Музыкальность проявляется у одессита с малолетства. Никто не знает, степным ли ветром это надуло, с моря ли нанесло аккорды прибой, крики

чаек, гудки пароходов, боцманские призывные свистки. В летних лагерях детишки стремятся играть на всём, из чего только можно извлекать звуки. Целые оркестры составляют из самодельных пищалок, дуделок и прочих доступных средств.

Умудрялись даже выдувать из пионерских горнов вполне опознаваемые мелодии. Вот уж тугой инструмент — этот прямолинейный фанфарный горн. Труба трубой, — ни тебе клапанов, ни вентиляей. Древнейший инструмент — родом от охотничьих рогов. Горн может воспроизводить ноты только в пределах натурального звукоряда. Но и тут находились мастера извлекать интересные музыкальные фразы торжественного или воинственного характера. И потому протяжный сигнал отбоя “Спать-спать, по палаткам!” только разгонял наплывающую дремоту и звал “ангелочков” к проказам для достойного завершения дня. Позднее, правда, в пионерлагерях стали использовать аудиозаписи сигналов, и почётная должность горниста повывелась.

Особым авторитетом пользовались летние детские лагеря железнодорожников Одессы. В пионерский лагерь имени Любы Шевцовой, принадлежащий Дорпрофсожу Одесской железной дороги, до 600 ребят приезжали из разных мест СССР. С трассы БАМа на отдых, к морю, к солнышку отправлял школьников таёжного Ургала военный комендант майор Игорь Левитин. Подростки возвращались с Чёрного моря крепкими, загорелыми. И коменданта очень веселило, когда в речи отпускников он улавливал типично одесские обороты и акценты, которые, правда, по раннему холодку быстро выветривались.

Существует много умных рассуждений о природе уникальной одесской ментальности, возникшей при смешении культур и традиций. Действительно, явление феноменальное. Кто-то скажет, что это море так влияет, — ветер, насыщенный йодом, солнечная радиация и всё такое. Но тут же последуют резонные возражения. Например: крымчанина от москвича поначалу не отличишь. Одно ясно, что тот, что другой, грубо говоря, “москальи”. А вот одессита распознаешь чуть не с первой фразы, случись его встретить в Питере, в Иркутске, да хотя бы и в Киеве. Какой-то в нём всегда содержится нерастворимый остаток.

Одесситы отличаются своеобразным мировосприятием. Выражается это в том числе и в песнях. Многие из мелодий, рождённых (или распетых) в причерноморском городе, врезались в память нескольких поколений, пережив запреты, гонения и критические разносы. Леонид Утёсов, конечно, преувеличивал, когда называл Одессу родиной джаза. Публика хохотала, оценив шутку. Но в чём-то он прав: Одессе свойственна склонность к импровизации (в отличие, например, от строго спланированного Петербурга) — эти вольно изгибающиеся улицы, бесчисленные лестницы и лестнички, сбегające к морю... В самой застройке города чувствуется свободное дыхание. Одесские песни — это действительно такой стиль.

Музыкальную школу по классу баяна окончил и Игорь Левитин. В школьном хоре также пел с не меньшим удовольствием. Проявлял он и организаторские способности, всегда что-нибудь возглавлял в классе или в пионерлагере: звено, отряд, а то и дружину. И получалось это как бы само собой.

“Судьба человека определена его характером”, — утверждали древние греки.

КАК ПРОВОЖАЮТ ПАРОХОДЫ

Если верить “Соннику” Миллера, видение во сне уходящего парохода предвещает лёгкие потери и разочарования. В Одесском порту проводы парохода, носившего имя “Ильич”, произвели впечатление тягостное и породили самые дурные предчувствия, оправдавшиеся в полной мере. А происходили зловещие проводы наяву в ночь на 11 февраля 1929 года.

Для этого почтово-пассажирского парохода название “Ильич” было не первым. Строили судно в Англии по заказу Русского общества Пароходства

и Торговли. По случаю восшествия на престол Николая II предложено было дать новому кораблю имя “Император Николай II”. Одобрение было получено. А что: добротный, представительный пароход водоизмещением 7785 т, стальной, винтовой. Вертикальная паровая машина тройного расширения мощностью 3400 л. с. обеспечивала скорость хода в 12,5 узла. Пароход брал груза до 240 тысяч пудов и 345 пассажиров. Его поставили на самую престижную линию тех лет: Одесса–Констанца–Александрия. Вместе с другими судами “Император Николай II” участвовал и в перевозке переселенцев из Одессы на российский Дальний Восток. В “первую германскую” он был задействован как вспомогательный корабль в составе Черноморского флота.

Когда император отрёкся от престола, пароход тотчас переименовали в “Вече”. Вече – слово желанное: народное собрание, совет, форма народо-властия и самоуправления в Древней Руси, некая утопия, что-то типа киевского майдана. Портрет “Николая Кровавого”, висевший в столовой парохода, по утверждению очевидцев, исколоты штыками, оплевали и выбросили.

А пароход “Веча”, словно оправдывая своё новое название, отдался во власть стихии: в декабре 1917-го экипаж судна встал на сторону Советской власти, в мае 18-го транспорт захватили войска кайзера, в ноябре того же года корабль достался белогвардейцам, в декабре был перехвачен англо-французскими интервентами.

С апреля 1919 года пароход вновь включили в состав белогвардейского флота. А за 10 дней до вступления в Одессу Красной армии группа рабочих-подпольщиков проникла в трюм и открыла кингстон. “Вече” легло на борт в акватории судоремонтного завода. Это не позволило увести судно за рубеж. Отремонтировали пароход к лету 1922 года и, присвоив ему имя “Ильич”, включили в состав Черноморской конторы Совторгфлота, где он и начал работать. Но история готовила “Императору Николаю II” – “Вече” – “Ильичу” новые сюрпризы.

Неравноценный обмен

С окончанием гражданской войны в верхних эшелонах власти развернулись жестокие споры о пути дальнейшего развития России. Одним из вершителей судеб рядом с признанным лидером нового государства Владимиром Ильичом Лениным оказался Лев Давидович Троцкий.

В Петроград профессиональный революционер Троцкий приехал 4 мая 1917 года с американским паспортом (подлинным). Попал он в Америку после мытарств в Европе. В сентябре 1916 года Троцкого в благодарность за его “зажигательные” статьи, изданные в Париже, французская полиция через испанскую границу выдворила из своей страны. Мадридская полиция вскоре арестовала навязанного им гостя. В префектуре заявили, что он должен как можно скорей покинуть Испанию и прямым образом отправили в тюрьму, после чего выпустили под надзор, пригрозив депортацией в Россию. Тем временем приехала семья Троцкого. В Барселоне их посадили на пароход “Монсеррат”, следовавший в Нью-Йорк.

Новый, 1917 год семья встретила в океане, не предполагая, что этот год принесёт всему миру. Левая пресса писала о Троцком как о ветеране борьбы за свободу, изгнанном из Австрии, не допущенном в Германию, преследуемом во Франции и Испании.

Собственно, в США Троцкий пробыл недолго, всего три месяца, и обстоятельства его пребывания в Америке известны лишь в самом общем виде. Сам он в автобиографии описал свою американскую эмиграцию, не вдаваясь в детали.

Весть о падении монархии в России оказалась для него полной неожиданностью, как, впрочем, и для других политических эмигрантов. 18 марта 1917 года Временное правительство объявило всеобщую амнистию, и открылась возможность вернуться в Россию. Отъезжавших на родину революционеров провожали речами и букетами цветов.

27 марта 1917 года Троцкий с семьёй и несколькими близкими единомышленниками взшёл на борт трансатлантического лайнера “Кристианиафиорд”, взявшего курс на норвежский порт Берген. Нет, не взшёл: как свидетельствует эмигрантская мемуаристика, его внесли на своих плечах почитатели, а он, “лучезарно улыбаясь, послал своим товарищам прощальный привет”.

Ноша была, очевидно, не слишком тяжёлой. Роста Лев Давыдович, согласно полицейским картотекам, был среднего – 170 см. Как утверждали современники, в отличие от изображений на плакатах, он не производил впечатления великана, однако стоило ему снять фуражку, вздымалась копна чёрных курчавых волос, и Троцкий сразу казался гораздо выше ростом. Недруги отмечали необычайно развитые лобные кости над висками, которые в сочетании с небольшой козлиной бородкой придавали ему сходство с чёртом из ярмарочного театра.

В Галифаксе (провинция Новая Шотландия) 3 апреля 1917 года Троцкий был задержан канадскими и британскими военными моряками по подозрению, что он германский шпион. Тем более что у бедного революционера и журналиста обнаружили приличную сумму наличных денег – 10000 долларов. В переводе на современные деньги это примерно четверть миллиона долларов. Задержанный протестовал в чрезвычайно бурной и оскорбительной форме. Явившийся на борт корабля британский адмирал со свитой офицеров потребовал, чтобы Троцкий с семьёй и ещё пятеро “русских” покинули борт для выяснения их намерений. С точки зрения военного положения решение не было экстраординарным. Но Троцкий заявил, что с места не сдвинется. Произойшла театральная сцена: матросы на руках отнесли его на катер.

Из лагеря для интернированных его выпустили по письменному запросу Временного правительства. Одновременно с Львом Троцким из Америки прибыло огромное количество революционеров: М. Урицкий, В. Володарский, Г. Мельничанский, Г. Чудновский и многие другие (несколько сотен человек).

Поразительна скорость, с которой произошло их внедрение в политическую жизнь демократической России. В июле 1917 года американская команда вступила в РСДРП. Ленин, как известно, терпеть не мог “Иудушку Троцкого”, тем не менее, приветствовал этот массовый наплыв. По оценке Вячеслава Молотова, “Ленин... умел всех использовать – и большевика, и полу-большевика, и четверть-большевика, но только грамотного”. Ильич увидел в Троцком полезный инструмент агитации и организации в духе “Апрельских тезисов”. Едва став большевиками, люди Троцкого получали ответственные руководящие посты в партии. В 1918 году степень доверия доходила до того, что председатель Совнаркома даже выдавал Троцкому чистые бланки приказов, заранее Лениным подписанные.

Люди из эмигрантских команд с ходу овладели инициативой: Антонов-Овсеенко арестовал Временное правительство, Урицкий возглавил питерское ЧК и т. д. В годы революции и гражданской войны Троцкий занимал многие ключевые посты и фактически стал вторым лицом в государстве. Мощная пропагандистская машина, одним из создателей которой он сам и являлся, лепила из Троцкого героический образ “вождя победоносной Красной армии”. В его честь были переименованы эскадренный миноносец, бронепоезд, город Гатчина. И фактически до 1929 года на его компанию не было никакой управы.

Из Америки постоянно поступало пополнение. Генеральный прокурор США Александр Палмер и его помощник Эдгар Гувер собрали досье почти на 150 тысяч инакомыслящих. Были проведены внезапные (и позднее признанные незаконными) налёты на офисы профсоюзов, коммунистических и социалистических организаций. В ходе этих акций особое внимание уделялось лицам с иностранным происхождением, по которым была информация об их сочувствии революционным настроениям.

В декабре 1919 года агенты Палмера арестовали 249 радикальных активистов, посадили их на торговый пароход “Buford” и 23 декабря отправили в советскую Россию. Пассажиры корабля фактически находились на положении заключённых; для их охраны был размещён отряд из 58 морских пехотинцев с 4 офицерами, а экипажу были выданы пистолеты.

Сохранилась почтовая открытка – фото с текстом: “Советский ковчег. Транспорт армии Соединённых Штатов “Буфорд” везёт в подарок Ленину и Троцкому на Рождество 249 красных”. 16 января 1920 года пароход прибыл в финский порт Ханко, а 19 января арестованных доставили под конвоем на российский границу и там передали большевикам.

Под звуки “Интернационала” депортированную публику пригласили в специально подогнанный поезд и доставили в Петроград. В основном это были иммигранты, признанные неблагонамеренными, подозреваемые в причаст-

ности к подпольным боевым отрядам. Среди депортированных оказались и “философы” – идеологи американского анархизма Эмма Голдман и Алекс Беркман. В России их встретили с распростёртыми объятиями; сам Ильич принял их в Кремле и предложил поработать на Советскую Республику. Однако подавление Кронштадтского мятежа в начале 1921 года вызывало у гостей разочарование. Анархисты пришли к выводу, что “триумф государства означает поражение революции”. Многие из них покинули Советскую Россию, “опустошённые и лишённые мечты”.

Историки почему-то не любят вспоминать об этом “советском ковчеге”. Гораздо больше разговоров вокруг “философских пароходов” – ответной акции, менее масштабной и не такой грубой. Первый “философский пароход” – его название не сохранилось – отвез из Одессы в Константинополь троих высланных: историка А. В. Флоровского, физиолога Б. П. Бабкина и ассистента Г. А. Серакёва. Осенью 1922 года из Петрограда пароходами “Oberbürgermeister Haken”, затем “Prussia” отправлены 160 гуманистами – представителей отечественной философии, науки и литературы. Четвёртый – итальянский пароход “Jeanne” – увёз из Севастополя в Константинополь высланного религиозного мыслителя С. Н. Булгакова с семьёй. Был ещё и пятый пароход, на борту которого прибыли из Одессы в Варну три профессора Новороссийского университета, высланные по так называемому украинскому списку. Обмен персонами, как видим, был далеко не равноценным, и о том, для чего происходило выдавливание из России элиты, существуют разные интересные догадки.

В ноябре 1920 года Троцкий инициировал широкую общепартийную дискуссию, настаивая на милитаризации по образцу Цектрана (Центрального комитета рабочих железнодорожного и водного транспорта, созданного по постановлению пленума ВЦСПС от 3 сентября 1920 года) вообще всей промышленности, избрав основным рычагом профсоюзы. Дискуссия привела к расколу партии на ряд различных “платформ”, состав и идейные взгляды которых постоянно менялись. “Левацкая” платформа Троцкого настаивала на дальнейшей милитаризации труда, тогда как “рабочая оппозиция” выступала в духе бакунинского анархо-синдикализма.

Требования дальнейшего “закручивания гаек” прозвучали на фоне окончательного краха экономики “военного коммунизма”. Как отметил профессор по русской истории Гарвардского университета Ричард Пайпс, именно в этот период слово “троцкизм” начало “становиться ругательным”.

Борьба между Лениным и Троцким стала приобретать ещё более острый характер на почве нэпа. . . Новая экономическая политика имела целью введением частного предпринимательства и возрождением промыслов снять социальную напряжённость, укрепить социальную базу советской власти. Нэп во многом был импровизацией и считался делом временным. Однако за семь лет своего существования нэп стал самым удачным экономическим проектом.

Пока Ленин находился у руля, можно было говорить о “коллективной диктатуре”. Лидером он был исключительно за счёт авторитета, хотя с 1917 года эту роль ему приходилось делить с Троцким. Оба портрета украшали не только государственные учреждения, но порою и крестьянские избы.

Однако художества “демона революции” в гражданскую войну: уничтожение людей, поставленное на поток, дисциплина, поддерживаемая массовыми расстрелами, – превышали все мыслимые границы. У него появились сподвижники, такие же палачи. К числу его адептов относили и Тухачевского, который применил против крестьян боевые отравляющие вещества. Участие Троцкого в организации трудармий, предложение “перетряхнуть профсоюзы” подорвали его авторитет. Слишком многие понимали, чем обернётся воплощение в жизнь главной идеи Льва Давидовича: нацеленности на перманентную революцию. На память приходили трагические истории стихийных восстаний, потопленных в крови, крестовых походов, в том числе подобный неудержимой лавине так называемый Крестовый поход детей на завоевание Гроба Господня – кошмар, организованный фанатиками и авантюристами в 1212 году.

Большинство партийных вождей опасались связываться со своевольным “красным Бонапартом” и отдавали предпочтение “тройке” Зиновьева–Камнева–Сталина.

Если во время гражданской войны кипучая энергетика и театральные эффекты Троцкого были вполне уместны, то с наступлением мира они уже начали

отдавать истерикой. Если в 1917 году Троцкий собирал в петроградском цирке “Модерн” толпы рабочих и солдат, слушавших его яркие речи, как откровение, то в 1923 году он смог зажечь своими проповедями только молодых фанатиков. Однако в январе 1924 года Сталин сдерживал Зиновьева, требовавшего арестовать Троцкого за предполагаемую подготовку “бонапартистского” военного переворота. В декабре 1925 года Сталин защитил от атак Зиновьева уже Бухарина. В 1926–1927 годах Бухарин, Рыков и Томский вполне определённо “забегали вперёд” Сталина, требуя репрессий для оппозиции.

Поводом для раскола стала разработанная Сталиным доктрина “построения социализма в отдельно взятой стране”. 17 декабря 1924 года он выступил против продвигаемой Троцким гипотезы перманентной революции, идеи распространения революции на Запад и его “теории хвороста”: Россия рассматривалась им как исходный пункт для разжигания социалистического переворота в Европе.

Сталинское идеологическое направление в корне противоречило Энгельсу, утверждавшему, что коммунистическая революция произойдёт одновременно во всех цивилизованных странах. Но надежды на победоносные революции в передовых странах капитала не оправдались, а уроки советско-польской войны открыли глаза на реальное соотношение сил. Эту жестокую правду осознавали многие партийные лидеры, но больше всего их раздражали претензии Сталина на роль нового ведущего теоретика. На XIV съезде РКП(б) в декабре 1925 года Григорий Зиновьев не удержался и заявил, что сталинская доктрина “отдаёт душком национальной ограниченности”.

Агитаторы оппозиции стали выступать перед беспартийной рабочей массой на предприятиях. Колонны заводов выкрикивали лозунги: “Да здравствуют истинные вожди мировой революции!” В Москве было организовано массовое собрание, где Троцкий и Каменев излагали свои взгляды. Демонстрация в Ленинграде была последней каплей, которая переполнила чашу терпения.

К выносу невыносимого

На заседании Президиума Исполкома Коммунистического Интернационала Троцкому были предъявлены обвинения в усиленной фракционной деятельности. Объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) осудил линию оппозиции и исключил Троцкого и Зиновьева из состава ЦК. Организация оппозиционерами нелегальной типографии, проведение тайных собраний стали поводом для исключения Зиновьева и Троцкого из партии. Характерно, что будущие лидеры “правой оппозиции” Бухарин, Рыков и Томский требовали применения против Троцкого более жёстких репрессий, чем Сталин.

Когда Троцкий был выселен из служебной квартиры в Кремле, он остановился у своего сторонника А. Г. Белобородова, наркома НКВД. Того самого Белобородова, который 12 июля 1918 года, будучи председателем исполкома Уралоблсовета, подписал решение о расстреле царской семьи. В 1927 году Белобородов как троцкист был исключен из партии, в 1930 году восстановлен, в 1936-м вновь арестован и по обвинению в соучастии в заговоре расстрелян 9 февраля 1938 года на полигоне “Коммунарка”. При Н. Хрущеве царевича был посмертно полностью реабилитирован и восстановлен в партии.

Квартира Белобородова с появлением в ней Троцкого стала своего рода военным лагерем. В ней собирались руководители оппозиции, сюда приходили за указаниями активисты, дежурили сторонники Троцкого из числа военных, которые сопровождали его при передвижениях по городу в качестве вооруженной охраны.

Проходивший в декабре 1927 года XV съезд ВКП(б) утвердил Директивы первого пятилетнего плана и решал вопрос: что делать с Троцким, ставшим и вовсе невыносимым. Съезд признал, что оппозиционный блок нарушил не только устав партии, но и советские законы. Это грозило в лучшем случае ссылкой. Рыков и Томский настаивали на аресте оппозиционеров. Однако съезд разрешил исключённых принимать в партию в индивидуальном порядке, если они откажутся от своих “ошибочных и вредных взглядов”. Зиновьев предпочёл публично покаяться в “ошибках”. Троцкий каяться в чём-либо отказался наотрез.

Его отъезд из Москвы был назначен на 16 января 1928 года. Но в этот план пришлось внести поправку. На Казанском вокзале собралась толпа возбуж-

дённой молодёжи. “Молодёжь – барометр революции!”, – подстрекал на митингах Троцкий. Очевидно, кто-то из его адептов постучал по “анероиду”. Народ собрался горластый. На крыше вагона, где предполагался главный пассажир, установили портрет Троцкого. Намеревались даже, взявшись за руки перед паровозом, остановить состав. Однако герой истории так и не появлялся. Прошёл слух, будто Троцкого провели в вагон незаметно. Группа людей ворвалась в вагон, произошла стычка с агентами ОГПУ.

Отдельный вагон (“Сев. дор. № 5493”) с паровозом приготовили на Ярославском вокзале Москвы. Вагон должны были перегнать на промежуточную станцию Фаустово, чтобы там прицепить к поезду “Москва–Ташкент”, следовавшему от Казанского вокзала.

Троцкий ехать отказался категорически и пытался объявить об этом как можно громче. По воспоминаниям старшего сына Льва Седова, Лев Давыдович с семьёй забаррикадировались в одной из комнат, и ГПУ пришлось выламывать двери. Обнаружив, что Троцкий одет по-домашнему, агенты разыскали ботинки и стали надевать ему на ноги. Точно так же были надеты шуба и шапка. Троцкий не сопротивлялся, но и не помогал гэпэушникам, которые затем понесли его к выходу на руках. За ними последовали жена и сыновья. Старший сын Лев звонил во все квартиры и кричал: “Смотрите, несут товарища Троцкого!” В элитном доме жили видные деятели, находившиеся в это время на службе. В дверях появлялись их жены, дети или домашние работницы, которые испуганно отшатывались и запирали двери квартир. Никакого сопротивления никто не собирался оказывать.

К вагону Троцкого также пришлось нести на руках. По воспоминаниям самого Льва Давыдовича, его выносили три человека, “им было тяжело, всё время невероятно пыхтели и часто останавливались отдыхать”. Во время доставки присутствовали оба его сына; старший, Лёва, кричал железнодорожникам, занимавшимся своими делами: “Товарищи рабочие, смотрите, как несут товарища Троцкого!”.

Как только поезд тронулся, Троцкий явился к конвою и заявил, что “не имеет ничего против них, как простых исполнителей”, а “демонстрация имела чисто политический характер”. И Лев Давыдович даже поделился опытом: “Мне приходилось участвовать и организовывать операции посложнее этой; как бы я здесь поступил, будучи на вашем месте...”

С железнодорожной станции Пишпек (г. Фрунзе, ныне Бишкек) Троцкий, его жена и старший сын Лев ехали на грузовике до Курдайского перевала. Дело в том, что строительство Турксиба (Туркестано-Сибирской магистрали) к тому времени ещё не закончилось. Укладку трассы вели с двух сторон – с севера (от ст. Семипалатинск) и с юга (от ст. Луговая). Первый поезд на Алма-Ату пришёл с южной ветки только 19 июля 1929 года. Смычка, ярко описанная в романе гудковцев И. Ильфа и Е. Петрова “Золотой телёнок”, произошла позднее.

Перевал преодолели на телегах. Дальше опять на автомобиле, высланном навстречу из города. В Алма-Ату, находившуюся в 250 км от Пишпека, прибыли 25 января 1928 года ночью.

Ещё со станции Троцкий начал непрерывно “бомбить” председателя ОГПУ Менжинского, председателя ВЦИК Калинина, ЦИК и ЦКК жалобами на плохое жильё, на утерю чемоданов по дороге (которые, впрочем, нашлись, поскольку из-за суеты отправлены были со следующим поездом), позже – на то, что московские газеты доставляются ему с опозданием на десять дней, а письма задерживаются до трёх месяцев, что “ГПУ препятствует выехать на охоту”.

Условия ссылки были мягкими. Троцкому был отведён дом, разрешено сохранить при себе несколько личных телохранителей; к ним приезжали погостить младший сын Сергей и невестка (жена старшего сына). Переписку не ограничивали. Это позволило ссыльному развить бурную деятельность, непрерывно общаясь со своими сторонниками.

Но ему нужна была ещё и связь неподконтрольная. Для этой нелегальной связи из столицы в Алма-Ату был направлен М. Бодров, который тайно, под чужим именем возил почту до ближайшей железнодорожной станции. Из своей ссылки Троцкому даже удалось организовать печатание и распространение оппозиционных листовок от имени “большевиков-ленинцев”. В августе 1928 года его единомышленники организуют выпуск листовки, требовавшей его возвращения в Москву из “малярийной Алма-Аты”. Наиболее активную

помощь Троцкому в этой деятельности оказывал Лев Седов, которого он назвал “нашим министром иностранных дел, министром полиции и министром связи”.

Только за апрель – октябрь 1928 года Л. Д. Троцкий послал 800 политических писем, отправил около 550 телеграмм, получил же свыше 1000 политических писем и около 700 телеграмм. “Идеологическая жизнь оппозиции в то время кипела, как в котле”, – писал впоследствии Троцкий.

Дом Троцкого в Алма-Ате стал центром политических интриг. Работники ОГПУ потребовали от ссыльного прекратить политическую деятельность, но получили категорический отказ. В конце концов, 26 ноября 1928 года Политбюро, обсудив вопрос “О контрреволюционной деятельности Троцкого”, поручило ОГПУ передать ультиматум о прекращении им всякой политической деятельности. В Алма-Ату был направлен специальный уполномоченный Волинский, зачитавший Троцкому меморандум, в котором сообщалось, что у коллегии ОГПУ имеются данные о том, что его деятельность “принимает всё более характер прямой контрреволюции”. Поэтому в случае отказа Троцкого ОГПУ “будет поставлено в необходимость” изменить условия его содержания с тем, чтобы максимально изолировать его от политической жизни.

Троцкий ответил на ультиматум длинным письмом в ЦК ВКП(б) и Президиум Исполкома Коминтерна, в котором наотрез отказался прекращать “борьбу за интересы международного пролетариата”. Реакцией на это письмо стало постановление Политбюро ВКП(б) от 7 января 1929 года о высылке Троцкого за пределы СССР. Это решение было принято большинством голосов. Рыков и Ворошилов голосовали за более жёсткую меру – заключение Троцкого в тюрьму.

Троцкий пишет Волинскому расписку в получении копии документа: “Преступное по существу и незаконное по форме постановление ОС при коллегии ГПУ от 18 января 1929 г. мне было объявлено 20 января 1929 г. Л. Троцкий”.

В служебном отчёте о выполнении своего поручения Волинский сообщал, что Троцкий сказал ему: “Для Сталина “эмигрант” – бранное слово, и попасть в эмиграцию для него означает политическую смерть... он своим ограниченным мозгом не в состоянии понять, что для ленинца одинаково, в какой части рабочего класса работать”.

Волинский объявил, что отныне Троцкий и его семья находятся под домашним арестом, и предоставил им 48 часов для сборов в дорогу.

На рассвете 22 января 1929 года Троцкий, его жена и сын Лев были под конвоем посажены в автобус, который отправился из Алма-Аты к Курдайскому перевалу, затем на санях и снова на автомобиле на станцию Фрунзе (Пишпек). Там Троцкого и его сопровождающих посадили в поезд, который двинулся в направлении на Москву.

На протяжении пути Троцкому запрещалось выходить из поезда, который останавливался только, чтобы набрать воды и топлива. В районе Самары сообщили, что дело идёт о Константинополе. Троцкий заявил, что, протестуя против высылки за границу вообще, он будет всеми доступными ему средствами сопротивляться высылке в Турцию, и потребовал отправить его в Германию. Об этом по прямому проводу было сообщено в Москву. Москва начала новые переговоры с границей. Тем временем особый поезд с Троцким был переведён на глухой полустанок в Курской области и стоял там неподвижно 12 суток. Паровоз с вагоном отправлялся ежедневно за продуктами и обедом на ближайшую крупную станцию.

В эти дни советское правительство обращалось ко многим правительствам с просьбой принять Троцкого, но только Турция дала положительный ответ. Первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк считал, что Троцкий сыграл большую роль в национально-освободительной борьбе Турции, будучи наркомом по военным делам РСФСР. В знак благодарности Турецкая Республика избрала Троцкого и Ленина почётными гражданами своего меджлиса. И ответить “чёрной неблагодарностью” Ататюрк не мог.

Новый уполномоченный ОГПУ Буланов сообщил, что немецкое правительство категорически отказалось впустить Троцкого в свою страну и что получен окончательный приказ доставить его в Константинополь.

10 февраля 1929 года особый поезд, сопровождаемый сотрудниками ГПУ, доставил Троцкого в Одессу. Вагон подали прямо к причалу. Здесь предполагалась посадка на пароход “Калинин”, но он так вмёрз во льды, что портовые

ледоколы не смогли его высвободить. Спешно поставили под пары другой пароход, “Ильич”, в каютах которого в первые часы ещё было холодно, о чём руководителю операции, уполномоченному ГПУ Фокину был заявлен Троцким сперва протест устный, затем вручён ещё и письменный.

Ранним утром, 12 февраля 1929 года пароход “Ильич” прибыл в Константинополь. Вскоре к “Ильичу” подошёл бот с двумя турецкими офицерами полиции. Троцкий вручил заранее подготовленное им послание на имя президента Турецкой Республики Кемаль-Паше (Ататюрку): “Милостивый государь. У ворот Константинополя я имею честь известить Вас, что на турецкую границу я прибыл отнюдь не по своему выбору и что перейти эту границу я могу, лишь подчиняясь насилию...”

Но турецкие офицеры продемонстрировали полное равнодушие к демаршу Троцкого и, оформив формальности, связанные с возможностью пребывания Троцкого и членов его семьи на территории республики, покинули советский пароход.

Неделю спустя газета “Правда” поместила краткую заметку: “Л. Д. Троцкий за антисоветскую деятельность выслан из пределов СССР постановлением Особого Совещания при ОГПУ. С ним, согласно его желанию, выехала его семья”.

В Стамбуле Троцкий с семьёй целый месяц прожил в советском консульстве. У него был советский паспорт и деньги – полторы тысячи американских долларов, переданных на обустройство сотрудниками ОГПУ. В эти дни произошёл у него первый турецкий “политический инцидент”. Лев Давыдович решил пригласить в консульство стамбульских и европейских журналистов и сделать им заявление в связи со своей высылкой из СССР. Но европейская пресса отказалась печатать заявление Троцкого, а стамбульские газеты, по его мнению, исказили смысл его речи, и он настоял на печатании опровержения.

После этого турецкие власти решили подыскать Троцкому особняк для жительства подальше от стамбульского политического центра на одном из так называемых Принцевых островов в Мраморном море. Такое название эти острова получили ещё во времена Византийской империи, когда они стали местом ссылки опальной знати, в том числе принцев и принцесс.

Гнездилище на Принцевых островах

“Красный Наполеон” с семьёй и многочисленной челядью – секретарями, референтами, единомышленниками и сотрудниками охраны – поселился в огромном двухэтажном доме и немедленно развернул там новую политическую штаб-квартиру, стремясь наладить связь со своими сторонниками в СССР. Здесь он был в полной безопасности. Его охраняли одновременно и турецкая контрразведка, которая поставила условие, что на территории Турции против Троцкого и членов его семьи не будут предприняты теракты, и сотрудники ОГПУ, которые отслеживали контакты Троцкого и перлюстрировали его огромную переписку. Работы всем хватало, поскольку Троцкий решил начать широкомасштабную политическую борьбу против Сталина.

Он постоянно что-то пишет и постоянно что-то издаёт. На какие средства? Никогда семья Троцкого и он сам не знали финансовых лишений – средства сами собой появлялись как бы из ниоткуда. Он сразу же стал издавать “Бюллетень оппозиции”, завершил начатую в Алма-Ате автобиографию “Моя жизнь”, пишет “Историю русской революции” и другие работы, где отчаянно ругает СССР, который вышел из-под его контроля.

Главное, при содействии Н. Бухарина Троцкий смог вывезти на пароходе “Ильич” свой огромный личный архив (28 ящиков). Возможно, именно за эту дружескую услугу Бухарин впоследствии и поплатился головой. Этот архив включал в себя копии и выписки из постановлений Политбюро, Реввоенсовета, ЦК, Коминтерна, ряд записок Ленина за 1917–1923 годы, ранее никому не известных, также другие ценные для историков сведения о революционном движении до 1917 года, тысячи писем, полученных Троцким, и копии писем, им отправленных, телефонные и адресные книги и т. д. Опираясь на свой архив, Троцкий в мемуарах с лёгкостью цитирует ряд подписанных им документов, включая иногда и секретные. Лев Давыдович получил уникальную возможность поведать миру о всех тайнах большевистской революции 1917 года и об Иосифе Сталине.

Троцкому действительно удалось нанести удар по международному политическому престижу не только Сталина, но и Советского Союза, выставить самого себя в качестве “революционера мирового уровня”.

Интерес лично к Троцкому и троцкизму стали искусственно поддерживать определенные силы на Западе. Активизировались троцкистские группы в ряде зарубежных компартий (США, Германии, Греции и Испании). Известно, например, что “Моя жизнь”, представляющая собой вымышленную автобиографию “вождя”, была быстро переведена на многие европейские языки. Она получила высокую оценку Гитлера, который якобы заявил: “Блестяще! Эта книга научила меня многому ...” Возможно, полученные им знания обнадежили и подзадорили “фюрера” на принятие “окончательных” решений, которые и привели к известному финалу в 1945 году. Но подлинно известно, что в период прихода Гитлера к власти в Германии Троцкий с “чистой совестью” предавал известных ему коминтерновцев.

Гонорары, полученные от издания книги, заметно улучшили материальное положение семьи Троцкого. Например, только одно американское издательство “Скрибнер и сыновья” выплатило ему 45 тысяч долларов – огромную сумму по курсу того времени – за ещё готовившуюся “Историю русской революции”. Часть этих средств стала использоваться Троцким для публикации периодических изданий трюцкистской ориентации и на создание IV (трюцкистского) Интернационала.

В 30-е годы агенты ГПУ неоднократно пытались (иногда успешно) выкрасть отдельные фрагменты архива Троцкого, а в марте 1931 года часть документов сгорела во время подозрительного пожара. Опасаясь, что архив всё-таки попадёт в руки Сталина, Троцкий продаёт большую часть своих бумаг (20 тысяч единиц хранения) парижскому филиалу Амстердамского института социальной истории, а также Гарвардскому университету (США). Ряд других документов, связанных с деятельностью Троцкого, хранятся в других местах.

Принцезы острова стали настоящим местом паломничества для политиков различных мастей. Не случайно в предисловии к французскому изданию своей книги “великий революционер” называет время, проведённое на Принцевых островах, “периодом огромной теоретической и литературной работы, главным образом, над историей русской революции”. При этом он многозначительно отмечает, что “связь с друзьями по родине оказалась, разумеется, нарушенной, хотя далеко не в такой степени, как хотели и надеялись вожди правящей фракции”.

В интервью немецкому писателю Эмилю Людвигу Троцкий заявил: “Россия зашла в тупик, пятилетний план потерпел неудачу, вскоре появится безработица, наступит экономический и промышленный крах, программа коллективизации сельского хозяйства обречена на провал”.

“Сколько у вас последователей в России?” – неожиданно спросил Людвиг. “Трудно определить. Мои сторонники разобщены, работают нелегально, в подполье”, – последовал ответ. На вопрос: “Когда вы рассчитываете снова выступить открыто?” – Троцкий ответил: “Когда представится благоприятный случай извне. Может быть, война или новая европейская интервенция, тогда слабость советского правительства явится стимулирующим средством”.

В значительной степени это был чистейший блеф. Но писания выглядели вполне убедительно, и Сталин решил, что Троцкий готовит переворот. В донесениях сотрудников ОГПУ из Турции указывалось тогда, что Троцкий не успевал принимать многочисленных журналистов, вёл переговоры с различными политическими деятелями, заключал негласные союзы даже с представителями находившейся в эмиграции Белой гвардии.

По отношению к Троцкому среди его соратников и союзников не было единого мнения. Многие находились под гипнозом ореола “второго человека после Ленина”. В их глазах “кавказец Сталин” воспринимался как политическая аномалия в руководстве страной, что создавало иллюзию “лёгкой” политической борьбы с ним. Поэтому деятельность Троцкого в эмиграции воспринималась не в ракурсе антигосударственной деятельности, а как привычный в рядах старой партийной гвардии образ действий революционера.

В Европе многие ждали переворота в Москве и устранения от власти Сталина. А в западной печати появились сообщения о том, что главная роль в выполнении этого плана отводилась Ю. Л. Пятакову, который якобы был

уполномочен Троцкий руководить всеми силами “сопротивления Сталину” в Советском Союзе.

Первой кровавой расправой с оппозиционером стал расстрел в 1929 году Якова Блюмкина (известного террориста, убийцы германского посла Мирбаха и др.), бывшего сотрудника Троцкого. Во время своей работы в Турции Блюмкин тайно от своих чекистских начальников встретился с Троцким. Тот дал Блюмкину послание в Москву для своего бывшего сторонника Карла Радека. От любовницы Блюмкина ГПУ узнало о его встрече с Троцким и о секретном поручении. Российское правительство никогда не реабилитировало Блюмкина.

Только 20 февраля 1932 года Троцкий и его сын Лев Седов были лишены советского гражданства. Правительства стран Западной Европы отнюдь не жаждали видеть у себя человека с репутацией “знаменитого революционера”, имеющего своих последователей во многих государствах. В середине 1933 года Троцкий переехал во Францию, но летом 1935 года ему приходится по временной визе переехать в Норвегию. Там тоже постарались избавиться от опасного гостя, поместив под домашний арест, его поторапливали с отъездом, угрожая выдать советскому правительству.

А в Москве начались политические процессы. Троцкий и его деятельность становятся для ОГПУ–НКВД необходимым компонентом для предъявляемых обвинений. Всех арестованных обвиняли, как правило, в “троцкизме”, в связях с Троцким, в пропаганде его идей, выполнении его указаний, замыслах контрреволюционного переворота. Его блестящая публицистическая деятельность принесла много горя людям – практически всем, кто прямо или косвенно соприкасался с этим “дьяволом революции”.

9 января 1937 года на танкере, предоставленном норвежским правительством, по приглашению одного из великих художников XX века Диего Риверы Троцкий прибыл в Мексику. Какое-то время он жил на вилле художника, но затем их отношения осложнились. 20 августа 1940 года в местечке Койоакан агент НКВД испанский революционер Рауль Меркадер нанёс Троцкому смертельный удар ледорубом. . .

Советской властью Троцкий не был официально реабилитирован. Даже в период перестройки и гласности Горбачёв от лица КПСС осуждал историческую роль Троцкого. Только по запросу НИЦ “Мемориал” Л. Д. Троцкий (Бронштейн) был реабилитирован Прокуратурой РФ (Архив НИЦ “Мемориал”).

А что же пароход “Ильич” (бывший “Император Николай II”, бывший “Вече”) ? В декабре 1931 года, приняв на борт в турецком порту Измир 2000 тонн чая, в ночь на 13-е число он направился в Одессу. Судно прошло всего 40 миль, как внезапно поднявшийся сильнейший – в 10 баллов по шкале Бофорта – шторм на полном ходу выбросил его на прибрежные скалы в Эгейском море. Пассажиры и команда судна по канату перебрались на берег.

Только в январе 1932 года поистине героическими усилиями пароход сняли со скалы. Чтобы облегчить судно, некоторую часть ценного груза передали подошедшим к месту катастрофы судам. Испорченным чаем слегка замутили Эгейское море. В память о событии выпустили даже особый нагрудный знак “За спасение п/х “Ильич”.

В Севастополе пароход возродили и перевели котлы на жидкое топливо. В 1934 году судно отдала Дальневосточному пароходству. “Ильич” там эксплуатировался на грузопассажирских линиях Владивосток–Советская Гавань–Петропавловск (Камчатский). В 1937 году “Ильич” прославился тем, что доставил в Петропавловск-на-Камчатке первую партию девушек из Москвы и Ленинграда, откликнувшихся на призыв Валентины Хетагуровой ехать на Дальний Восток.

В начале сороковых годов XX века даже в городе Комсомольск-на-Амуре на одну девушку приходилось около трехсот парней. Амурный вопрос на Дальнем Востоке обрел крайнюю остроту. 8 апреля 1937 года на том же Ярославском вокзале, где за руки и за ноги выносили к вагону “демона революции”, москвичи провожали в Дальневосточный край девушек, откликнувшихся на призыв Вали Хетагуровой.

К осени 1937 года на Дальний Восток прибыли 11 500 комсомолок, в том числе 50 инженеров, 550 техников, 20 врачей, 400 медработников со средним специальным образованием, 140 агрономов, 300 зоотехников, 380 учи-

телей, 800 культработников, 300 шоферов, 1100 токарей, слесарей и электромонтёров, 1100 счётных работников.

Времена были строгие. В 1936 году аборт в СССР были запрещены законом. Комсомол поклялся, что энтузиасток в обиду не даст. Почти все “хетагуровки” через месяц-два после приезда повыходили замуж.

Во время военного конфликта у озера Хасан “Ильич” вывозил раненых. В годы Великой Отечественной войны совершал рейсы между Владивостоком и портами США. Из американского города Портленда по ленд-лизу во Владивосток, затем железной дорогой через Сибирь в Европу перетаскивали почти две трети подвижного состава (паровозы и вагоны).

Весной 1944 года изрядно износившийся “Ильич” прибыл в Портленд для замены котлов. Через два месяца судно неожиданно потеряло остойчивость и 23 июня 1944 года затонуло у стенки судоремонтного завода. История мутная; погиб один из членов экипажа. А время военное – ежедневно на море, на суше и в небе люди гибли тысячами и десятками тысяч. Администрация завода свою вину признала, однако поднимать и восстанавливать “Ильича” прагматичные американцы отказались. Водолазы разрезали его старый корпус прямо на грунте. В качестве компенсации Советскому Союзу безвозмездно передали два товаропассажирских парохода “OTSEGO” и “GENERAL W. C. GOR-GAS”, переименованные соответственно в “Урал” и “Михаил Ломоносов”.

ШУМЕЛ СУРОВО В ХИМКАХ ЛЕС

Скандалная история, разгоревшаяся вокруг Химкинского лесопарка, по началу казалась какой-то наивной и до глупости сказочной. Мол, вздумалось девочке в лес погуляти. Шла она, шла, как вдруг увидела: ах, у дуба, ах, у ели злые дровосеки ставят метки – хотят испортить экологию. И сказала девочка: “Спасу от гибели “зелёного друга”!..”

Вот только в роли “девочки” выступала весьма амбициозная дама бальзаковского возраста. Притом, особа креативная, за её плечами аж два факультета: один – инженерный, другой – экономический. Плюс стаж проворной работы в бизнесе. Плюс диплом Академии народного хозяйства с присвоением степени магистра делового администрирования. И чтобы обладатель такого интеллектуального багажа не мог разобраться в ситуации?.. Но кому-то очень понадобилось устроить в Химкинском лесу вселенскую истерику.

О том, что на северных подступах нашей столицы автомагистральные пробки образуются чудовищные, известно давно. Загрузка федеральной трассы М-10 “Россия” – достигала 135000 автомобилей в сутки. Это более чем в три раза превосходило максимальную разрешённую пропускную способность – 40000 автомобилей. Это была наиболее загруженная трасса во всей Российской Федерации. По Ленинградскому шоссе по утрам и вечерам машины двигались вровень с пешеходами, а то и вовсе со скоростью курицы, клюющей зернышки.

Многокилометровая стальная змея ползла, вдыхая кислород и выдыхая ясно что: расход топлива от 15 литров на 100 км и выше. Содержимое вредных выбросов достигало 247 кг в час на 1 км. С каждым годом положение ухудшалось; тучи смога густели. Уровень загрязнения воздуха на территории, прилегающей к М-10, превышал в 3–5 раз принятые в Российской Федерации санитарные нормы.

От толкотни и удущья у водителей нервы не выдерживали. Уровень аварийности на трассе М-10 превышал почти в 3 раза средний по России. Случись что с человеком, помочь ему можно было только со вертолёта.

Медики предупреждают: длительный контакт со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей, вызывает общее ослабление организма – иммунодефицит. Кроме того, газы сами по себе могут стать причиной забо-

леваний. Например, дыхательной недостаточности, гайморита, бронхита, рака лёгких... Выхлопные газы вызывают атеросклероз сосудов головного мозга, различные нарушения сердечно-сосудистой системы. Как показали исследования международных центров санитарии, продукты сгорания автомобильного топлива становятся причиной смерти европейцев в пять раз чаще, чем дорожно-транспортные происшествия. Значительная часть загрязняющих атмосферу выбросов происходит как раз в “пробках” и перед светофорами. Поэтому колоссальное влияние на количество выбросов играет разумная организация движения автомобилей.

Все возможности для расширения Ленинградского шоссе за пределами МКАДа были использованы. Но из Шереметьево при въезде в Химки трасса, стиснутая строениями, сужалась, образуя “горлышко” настолько узкое, что зачастую 5-километровый участок автомобили проходили за два часа.

Чтобы вылечить “Ленинградку” от острого склероза, требовались меры радикальные. Потому-то в 2004 году Минтранс России и предложил построить скоростную автомагистраль М-11 Москва–Санкт-Петербург, чтобы снять напряжение и разблокировать “Шереметьево”.

Теперь о необходимой просеке длиной в 3 километра. Раньше в соответствии с Лесным кодексом Химкинский лесопарк охранялся государством. Он был отнесён к защитным лесам первой категории; на его территории запрещалась какая-либо хозяйственная деятельность. Потом территория леса уменьшилась; через лес построили асфальтовую дорогу областного значения, по периметру возводились дачные посёлки и коттеджи. С 90-х годов лесничество из-за отсутствия финансирования пришло в полный упадок. Мусор из леса не убирался, санитарные вырубки не осуществлялись.

Авторы проекта М-11 привели убедительные доказательства, что дорога через Химкинский лес не ухудшит экологическую ситуацию в городе, что постоянные пробки на Ленинградском шоссе наносят гораздо больший вред здоровью жителей Химок. Предусматривались работы по лечению леса и компенсационные высадки – по пять новых деревьев за каждое вырубленное.

Не лишне напомнить, что в 70-е годы именно здесь и планировали проложить дорогу. В рамках подготовки к строительству головного участка М-11 разработали комплекс экологических мероприятий. Этот комплекс включал, в том числе, строительство шумозащитных экранов, переходов на путях миграции крупных животных, локальных водоочистных сооружений, автоматических пунктов мониторинга воздуха. Предусмотрены специальные мероприятия по защите рыбоохраненных зон, массовая посадка кустарника и деревьев, очистка Химкинского леса от несанкционированных свалок.

Но “оппозицию” нисколько не интересовали ни 5-кратная компенсация зелёных насаждений, ни другие природоохранные (весьма дорогостоящие!) мероприятия. Интересовал только скандал, да чтобы погромче, желательно с битьём окон, перекрытием движения, мордобитиями и задержаниями. Чтобы либеральной прессе было о чём стенать и возмущаться, апеллируя к мировой общественности.

Быстро сформировалась ударно-протестная группа. Одним из инициаторов её создания, а впоследствии лидером движения “В защиту Химкинского леса” стала та самая “девочка” из сказки – Евгения Чирикова.

Может быть, не стоило уделять сей одиозной фигуре столько внимания. Как встарь изьяснялись английские аристократы, “особа претендует слишком на многое, чтобы воспринимать её всерьёз”. Но в развитии химкинских событий отчётливо прослеживается “оранжевая” стратегия. Более чем странно вели себя партии, нисколько не заботящиеся о продвижении в жизнь своих программных целей. Люди, ещё вчера называвшие себя демократами, почти не таясь, выказывали полное презрение к “быдлу”, то есть к основной массе своих сограждан, и все усилия сосредоточили на дискредитации действий властей. Подчеркнём: любых действий! И эти “странности” принимали системный характер; даже выработались некие шаблоны поведения.

В сущности, это был типичный троллинг – намеренное вмешательство в ситуацию с целью посеять раздор. Появились подлинные мастера формирования в общественном мнении гнева, конфликта путём скрытого или явного задирания, принижения, оскорбления тех или иных участников. При этом они не брезгают откровенным обманом, возбуждением ссор, призывами к неблагоприятным действиям.

Почувя перспективную тему, на запах “зелени” к химкинскому движению потянулись “Яблоко”, “Левый фронт”, всевозможные белоленточники. В январе 2009 года Чирикова зарегистрировалась в качестве кандидата на выборах мэра города Химки. Расчёт был простой: под “зелёный шум”, под вопли замороженной толпы прорваться к власти. Вне митинговых площадок отношение Евгении Чириковой к электорату, то бишь к русским людям, ничуть не выделялось из общего русофобского тренда.

“Российские люди во многом похожи на крупный рогатый скот. Они стерпят всё, что угодно”, — не стесняясь, заявила кандидатка в интервью англоязычному “RUSSIA! Magazine”.

Выборы Чирикова проиграла. Но активности только прибавила. После подписания в ноябре 2009 года премьер-министром Владимиром Путиным распоряжения № 1642 о переводе земель Химкинского лесопарка в земли транспорта и промышленности, Чирикова обратилась с видеообращением к президенту Д. Медведеву с требованием отправить возглавляемое В. Путиным правительство в отставку, признать недействительным его распоряжение и создать комиссию при президенте РФ “для урегулирования противоречий, связанных с реализацией проекта трассы Москва–Санкт-Петербург”.

Либеральная пресса, как по команде, подняла такой крик, что власть на некоторое время оторопела. Хотя аргументов, доказывающих разумность принятого решения по М-11, было предостаточно, надо признать, что все они были представлены общественности, увы, в довольно безликой, казённой форме и оттого казались не убедительными.

Наверное, власти в какой-то момент позабыли, что для всякого серьёзного мероприятия, меняющего привычный уклад жизни населения, требуется столь же серьёзное информационное сопровождение. На свободном медийном поле своя конкуренция: там “жареную” фактуру выносят на самое видное место. Уж такова природа плюрализма: читатели и зрители любят жареное, хотя прекрасно знают, что гораздо полезней для здоровья пареное.

Сказалось, конечно, и несовершенство законодательства, но более всего — неумение властей доходчиво объяснить свои благие намерения, достучаться до сознания каждого жителя. Короче, инициатива в информационной борьбе была утрачена. Оппозиция хлёткими публикациями загоняла административные органы в цугцванг — положение шахматиста, когда любой его ход приведёт к ухудшению ситуации, и он вынужден будет пассивно ожидать приближающегося поражения. То есть “делать нельзя и не делать нельзя”. К доктору не ходи: чистая шизофрения.

А неугомонная Чирикова 10 марта 2010 года подписала громкое обращение российской оппозиции: “Путин должен уйти”. Почти одновременно организация Гринпис направила президенту Д. Медведеву просьбу “приостановить уничтожение” Химкинского леса.

Но сколько можно держать людей и технику в простое... Уверенные в своей правоте строители в июле 2010 года решились: стали готовить просеку со стороны аэропорта “Шереметьево”. В ответ защитники леса разбили лагерь и начали возводить баррикады, мешавшие проходу техники. Активистов “Экообороны” задержал ОМОН, лагерь был разогнан, а работы по подготовке трассы продолжены.

28 июля 2010 года группа неизвестных, до исступления разогретых сказками про “экологическое злодейство”, напала на здание Химкинской администрации, разбила там окна, обстреляла мэрию из травматических пистолетов, выломала дверь и зажгла пиротехнику, скандируя лозунги в защиту Химкинского леса. Стены они исписали лозунгами “Спаси русский лес!” Тогдашний Президент России Дмитрий Медведев счёл необходимым приостановить работы до проведения повторной экспертизы проекта. Протестующие праздновали победу, пообещав “продолжение банкета”.

Народная мудрость гласит: потачка не правит. В ответ на уступку “экологическое” движение расширило масштабы — возникла единая коалиция НПО “За леса Подмосковья”. На организованной общероссийским общественным движением “Россия, вперёд!” конференции “Новые лица гражданского общества” Чирикова была избрана председателем координационного совета всех региональных общественных организаций страны.

В декабре 2010 года комиссия Правительства Российской Федерации под председательством вице-преьера Сергея Иванова вновь рассмотрела все

альтернативные варианты трассы. Специалисты подтвердили, что так называемые “альтернативные” варианты хуже. Они гораздо дороже и ещё больше связаны с нарушениями городской среды: придётся прорубаться сквозь сложившиеся жилые кварталы, скверы и парки, эвакуировать предприятия, взламывать сеть коммуникаций, переселять тысячи семей. Другое дело, что протестантам чужого добра не жалко. Но это уже вопрос совести. Подмечено ещё дедушкой Крыловым: “Кого нам хвалит враг, в том, верно, проку нет”. Комиссия приняла решение об утверждении изначального маршрута трассы через Химкинский лес.

И тут Чирикову, что называется, понесло. Она объявила: “Мы начинаем политическую борьбу и будем настаивать на смене существующего строя”. Вот так – не больше и не меньше.

Весной 2011 года она встретила с вице-президентом США Джозефом Байденом, посещавшим Россию с официальным визитом. Рассказала ему об альтернативных вариантах маршрута трассы и о том, что вариант, который поддерживает премьер Владимир Путин, коррупционный. Проект платной трассы, по её словам, лоббируют российские чиновники Минтранса, Автодора, а также представители французской компании Vinci. Чирикова также предложила ввести персональные санкции, в частности, в отношении главы Минтранса Игоря Левитина, мэра города Химки Владимира Стрельченко.

Растроганный Байден вручил Чириковой награду США “Храбрая женщина” (Woman of Courage Award), которой Америка отмечает выдающихся женщин мира за отвагу и лидерские качества, проявленные в борьбе за социальную справедливость и соблюдение прав человека. Вице-президент США пообещал, что выразит В. Путину недоумение по поводу того, что не реализуются более эффективные, дешёвые и экологически чистые варианты решения транспортной проблемы.

Это “недоумение” было верхом лицемерия. Ведь ещё в начале 2007 года министр транспорта России Игорь Левитин специально приезжал в США и Канаду, проводил презентацию платных дорог России, в том числе магистрали М-11, приглашал к партнёрству американские компании, которые хотят заниматься строительством дорог. Вице-президент Дж. Байден просто не мог об этом не знать, когда через океан вёз в кармане награду “храброй женщине”.

Чирикова была награждена также одной из крупнейших в мире премий по экологии, – премией Голдмана в размере 150 тысяч долларов. Да и впрямь подруга “зелёного друга” заслужила поощрение госдепа США: заблокировала создание одной из важнейших транспортных коммуникаций России. Если кто-то назовёт М-11 стратегической или оборонной, тоже не ошибётся. И это было не первое её поощрение от “мирового сообщества”. Надо заметить, очень удобный способ легализовать доходы борцов с неудобными США режимами.

Какой-то “Лес Чудес” образовался под Химками: здесь, если покричать “Долой Путина!”, то получишь денежку. И непростую... Как с куста!

Только весной 2011 года работы по подготовке земельных участков к строительству трассы М-11 были продолжены. В ответ белоленточники вновь разбили лагерь на вырубке и начали останавливать технику. 17-20 июня 2011 года Чирикова провела в Химкинском лесу гражданский форум “Антиселигер”, на котором выступили Алексей Навальный, Станислав Белковский, Артемий Троицкий и другие их соратники. Было высказано намерение передать американским сенаторам “чёрные списки предателей общественных интересов России”.

И всё же 29 сентября 2011 года на спорном участке с 15-го по 58-й км строительство автомагистрали М-11 началось. В январе 2012 года развернулась масштабная реконструкция Бусиновской транспортной развязки, откуда и начинается трасса, продолжением которой на территории Москвы служит Северо-Восточная хордовая магистраль.

Приближаясь очередные выборы Президента России. От “вашингтонского обкома” для участия в решении кадрового вопроса прибыл новый посол Майкл Макфол, известный специалист по организации “оранжевых революций”. Он очень торопился и потому не церемонился. Наш светлый гений-прозорливец Пушкин как-то вскользь обмолвился: “за учтивого китайца, грубого американца почитать меня нельзя...” Так вот, ещё не вручив верительной грамоты, как говорится, лба не перекрестив, этот американец наприглашал к себе гостей, в основном, представителей оппозиции, в том числе Владимира Рыжкова, Бориса Немцова, Евгению Чирикову, Льва Пономарёва и других.

В ролике под названием “Получение инструкций в посольстве США”, который появился в интернете, был представлен вход в посольство США, к которому по очереди подходят приглашённые деятели оппозиции. Зрелище постыдное, унижительное.

Депутат Госдумы Андрей Исаев отметил беспрецедентный цинизм действий представителя Соединённых Штатов, в особенности разговоры за закрытыми дверями в момент начала президентской кампании в чужой стране, и заключил с надеждой, что “суета вокруг иностранных посольств очень многих образумила... граждане России не дадут вмешиваться в наши внутренние дела и на выборах 4 марта отстоят свободу и независимость нашей Родины, проголосовав за её стабильное развитие”.

Так и произошло. А Чирикова предприняла новую попытку победить на выборах мэра Химок в октябре 2012 года. В поддержку её кандидатуры выступили Эльдар Рязанов, миллиардер Михаил Прохоров, другие либералы.

Впрочем, многие горожане уже начали понимать, что Химкинский лес в этой истории вовсе ни при чём. Стоит посмотреть окрест: в большинстве других мест леса годами стоят неухоженные, захламлинные, кишасщие паразитами, больные, угнетённые. В них то и дело полыхают пожары; в землепользовании царит запущенность; поля не обрабатываются. А как раз здесь, при строительстве магистрали М-11, проблема экологии решается разумно, по-хозяйски, со всей возможной бережливостью, с полным восстановлением и умножением лесозащитного потенциала. Почему же работы в Химкинском лесу называют чуть не символом надругательства над природой? Здесь какой-то обман, подмена. Людям просто не объяснили суть происходящего, их использовали как массовку в каком-то грязном спектакле.

На выборах мэра города Химки старые сказки не сработали, денежные вливания не подействовали, пресса потеряла доверие, реванш не состоялся. Сама Чирикова давно съехала с проблемы защиты “зелёного друга” – флоры и фауны – и стала участницей любых, самых беспардонных антигосударственных затей в России.

Между тем стройка набирала ход. 28 ноября 2014 года был открыт первый участок автомагистрали, обходящий стороной город Вышний Волочёк, 23 декабря введён в эксплуатацию обход Химок (участок до аэропорта Шереметьево), а позднее открыт и весь головной участок скоростной дороги.

Несколько лет либеральная общественность блудила в Химкинском лесу. Когда, в конце концов, разобрались в проблеме, стало ясно, что дело не стоило выеденного яйца. Всё решилось спокойно и разумно. А ведь сколько сил, здоровья, времени и денег ухлопано впустую! Одной бумаги на эти бредни извели прорву. Наверное, семь Химкинских лесов подчистую срезали, расщепили, сварили, прокатали на каландрах, чтобы потом наполнить чистые, безвинные страницы вздорными измышлениями и прочей гадостью.

С 24 декабря 2014 года по новому участку скоростной трассы М-11 Москва–Санкт-Петербург добраться до аэропорта Шереметьево можно за считанные минуты. Ленинградское шоссе вздохнуло свободней. Первый скоростной отрезок трассы М-11 начинается от Бусиновской развязки МКАД – далее по ней можно съехать в направлении Лихачёвского шоссе, аэропорта Шереметьево, Зеленограда, Малого Московского кольца (А-107) либо на трассу М-10.

В торжественной церемонии открытия важнейшего участка новой дороги приняли участие Сергей Иванов, Игорь Левитин, Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, новый министр транспорта Максим Соколов, председатель правления ГК “Автодор” Сергей Кельбах.

Сергей Иванов зачитал приветственное послание Владимира Путина, в котором президент России поздравлял и благодарил всех участников создания магистрали, в частности, подчеркнув, что “реализация этого востребованного инфраструктурного проекта стала ярким примером эффективно-государственно-частного партнёрства в автодорожном комплексе страны и взаимовыгодного сотрудничества с нашими французскими коллегами”. Он отметил, что строителям удалось, как он выразился, “деблокировать аэропорт Шереметьево”. И заверил, что государство и впредь будет активно использовать механизм концессионных соглашений при строительстве дорог.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своём выступлении выразил благодарность строителям трассы и тоже использовал военную терминологию. “Вы вызволили из плена и аэропорт Шереметьево, тех, кто приезжает сю-

да, – 20 миллионов пассажиров – и, конечно, город Химки и Зеленоград, – заявил губернатор. – Спасибо, потому что в час пик иной раз проще было долететь до Новосибирска, чем доехать до центра Москвы”. Он отметил, что времена, когда дорога в аэропорт измерялась часами, уходят в прошлое. “Дорога начинает работать. Я хочу выразить уверенность, что через два года мы вновь встретимся и вызволим из плена и Солнечногорск, и Клин, и другие города, дойдём и до Санкт-Петербурга”, – добавил А. Воробьёв.

Новую трассу опробовали и строительной техникой, и гоночными болидами. Пилоты-асы, которые на приземистых “зверь-машинах” практически своим копчиком чувствуют дорогу, хвалили: трасса получилась гладкой и очень похожей на добротный немецкий автобан. Благодаря французским технологиям, в случае, если на одной из полос произошла авария и образовался серьёзный затор, конструкцию из отбойников можно передвинуть и освободить тем самым пространство для движения транспорта.

Среди людей, причастных к созданию современной магистрали М-11, было немало тех, кому довелось выдержать массированную психическую атаку. Либеральная оппозиция публично объявляла их лоббистами, коррупционерами, губителями природы, чуть ли не извергами рода человеческого. Но когда их спрашивали, что они испытывали под градом оскорблений, поношений, отвечали кратко: “Было ли больно? – Нет. Мы полностью уверены в своей правоте. А вот что порой было противно – это правда”.

Магистраль М-11, хоть с некоторой задержкой, но, можно сказать, успешно стартовала. Полностью она будет задействована за месяц до открытия Чемпионата мира по футболу–2018, финальная часть которого впервые должна пройти в России.

Компенсационные лесопосадки в Химках и окрестностях благополучно принялись и обещают вырасти лучше прежних. А что же блудная дочь Химкинского леса? В 2015 году она вместе со своей семьёй переехала в Эстонию на постоянное место жительства. Почему? Совесть заела? Не похоже.

Наверное, мадам просто струсила. Чего же ей бояться? Наше государство, не в пример Западу, склонно забывать нанесённый ущерб, нередко списывает долги с виновников, как ближних, так и дальних. Православная Церковь и вовсе любого покаявшегося грешника прощает. Может, дело только в маленькой детали – в том, что М-11 относится к разряду государственно-частных предприятий. А бизнесмены – люди конкретные. Ну, как предъявят: больше года за нос водила – оплати упущенную выгоду!

Впрочем, это только размышления вслух.

(Продолжение следует)

ВЛАДИМИР ЧАРСКИЙ

МОЯ ЭФИОПИЯ

Африканский дневник

В последнее время мне стала часто сниться Эфиопия с её разнообразной природой: бескрайняя, уходящая к горизонту всхолмленная саванна с отдельно стоящими зонтичными акациями; глубокие долины, поросшие кустарником, древовидным вереском, пальмами, канделяброобразными молочаями и выше человеческого роста слоновой травой; постоянный гомон бесчисленных птиц, от самых маленьких, в несколько сантиметров, до огромных размеров грифов и марабу; горы, затянутые предрассветной сиреновой дымкой, с глубокими каньонами и бурлящими в них потоками воды; тихие прозрачные озёра со стаями разнообразных водоплавающих птиц всех цветов и оттенков. Мне снятся удивительно красивые люди со смуглыми лицами, оливковыми грустными глазами и необыкновенно прямым станом, улыбающиеся женщины с самыми невероятными причёсками и украшениями, множество грязных, полуголых, но весёлых детей.

Прошло более тридцати лет, как я жил и работал в Эфиопии, но она до сих пор меня не отпускает. Вот потому я и решил поделиться своими наблюдениями, воспоминаниями и впечатлениями об этой чудесной стране, а также о жизни советских специалистов, трудившихся вместе со мной.

Я В АФРИКЕ!

Наш самолёт после непродолжительной остановки в городе Ларнаке на Кипре, наконец, прибыл в Аддис-Абебу. Подумать только, я в Африке! Это удивительное, как бы нереальное ощущение сопровождало меня все первые дни.

Как известно, столицей Эфиопии является город Аддис-Абеба. Аддис-Абеба – в переводе с амхарского языка “Новый цветок” – стала столицей Эфиопии в 1889 году, после образования централизованного государства в северо-восточной Африке во главе с императором Менеликом II, выдающимся историческим деятелем, создателем единого Эфиопского государства.

ЧАРСКИЙ Владимир Викторович родился в 1940 году в Москве. Окончил Московский лесотехнический институт. Работал в системе Государственного комитета по внешнеэкономическим связям. По роду своей деятельности побывал в Монголии, Гвинее, Болгарии, ГДР, Анголе и в других странах. После окончания Всесоюзной академии внешней торговли был направлен в пятилетнюю заграничную командировку в Эфиопию. Его воспоминания о временах активного сотрудничества СССР и Эфиопии, насыщенные интересными сведениями о географии этой страны, её истории, культуре, природе и нравах её обитателей, представляют несомненный интерес.

Современная Эфиопия — это одно из крупнейших государств Африки. На западе она граничит с Суданом, на юге — с Кенией, на востоке — с Сомали и Республикой Джибути, на северо-восточных рубежах омывается водами Красного моря. Во всех этих крайних точках мне удалось побывать, но об этом позже. А пока мне предстояло работать в аппарате советника по экономическим вопросам посольства СССР.

По обеим сторонам асфальтированного шоссе под названием Боле-роуд, ведущего из аэропорта в город, передвигалось несметное количество ослов, нагруженных хворостом, сопровождаемых погонщиками с длинными палками. Их гортанные крики то и дело оглашали местность. Хворост необходим эфиопам для приготовления пищи в своих жилищах. Небольшие лачуги, сооружённые из подсобных материалов, тянулись вдоль всей дороги до самого города. Но вот начали встречаться одноэтажные и двухэтажные каменные дома, небольшие виллы, огороженные забором, с ухоженными палисадниками вокруг домов, увитых необыкновенно красивой цветущей, но колючей лианой под названием бугенвиллия. Палитра соцветий этого вьющегося растения состояла из самых разнообразных оттенков, от тёмно-фиолетового и ярко-красного до нежно-розового и молочно-белого. Все эти дома то опускались вниз, то поднимались вверх вслед за холмами и горами, окружающими весь город. На центральной площади города возвышался большой монумент с изображением чёрного льва с короной на голове — символом императорской власти, силы и независимости. Во время итальянской оккупации этот знаменитый памятник — Лев Иудеи — по указанию Муссолини был вывезен в Италию и только после окончания Второй мировой войны и ряда настойчивых требований и дипломатических демаршей со стороны Эфиопии он был возвращён в Аддис-Абебу. Лев также изображён на всех монетах, имевших хождение в Эфиопии в то время. На монетах, отчеканенных во время правления императора Хайле Селассие I до 1973 года, лев изображён во весь рост с короной на голове и со скипетром в поднятой правой лапе, а на монетах, изготовленных после революции 1974 года, — только голова рычащего льва с гривой и открытой зубастой пастью.

Центральную площадь окружали многоэтажные здания европейского типа с множеством расположенных в них различных учреждений, офисов и фирм. Чуть в отдалении возвышалось солидное здание муниципалитета, круглое здание банка и гостиница “Эфиопия”. Многочисленные торговые лавки и магазинчики с большими красочно оформленными витринами занимали значительное место и тянулись далее, расходясь по дугообразным улицам. Одной из самых длинных и хорошо оформленных улиц европейского вида является Пьяцца с большим количеством золотых лавок, небольших павильонов и магазинов. Через весь город протекает несколько небольших горных речек, местами образующих глубоко врезанные русла. Общее направление их — с севера на юг, и все они впадают в реку Акаки, приток реки Аваш, одной из главных рек Эфиопии.

Город протянулся с севера на юг на 17 километров и почти на столько же — с запада на восток. Численность населения Аддис-Абебы по данным 1975 года составляла 1,2 миллиона человек. В столице Эфиопии сосредоточено самое большое количество в Африке дипломатических и других иностранных представительств — их свыше 70. Аддис-Абеба — это крупнейший культурный центр страны. Здесь есть университет на 5 тысяч студентов, несколько технических и специальных училищ, две крупные библиотеки: национальная и университетская, художественный и палеонтологический музеи, много различных музыкальных и театральных коллективов. В городе очень много зелени. Он опоясан эвкалиптовыми рощами, площадь которых превышает площадь застроенных районов. Кроме того, здесь имеется несколько небольших благоустроенных парков и скверов, в одном из которых есть маленький зверинец, где можно сфотографироваться с живыми дикими львятами.

В западной части города расположен самый крупный в Африке городской открытый рынок Аддис-Кэтэма — “Меркато”. Это город в городе! Здесь огромные развалы арбузов, манго, папайи, бананов, грейпфрутов, ананасов и множество других фруктов; различных овощей — от авокадо до батата (сладкого картофеля), от гжучего красного перца (бербере), томатов, лука, кабачков до гигантских размеров тыкв, масса всевозможных специй и пряностей. Нескончаемые мясные ряды с разделанными тушами домашних и диких животных,

кур, уток, цесарок и прочей птицы, рыбные ряды с теляпией и знаменитым нильским окуном, достигающим полутора метров в длину и более. Множество зазывал-продавцов традиционного эфиопского кофе, от зелёного в зёрнах до жареного. Тут же готовят этот чудесный ароматный напиток.

Кроме продовольствия, здесь находятся длинные ряды различных тканей, ремесленных и гончарных изделий, украшений из драгоценных и полудрагоценных камней, золота и серебра, ручных поделок от африканских ритуальных масок и деревянных божков до лалибэльских крестов разных размеров, форм и конфигураций. И, конечно, присутствует великое множество мелких лавок, дешёвых баров, ателье с ручными и ножными швейными машинками и т. п.

Аддис-Абебу, в отличие от многих других африканских городов, миновала участь разделения на “африканскую” и “европейскую” части. Здесь всё смешано. Рядом с итальянской виллой можно увидеть африканские дома самой разнообразной конструкции.

Советское посольство в Аддис-Абебе имело огромную территорию, одну из самых больших площадей иностранных представительств за рубежом, доставшуюся в наследство от Российской империи. Одной из первых держав, установивших дипломатические, культурные и деловые отношения с Эфиопией, была Россия. В феврале 1898 года в Аддис-Абебу прибыл в качестве главы русской дипломатической миссии П. М. Власов. А за два года до этого в Эфиопию прибыла группа русских врачей и санитаров, которые создали первые в Эфиопии медицинские пункты. Россия оказывала Эфиопии и военно-техническую помощь. Русские трёхлинейные винтовки ещё и сейчас можно встретить в самых глухих уголках страны. Кроме того, Россия в то время была крупнейшим внешнеторговым партнёром Эфиопии. В благодарность за бескорыстную помощь император Эфиопии и подарил России этот великолепный уголок нетронутого леса.

В отличие от всем известных четырёх времён года, в Эфиопии существует только два времени года: сухой сезон – с октября по март и сезон дождей – с апреля по октябрь. В свою очередь, сезон дождей делится на период “малых” дождей – март-май – и период “больших” – июнь-сентябрь. Хотя чёткого разделения между “малыми” и “большими” дождями практически не существует.

Незаметно прошёл первый день моего пребывания в Африке, наступил вечер, а вернее – ночь, так быстро стало темнеть. Следует отметить, что сутки в Эфиопии делятся на две равные части по 12 часов, день начинается в 6 часов утра и заканчивается в 6 часов вечера. В Африке сумерки, в нашем понимании, практически отсутствуют. Ежедневно в шесть часов вечера солнце заходит за горизонт, а через полчаса наступает тёмная ночь. Африканская ночь удивительна и полна самых разнообразных звуков. После непродолжительного, но сильного дождя природа затихает. В воздухе сильно пахнет различными цветами: магнолиями, мимозой, олеандрами и другими тропическими растениями. Выходит луна и медленно плывёт по небосводу. Вдруг тишину нарушают резкие звуки: сначала слышится пронзительный, душераздирающий вой, затем бормотание, а потом какой-то нечеловеческий то ли хохот, то ли плач. Это продолжается примерно четверть часа. Затем всё стихает. Это воют гиены. А около полуночи слышатся другие, более мощные звуки, похожие на рык или рёв, – это рычат голодные дикие львы, которых на ночь выпускали извольеры свободно бродить по парку вокруг дворца Менгисту Хале Мариамы, тогдашнего правителя Эфиопии... Заснуть под этот концерт можно было только под утро. А утром будит многоголосье разных птиц. Ещё совсем темно, когда резко начинают кричать птицы, и буквально через несколько минут выходит солнце. Начинается новый день.

К ИСТОКАМ ГОЛУБОГО НИЛА. НА ОЗЕРЕ ТАНА

Если Эфиопия – это сердце Африки, то сердце Эфиопии – это, несомненно, озеро Тана, недалеко от которого находятся истоки Голубого Нила. А, как известно, великая африканская река Нил образована из двух главных и основных притоков. Это Белый Нил, вытекающий из озера Виктория в Уганде, и Голубой Нил. Соединяются эти два притока в Судане, в районе города Хартума.

На протяжении столетий путешественники, учёные и исследователи разных стран не могли обнаружить и добраться до истоков Нила. Многие экспе-

диции терпели неудачу по самым различным причинам. Сложнейшие климатические условия, непроходимые леса, болота, озёра, бесчисленное количество рек с уступами и порогами, всевозможные протоки, кишащие крокодилами, глубокие отвесные каньоны с водопадами затрудняли, а порой делали невозможным движение исследователей вверх по притокам Нила. Следует иметь в виду и множество тяжёлых болезней, таких как чума, оспа, жёлтая лихорадка, малярия, сонная болезнь и других, свирепствовавших в этих местах. Большинство экспедиций, состоящих из чужеземцев и сопровождающих их местных африканцев, погибли от этих болезней и различных эпидемий. И только 28 июля 1862 года английский исследователь Джон Хеннинг Спик открыл, что Белый Нил вытекает из озера Виктория. Не менее интересен и “младший брат” Белого Нила, Голубой Нил, или Аббай, как его ласково называют эфиопы, что в переводе с амхарского означает “Отец вод”. Истоки этой реки находятся на западе от Аддис-Абебы недалеко от озера Тана. Эта река протекает по высокогорному эфиопскому плато на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря и прорезает в нём ущелья и теснины глубиной до одного километра. Река, пенясь и вскипая на бесчисленных порогах, стремительно несётся меж каменных базальтовых стен, называемых по-амхарски “амба”. Теперь мне понятно, откуда пришло это слово и в русский язык. Не предок ли Пушкина, знаменитый эфиоп Ганнибал принёс его в наш язык?..

Первоначально многие исследователи считали, что Голубой Нил берёт своё начало и вытекает из озера Тана. Однако оказалось, что это не так. Первым описал истоки Нила иезуитский миссионер Педру Паиш, который увидел их 21 апреля 1618 года. Однако это свидетельство подверглось впоследствии сомнению. Поэтому первооткрывателем истоков Голубого Нила принято считать английского исследователя Джеймса Брюса. 4 ноября 1770 года он обнаружил в болоте близ горы Геэз три источника “в небольших алтарях из прочного дёрна”, сооружённых кем-то из местных жителей. Люди, живущие недалеко от этих источников, совершали жертвоприношения вслед за появлением на небе “Собачьей звезды” (Созвездие Гончих Псов). Здесь закалывали чёрную корову, голову её опускали в воду, а мясо делили между всеми участниками. Кости принесённого в жертву животного сжигали на костре. Этим обрядом собравшиеся люди, как писал Д. Брюс, оказывали Нилу почести, как божеству, поклоняясь реке. Удивительно, что аналогичные обряды существовали не только у народа, проживающего у истоков реки, но и у живших у её устья, хотя находившиеся в различных местах реки люди не знали друг друга, но поклонялись реке одинаково.

Описав широкую дугу, Аббай спускается с гор от своих истоков с высоты 2700 метров над уровнем моря. При впадении в озеро Тана ширина реки достигает примерно шестидесяти метров. Его воды хорошо различимы, поскольку не смешиваются с озёрной водой и текут вдоль южного берега озера.

Озеро Тана, окружённое высокими горами, расположено на высоте 1830 метров над уровнем моря в центре эфиопского нагорья. Берега озера покрыты густыми зарослями гигантского папируса высотой 3–3,5 метра, из которого местные жители делают прочные лодки. Знаменитый путешественник, учёный и исследователь Тур Хейердал перед своим плаванием через Атлантический океан на папирусной лодке “Ра” побывал на озере Тана и досконально изучил конструкцию и технологию изготовления лодок.

На озере существует 37 зелёных островов, на некоторых из них есть церкви и монастыри эфиопской христианской церкви, одной из древнейших христианских церквей. Помимо Аббая, в озеро впадает ещё 60 рек. В окрестностях озера расположено значительное количество термальных источников. На средневековых географических картах озеро Тана называлось “Дембийским морем”. В период сезона “больших дождей” озеро выходит из берегов и затопляет прибрежные районы, в том числе и Дембию, поименованную так в память об историческом названии озера. Из-за регулярных затоплений и отложений ила в этой зоне находятся очень плодородные земли, что способствует успешному возделыванию зерновых культур, а также кофе, сахарного тростника, энсеты (лубяной банан), хлопчатника и табака. Повсеместно здесь распространено выращивание винограда и цитрусовых. Хорошие пастбища привели к широкому развитию скотоводства.

На южном берегу озера Тана в провинции Годжам расположен небольшой, утопающий в зелени, современный город Бахр-Дар. Высокие пальмы,

олеандры и цветущая бугенвиллия изящно обрамляют белые здания и делают город нарядным и красивым. В городе находится крупная текстильная фабрика и несколько предприятий по производству пищевых продуктов. При содействии Советского Союза был построен комплекс по производству молока и молочных продуктов, а также Бахр-Дарский политехнический институт, полностью укомплектованный оборудованием, поставленным из СССР. На факультете деревообработки преподавали советские специалисты, с которыми я вместе учился в Московском лесотехническом институте.

Для решения ряда бытовых, организационных и технических вопросов, связанных с деятельностью советских преподавателей, я и приехал в Бахр-Дар. Встреча со своими коллегами через много лет, да ещё в далёкой африканской стране, была очень радостной и сердечной. Гостеприимные хозяева с гордостью угостили меня знаменитым нильским окунем с гарниром из жареных бананов. Застолье прерывалось разговорами и воспоминаниями студенческих лет. Я вспомнил, как на одном из факультетских смотров художественной самодеятельности выступал Савелий Крамаров, тогда студент нашего института, а впоследствии известный артист. В одном из номеров студенческого театра эстрадных миниатюр, душой которого был Савелий, разыгрывалась сценка сдачи приёмных экзаменов абитуриентами разных стран: из Америки, Китая, Эфиопии и России. Небольшие смешные диалоги вызывали хохот и одобрение зала. Но когда на сцену вышел Савелий, изображавший эфиопа, зал взорвался бурными аплодисментами. Он был одет во всё чёрное, но лицо Крамарова, его шея и руки были вымазаны коричневым кремом для обуви, блестели только его хитрые косые глаза. Зрители недоумевали, почему Савелий загримировался коричневым кремом, а не чёрным. У всех было расхожее представление, что жители Африки, не считая арабов, все поголовно должны быть чёрного цвета, а здесь вдруг появился коричневый эфиоп! И только спустя годы, здесь, в Эфиопии, я понял, насколько был прав Крамаров! Коренные жители Эфиопии обладают более светлой кожей, что свидетельствует об их смешении в древности с семитскими выходцами из Азии.

После осмотра института мои коллеги решили показать мне главную достопримечательность Бахр-Дара — Большой Нильский водопад. Он находится в тридцати километрах ниже озера Тана и является одним из крупнейших в Африке. Высота падения воды — около 45 метров. С чудовищным гулом и грохотом вода, вся в белых барашках пены, низвергалась в глубокий каньон. Над водопадом, переливаясь всеми цветами, играла и искрилась на солнце радуга. Зрелище было просто восхитительным! Эфиопы называют этот водопад “Тис-Ысат”, что означает “Дым без огня”. Местные жители рассказывают, что иногда, очень редко, в лунную ночь можно увидеть лунную радугу, но только тогда, когда период “больших” дождей совпадает с полнолунием. Рядом с этим водопадом в 1964 году была сооружена небольшая гидроэлектростанция. Дальше Аббай до самой границы с Суданом течёт в каньоне глубиной до полутора километров.

Вернувшись с экскурсии на водопад, мы решили прогуляться по берегу озера Тана. Проходя вдоль озера, любовались бесчисленным количеством разнообразных водоплавающих птиц. Бело-розовые фламинго медленно вышагивали по мелководью, но стоило им взлететь, как небо окрашивалось в розовый цвет. В зарослях папируса виднелись чёрные цапли, множество пеликанов плавало возле рыбаков, чистивших и разделявавших пойманную рыбу. Они бросали в раскрытые рты пеликанов отходы от рыбы, а иногда и мелкую рыбёшку. Чуть поодаль на берегу устраивали свои странные танцы марабу, терпеливо дожидаясь ухода рыбаков, чтобы полакомиться свежими рыбными отходами. Но самыми привлекательными и грациозными были венценосные журавли с золотистыми, отдельно торчащими на головах волосками, похожими на корону. Пройдя дальше, мы увидели целое стадо бегемотов, некоторые раскрывали свои огромные пасти, похожие на старинные ридикюли. Рассказывали, что бегемоты часто выходят на засеянные поля и устраивают потравы, от которых страдают урожаи местных крестьян.

Из уникальных растений, находящихся в этой зоне, я отмечу древовидный можжевельник, карандашный кедр и особенно лобелию гигантскую — лобелии цветут в течение нескольких лет. В каждом соцветии содержится огромное количество цветков. Иногда после цветения растение умирает. Сухие столбы, оставшиеся от лобелий, характерны для этой местности.

Национальный горный парк Сымен – один из самых потрясающих по красоте ландшафтов на Земле! Он прекрасен в утренние и вечерние часы и особенно на закате дня, когда горные вершины, дикие ущелья, каменные “замки” и “дворцы”, базальтовые образования в виде огромных музыкальных “органов” создают иллюзию причудливого фантастического города. Лучи заходящего за горизонт солнца, игра теней от камней, скальных выступов, ближних и дальних отрогов гор рисуют объёмную рельефную картину, высвечивают подробности дальнего ракурса, завораживают своей нереальностью. Трудно отвести взгляд от этой неземной красоты!

ХРИСТИАНСКАЯ ЭФИОПИЯ

В провинции Гондэр много исторических памятников и достопримечательностей. К памятникам всемирного наследия относится древний город Лалибэла. В одной из эфиопских легенд упоминается имя царя Эфиопии – Святого Гебре Лалибэлы, который был посвящён в тайну небес. Во время своего рождения Лалибэла был окружён огромным количеством пчёл, они, по утверждению его матери, представляли собой преданных ему людей, которые в будущем будут служить её сыну. Поэтому она выбрала ему имя – Лалибэла, что означало “Пчёлы признают его власть”. С самого рождения родители воспитывали его в богопочитании и преклонении перед Всевышним. В течение трёх ночей к Лалибэле прилетали ангелы и забирали его с собой на небеса, где Бог давал ему указания, где и как выстроить новый священный город, возложив на него особую священную миссию и защитив его от всех земных невзгод.

Когда он вырос, его старший брат, будучи царём, услышал предсказание, что Лалибэла хочет овладеть его тронном и царством. Обуял царя гнев, и потребовал он к себе брата. Прибыл Лалибэла и стал перед царём, который обвинил его во всех грехах и, в первую очередь, в желании захватить власть. Он приказал сечь его с девяти часов утра и до трёх часов дня, после чего снова вызвал к себе брата. А когда тот предстал перед ним, то царь изумился, не видя никаких следов наказания, ибо охранял его ангел Господень. “Прости меня, брат, за то, что я сделал с тобой, что я причинил тебе страдания”, – сказал царь Лалибэле. И тогда воцарился мир и согласие между братьями.

Через некоторое время царь добровольно отказался от власти в пользу своего младшего брата после посещения его посланниками Бога, которые передали ему Божье указание. Заняв трон, Лалибэла богато одарил всех нуждающихся, а в честь Бога соорудил прекрасный город церквей. После создания святого места Лалибэла отрёкся от престола и стал отшельником, поселившись в пещере. После смерти он был причислен к лику святых. Для эфиопских христиан Лалибэла – один из самых почитаемых святых. Эфиопская Православная Церковь канонизировала царя Лалибэлу, и город был назван в его честь.

Под руководством Лалибэлы было построено одиннадцать уникальных монолитных храмов, не похожих один на другой. Вырубленные в скалах ниже уровня земли, они были и остаются чудом архитектуры. Даже алтари вытесывались из тех же самых скальных блоков, что и каждый храм. Они простояли многие века и до настоящего времени сохранили своё величие. Главными из этих храмов являются самый крупный монолитный храм Христа Спасителя и изящная церковь Святого Георгия, относящиеся к XIII веку. Эта церковь имеет форму креста, строго ориентированного по четырём сторонам света. Внутри здания древние мастера-каменотёсы создали прекрасный храмовый интерьер с выдолбленными в монолитном камне стрельчатыми окнами, арками и изящными колоннами. В храме Христа Спасителя находится камень, на котором, по преданию, сам Христос благословил Лалибэлу на создание этих храмов. Здесь же похоронен архитектор всего ансамбля – Сиди Мэскэль. Предполагается, что этот храм строился последним и завершал великие творения и замыслы Лалибэлы. В течение долгих столетий город Лалибэла был и сейчас остаётся религиозным центром и местом паломничества.

Надо сказать, что Эфиопия имеет глубокие исторические корни и является древнейшим государством на Африканском континенте, родоначальником которого было высокоразвитое Аксумское царство, образованное в начале нашей эры и достигшее наивысшего расцвета в IV–VI веках новой эры.

Недалеко от города Лалибэла находится древний город Аксум. В вассальной зависимости от него была почти вся территория современной Эфиопии, а также земли на западе, вплоть до долины Белого Нила, и весь юго-запад Аравии (Сабейское царство). Древний Аксум имел оживлённые торговые, политические и культурные связи с Египтом, Персией, Грецией, Индией и другими странами и испытал значительное влияние цивилизаций этих стран. В наследство от Аксума Эфиопия получила письменность, христианство и плужное земледелие, которое и до сих пор является основой сельскохозяйственного производства в стране. И сегодня в Аксуме ещё сохранилось немало великолепных обелисков с надписями, рассказывающими о древнем исчезнувшем царстве и его знаменитых людях. В густой тени деревьев во дворе собора святой Марии Сионской сохранились развалины трона, на котором восседал сам император во время церемонии коронации.

В начале XVII века столицей Эфиопии становится Гондэр. Своего наивысшего расцвета город достиг в начале XVIII века. Сохранился замок императора Фасиледэса, возведённый в XVII веке. Он прославился и строительством двух каменных мостов через Голубой Нил недалеко от озера Тана. Эти мосты называли “мостами Фасиля” – так любовно в народе звали императора.

Но кроме замечательных памятников старины, в устном фольклорном творчестве эфиопского народа, как и других народов мира, существует множество древних легенд и мифов. Одной из таких легенд является широко известная не только в Эфиопии, но и за её пределами красивая легенда о царице Савской и царе Соломоне. Существует множество различных вариантов этой легенды, но здесь я предлагаю только эфиопскую версию.

Богатая эфиопская принцесса Македа – “Огненная” – после восхождения на престол стала именоваться царицей Савской (Сабейской). Она получила образование у лучших учёных, философов и жрецов своей страны, была красивой, блистательной и умной женщиной. Услышав о большой мудрости иудейского царя Соломона, она решила совершить путешествие к нему с богатыми подарками. По её прибытии Соломон оказал ей великие почести и дал ей обиталище в своём царском дворце. Но перед тем как пойти в свои царские покои, царь Соломон пригласил её в тронный зал своего дворца. В этом зале пол был выполнен из стекла, под которым плавали рыбы. Царица Савская, ступив на этот пол, подумала, что трон стоит в воде, и она машинальным движением приподняла края своего платья, чтобы не намочить его. Таким образом хитрый царь Соломон смог увидеть её ноги, которые были покрыты густыми чёрными волосами.

На царицу Савскую произвели впечатление исключительная мудрость и хитрость иудейского царя, а Соломона покорили ум, образованность и необыкновенная красота царицы, которая очаровала Соломона. Она была высокого роста, смуглой, с большими оливковыми глазами. Их роман продолжался полгода. Затем царица Савская вернулась в своё царство и родила там сына, назвав его Байна-Лехкем – “Сын мудреца”. Когда сыну исполнилось 22 года, царица рассказала ему об отце, и он решил поехать и повидать его. Перед отъездом царица Савская дала юноше перстень Соломона, чтобы тот смог узнать своего сына. По приезду царевича в Иерусалим Соломон признал его своим сыном, ему были оказаны царские почести.

Спустя несколько лет повзрослевший сын царицы Савской с разрешения царя Соломона должен был вернуться к своей матери в Африку. Вместе с ним отправилась очень большая группа иудейской знати. Он, сильно любивший свою мать, решил сделать ей подарок, взяв из Иерусалимского храма хранившийся там священный Ковчег Завета и увёз его, по праву первородства, в Эфиопию, подарив своей матери, царице Савской. Она преклонялась перед Ковчегом и считала его вместилищем скрижалей с десятью заповедями и другими духовными ценностями. По мнению эфиопских священнослужителей, Ковчег Завета до сих пор находится в городе Аксуме и хранится в соборе Святейшей Девы Марии Сионской.

После возвращения сына царица Савская отказалась от престола в его пользу, и тот устроил в Эфиопии царство по подобию израильского, а сам стал называться Менеликом. Считается, что царская династия эфиопских цариц Соломонидов основана Менеликом, сыном царя Соломона и царицы Савской.

Последний император Эфиопии Хайле Селассие I, свергнутый с престола в 1974 году, относил себя к династии Соломонов и считал себя 225-м потомком царицы Савской и царя Соломона.

День возвращения царицы Савской от царя Соломона на родину 11 сентября и окончание сезона “больших” дождей является в Эфиопии официальной датой начала Нового года, что близко, кстати, к началу церковного новолетия (14 сентября по новому стилю) у нас в России. Следует отметить, что эфиопский календарь состоит из тринадцати месяцев в году! В этой стране, по аналогии с древним Египтом, используется свой собственный солнечный юлианский календарь, который разделён на двенадцать равных месяцев, по 30 дней каждый, а тринадцатый месяц состоит из 5 или 6 дней (в високосный год). Эфиопский календарь отличается от григорианского на 7 лет, 8 месяцев и 11 дней. Например, эфиопский 1970 год начался 11 сентября 1977 года.

В память о легендарной царице в Эфиопии в 1922 году был учреждён “Орден царицы Савской”, который является третьим по старшинству среди орденов Эфиопии. Из известных в мире людей им был награждён президент Франции Шарль де Голль и президент США Дуайт Эйзенхауэр.

Вот так древняя история, мифы и легенды Эфиопии тесно переплелись с существующей реальностью.

Нельзя не заметить, что все современные христианские ортодоксальные храмы Эфиопии существенно отличаются от древних. По форме они приближаются к традиционному сельскому жилищу – тукулю с круглым основанием, конусообразной крышей и ортодоксальным крестом наверху. Внутри эти храмы состоят из трёх concentрических кругов: первый – для священнослужителей, второй – для примерных прихожан и третий – для всех остальных, причём женщины обязательно отделены от мужчин. Служба ведётся как на древнем языке геэз, так и на амхарском, и сопровождается танцами и пением чисто эфиопского происхождения. Посещение церкви (обязательное по воскресеньям) – лишь малая часть обязанностей эфиопского христианина. Обязательно нужно молиться утром, а также до и после каждого приёма пищи. Проходя мимо церкви, прихожане кланяются три раза, входя в неё, целуют здание и крест священника.

У эфиопских христиан в году около 250 постных дней. Это каждая среда и пятница (кроме 50 дней после Пасхи), а также три больших поста по 56, 43 и 15 дней. В это время нельзя принимать пищу животного происхождения, а также не есть ничего до полудня (кроме субботы и воскресенья). Эфиопский христианин не ест свинину.

Основные христианские праздники в Эфиопии – это Пасха, Крещение, Рождество и Мэскаль, причём во всех праздниках присутствуют элементы иудаизма и язычества.

Мэскаль по-амхарски означает крест. Это сугубо эфиопский христианский праздник с элементами язычества. Он означает нахождение истинного Креста Христова святой Элени, который приснился ей в дыме большого костра. Этот праздник отмечается 27 сентября (что совпадает с нашим праздником Воздвиженья Святого Креста. – **Прим. ред.**). Особенно ярко и многолюдно он проходит в Аддис-Абебе, Гондэре и Аксуме. Он также знаменует собой окончание сезона “больших дождей”. В этот день на площадях готовят большие костры конусообразной формы до 10 метров высотой, украшенные цветными лентами и жёлтыми цветами. Такими же цветами украшают всё, что можно, вокруг. В назначенный час на площади собираются священнослужители в праздничных церковных одеждах для совершения церемонии “освящения” костра. Эта церемония заключается в том, что церковная процессия с чтением святых текстов и религиозным песнопением обходит три раза вокруг кострового конуса. После этого старший священник пучком хвороста поджигает его. Затем с других концов костёр поджигают представители власти и остальные желающие. Во время сгорания костра все присутствующие веселятся, радостно обнимают друг друга, танцуют и поют. Многие подходят к затухающему костру, чтобы начертить пеплом крестик у себя на лбу, другие – чтобы зажечь от священного костра эвкалиптовые прутья и принести их к себе в жилище. Очень красочный и весёлый праздник!

Каждая христианская семья должна иметь своего духовного наставника, который следит за правильностью выполнения всех религиозных требований, а также является советником по всем вопросам.

РУССКИЕ В ЭФИОПИИ

Первой русской экспедицией, которой удалось побывать в Эфиопии, в её западных областях, был отряд под руководством Ковалевского. Это произошло в 1848 году.

Егор Петрович Ковалевский – известный путешественник, дипломат, писатель и исследователь, окончил Харьковский университет и специализировался по добыче золота на Алтае. Его имя связано также и с географической наукой. Он занимал должность помощника председателя Русского Географического общества, а затем стал его почётным членом. После успешных поисков золота в Черногории, куда он был направлен русским правительством, Ковалевский был командирован в Египет по просьбе египетского паши Муххамед-Али. Он просил прислать в Египет опытного русского горного инженера для продолжения поисков золота и разработки золотосырых россыпей в Верхнем Египте. Далее экспедиция Ковалевского была направлена в Восточный Судан, а затем в западные области Эфиопии. Егор Петрович прошёл и исследовал долину Голубого Нила и его левый приток – реку Тумат. В этом районе Е. П. Ковалевским были открыты значительные месторождения золота. Он исследовал бассейн реки Тумат до самых его истоков и был первым европейцем, побывавшим в этом регионе. Экспедиция Ковалевского уточнила географию Нильской долины, провела геологические наблюдения и собрала первые этнографические материалы в западных областях Эфиопии, населённых племенами галла. По возвращении в Россию Е. П. Ковалевский написал и опубликовал книгу “Путешествие во внутреннюю Африку”.

Попытки проникновения русских экспедиций в Эфиопию с севера начались в 1885 году с поездки казака Н. И. Ашинова, когда он с группой казаков высадился в порту Массауа и дошёл до города Асмара. Чтобы двигаться дальше вглубь страны, необходимо было получить разрешение от местного правителя. Отряд Ашинова, действовавший по собственной инициативе, без рекомендательных писем и каких-либо иных документов от правительства России, не был пропущен в столицу Эфиопии.

Вернувшись в Россию, Ашинов заручился поддержкой обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева, который разрешил ему организовать экспедицию в Эфиопию под видом религиозной миссии. В действительности целью поездки была колонизация северного побережья Африки для дальнейшего устройства угольных станций. В этой экспедиции приняли участие почти 180 человек: казаки, а также монахи – члены духовной миссии, возглавляемые архимандритом Понсием. Однако колонизация побережья не состоялась. Французские власти, оккупировавшие эту территорию, были крайне встревожены неожиданным появлением русских и предложили им немедленно покинуть это место. Ашинов отказался подчиниться требованиям французов, и тогда лагерь русских поселенцев был подвергнут обстрелу с французских крейсеров. Было убито семь человек, а оставшиеся русские поселенцы во главе с Ашиновым были взяты в плен. Узнав об этом инциденте, царское правительство, во избежание дипломатического скандала с Францией, объявило, что экспедиция Ашинова являлась его частной инициативой и никакого отношения к правительству России не имеет.

Одному из участников этой экспедиции – поручику В. Ф. Машкову – удалось избежать плена, и он ушёл вглубь Эфиопии. С большими трудностями Машков достиг города Энтото, бывшего в то время столицей Эфиопии, посетил резиденцию императора Менелика II и имел с ним беседу, в ходе которой император дал понять, что не возражает против будущих посещений Эфиопии русскими экспедициями.

По возвращении в Россию Машков стал хлопотать о второй экспедиции в Эфиопию. В 1891 году была подготовлена специальная экспедиция в составе Машкова и двух духовных лиц – иеромонаха Тихона и причётника Григория. Святейший Синод и военное министерство поставили перед экспедицией несколько важных задач: попытаться наладить церковные связи с абиссинской церковью, ознакомиться со страной, изучить её географическое положение и политическое устройство. Первую часть из поставленных задач экспедиции решить не удалось. В пути в экспедиции произошёл разлад по религиозным соображениям. Не поладив с Машковым, Тихон и Григорий возвратились в Петербург. В. Ф. Машков вторично побывал в Энтото, исследовал цент-

ральную часть Эфиопии, сделал много записей и зарисовок, собрал первую значительную коллекцию этнографических материалов, предметов быта и жизни людей, населяющих эту часть страны. О своём пребывании в Эфиопии В. Ф. Машков написал в своих дневниках и позднее опубликовал их под названием «Путешествие в страну чёрных христиан в 1891–1892 гг.».

В 1895 году в Эфиопию была направлена экспедиция в составе бывшего есаула Кубанского казачьего войска Н. С. Леонтьева, отставного штабс-капитана конной артиллерии К. С. Звягина, русского путешественника А. В. Елисеева и архимандрита Ефрема. Экспедиция была подготовлена за счёт средств Русского Географического общества и имела ряд специфических заданий по сбору научных материалов и сведений военного характера. Кроме того, перед отъездом им удалось получить рекомендательные письма Российского правительства к императору Эфиопии Менелику II.

Достигнув Энтото, Леонтьеву удалось встретиться с Менеликом II, известным на него хорошее впечатление и убедить его направить в Россию эфиопское посольство. В состав этой делегации вошёл рас (принц) Дамтоу, рас Белякио, епископ Габро Эксиабиеро и кавалерийский генерал Генемье. Сопровождал эту делегацию в Россию Н. С. Леонтьев. Во время встреч и переговоров с членами русского правительства он обосновал необходимость в оказании военной помощи Эфиопии в борьбе против итальянских захватчиков. Было принято решение в дар Менелику II отправить 30 тысяч винтовок, 5 миллионов патронов к ним и 6 тысяч сабель. Отправкой и оформлением этого специального груза занимался непосредственно сам Леонтьев. Он оформил этот груз как проданный через французского посредника в порту Массауа, находившемся в тот момент под контролем итальянцев, которые вели войну с Эфиопией. Естественно, всё это оружие было конфисковано. Оно попало эфиопам только после окончания войны и заключения мира с итальянцами.

В период итало-эфиопской войны 1895–1896 годов Н. С. Леонтьев находился в Эфиопии и был назначен военным советником императора Менелика II. После победы при Адуа император наградил Леонтьева почётным оружием – щитом и саблей – и присвоил ему только что учреждённый титул графа. По поручению Менелика II он участвовал в переговорах Эфиопии и Италии в Риме по подписанию мирного договора. Эту дипломатическую миссию Леонтьев выполнил великолепно, включив в договор несколько важных пунктов для Эфиопии.

Во время своих многочисленных поездок по стране он спас от смерти А. К. Булатовича, впоследствии известного путешественника, исследователя южных и юго-западных окраин Эфиопии.

В 1897 году Менелик II в целях укрепления центральной власти назначил Леонтьева генерал-губернатором двух больших провинций на юге Эфиопии. Н. С. Леонтьев с присущей ему энергией попытался привлечь правительство России к освоению и эксплуатации этих территорий, но получил категорический отказ. Россия не собиралась заниматься экспансией, чтобы не провоцировать Англию, Италию и Францию, не заинтересованных в вовлечении России в этот район Африки. Тогда Леонтьев без согласования с Россией совместно с английскими, французскими и бельгийскими промышленниками основал акционерное общество по освоению и эксплуатации экваториальных провинций Эфиопии, где он являлся генерал-губернатором. Руководитель русской дипломатической миссии, недавно организованной в Аддис-Абебе, П. М. Власов сообщил об этой акции в Петербург, в результате чего правительство России отказалось от сотрудничества с Леонтьевым и его финансовой и дипломатической поддержки.

Последним авантюрным предприятием было его участие в военном походе эфиопских войск на юг к озеру Рудольфа, где он был ранен и затем навсегда покинул Эфиопию. В этом походе вместе с Н. С. Леонтьевым участвовал его помощник Н. Н. Шедевр, который водрузил эфиопский флаг на берегу озера Рудольф, тем самым обозначив южную границу Эфиопии.

Осенью 1897 года в составе первой русской дипломатической миссии в Эфиопию прибыл полковник Л. К. Артамонов, а уже в марте 1898 года ему было предложено принять участие в военной экспедиции эфиопского дадь-язмача (генерала) Тасама к Белому Нилу и исследовать бассейны рек Собат и Джуба на юго-западе Эфиопии, то есть на границе с Восточным Суданом. Из этой экспедиции Артамонов привёз в Россию коллекцию насекомых,

растений и богатые этнографические материалы. Самыми главными научными результатами этой экспедиции являются гипсометрические и метеорологические наблюдения. Русское Географическое общество высоко оценило значение для науки этого путешествия на юго-запад Эфиопии и наградило Л. К. Артамонова медалью имени Ф. П. Литке.

Таким образом, русские землепроходцы внесли существенный вклад в изучение и освоение южных и юго-западных территорий страны, что способствовало расширению знаний о неизведанных районах Эфиопии. Особенно следует отметить чрезвычайно важное открытие и материалы, полученные в результате экспедиций известного русского путешественника и исследователя А. К. Булатовича.

Долгое время южная окраина Эфиопии была для всех иностранцев тайной за семью печатями. Туда по разным причинам не могли проникнуть иностранные исследователи и путешественники. Первым, кто прошёл из конца в конец южную провинцию Кэфа и составил её подробное описание, был русский офицер Александр Ксаверьевич Булатович.

Александр Ксаверьевич Булатович родился 26 сентября (8 октября) 1870 года в городе Орле, где тогда стоял 143-й Дорогобужский полк, которым командовал его отец, Ксаверий Викентьевич Булатович, генерал-майор, происходивший из потомственных дворян. Через три года отец умер, и его мать, Евгения Андреевна, с тремя детьми переехала в Петербург. Там девочки поступили в Смольный институт, а Александр – в один из лучших лицеев, в котором готовили дипломатов и высших государственных чиновников. В 1891 году А. К. Булатович окончил в числе лучших учеников этот знаменитый Александровский лицей.

После окончания лицея он некоторое время служил в канцелярии императрицы Марии. Однако гражданская карьера его не прельщала и, следуя семейным традициям, Булатович определяется в лейб-гвардии гусарский полк 2 кавалерийской дивизии. Это был один из самых аристократических полков, стать офицером в нём могли лишь избранные.

Медленно текли годы службы в полку, жизнь была размеренная и спокойная, пока события, не имевшие никакого отношения к Булатовичу, круто не оборвали устоявшийся уклад способного преуспевающего офицера.

Этими событиями стала захватническая война Италии против Эфиопии, завершившаяся полным разгромом итальянцев Эфиопской армией под Адуа 2 марта 1896 года. Эта блистательная победа имела важные политические последствия для Эфиопии. Борьба, которую вела страна за свою независимость, нашла живой отклик в России. Кроме того, русские считали эфиопов своими братьями по вере – обстоятельство, имевшее тогда немаловажное значение. Победу при Адуа прогрессивные круги России встретили с ликованием. В России был организован сбор средств для оказания помощи больным и раненым эфиопским солдатам и был сформирован и направлен в Эфиопию отряд Красного Креста. Возглавил отряд генерал-майор Н. К. Шведов, и в него входило ещё шесть человек. С большим трудом корнету Булатовичу удалось попасть в этот отряд. Он был прикомандирован к нему 26 марта 1896 года в качестве частного лица.

В Харэре отряд получает указание Менелика II о запрете на дальнейшее передвижение по стране. Чтобы добиться отмены этого решения, Н. К. Шведов вновь высылает вперёд А. К. Булатовича. Громадный переход от Харэра до Энтото – около 700 вёрст! – несмотря на трудности, Булатович совершил в восемь дней. Выполнение этого поручения едва не стоило ему жизни, так как во время перехода через Данакильскую пустыню на маленький отряд Булатовича напали разбойники-данакильцы, которые отобрали у них все вещи, запас воды, еду, мулов и верблюдов. Идти пешком через пустыню без воды и провианта было смерти подобно. Но к счастью потерпевших, на их пути в пустыне им встретился караван тоже русского человека Н. С. Леонтьева, который направлялся из Энтото в Харэр. Он снабдил Булатовича всем необходимым и дал рекомендательное письмо знакомому французу, состоявшему на службе у Менелика II. Используя свои дипломатические способности, А. К. Булатович сумел добиться у Менелика II отмены его приказа, и отряд вскоре появился в Энтото.

После выполнения поставленной задачи и ухода отряда Красного Креста из Эфиопии Булатович подаёт прошение об отпуске для более обстоятельного

знакомства с Эфиопией. Он задумал осуществить путешествие в малоисследованные районы юго-западной окраины страны.

Получив согласие на своё прошение, Булатович после неоднократных встреч и бесед с Менеликом II покидает столицу и вместе со своими спутниками направляется в провинцию Кэфа, а затем в район реки Баро. Там он исследует бассейн рек Баро и Акобо, составляет подробные карты с привязкой на местности, изучает флору и фауну, а также жизнь и быт местных жителей. Эта экспедиция длилась три месяца.

По возвращении ему был устроен торжественный приём у Менелика II, а в России за успешную экспедицию А. К. Булатович был награждён орденом Святой Анны II степени с мечами. Собранный во время путешествия материал был оформлен в виде отдельной книги, озаглавленной «От Энтото до реки Баро. Отчёт о путешествии в юго-западные области Эфиопской империи».

В 1897 году, после установления дипломатических отношений между Россией и Эфиопией, А. К. Булатович совершает своё второе путешествие на юг Эфиопии в район озера Рудольф совместно с эфиопским военным отрядом во главе с расом Уальде Георгисом. Включить Булатовича в этот отряд рекомендовал сам Менелик II.

Долгое время европейские исследователи Африки считали, что река Омо, соединяясь с Баро, образует Собат — приток Нила. Сначала такого же мнения придерживался и русский исследователь А. К. Булатович. Однако во время своего путешествия к озеру Рудольф в 1897–1898 годы он пришёл к другому выводу. «Путешествие моё, — писал он, — окончательно установило, что река Омо, называемая ниже Шорум, Уар и Няням, есть одна и та же река и впадает в озеро Рудольф». Это было одним из выдающихся географических открытий в Африке. Этот пятимесячный поход к озеру Рудольфа А. К. Булатович подробно описал в своей книге «С войсками Менелика II».

Свидетельством признания его заслуг перед Эфиопией была высшая военная награда — золотой щит и сабля, подаренные ему расом Уальде Георгисом с одобрения Менелика II. Никто из иностранцев ни до, ни после Булатовича не был удостоен такой высокой чести.

АФРИКАНСКАЯ МУЗА НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА

Известный русский поэт и исследователь Африки Николай Степанович Гумилёв родился в Кронштадте 3 (15) апреля 1886 года. Влечение Гумилёва к морским странствиям и далёким путешествиям зародилось именно в Кронштадте. Эта страсть прошла у него через всю жизнь.

Осенью 1910 года на деньги, полученные за сборник стихов, а также на средства родителей Н. С. Гумилёв совершает своё первое путешествие по Африке. Он с детства восхищался эфиопскими экспедициями А. К. Булатовича и был первым, кто смог повторить эфиопский маршрут Булатовича: Джибути—Дыре-Дауа—Харэр—Аддис-Абеба.

Н. С. Гумилёв отправляется в Абиссинию (старое название Эфиопии) в составе экспедиции, организованной академиком В. Радловым. У него появился исследовательский интерес, он собирает и изучает эфиопский фольклор, послуживший затем основой для цикла «Абиссинских песен» и поэмы «Мик». Гумилёв увлекается сбором всяких экзотических явлений, становится этнографом. В свой путевой блокнот он набрасывает заинтересовавшие его картинки быта и природы. У Гумилёва постепенно меняется его романтический взгляд на африканскую экзотику. В «Абиссинских песнях», ставших составной частью «Чужого неба», он описывает нищету, тяжёлую и беспросветную жизнь африканских туземцев. В песне «Невольничья» оправдывается бунт чёрных невольников XX века против европейцев, пришедших на их цветущую землю. Стихи, написанные об Африке, поэт издал в книге «Шатёр». Они пронизаны любовью к экзотическому континенту.

По завершении этой экспедиции Гумилёв был представлен эфиопскому императору Менелику II и участвовал в парадном обеде для 3000 человек. Вернулся он в Россию весной 1911 года, заболев африканской лихорадкой.

В 1913 году Гумилёв во второй раз едет в Эфиопию. Первоначально он хотел посетить Данакильскую пустыню, изучить малоизвестные, живущие в том районе племена и попытаться направить их на путь цивилизации. Но этот вариант Российская Академия наук отклонила и предложила другой, не менее

интересный маршрут на восток и юго-восток Эфиопии для изучения и собирания предметов быта неисследованных племён и народов галла, сомали, афар и других.

Н. С. Гумилёв вновь частично повторяет свой маршрут: Джибути–Дыре-Дауа–Харэр–Шейх-Гуссейн–Гинир. Вместе с Гумилёвым в качестве фотографа в эту экспедицию поехал его племянник Николай Леонидович Сверчков. Во время короткой остановки в Константинополе Гумилёв познакомился с турецким консулом Мозар-беем, который также направлялся в Харэр, и присоединился к нему.

Из Джибути они должны были ехать по железной дороге до Дыре-Дауа. Этот первый участок узкоколейной железной дороги расстоянием в 310 километров был построен и пущен в эксплуатацию в 1902 году. Проектирование и строительство этой железной дороги было отдано в концессию французам, с которыми в тот момент Эфиопия имела дружеские отношения. Эта дорога в дальнейшем должна была соединить побережье Красного моря с центром страны, со столицей Аддис-Абебой и глубинными районами Эфиопии. Паровозы и вагоны были также поставлены из Франции. Каждый паровоз имел своё громкое название – Слон, Буйвол, Носорог, Сильный и тому подобное. Состав состоял из пяти вагонов, которые делились на три класса. Во втором классе обычно ездили европейцы, третий класс предназначался исключительно для местных жителей. Что касается первого класса, то он был очень дорогой и в нём ездили только члены дипломатических миссий и отдельные высокопоставленные особы. Расстояние в 310 километров такой поезд проходил за десять часов. Вот как писал Гумилёв об этой поездке в своём “Африканском дневнике”: “Уже в нескольких километрах от Джибути, когда начался подъём, мы двигались с быстротой одного метра в минуту, и два негра шли впереди, посыпая песком мокрые от дождя рельсы”.

Проехав таким образом 230 километров от Джибути, поезд вообще остановился из-за повреждения пути прошедшими дождями. Ремонтники сообщили, что путь будет восстановлен не раньше, чем через восемь дней, поэтому все пассажиры решили вернуться обратно, кроме Гумилёва, Сверчкова и примкнувшего к ним турецкого консула Мозар-бея. Эти трое смельчаков достали у путевых рабочих две дрезины: одну – для людей, другую – для багажа и, проехав на ней по повреждённому пути восемьдесят километров, достигли, наконец, Дыре-Дауа.

Дыре-Дауа – это небольшой город, выросший из железнодорожной станции, которая служила “транспортными воротами” находящегося неподалёку центра провинции, города Харар. Непосредственно к железной дороге примыкала основная часть города с правильной планировкой улиц и европейского вида домами. В европейской части жили французы, греки, армяне и индусы. На окраине города, разделённого пересыхающей рекой Детачу, находились жалкие глинобитные лачуги местного населения. Состав населения был очень пёстрый. В городе проживали, в основном, сомали, а также афары, галла, амхара, тиграи, арабы и другие. Многие жители владели тремя языками: родным, амхарским и арабским. Город являлся важнейшим центром торговли кофе, зерном, скотом, фруктами и чаем, представляющим собой тонизирующий слабый наркотик. В туземной части города, помимо базара, было много торговых лавок, где продавались различные товары, шёлковые, шитые золотом одежды, кривые сабли, кинжалы, всевозможные восточные украшения и тому подобное. Тут же на земле плели циновки, готовили сандалии. Повсюду разносился запах кофе, ладана и других благовоний.

Осмотрев город, Гумилёв собрал караван, а на следующее утро экспедиция отправилась в Харэр, административный центр одноимённой провинции, один из древних городов Эфиопии. Через несколько часов пути, поднявшись на гору, они увидели внизу развернувшуюся перед ними панораму города. “Уже с горы Харэр представлял собой величественный вид со своими домами из красного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами мечетей. Он окружён стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца. Внутри же это совсем Багдад времён Гаруна-аль-Рашида. Узкие улицы, которые то поднимаются, то спускаются ступенями, тяжёлые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд тут же на площади – всё это полно прелести старых сказок”.

Для дальнейшего передвижения по стране Гумилёву необходимо было получить пропуск. Это можно было сделать только при участии самого губернатора Харэра раса Тафари. Для встречи с губернатором Гумилёв, по совету знающих людей, приобрёл ящик вермута и преподнёс ему в качестве подарка. Он также сфотографировал губернатора, впоследствии ставшего императором Эфиопии Хайле Селассие I, его жену и сестру.

Гумилёв остановился в греческом отеле, посетил первый в Эфиопии театр, в котором играли одни мужчины, познакомился с жизнью города, его обычаями и традициями. В Харэре он начал собирать свою этнографическую коллекцию. В «Африканском дневнике» Гумилёв подробно описывает церемонию торжественного въезда в Харэр своего знакомого – турецкого генерального консула Мозар-бея, а также историю возникновения и развития города Харэр.

После получения пропуска караван Гумилёва в сопровождении охраны из местных ашкеров тронулся в путь на юг страны. Из Харэра караван направился через малоизученные земли галла в селение Шейх-Гуссейн. По пути им пришлось переправляться через бурную после дождей реку Уаби-Шэбэлле. Переправа состояла из двух верёвок, привязанных к двум деревьям, растущим на противоположных берегах реки, и небольшой плетёной корзины, вмещающей трёх человек. Люди, находящиеся в корзине, перебирая руками верёвку, двигались вперёд. Как только корзина достигла противоположного берега, дерево, на котором были закреплены верёвки, подмытое бурным потоком, упало в воду. Вместе с ним упала в воду и корзина с пассажирами. Гумилёв и сопровождающий их эфиоп успели выпрыгнуть на землю, а Сверчков замешкался, и тут же все увидели раскрывшуюся пасть огромного крокодила, направляющегося к перевёрнутой корзине. Только выдержка и молниеносная реакция Гумилёва, успевшего схватить бревно, спасла жизнь Сверчкову.

Вскоре в отряде закончилась провизия, и Гумилёв был вынужден для пропитания заняться охотой. Когда он с большими трудностями достиг, наконец, Шейх-Гуссейна, ему был оказан дружеский приём со стороны вождя местного племени Аба-Муда. Там Гумилёву показали гробницу святого Шейх-Гуссейна, в честь которого было названо это селение. Невдалеке находилась и легендарная пещера, из неё, по преданию, не мог выбраться ни один грешник. Для проверки греховности человека служили два больших камня, являющиеся входом в пещеру, между которыми был узкий проход. Надо было раздеться догола и пролезть между камнями. Если кто-то застревал, то умирал в страшных мучениях, так как никто не смел оказать ему помощь. В этом месте валялось множество черепов и костей. Гумилёв, как ни отговаривал его Сверчков, всё-таки решил попробовать испытать себя. Он пролез в пещеру, исследовал её и благополучно вернулся обратно. Отчаянная смелость, граничащая с безрассудством, отличала его во всём.

Далее Гумилёв с караваном двинулся в местечко Гинир, где он продолжал собирать свою коллекцию, попутно изучая жизнь и быт кочевых племён. Дойдя до селения Матакуа, отряд направился на юго-запад страны. Подробности дальнейшего путешествия Гумилёва неизвестны, так как «Африканский дневник» поэта обрывается, и других источников нет.

Это путешествие продолжалось полгода, и поэт вернулся в Россию только первого сентября. По возвращении из своих экспедиций Н. С. Гумилёв привёз и передал в музей антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге богатейшую коллекцию, собранную им на востоке и юго-востоке Эфиопии.

ПЕРВЫЕ В ГАМБЕЛЕ

По имевшимся у нас сведениям, район Гамбелы никогда не посещался советскими гражданами, постоянно живущими или приезжающими в Эфиопию. Хотя, как известно, век географических открытий давно закончился, но кое-где всё ещё остались «белые пятна». Нам предстояло первыми побывать в этом забытом всеми месте. Вот она, романтика неизведанных мест и дальних дорог!

С этими волнующими мыслями я собрал в дорожную сумку необходимые вещи, взял с собой лекарства и немного продуктов – на всякий случай. Заканчивался сухой сезон, и нам надо было спешить, чтобы не попасть под ливневые потоки, несущиеся с гор и смывающие всё на своём пути. Едва забрезжил

рассвет, как мы тронулись в путь. Экспедиция состояла из двух автомашин. Впереди шла наша старенькая “Нива” с большим багажником на крыше, нагруженным канистрами с бензином, а замыкал процессию чёрный, как вороново крыло, “Land Rover” с журналистами. Дорога жила своей обычной утренней жизнью. По обеим обочинам шоссе, не торопясь, шли ослы, нагруженные хвостом, сопровождаемые погонщиками с длинными палками. Аккуратно одетые дети в красных галстуках весело бежали в школу. То и дело встречались женщины и мужчины в шамах — национальной одежде из белой мягкой ткани с цветной отделкой по краям, с поклажей, идущие на рынок. Несколько эфиопов несли на своих шеях связанных за ноги живых ягнят. Женщины в больших плетёных корзинах несли кур. Изредка навстречу шли грузовые автомашины.

Вскоре мы выехали за пределы города, и по дороге стали встречаться редкие путники. Некоторые были обуты в простые сандалии, но большинство людей шло босиком. По обе стороны дороги виднелись небольшие заросли чертополоха, абиссинской розы и другого кустарника с отдельно стоящими зонтичными акациями. Дорога шла на юго-запад, и вскоре появились куртины из более крупных деревьев и густым подлеском.

Первым большим городом на нашем пути была Джимма — центр провинции Кэфа или Каффа, как её называют по-старому. Эфиопы очень гордятся, что их страна и непосредственно провинция Кэфа является родиной кофе, получившего своё название в честь этой провинции. Здесь на склонах гор произрастает огромное количество дикорастущих кофейных деревьев. Кроме того, есть и культурные насаждения кофе.

Согласно легенде, один эфиопский пастух наблюдал за своим стадом коз, как они поедали яркие красные ягоды с деревьев, растущих на диком пастбище на склонах гор, и был крайне удивлён, увидев, как козы, наевшись этих ягод, начали резво прыгать и скакать. Он тоже попробовал эти ягоды и, к своей радости, обнаружил их стимулирующий эффект.

Впервые кофе через странствующих торговцев и купцов попал в Йемен и другие арабские страны, а затем стал известен и популярен на Ближнем Востоке и в Европе. Ежегодно Эфиопия производит 250 тысяч тонн кофе, а экспорт его достигает 80 тысяч тонн.

Кроме провинции Кэфа, кофейные леса произрастают также в провинциях Сидамо, Уоллега, Иллубабор и Гэму-Гофа. Эфиопы считают, что название кофе сорта “Арабика” неправильное, и он должен называться кофе “Эфиопия” — по месту происхождения. Во всём мире название сорта “Арабика” закрепилось из-за того, что впервые его привезли в Европу арабские торговцы. Эфиопские учёные-историки тщательно изучили мировое распространение кофе и пришли к выводу, что после арабских стран этот напиток стал очень популярным в Индии, на Цейлоне, Яве, в Суринаме, Бразилии, Филиппинах, в Мексике, а затем вернулся обратно в Африку, в Кению и Танзанию. Кроме кофе “Арабика”, Эфиопия также производит и экспортирует кофе сорта “Хараре”.

Рекламные щиты с изображением чашек с дымящимся кофе привели нас в небольшой ресторан. Весь зал был наполнен чудесным ароматом кофе. Казалось, что всё вокруг источает этот запах. На стенах зала висели картины местного художника с изображением сборщиков кофе и пейзажей гор, сплошь покрытых кофейными деревьями. Отведав несколько видов кофе, изготовленного по разным рецептам, мы все пришли к выводу, что самым лучшим является кофе, приготовленный по-амхарски.

Утро заканчивалось, и мы продолжали свой путь. Мы планировали добраться до Гамбелы за один световой день. Вскоре асфальт незаметно перешёл в грунтовую дорогу, ведущую вверх, в горы. Постепенно дорога сузилась и превратилась в обычную ослиную тропу с довольно крупными камнями. Натужно рычал двигатель, и автомобиль медленно двигался вверх, с трудом преодолевая подъём на извилистой тропе. Слева от нас возвышались каменные стены, покрытые густым кустарником, справа — крутой обрыв. Внизу под обрывом расстился сплошной зелёный ковёр из буйной растительности, покрывающей всё окружающее пространство. Кое-где этот ковёр был пронизан отдельно стоящими огромными деревьями.

После долгого непрерывного подпрыгивания на камнях машины, наконец, остановились. Дальше ехать было нельзя из-за мешавших больших камней. Мы все вышли из машин и начали ворочать камни. Наконец, мокрые от жары и струящегося по лицу пота, изрядно покусанные комарами, мы сели

в машины и двинулись дальше. Работа по разбрасыванию камней продолжалась ещё много раз.

Проехав около часа, мы достигли перевала и начали медленно спускаться в долину по крутому серпантину. Постепенно многоголосье птиц полностью пропало. Вокруг всё наполнилось странной непривычной тишиной. Только солнце продолжало нещадно палить.

Через несколько километров нас внезапно окружили полчища необычных мух, которые сразу же нас атаковали. Влетев сквозь открытые окна в машину, они не кружили и не жужжали, как привычные нам мухи, а стремительно без всяких звуков набросились на нас и начали жалить руки, лицо, шею, голову, все открытые части тела. Укусы их были очень болезненными и напоминали уколы тупой иглой. Мы тут же закрыли все окна и начали их давить, прижимая руками к стеклу. Как только мы отпускали пальцы от стекла, они, как ни в чём не бывало, опять набрасывались на нас. У них был настолько крепкий хитиновый покров, что только сильнейшим усилием можно было слегка придавить их. Это была очень опасная муха цеце, которая является переносчиком неизлечимой сонной болезни. Проехав более двух часов, истекая потом и в непрерывной борьбе с мухами, мы так же внезапно почувствовали, что мух больше нет. Хотя всё тело зудело от укусов, мы, наконец, облегчённо вздохнули.

Как мы потом узнали, что этот район Гамбелы является наибольшим ареалом распространения мухи цеце. На этой довольно большой территории нет ни людей, ни домашнего скота, ни птиц, ни диких животных. Забегая вперёд, хочу отметить, что, вернувшись из этой командировки, мы сразу же обратились к врачам и внимательно изучили справочник тропических болезней. Как выяснилось, инкубационный период заболевания от укуса мухи цеце составляет приблизительно две недели, после чего начинают выявляться первые признаки заболевания. Через две недели мы все внимательно изучали друг друга. Один из нашей группы, побывавшей в Гамбеле, наиболее мнительный человек, даже написал завещание, заверил его в консульстве и отослал в Союз. Но к великому нашему счастью, ни через две недели, ни через месяц, ни позже ни у кого из нас не были обнаружены какие-либо признаки сонной болезни. Оказывается, что в так называемый брачный период муха цеце не является носителем заболеваний. Мы попали как раз в этот самый период, когда вредоносная муха занимается любовью и потому “добрее”. Это был настоящий подарок судьбы!

Для справки, хочу отметить, что в 1908 году в Уганде от сонной болезни умерло более сорока тысяч человек. А в 1983 году, в Уганде и в Танзании, территории, охватывающие несколько тысяч квадратных километров, были объявлены зонами распространения сонной болезни и установлены кордоны и шлагбаумы, запрещающие въезд на территорию обитания мухи цеце.

Но вернёмся к нашей поездке. После того как мы миновали опасную зону, мы опять вернулись в привычную атмосферу Африки. Спустившись ещё ниже в долину, мы оказались в объятиях влажных тропических джунглей. Мы ехали в сплошном зелёном коридоре. Свисавшие с огромных деревьев лианы касались машины, пахло гнилью, воздух был спёртый, влажный и душный. В лесу всё двигалось и копошилось. Стада обезьян с шумом перемещались по деревьям. В воздухе стоял непрерывный крик и щебетание многочисленных птиц. В просвете деревьев мы увидели, что колёса автомашины чуть не переехали большую змею, лежавшую поперёк дороги. Она едва отползла в сторону и скрылась в трещине огромного гнилого пня. Некоторые особенно высокие деревья были с контрфорсами, придававшими им большую устойчивость. Лианы с крупными острыми шипами и колючками обвивали более низкие деревья и создавали непроходимую чащу. Нас окружало настоящее “буйство флоры”!

Постепенно лес начал светлеть и редеть. Исчезли крупные деревья и появились заросли высокой слоновьей травы и гигантского чертополоха. Лес перешёл в саванну. В просветах травы заблестела лента реки, вдоль которой росли канделябробразные молочаи, стройные пальмы и редкие смоковницы. Это была река Баро.

Проехав ещё немного, мы заметили группу круглых хижин с конусообразным верхом, покрытым соломой. Это были тукули — жилища местных жителей, нилотов. Первые люди, которых мы увидели здесь, были две молодые

обнажённые стройные девушки с высокой грудью, несшие на головах калибасы (сосуды из тыкв) с водой. Увидев нас, они, ничуть не смущаясь, грациозной походкой продолжали свой путь и вскоре исчезли в зарослях высокой травы. Подъехав ближе, мы обнаружили группу женщин, сидевших вокруг костра и готовивших пищу. Они толкли в деревянных ступах какие-то зёрна. Когда они увидели две наши машины, они вскочили, бросились бежать и спрятались в тукули, стоявшие неподалёку. Походив немного вокруг и без успеха пытаясь наладить диалог с местными аборигенами, мы сфотографировали эту деревеньку и поехали дальше.

Дорога шла вдоль реки, сильно петляя, но далеко не удаляясь от неё. Справа большими клочьями виднелись поля, засеянные тефом, сорго, ячменём и другими культурами. Мощные побеги кукурузы, высотой больше двух метров, просматривались вдаль на фоне леса. Несмотря на сухой сезон и жару, растения выглядели ухоженными, свежими и зелёными. Кстати, учёные считают, что, кроме кофе, Эфиопия является также родиной сорго и клещевины.

Прошло ещё полтора часа, и мы у цели. Внезапно за крутым поворотом перед нами появился небольшой посёлок. Это была Гамбела. Нас уже встречали. Каким-то образом эфиопы узнали о нашем приезде, хотя мы никому об этом не сообщали. Темнело. День, полный острых ощущений, подходил к концу. Быстро разместившись, кто где, мы пошли в домик руководителя местной администрации. Там уже на открытой веранде, продуваемой ветерком, были накрыты столы, и нас ожидал традиционный эфиопский ужин: тыбсы с уотом. Это мелко нарезанное мясо с острым соусом из красного перца и ын-джэра – тонкие пресные лепёшки из тефа. Из напитков подали кофе с настоем из каких-то трав, телу – местное мутное пиво и медовое вино – тэдж.

После сытного ужина, познакомившись, мы начали вести неспешные длинные разговоры. Глава местной администрации Гамбелы Ато Гебре Георгис рассказал о жизни вверенных ему людей, о видах на урожай и о борьбе с обезьянами, которые постоянно делают набеги на поля и уничтожают значительную часть урожая, об охоте, рыбной ловле, о быстро расширяющейся приграничной торговле с Суданом и о ряде других важных для него проблем. Следует заметить, что по существующей эфиопской традиции, ко всем эфиопам-мужчинам необходимо обращаться с приставкой “Ато”. Обращение без этой приставки считается крайней невоспитанностью. Исключением из этого правила являются эфиопы, имеющие воинские звания или учёную степень.

Тяжёлая дорога и новые впечатления постепенно сморили нас, и мы, распрощавшись с гостеприимными хозяевами, ушли спать. Мне достался так называемый *single room* – одноместный тукуль с мебелью, состоящей из кровати с сеткой, похожей на крупноячеистую рыбацкую сеть. Имея опыт ночёвки в таких местах, я прихватил с собой фонарик. Заснул я сразу, но ночью проснулся от сильного шуршания на соломенной крыше моего тукуля, словно кто-то ходил по ней. Это продолжалось до самого рассвета, а затем всё стихло. Я вспомнил рассказ Артура Конан Дойла “Пёстрая лента” и боялся, что сверху спустится змея и укусит меня или же задушит меня в своих объёмах какой-нибудь местный питон. А утром на крыше своей гостиницы я обнаружил огромного, около метра в длину, варана. Ночью он охотился на мошек и комаров, спящих в соломе. Наш эфиоп, говорящий по-русски, позже рассказал мне, что по эфиопским поверьям, варан, поселившийся на крыше тукуля, приносит счастье, так же как у нас аисты, поселившиеся на крыше дома.

После завтрака, выпив ароматный кофе, мы на машинах совместно с эфиопами отправились осматривать местность. Кругом виднелись засеянные и ухоженные поля. Кое-где уже был собран урожай, и появились новые всходы. По пути нам встретилось большое стадо зебовидных (с горбом) и полукруглыми рогами коров, а также огромное стадо коз. Белый козёл с большими рогами стоял на задних ногах и обгладывал кору какого-то растения. То и дело шныряли обезьяны, некоторые были с детёнышами, которые крепко держались руками за шею родителей.

Часа через четыре мы вернулись обратно, довольные, но сильно проголодавшиеся. Нас уже ждал торжественный праздничный обед. Стол был завален разнообразными фруктами. Здесь лежали связки маленьких, но очень сладких королевских бананов, большие красно-зелёные плоды манго, зеленовато-жёлтые и тёмно-красные папайи, янтарного цвета грейпфруты, вытянутый, словно дыня, полосатый арбуз, чудесный “плод страсти” – пейшн лежал

в плетёных тарелках. Множество разноцветных и разнообразных ягод находилось в круглых корзинках с низкими краями. Кроме этого, у каждого стоял стакан с прохладным, белого цвета кокосовым соком, похожим на молоко. Недалеко от стола сидел человек с чёрной кожей, отдающей синевой, с большим ножом – мачете. Он брал орехи из небольшой горки кокосов, лежавших тут же на полу, ловко одним ударом разбивал их и наполнял соком стоявшую рядом ёмкость. Это было красивое зрелище!

Сначала нам подали целиком запеченную в банановых листьях рыбу теляпию, обильно политую лимонным соком. Следующим блюдом была отварная козлятина с гарниром из батата – сладкого картофеля. Затем последовал молодой жареный ягнёнок, залитый соусом из арахиса, барбариса, острого перца с добавлением каких-то очень пахучих трав. И, наконец, гвоздь программы – кусочки змеи, жаренной на углях! Это экзотическое блюдо по вкусу напоминало копчёного угря. У эфиопов мясо змеи считается особым лакомством. Всё это мясное разнообразие запивалось мутным, но довольно приятным пивом. К пиву, в качестве закуски, подали тарелочки с жареной, хрустящей на зубах саранчой. Если не быть мнительным, то это нормальная закуска. Кроме этого, на стол выставили тэдж – сладкое лёгкое вино из мёда. Пчелиных ульев там нет, а мёд собирают в дуплах деревьев. В Гамбеле широко развито бортничество, то есть сбор дикого мёда.

После такого изысканного угощения радушные хозяева устроили нам концерт в исполнении местных жителей с танцами, плясками и своеобразным пением. Нас посадили на скамейки на краю большой поляны, в середине которой горел костёр. Было ещё светло, но солнце быстро уходило за горизонт. Появились длинные тени от деревьев, росших вокруг поляны. Комаров, мучивших нас в течение дня, не было, так как легкий ветер с реки обдувал поляну.

Неожиданно загрохотали тамтамы, и под их барабанный бой на поляну, как на сцену, выбежали первые танцоры. Ануакские мужчины из Гамбелы были одеты в разноцветные шорты из кожи обезьян, с традиционными браслетами из слоновой кости на руках и ногах, птичьими перьями на голове и белой раскраской лица. Тело и лоб двоих из них были покрыты глубокими симметричными шрамами. В правой руке они держали копьё, а в левой – щиты из бегемотовой кожи. Танец изображал сцену охоты. Сначала медленно, озираясь по сторонам, танцоры невероятно пластично двигались вокруг костра, иногда замирая и как бы к чему-то прислушиваясь. Вскоре они якобы обнаружили зверя, и началась погоня с приседаниями и прыжками вверх и в сторону. Следующим выскочил на поляну танцор в шкуре антилопы с маленькими рожками на голове и начал танцевать вокруг костра, как бы не замечая охотников, а когда вдруг заметил, то начал высоко прыгать через горящий костёр, будто убегая от них. Внезапно охотники “увидели” “зверя” и началась “погоня”. Тамтамы всё время держали ритм, то замедляясь, затихая, то резко ускоряясь. Наконец, охотники догоняют “антилопу” и “убивают” её копьём. Раздаются восторженные гортанные крики победителей. Они радостно пляшут и поют вокруг поверженной жертвы. Затем четверо охотников поднимают “антилопу” с земли и, приплясывая, выносят её с поляны.

Далее на поляну медленно выходит группа танцоров-женщин. На них только узкие набедренные повязки. На шеях – ожерелье из хвоста жирафа и многочисленные разноцветные бусы с выразительными кожаными вставками. Женщины очень грациозно и ритмично изображают разные сценки из деревенской жизни: хождение за водой, сбор урожая и так далее. Танцы разнообразные, и поэтому всё время меняется ритм и громкость барабанов. Языком танца женщины доходчиво и реалистично изображают свою повседневную жизнь.

Затем исполняются совместные танцы мужчин и женщин. Здесь обратили на себя внимание женщины, украшенные симметричными насечками и надрезами кожи от груди до живота. Кроме того, у них были серги в ушах и браслеты с металлическими кольцами на ногах. Головы танцовщиц были украшены белыми прядями волос из редко встречающихся белых обезьян колобас. Они все вместе изображали сценки знакомств, свиданий, свадеб и прочее.

Последними выступали дети. Наряженные и раскрашенные, они так уморительно танцевали, пытаясь подражать взрослым, что все зрители, включая нас, не могли удержаться от смеха.

Импровизированный концерт закончился, костёр погас, затихли тамтамы. Тёмный лес наполнился ночными звуками. Отовсюду слышались вскрики,

стрекотанье, звоны и свисты. Непрерывно трещали цикады. Среди мерцающих светлячков и мириад насекомых носились гигантские ночные бабочки, попискивали и шуршали крыльями летучие мыши. Яркая луна медленно поползала из-за реки. Потянуло прохладой. Тропическая ночь вступила в свои права...

СОВЕТСКАЯ ПОМОЩЬ ДРЕВНЕЙ СТРАНЕ

В 1978 году во время визита в СССР руководителя Эфиопии Менгисту Хайле Мариамы был подписан договор о дружбе и сотрудничестве СССР и Эфиопии, достигнута договорённость о расширении контактов и связей, о создании межправительственной советско-эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли. Советский Союз предоставил Эфиопии долгосрочный кредит на льготных условиях. В рамках этого кредита предусматривалось значительное расширение помощи Эфиопии в развитии нефтеперерабатывающей промышленности, проведении геологоразведочных работ, содействии в области сельского хозяйства, ирригации и энергетики, строительстве и реконструкции предприятий мясной и молочной промышленности, а также в области образования, науки и медицины. При экономическом и техническом содействии Советского Союза было принято решение о строительстве в Эфиопии 43 объектов, в том числе таких крупных, как тракторосборочный завод в районе Аддис-Абебы, цементный завод в городе Дыре-Дауа, гидроэлектростанция с плотиной на реке Уаби-Шэбэлле близ населённого пункта Мэлька-Вакане в провинции Бале и ряд других важных предприятий для развития экономики страны.

Для выполнения этих задач в Эфиопию были командированы сотни советских специалистов, инженеров, врачей, учителей, геологов, работников сельского хозяйства, военных советников и прочих. По линии месткома, где я был заместителем председателя всей советской колонии, насчитывалось свыше 900 советских специалистов, не считая военных.

После распада Советского Союза всё сотрудничество в строительстве, эксплуатации и финансировании объектов за рубежом и, в первую очередь, в развивающихся странах, в том числе в Эфиопии, было прекращено. Огромные кредиты, предоставленные десяткам стран, остались без погашения, объекты сотрудничества были заброшены, контракты аннулированы. Это нанесло непоправимый ущерб не только этим странам, но и, в первую очередь, нашей стране.

На этом я завершаю свои очерки-воспоминания об Эфиопии, которой я отдал частицу своего сердца. Если мне удалось передать своё отношение к Эфиопии и пробудить любовь и интерес к ней, то я смогу считать, что не зря трудился над этими строками.

ВИКТОР БРОНШТЕЙН

СПАСИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ ЕДВА НЕ УГАСШЕЙ ЗВЕЗДЫ

Встреча с отсрочкой в 17 лет

Итогом предпринимательской деятельности, по моему убеждению, должны быть не бесконечные в своём однообразии деньги, а добрые дела, но не любые, а выстраданные каждым конкретным предпринимателем. Так Билл Гейтс, например, опираясь на свои несметные богатства, лично и с большим азартом участвует в борьбе с малярией в Африке. Один мой товарищ, Алексей Дорошенко, вкладывает деньги, а главное – душу в реконструкцию уже третьего храма, в службу в церкви в качестве пономаря и в превращение некогда развесёлого центрального парка, построенного на территории бывшего кладбища, в “Иркутский исторический некрополь”.

Я, в свою очередь, наряду с помощью храмам и с просветительством, уже добрый десяток лет занимаюсь собиранием внушительной коллекции картин и скульптур, а теперь, уже с женой на пару, создаю на основе моей коллекции музей-галерею современного искусства для своей души, для любимых людей и всех жителей родного города.

Наличие своей галереи открывает и немалый простор для эффективного международного общения и налаживания отношений, в том числе, думаю, в интересах и детей, и бизнеса. Иркутская школа ослабшей ныне в Европе реалистической живописи может вызвать огромный интерес и у нас, и за рубежом.

Не случайно за картинами наших художников сегодня буквально охотятся жители Поднебесной, создающие галереи в каждом административном округе и гордящиеся ими, как мы когда-то футбольными и хоккейными клубами. Недавно они даже издали весьма внушительный каталог, который является “путеводителем” по иркутским художникам. Но! В нашей галерее собрано более 1000 полотен как ушедших в мир иной, так и ныне здравствующих художников, причём наследие нескольких крупных мастеров (В. Бочанцева, Н. Вершинина) куплено нами почти целиком. Ни в одной мастерской сегодняшних художников не представлено так цельно их собственное творчество в разные периоды жизни, как у нас, нет у них и соизмеримого с нашим фондом для выставок и продаж.

Наряду с живописью, сокровищем моей коллекции является бронзовая скульптура, хотя имеется и деревянная. Собственно, по дереву в Иркутске по настоящему работает лишь один уникальный для нашего города мастер в ранге заслуженного художника России – Лев Сериков.

Бронзовым литьём на высочайшем, но уже не иркутском, а мировом уровне традиционно занимаются наши соседи в Бурятии. Благодаря Даши-наме Намдакову бурятская скульптура получила широкую международную известность. Сам Даши живёт теперь, в основном, в Лондоне. В 2012 году он украсил главный выставочный центр британской столицы в Гайд-парке своей уличной скульптурой “Чингисхан”, а в мае 2015-го на тот же постамент водрузили одиннадцатиметровую “Хранительницу”.

Интересно, что идея этой гениальной скульптуры родилась совершенно неожиданно из невинного подарка. Друзья из родного бурятского села Укур-рик, что расположено в Читинской области, преподнесли ему идеальную, по мнению Даши, скульптуру, изваянную самим Господом Богом, а именно череп рыси. Дело стало за малым – мысленно, а затем и в модели “одеть” череп плотью, прилепить к нему преображённое древними мифами народа и собственной провидческой фантазией тело и выбрать подходящую позу. Ну, разве что ещё вдохнуть в новорождённую бронзовую плоть энергию самостоятельной жизни.

Иногда при взгляде на скульптуры Даши кажется, что они оживают и величественно взирают из далей будущих веков и тысячелетий на суетящихся людей. Добротно изготовленные в лучших мастерских мира, бронзовые скульптуры будут жить вечно и поприветствуют из нашего времени множество будущих поколений. Правда, произойдёт это, считает Даши, если человечество скорректирует экологический и моральный вектор своего развития в сторону сохранения традиций.

Когда-то наши предки, чтобы не беспокоить плоть кормилицы-матери родной земли, носили только мягкую обувь, да ещё и с закруглёнными носками. Когда Даши был ребёнком, бурятским детям запрещали играть “в ножки”, втыкать их в землю, потому что нельзя бессмысленно её, бедную, беспокоить подобным образом. Мы, дети более ранних годов из соседней области, никогда о подобных ограничениях и не слышали, а услышали бы – посмеялись. Поэтому, наверное, у нас лес и вырубается, и горит, мелеют и реки, и сам Байкал. Зато мы очень активно и варварски уничтожаем сейчас импортное продовольствие, очевидно, забыв про детские дома, интернаты, дома престарелых и просто про полуголодных беженцев. Неслучайно августовский “Московский комсомолец в Бурятии” с иронией и горечью восклицает заголовком статьи на первой полосе: “Россия жжёт, Россия давит”. Комментарии о том, кто виноват в варварстве, как говорится, излишни.

Собственно, на возвращение нас к чистым, не замутнённым цивилизацией истокам, по большому счёту, и работает творческий гений скульптора. Он признаётся, что постоянно чувствует в душе тектонический гул минувших веков и поддержку своих предков, которые, наверняка, ужасаются экологическому беспределу сегодняшних дней. Но вернёмся к “Хранительнице”. С лёгкой руки многолетнего экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева, повстречавшегося с новорождённой скульптурой на выставке в Кремле и загоревшегося обязательно водрузить огромную “Хранительницу” в родной республике, зародилась идея мега-проекта, который, как водится у расточительных россиян, осуществился, но за тридевять земель, в Британском королевстве. Сейчас неутомимый экс-президент Татарстана прилагает энергичные усилия, чтобы преодолеть заскорузлость местных религиозных консерваторов. А пока в столице Татарстана запускается огромный мемориальный комплекс, потрясающий своим совершенством. Проект не меньших масштабов уже осуществлён в Туве. На очереди Москва и Алма-Ата. И хотя работы у Даши невпроворот, пора бы уже и малой прибайкальской родине (Улан-Удэ, Иркутску, Чите) воспользоваться услугами сына своей земли.

У всех свои заботы, своё творчество, правда, увы, масштабы разнятся. Не были исключением и мы в судьбоносной для галереи, да, наверное, и для нас, поездке в Лондон.

Перед запуском нашей мечты – галереи-музея современного искусства – я решил сделать жене Ольге и себе подарок. Сказано – сделано, и мы вылетели на мой день рождения в столицу Англии. На этот раз не только для того, чтобы проведать мою дорогую доченьку – студентку столичного университета, но и побродить по выставочным залам. И надо же, больше всего нас поразила в самом центре Лондона выставка, где были представлены последние крупные работы, в основном, итальянского периода, нашего земляка Даши

Намдакова. Особенно восхитительны были его работы из камня и бронзы: величественная, но, увы, слишком объёмная для нашей галереи “Афродита”; уникальный, произведённый на свет Божий в одном экземпляре “Тигр и птица”, олицетворяющий, по моим представлениям, содружество России и Китая; идеально пластичная, буквально парящая над головой льва охотница “Виктория”, похожая на воинственную амазонку; мальчик, трепетно и вдохновенно прижавшийся к шее летящего в голубом небе Пегаса; красавица восточных кровей, грустно везущая в неизвестность новой жизни на своей преданной лошадке небольшое приданое, любимую собачку и сладостные воспоминания детства. Противоположные чувства вызвал жуткий в своей правдивой жестокости, облитый многодневной грязью и облепленный талантливо воплощённой в бронзе пылью степного похода, убивающий из лука невидимого противника восточный воин минувших веков.

В сравнении с мальчиком на крылатом Пегасе (скульптура “Вдохновение”) или девушкой на лошадке (“Приданое”), олицетворяющей своей изящной красотой мечту и музу, особенно ужасает воин (“Цель”), напоминающий о самых разрушительных чертах человечества, несущих смерть. Мастер как бы предупреждает нас: “Не дай Бог, если эта жуткая сила, которая, увы, никуда не делась, вырвется наружу. Тогда не поздоровится никому. Стрела страшного воина поразит каждого”. При взгляде на скульптуру “Цель” невольно вспоминается стихотворение Николая Зиновьева:

ЛЕГЕНДА

*А свои голубые глаза
Потерял я в двенадцатом веке:
При внезапном степнячком набеге
Они с кровью скатились с лица.*

*И тогда, чтоб за гибель семьи
Печенег не ушёл от ответа,
Я их поднял с горелой земли,
И с тех пор они чёрного цвета.*

В Лондоне я по-настоящему пожалел, что лет пятнадцать назад не послушал своего друга и вожатого по мастерским художников, поэта и просветителя Геннадия Гайду и ни разу не заехал к Даши в мастерскую в своём родном городе, а ограничил своё пристрастие только деревянными скульптурами. С тех пор цены и ценность работ бурятского гения выросли в десятки раз, и этот процесс продолжается, невзирая на все кризисы и потрясения. А между тем, скульптуры в лондонской галерее излучали на нас такую физически осязаемую энергию, тепло, а порой и ужас, что мы с Ольгой и дочерью Полиной, не сговариваясь, поняли, что нашего музея без них просто быть не может.

Оказалось, что Даши, наученный тяжёлым опытом взаимоотношений и “разводов” с “галерейщиками-поводырями” в России, стремящимися вести его по жизни на коротком финансовом поводке, на этот раз заключил равноправный контракт. Область совместных интересов с ведущей галереей Англии ограничена взаимовыгодным, весьма эффективным сотрудничеством, но не по всему миру и даже не по всей Европе, а только по Англии, хотя рекламные волны из Лондона невольно транслируются на весь мир, долетая и до наших закоулков.

Просто поразительно, как Даши удалось отстоять свободу действий по всем остальным странам, включая Россию. Но всё же английская галерея высказала и нам, и автору немалое неудовольствие, так как с указанными скульптурами мастера мы встретились в великолепных стенах их обители. Правда, мне показалось, что скульптуры с мольбой зывали забрать их на родину мастера.

Кстати, взаимоотношения большого художника или артиста с продюсерами очень непросты. У Даши-художника остался огромный опыт борьбы за независимость с желающими возглавить его творчество и финансы. Благо, теперь вырос собственный родной и, конечно же, самый преданный менеджер — сын Чингис, сделавший к тому же своего отца счастливым дедом, а его обожаемую молодую жену и маму шестилетней Дашеньки — бабушкой.

Хотя это звание пока никак не вяжется с обликом очаровательной элегантной девушки – мамы троих детей, один из которых уже взрослый помощник и менеджер семейного бизнеса.

Говоря об опасностях, подстерегающих знаменитостей, нельзя не вспомнить, как на полном пределе сил сражался, чтобы поспеть к сроку и сохранить финансовую независимость от издателя, Фёдор Михайлович Достоевский, сумевший с помощью будущей жены, юной стенографистки Анны, одержать верх.

До сих пор вызывают много споров подробности ухода из жизни великих поэтов Серебряного века, нередко с немалой валютой посещавших границу: Сергея Есенина, прокатившегося по миру с Айседорой Дункан, а также Владимира Маяковского. Может быть, и их финансовые дела кто-то хотел вести? Как знать...

Но вернёмся от глобальных проблем и исторических подозрений к нашим, малым для мира, но огромным для нас делам и проблемам.

Меня мучила мысль – как всё же выйти на земляка в “столице мира”? И вновь появились сожаления, что в Иркутске 17 лет назад была упущена совершенно реальная возможность познакомиться и подружиться.

Всё же неясно, почему мой “вожатый” по первым шагам в области иркутского искусства Геннадий Гайда не настоял заехать к молодому и талантливому, по его же мнению, скульптору из Бурятии. Даже когда в ту пору он выбирал с отцом для меня подарок на далёкий уже мой юбилей, опять заехал не к Даши, про которого часто вспоминал, а ко Льву Ивановичу за деревянной скульптурой. В этом, безусловно, есть какая-то тайна! Остался я в стороне, и когда мои друзья той поры – Юрий Якубовский и Олег Геевский – поехали с кем-то в мастерскую и приобрели чуть ли не по десятку работ мастера, начавшего набирать известность и силу.

Ответа на этот мучительный вопрос нет. Хотя, наверное, судьбе было угодно, чтобы в моей душе накапливался какой-то нарастающий потенциал, подобный нарастающему заряду электричества на небе и на земле перед грозой. Я чувствовал, что в отношениях тоже может произойти эмоциональный взрыв, в результате которого моя духовная орбита изменит курс и основательно пересечётся с обжигающим сиянием планеты большого мастера. Забегая вперёд, скажу, что это предположение оказалось верным.

А пока в Лондоне я, как и положено предпринимателю, всеми силами старался узнать телефон бывшего земляка, тщательно взвешивая, к кому можно обратиться. Искать встречи через знакомых арт-менеджеров или других очень деловых людей крайне нежелательно. Они сразу же постараются “возглавить” процесс переговоров и не упустят свои жирные посреднические от меня или, скорей всего, от автора, что одно и то же. Но, видимо, Господь благоволит к тем, кто старается не только для себя, и “ларчик открылся” максимально просто. Не зря уже много лет я дружу с далёкими от бизнеса и, особенно, от корысти людьми искусства. Так, молодая искусствовед Алёна Кабунова перешла к нам из художественного музея. Она, по закономерной случайности, – ученица маститого искусствоведа Надежды Петровны Комаровой, которая много лет работает непосредственно с самим Даши, а значит, может не только передать телефон, но и заочно представить нас в объективно выгодном свете. Это она, по-видимому, от всей души и сделала. Во всяком случае, мы удостоились встречи не “на ходу”, как бывает со знаменитостями, а были первыми и пока единственными приглашёнными в “святынях” – новую мастерскую мастера километрах в 70-ти от центра Лондона. Там мы с удивлением обнаружили, что “человеком мира”, получив огромную известность, Даши не стал. Земляки, малая родина, где по бурятскому обычаю под отчим домом закопан послед, в котором мать вынашивала ребёнка, дарящий при свидании с этим мистическим местом спокойствие, уверенность и огромный творческий заряд – от этих крепких бурятских корней произрастает творчество Даши и по-прежнему питается соками родной прибайкальской земли. В незабываемый вечер знакомства и посещения мастерской мы подружились и с сыном мастера Чингисом. После переговоров о приобретении пяти крупных (с человеческий рост) скульптур по сибирской традиции хозяева пригласили нас на дружеский ужин, где пока ещё устный договор мы скрепили бокалами вина и пива. Жаль, что из намеченных скульптур в наличии оказалась только “Тигр и птица”, но и она пока ещё отбывала гостить на выставку

в Америку. Остальные скульптуры предстояло отлить в старинных итальянских мастерских, где трудятся ремесленники в третьем-четвёртом поколениях, сочетающие опыт дедов и современные технологии.

Неожиданно нам повезло ещё и в том, что у Даши в этом же месяце была запланирована поездка на свою малую родину с заездом на один день в Иркутск. Теперь уже он с удовольствием принял наше приглашение на обед. Но самое главное – Даши посетил реконструируемые помещения галереи-музея, а также не пожалел нескольких часов и проехал за город к нам в коттедж, чтобы познакомиться с частью будущей экспозиции живописи и скульптуры. И будущая галерея, и коллекция заслужили его высочайшую оценку. Такого размаха и высокого качества экспонатов он никак не ожидал. А искусствовед Надежда Петровна искренне удивилась, что коллекция собрана за пятнадцать лет, а не несколькими поколениями. Меня же, в свою очередь, поразило, что взгляд маэстро чаще всего сходу отмечал действительно самую лучшую живопись таких корифеев, как А. Л. Вычугжанин, В. И. Бочанцев, А. Ф. Рубцов, В. И. Лапин, В. В. Тетенькин, Н. Н. Вершинин, Б. В. Десяткин. По работам нескольких уважаемых мной современников он отметил, что в них пока не чувствуется уровня личности старых мастеров. По его мнению, они мало читали, а возможно, даже прошли мимо Чехова и Толстого. Поправимо ли это, когда молодость и период становления личности миновали? Большой вопрос.

Кроме культурно-эстетической ценности, приобретение скульптуры – это ещё и способ вложения средств поистине на века, и привет из нашего времени будущим поколениям – продолжателям рода. На каждую бронзовую скульптуру из числа не музейных мы выписываем правдивую, хоть и шутиливую гарантию на... тысячу лет, то есть на сорок поколений вперёд.

Мировоззренческий шок

Вскоре после Лондона, уже на Родине, в следующие приезды мастера углубившееся знакомство с ним, переросшее в приятельство, да, пожалуй, и в дружбу, неожиданно изменило некоторые мои, казалось бы, уже давно устоявшиеся взгляды на жизнь, а именно укрепило веру в Бога, в ангелов-хранителей в лице предков, и в результате, что особенно важно, существенно прибавило оптимизма и отодвинуло возможные депрессии. По-моему, судьба Даши и его рода заслуживает не меньшего внимания, чем вершины творчества. Его опыт помог мне переосмыслить основные вехи собственной жизни.

На все мои беды: на страшное несчастье с сынишкой Андрюшей, на неприятности со здоровьем и в семейной жизни – я стал смотреть не как на бессмысленные наказания судьбы, непонятно зачем обрушившиеся на мою бедную голову, а как на суровые испытания, ниспосланные Богом, после которых обязательно открывается какая-то абсолютно новая и светлая страница или даже глава в моей, в целом, всё же довольно успешной жизни. Много раз слышанная, а потому и затёртая фраза о том, что Господь специально посылает испытания, чтобы сделать нас крепче духом, вызывала во мне такое же чувство, как и нравоучения родителей в подростковом возрасте. Преодолеть скептическое отношение к этому постулату мне помогла история, пережитая глубоко верующим юношей-буддистом. Залогом её правдивости является то обстоятельство, что человеку с огромными достижениями в жизни совершенно не нужно выдумывать захватывающие приключения. Такие люди не нуждаются в привлечении к себе дополнительного внимания, скорей, наоборот. О Даши как о замечательном художнике-скульпторе уже давно знают не только в России, но и во всём мире. Кроме этого, рассказ во всех деталях подтверждают и мать, и сёстры художника.

Оказалось, что Даши не всегда был жизнерадостным и счастливым, как это кажется на первый взгляд. Уже через несколько месяцев после рождения младенца его маму потрясло страшное пророчество. Когда ламы присваивали имя её младшему сыну, они предрекли либо его гибель в пятнадцать лет, либо, если выживет, всемирную известность. Никакой известности ценой такого риска матери, конечно, не было нужно. Хотя Даши, как истинный продолжатель рода кузнецов, подобно богу Прометею укрощающих огонь, был весьма крепок духом и, по его собственному признанию, никогда не испытывал чувства ужаса от мыслей о смерти. О страшном пророчестве он узнал от матери только тогда, когда все опасности и напасти были уже позади.

И действительно, именно в пятнадцать лет у юноши совершенно неожиданно произошёл страшный болевой приступ в области желудка и спины, закончившийся прободной язвой. Несмотря на вовремя сделанную первую операцию и две последующих, в конце школы и в институтской юности он ночи напролёт страшно мучился необычно стойкой язвенной болезнью, которая не проходила, несмотря на усилия и врачей, и лам, и даже, что уж греха таить, опытного шамана, предсказавшего ему семилетние страдания с неясным концом, но не сумевшего помочь беде. Дальнейший опыт лечения подтвердил, что и этим то ли ремеслом, то ли искусством разные шаманы владеют неодинаково. Как и в любой профессии, здесь тоже, по-видимому, есть и “троечники”, и “отличники”. Дело доходило до того, что из-за страшных болей Даши не мог принимать и переваривать пищу. Как следствие, на него обрушилась опасная худоба и полная потеря сил. Как-то на охоте, недалеко от дома он в изнеможении упал, не в силах ни встать, ни даже ползти к мотоциклу, где ждал его школьный друг Норбо. С морозом и снегом не пошутишь, и молодой человек уже начал ощущать предсмертную лёгкость, а может быть, и радость избавления от ежедневных страданий. Но ласково обнимавшую его лукавую смерть победила другая могучая сила, которая невидимыми нитями властно удерживала остатки жизни и заставила из последних сил, на самом краешке бытия нечеловеческим напряжением воли два раза нажать спасительный курок ружья. Этой могучей силой была любовь к матери и отцу, к дорогим сердцу сёстрам и братьям, к друзьям из родной деревни, с которыми в интернате прошли незабываемые школьные годы, с кем спина к спине не раз отбивали жестокие нападения сельской шпаны, старающейся наказать ребят из единственной в их районе бурятской деревни за “неправильный” разрез глаз, за нескрываемое почитание родного языка и непонятных для юных варваров традиций.

* * *

*Они были лихими и ранними,
Напоказ окружающих ранили,
Вундеркинды, но не в математике,
А в питейно-табачной грамматике.*

*Близнецы по ухарским привычкам,
Различали друг друга по кличкам,
Для семей не хватило им трезвости,
Не в Христе повзрослели, а в мерзости,
Сбившись в стаи, сивухой дышащие,
Они первыми заняли... кладбище.*

По выстрелам Норбо отыскал замерзающего друга и буквально на руках вытащил из лап “владыки холода”, цепко хватающего коченеющую добычу. Ему, по-видимому, так же, как и нам, нужны художники, которые работают зимы напролёт, зарисовывая деревья, реки и окна домов, изображая на стекле порой и собственные портреты.

* * *

*Приглядись, что рисует мороз
На оконном стекле? Нет, не розы
И не белые ветви берёз,
А обозы, обозы, обозы...*

*И не сказочный рой облаков
На оконном стекле серебрится —
То замёрзших в степи мужиков
Бородатые белые лица.*

Николай Зиновьев

Одним из таких рисовальщиков и скульпторов ледяных узоров и стал бы Даши, если б не увенчавшиеся успехом упорные поиски другим места выстрелов.

Неизвестно, чем бы закончилось дело – выжил бы он или нет, – если бы после уже трёх перенесённых операций на его пути не встретился очередной шаман – женщина, к слову сказать, сама изрядно больная, несмотря на тридцатичетырёхлетний возраст. Поразительно, с каким мужеством она как будто бы выполняла своё высокое предназначение, буквально рискуя собственной жизнью. Увидев молодого человека в больничном коридоре, куда его привела мать, она с первого взгляда поняла, что, если срочно не вмешаться, то юноша умрёт, и не смогла удержаться, чтобы буквально не воскликнуть об этом. Когда она взялась за лечение, то, наверное, не знала, сколь трудным оно будет. Через неделю во спасение Даши ей, больной, предстоял четырнадцатикилометровый поход вместе с его родителями к дереву их рода. Рискованная “прогулка” проходила по зимнему лесу с глубоким, почти по пояс, снегом. При этом сама она только что выписалась из больницы, и значительные физические нагрузки ей с острым сахарным диабетом были категорически запрещены. Но перед началом столь решительных и рискованных действий шаман в присутствии многочисленных родственников Даши испросила разрешения у духов предков, увидев в металлической сфере, которая побывала на теле больного юноши, хозяина их рода – бурятского князя. Шаман точно описала его портрет и определила, что он при жизни совершал паломничества в Тибет. Семейное предание подтверждало и его черты, и этот факт. Увидела она и молодую хозяйку рода. А главное, что духи поведали ей причину бед. Они решили забрать младшего в роду сына, так как в последнее время, – а были это антирелигиозные советские годы, – семья проявила слабость и стала недостаточно почитать предков. Позабросили они родовое древо, где следовало исполнять обряды и ритуалы-жертвоприношения, имеющие, как я сам недавно убедился, немалую мистическую силу.

Недавно мне посчастливилось почти случайно побывать на таком семейном обряде. Но примерно за неделю до этого мы познакомились в Улан-Удэ ещё с одной гранью дарования мастера, почему-то до поры до времени скрытой от широкой публики. Дело в том, что Даши в детстве рос не только с братьями, но и в плотном окружении любящих, нежных и, конечно же, заботливых сестёр. Они иногда наряжали красивенького малыша в платьица и ласково называли Дашенькой. Может быть, поэтому он вырос равнодушным не только к мужественным и коварным изображаемым в бронзе воинам, но и – раскрою секрет – к обворожительным, богато одетым красавицам с благородным взглядом задумчивых глаз, к очаровательным... куклам! Уже давно всех своих сестёр, талантливых рукодельниц, брата-ювелира и даже родителей он пристрастил к тончайшей ручной работе по изготовлению и украшению созданных им образов королей, мадонн с младенцами, всадниц, задумчивых тургеневских барышень и т. д. Но эти произведения видели только его друзья, которые сразу же стремились приобрести уникальные и совсем не тиражируемые творения. В результате они неспешно разбрелись по Москве и по миру. Среди счастливых обладателей их были известные певцы, например, Анита Цой, телеведущие и другие собиратели прекрасного, в основном, из столицы. Не оказались исключением и мы с Ольгой, решив немедленно приобрести несколько рукотворных шедевров для галереи и сделать журналистский фототчёт об этом неожиданном открытии. В шесть утра поездом Иркутск–Улан-Удэ прибыли фотохудожник Мария Маркова и журналист из нашей галереи Екатерина Иванова. После плотной работы вечером у нас был запланирован отъезд в Иркутск. У Даши громоздились свои планы. Разъехались мы с чувством, что не наобщались и не договорили чего-то очень важного и нужного. Поэтому не прошло и трёх дней, как непонятная сила вновь потянула меня в места, связанные с неожиданно открывшейся мне удивительно талантливой и дружной семьёй, как будто бы таинственно перешагнувшей из прошлых веков, где нередко несколько поколений работали под одной крышей, дружно и весело вели натуральное хозяйство. Каждый был в ту пору “и швец, и жнец, и на дуде игрец”. Без определённых планов я позвонил Даши уточнить, стоит ли как-нибудь съездить в их родную деревню, чтобы с помощью очевидцев разобратся, как могло сформироваться и сохраниться такое чудо и, извиняюсь, анахронизм нашего бестолкового времени, как традиционная бурятская семья, да ещё и не простая, а принадлежащая к самому

высокому бурятскому роду — роду настоящих “огненных” кузнецов, которые считались равновеликими и шаманам, и ламам. Представители этой, если можно так выразиться, касты всегда отмечались особыми знаками, они обычно талантливы в любом рукоделии, отличались умом и волей. Не исключением был и отец Даши — Бальжин, умеющий и мельницу возвести, и собрать электрогенератор и косилку. А в самые трудные времена хрущёвского самодурства с сельским хозяйством он освоил сам и научил всю деревню изготавливать национальную обувь. Этот труд спасал его земляков в годы уничтожения личных подсобных хозяйств и позволил сохраниться уникальной деревне, где до сих пор нет не только решёток на окнах и воровства, но и двери не закрываются. Если бы не обувной промысел, то бурятскую деревню постигла бы печальная участь русских соседей. О русской деревне напоминают только гниющие столбики и ржавая проволока загородок для скота да небольшое кладбище, сиротливо взирающее на бескрайнюю степь со ставшими бесполезными обильными травами, веками кормившими многочисленные табуны и стада. Отец Даши был не только первоклассным обувщиком, но не был чужд женского, на первый взгляд, ремесла. Он умел ткать редкостной красоты ковры.

Телефонный разговор с Даши закончился радостной вестью. Оказывается, у него неожиданно изменились планы, и они с сёстрами как раз сейчас выезжают в своё родовое гнездо, а это примерно 450 километров не лучших дорог по Бурятии и Читинской области, а завтра у них состоится очень редкое торжественное событие — родовой молебен. Неожиданно я был удостоен большой чести — приглашения принять участие фактически в семейно-интимном ритуале, где не было, как оказалось, даже никого из деревенских друзей. Наверно, с далёкой юности я не загорался так ни одной поездкой. Но как же быть? До события меньше суток, а дорога — более тысячи километров. На машине уже не успеть. И опять везение. Оказалось, что можно долететь самолётом. И сегодня в пять утра как раз будет рейс на Читку, а там 140 километров — уже не проблема, и меня встретит на внедорожнике сын и помощник мастера Чингис.

Сказано — сделано; что нам, молодым духом, какая-то тысяча километров воздухом и более ста по земле! И вот ни свет ни заря я в аэропорту. Но авиация есть авиация. Из-за пожаров и дыма вылет переносят и раз, и два, и три на мучительных несколько часов. Но на священный ритуал в качестве зрителя я всё же успел, и моя бессонная ночь, и дорожная тряска были компенсированы с лихвой.

И духовно, и эстетически я был потрясён. Такого проникновенного пения и звучания инструментов мне не доводилось слышать. Казалось, что умелый лама, кстати, родом из этой же деревни, извлекал и доносил до нас волшебные звуки одновременно и потустороннего, и нашего мира, привлекая в помощники несметный полк музыкальных предков, поддерживающих его из далёких кочевых времён. Только в этот момент мне стало понятно мучившее меня много лет непонятное ощущение от рассказа Валентина Распутина “Что передать вороне?”, где, по его словам, птица летала между нашим и ушедшим миром. Более того, в течение обряда я и сам чувствовал, что как будто пролетаю между двумя мирами и вижу собственных родственников, не одно поколение которых жило в мире и согласии с местным населением на берегу Байкала. Мои баргузинские предки по отцу знали в совершенстве, кроме русского и еврейского, ещё и бурятский язык. Наверняка, они также почитали местную культуру и не раз наслаждались высокодуховными обрядами одной из основных религий человечества.

Как же я был поражён, когда по завершении обряда все его участники вдруг увидели в небе двух величественно парящих орлов, как будто бы бережно несущих на своих распростёртых в неподвижности крыльях души наших прародителей, заботливо взирающих с небесной выси на своих благодарных потомков. Все участники и зрители обряда смотрели, как зачарованные, и я видел, что не у одного меня на глаза наворачиваются слёзы. Каково же было потрясение присутствующих, когда и на нас упало буквально по несколько “слезинок” с неба. Показалось, что трогательную слезу обронили из орлиных глаз давно ушедшие в иной мир дороге сердцу родственники. Единичные облака, плывущие в это время по синему небу, были явно не дождевые. Но если они и помогли в честь нас творимому на небесах встречному обряду, то совершенно не случайно.

Врачебный подвиг женщины-шамана

Но до этого праздника двух миров юноше нужно было ещё дожить, вырвавшись из цепко схватившей его беды.

В ту далёкую, ставшую уже историей пору его болезни в качестве знака, разрешающего диалог с предками и дающего шанс на исцеление, была выбрана, как это ни банально прозвучит для скептиков, конкретная игральная карта, которую шаман назвала, когда её уже предстояло вытянуть из колоды. С волнением, подобным тому, что пережил Герман в “Пиковой даме”, эту мистическую карту следовало вытянуть с первого раза кому-нибудь из молящихся за столом родственников. Только ставкой здесь был не выигрыш денег, погубивший в драме Пушкина старуху, а жизнь юного Даши. Шаман к новой колоде не прикасалась, тасовали её по кругу все сидящие за столом. И вот в страшный момент все замерли: с вероятностью меньше, чем три процента, из колоды новых карт следовало вытянуть бубнового туза, и только его... Чудо свершилось! Все выдохнули с облегчением. Приобретший судьбоносное значение спасительный туз нужной масти был вытянут! Но шаман знала, что это была ещё не окончательная победа, а только шанс. Впереди ждали тяжелейшие походы в зимний лес, предпринятые на пределе сил и родителями, и старшим братом Будажапом, бывшим охотником. Первый раз, пока шаман ещё лежала в больнице, с семьёй ходил вымаливать прощение “главный виновник”. Во второй раз, через неделю, семья двинулась уже во главе с шаманом, но уже без ослабевшего после первого похода больного.

По описанию родителей, шаман, как и юноша в первый раз, пробиралась по глубокому снегу и молилась даже не на пределе, а за пределами человеческих сил. У неё судорогой сводило ноги, ей не раз растирали их, не раз она падала без сил, но поднималась вновь и вновь и упорно шла к цели. Добравшись до дерева, в конце страстной мольбы она уже не могла стоять и молилась лёжа в снегу, пока вдруг, успокоившись, не просветлела лицом. Все явственно услышали посреди леса звук проезжающей мимо телеги. Может быть, это был уехавший ни с чем мистический катафалк, а может быть, поехал, как раньше, в святые места Тибета князь-хозяин рода. Измождённая шаман радостно объявила, что духи простили род и не требуют неподъёмную жертву.

В тот же вечер мать Даши, не дожидаясь результата, потрясённая мужеством больной женщины, отдала ей все золотые украшения, которые были в доме, хотя та не требовала никакой платы. Впервые за многие месяцы предельно ослабевший юноша проспал всю ночь без малейшего беспокойства, а назавтра встал к обеду практически здоровым к неопишуемой радости большой и дружной семьи, отстоявшей невозполнимую для близких и, как оказалось, для всего человечества, утрату.

После этого случая у Даши вдруг открылись уникальные способности, но, правда, пока не художника, а, скорей всего, провидца. Он стал видеть биополя людей и мог узнать о любом самом сокровенном, в том числе и всё зло, которое человек совершил в жизни. Особенно страшно было видеть ему людей, чья жизнь запятнана чужой кровью. А таких в 90-е годы было немало. Но не судьбы Вольфа Мессинга, Джуны, а может быть, даже и Нострадамуса жаждал для себя мужественный юноша, ни разу не паниковавший по поводу возможной смерти, но давно чувствовавший непреодолимую тягу к рисованию и к резьбе. Болея, он упорно занимался самообразованием, и помогала ему в этом ближайшая по возрасту старшая сестра Доржима, чуть не ежедневно славшая из Москвы письма, в которых пересказывала всё, что проходила в художественном училище. Поэтому Даши начал упрашивать шамана перенаправить это тяготившее его предначертание судьбы в русло художественного творчества. На счастье, шаману удалось справиться и с этой весьма непростой задачей. В девятнадцать лет теперь уже не мать, а сам никому не известный молодой человек Даши Намдаков, в подтверждение давнего пророчества лам, которое до поры до времени от него хранилось в секрете, получил поразившее его предначертание о том, что он добьётся на своём поприще мировой известности. Как видим, шаман не ошиблась, хотя, совершив этот подвиг во благо человечества, вскоре сама ушла из жизни, не дотянув даже до сорока лет. Может быть, в спасении для людей гения и было главное предопределение её очень нелёгкой судьбы.

Эту захватывающую историю из своей жизни поведал мне Дашинама, когда мы пробивались по трактам сквозь дымные завесы бесхозной российской тайги из его родного Укурика Забайкальского края в Улан-Удэ.

Беды и вершины стремительных лет

Наше восьмичасовое путешествие оказалось удивительно душевным. В очередной раз я убедился, что если кому-либо безусловно нравятся стихи, которые прочно поселились в моей памяти, то с таким человеком у меня совпадает и мироощущение, и совместимость оказывается такой, что можно хоть в космос, хоть в разведку. Даши открыл для себя Николая Зиновьева. Понравились ему, извиняюсь за нескромность, и мои стихи.

В ходе неспешной беседы я с удивлением осознал, что, пожалуй, не встречал человека, с кем бы в такой полной мере совпадали мои взгляды на Божественную природу мироздания, на исключительную роль предков в жизни и в судьбе людей, на катастрофически узкую и слишком прямолинейную дорогу человечества, вытптывающего традиционную мораль, экологию, рвущегося к сверхпотреблению на основе безальтернативных видов используемой энергии и полезных ископаемых.

Нам обоим близка гипотеза о том, что космическое предназначение интеллекта – в сохранении главного Божественного творения, живой клетки, которая несёт в себе уникальную программу развития всех видов жизни на нашей и на других планетах. Клетки – это не люди и не собаки, для них не нужны огромные космические корабли. Для их перемещения в космосе, наверно, достаточно каких-либо лазерных лучей, а может быть, нужно просто обуздать имеющийся в природе “солнечный ветер” (не было же ведь когда-то и ветряных мельниц!) или пролетающий по галактике “бесплатный и беспилотный транспорт” – метеориты и т. д.

Бросали же наши предки когда-то бутылки в океан, почему бы и нам когда-нибудь, например, с помощью пролетающих мимо небесных тел не посылать весточки о себе и не спасти прародителей живой материи – вирусы, бактерии и выросшие из них живые клетки?

Для решения этих космических задач следует развивать и развивать человеческий мозг, его левое и правое полушария. А значит, нужна и математика, и искусство, и сохранение на долгие тысячелетия среды обитания. Следовательно, и общая межгосударственная демографическая политика, и обуздание потребления природных благ. Причём необходимо развивать у людей оба полушария. Кажется, по-настоящему этой проблемой озабочен сегодня только Китай. Там на правительственном уровне серьёзно поддерживают развитие живописи и других искусств. Если тормозить развитие одного полушария, то мы получим “хромоту” разума, и бег к вершинам знаний и любви будет невозможен; человечество, как хромой путешественник без компаса, побредёт по кругу. Похоже, что так оно и происходит в настоящее время. “Кнопочная” цивилизация и антикультура отупляют человечество. Накопление информации в мега-компьютерах и в научных книгах – это далеко не то же самое, что развитие разума. Без эвристических открытий галилеев, коперников, архимедов, пифагоров и ломоносовых никогда не изобрести энергии, альтернативной электричеству или атому.

После нашего многочасового автомобильного диалога, в ходе которого мы передавали друг другу руль, на главные события своей жизни я посмотрел по-другому. Если у юного Даши был один жестокий и затяжной кризис, то у меня их было три, зато не таких долгих. Время между кризисами мне представляется отдельной, не похожей на другие, жизнью, каждая из которых позволяла взобраться на определённую вершину, правда, не мирового, а местного масштаба. Так что за мной тянется целый архипелаг, подобный не очень высоким прибайкальским Саянам, а у Даши всего одна вершина, но зато она до небес.

* * *

*Качает жизнь меня, как будто на волнах:
То всё теряет смысл, то обретает снова,
То страшен птичий крик в горящих небесах,
То в душу льёт заря спасительное слово.*

*Воздвигну из стихов я памятник себе,
Пушкой не до небес, пушкой масштабов местных.
Потомки разглядят в мятущейся судьбе
Стремительный полёт на крыльях дней чудесных.*

Интересно, что с детства, может быть, со знакомства с героем замечательной трилогии Драйзера Каупервудом, мне всегда представлялись мои достижения в масштабах города. Звание Почётного гражданина г. Иркутска, которое имеют всего человек 35, собственно, и подтверждает достижение этой цели. Но, может быть, теперь и настало время осуществления новых, более масштабных мечтаний? Почему бы и нет?..

* * *

Но вернёмся к моей судьбе. Первая жизнь — жизнь студента-механика-машиностроителя закончилась сразу же после института с его Ленинской стипендией и напряжённой инженерной работой весь последний год обучения и во время диплома. Далее, работая руководителем, я опирался только на экономику и организацию труда. И никогда не возвращался непосредственно к инженерному делу. Этот этап оборвался вместе с получением красного диплома и последовавшей за этим депрессией со страхами болезни и смерти, приведшими и к скачкам давления, и к острому гастриту, и к сердечным болям, едва не закончившимся инфарктом.

После каждого кризиса у меня рождалась любовь, резко в гору шли и дела, и творчество. После первого кризиса я стал самым молодым начальником цеха. Я поразили успехами огромное девятидесятилетнее оборонное предприятие, называвшееся для конспирации “Иркутский завод радиоприёмников им. 50-летия СССР”. В это же время, когда мне было 24 года, родился и сынишка Андрей.

После жуткого второго кризиса, с гибелью сынишки и последовавшим за этим через несколько лет опасным желудочным кровотечением, родился Стасик, а позже образовалась новая семья с появлением в этом мире Полины и Даниила, расцвела также и фирма “СибАтом”, а со временем вызрели и поэтические успехи.

И наконец, на новом сегодняшнем этапе — любовь с Ольгой, ставшей моей молодой женой, и создание с ней совершенно уникальной для нестоличного города галереи современного искусства, а также первое прозаическое произведение из двух книг о бизнесе и о судьбе.

Знаковым событием сегодняшнего этапа стало и знакомство с совершенно незаурядной личностью — Даши Намдаковым, чьи произведения буквально вдохнули душу в новую галерею, а его мысли и судьба всколыхнули новые чувства и укрепили веру, причём не на несколько минут, после которых “снова веру сомненья сомнут”, как писал Николай Зиновьев, а думаю, что теперь уже навсегда.

У Даши одна вершина не только в творчестве, но, что особенно здорово и нечасто бывает в наше суетное время, также в семейных отношениях и в любви. И сегодня, как я убедился, побывав в Укурике у “лондонца”, тысячами нитей связанного со своей малой родиной, самые тёплые отношения со старинным другом и со всем его семейством. Кстати, трепетно относится к своей деревушке не только Даши, но и большинство её жителей, хотя многие вместе с детьми живут в поджидающих их добротных домах теперь наездами. Многие сёла могли бы позавидовать их красочному, с душой сделанному дацану, и в ближайшее время будут завидовать новенькому клубу, который, как и дацан, возводится всем миром без бюджетной поддержки. Особенно мне понравилась подготовка к деревенскому сходу уважающих и, более того, любящих друг друга односельчан. А состояла подготовка в том, что солнечным воскресным утром все желающие подкрепиться перед деловым разговором запросто заходили на двор к Норбо, где на дощатом деревянном столе испускали призывный парок свежие позы из домашней свинины и радовали глаз сияющей разноцветностью овощи и салаты.

В ходе застолья было весьма интересно узнать по секрету от одной словоохотливой соседки историю любви Даши и его жены Татьяны, историю,

которую она знает в деталях, очевидно, не только по своим впечатлениям, но и со слов кого-то из сестёр мастера. Она красочно поведала, как почти 30 лет назад юные Даши и Татьяна приметили друг друга, будучи как-то в одной общей компании, где им не удалось познакомиться и даже обмолвиться хотя бы одним словечком. Всё решила следующая случайная встреча на улице, когда робкий юноша подошёл и неожиданно для самого себя не очень красноречиво сказал: “Пойдём в кино!” — и Таня сказала: “Да!” Как вскоре выяснилось, “да” прозвучало не только для кино, но и на дальнюю дорогу по непростой жизни.

Судьбоносное знакомство произошло, когда с помощью шамана мигом зарубцевались все язвы, и Даши был какой-то период времени абсолютно здоров. Но надо же было случиться новой беде! После чудесного излечения множество рубцов “взбунтовались”, и их грубая ткань почти уничтожила эластичную подвижность желудка и кишечника, то есть перистальтику. И опять надолго обрушились новые страдания и жуткие неудобства совместной жизни. Но Татьяна без малейшего ропота вынесла всё. Юная, слегка избалованная студентка на долгие месяцы стала и домашней медсестрой, и санитаркой, и сиделкой пока Даши и врачи не решились ещё на одну, уже четвёртую операцию на израненной плоти. После долгих мучений на этой непростой операции окончательно завершился отсчёт семилетней болезни.

А тогда в океан любви чистой и полноводной рекой влилось на всю жизнь трепетно-терпеливое чувство жены-студентки, безгранично преданной больному, в ту пору обычному автору плакатов из простой, хотя и очень мастеровой семьи. Но от “трудов праведных”, как повелось, на Руси, не воздвигнешь “палат каменных”. Татьяна же вошла в жизнь юноши совсем из других “палат”. Она дочь партийного работника. А это при социализме была особая номенклатурная каста, которой, правда, не было в традиционном бурятском “табеле о рангах”, где самым достойным считался род кузнецов — укротителей огня и металла. Таню ничто не могло остановить, и она упорно следовала голосу своего сердца. Думаю, к ней в полной мере относится одно из моих стихотворений:

*В тебе любви и радости —
Как в свежести озёрной,
Чистейших вод накоплено
Среди прохлады горной.*

*Но солнце лаской жаркою
Под шубкой снеговой
Живой, журчащей музыкой
Нарушило покой.*

*Прорвало плен свой озеро.
И бурно понеслась
Вода повеселевшая,
Сияя и искрясь.*

*Вмиг русло пересохшее
Наполнилось водой...
А мы не так ли бросились
В объятия с тобой?*

*Бурлила нежность радостной
Рекою без конца,
Где камешки — веснушки
Любимого лица.*

В трудный период болезни поддерживали Даши и его одноклассники. Благо, группа художников в красноярском институте была всего человек семь. Повезло Даши и с настоящим Учителем, что в нашей жизни бывает не так уж часто. Им стал сильный педагог, а главное, настоящий Человек и скульптор, академик-секретарь Сибирско-Дальневосточного отделения Академии художеств СССР, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии

Лев Николаевич Головницкий (1929–1994). Уже по вступительному рисунку он отметил для себя огромный талант Даши и, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, остался преподавать, хотя в планах у него было другое.

Лев Николаевич восхищался необычной скоростью, с какой Даши усваивал материал и обгонял студентов и даже аспирантов по уровню мастерства. Уже за два года до окончания института академику было ясно – юный скульптор превзошёл всех, и дальнейшая его учёба бессмысленна. Тогда он утрясает вопрос в Москве, выделяет гениальному студенту отдельную мастерскую и забирает его досрочно готовить дипломную работу. При этом удовольствие от работы получали оба участника. Даши перенимал опыт, а не очень здоровый мэтр радовался, что может через своего подшефного с гениальной точностью выразить в произведении свои замыслы, которые, как стало ясно через два года, были последними. Полюбила юное дарование из Бурятии и даже нередко готовила ему диетические блюда жена мэтра, немка по национальности, замечательная душевная женщина, как вспоминал сам Даши, Энрика Эмильевна Эгерт.

Повезло Даши и в юную улан-удэнскую пору. Его привечал у себя в мастерской и позволял следить за своей виртуозной работой другой замечательный скульптор, заслуженный художник РСФСР, народный художник Бурятии академик Геннадий Георгиевич Васильев (1940–2012 гг.). А ещё раньше, когда Даши был школьником и пропускал из-за болезни занятия месяц за месяцем, с ним подружился простой, без регалий, но очень чуткий и отзывчивый человек, преподаватель литературы в интернате Николай Фасович Кряжев. Он привил пытливому школьнику любовь к русской и бурятской классической прозе и к стихам, но, что не менее важно, он буквально сражался с педагогическим советом интерната, чтоб они не травмировали больного подростка и не оставляли на второй год. Только благодаря его заступничеству, несмотря на огромное количество пропусков, Даши всё же вовремя закончил школу. Но аттестат – аттестатом, юноше предстояло после окончания школы решить ещё одну немаловажную задачу – ни много ни мало остаться в живых. С помощью лекаря шамана, духов предков, своей родной семьи, а на финишном этапе и Татьяны несгибаемый потомок рода кузнецов успешно решил эту главную задачу.

Сложные чувства одолевали меня после знакомства с богатейшей духовной стороной жизни скульптора. С момента пересечения в Лондоне нашего пути со звёздной орбитой большого мастера прошло полгода. Но настолько же сильно за это время изменился вектор “созревания” нашей галереи, сколько произошло, казалось бы, случайных благостных совпадений. Это и неожиданный выбор темы первой выставки, и совершенно случайное моё попадание на родовой молебень, и неожиданное знакомство с новым пластом в творчестве мастера и его семьи, и приход долгожданных скульптур из Москвы именно в тот день, когда Даши собирался из Улан-Удэ заехать в Иркутск перед вылетом в Лондон. Это событие вылилось в масштабную пресс-конференцию с участием всех иркутских телевизионных каналов, причём один из сюжетов попал даже на общероссийский канал “Культура”.

За два месяца до открытия галереи неожиданно, по-моему, даже для самой себя во время случайной встречи заместитель губернатора и самая давнишняя покровительница моих начинаний в сфере организации мини-выставок Лариса Иннокентьевна Забродская предложила начать с бурятской тематики. Ей вдруг пришла идея приурочить наше открытие к традиционному бурятскому празднику – Ёрдынским играм. И хотя в дальнейшем связки галереи и праздника практически не получилось, идея оказалась весьма плодотворной. И не только потому, что скульптуры Даши в сочетании с бронзовыми скульптурами других бурятских мастеров стали основой выставки, получившей поэтическое название “Душа Азии”, но и потому, что мои предки по улцовской линии, хоть и были евреями, но жили и процветали именно в Бурятии. Первая выставка – дань уважения их дорогой для меня памяти. Я впервые соприкоснулся с искусством замечательных бурятских художников: Аллы Цыбиковой, Жамсо Раднаева, Зорико Доржиева. И был поражён, насколько живопись наших ближайших соседей самобытна и отличается от иркутской, да и вообще от сегодняшней академической российской школы. Данное отличие не меньше, чем между строгим, почти аскетичным убранством церквей и радостно-цветным,

солнечным обликом дацанов. Так же отличен закрытый от постороннего взора внутренний мир бурят с культом предков, с прочными семейно-рядовыми связями, с не похожей на наше храмовое пение музыкой, исполняемой ламами и шаманами.

Что ни говори, наше почтение к предкам, проявляемое, как правило, только в родительские дни, когда все устремляются на кладбище, причем не столько для молитв и душевного общения, сколько для хозяйственных дел, а иногда и для увеселения, – совсем не то же самое, что описанный мной родовой молебен бурят. Может быть, и наши предки так же, как в случае с Даши, недовольны невнимательным отношением к ним, и поэтому мы безбожно теряем такое огромное количество мальчиков и юношей? Беспристрастная статистика свидетельствует, что у наших соседей намного меньше потерянных и брошенных детей, и браки прочнее.

Для себя я решил внимательнее относиться к изучению своего генеалогического древа, разыскать и привести в порядок могилки своих прабабушек и прадедушек по еврейской линии в Улан-Удэ и православных в Подмоскowie. Причём не только покрасить и укрепить их, но обязательно свершить на них религиозные обряды, а главное, попытаться сделать так, чтобы дети прониклись таким же, как род Даши, внимательным отношением к своим корням, ведь когда-нибудь все мы обязательно окажемся в роли давно и, увы, навсегда ушедших. Жаль, что это время будет несоизмеримо продолжительней, чем наша быстро летящая жизнь.

Немного о долгожительстве галереи

Богата бурятская земля талантами. Такой школы скульпторов, сохранившейся благодаря буддийской традиции украшать дацаны, нет в России больше нигде. Интересны скульптуры и других бурятских авторов.

Недавно в моей коллекции появились даже скульптуры драгоценной лошади, черепахи и белого тигра из серебра. Последняя соответствует знаку года моего рождения. Подарил их коллектив фирмы на мои дни рождения. Автор произведений – Дмитрий Будажабэ. Его творчество также близко к корневому восточному искусству. Но и он потихоньку перемещается из столицы Бурятии в Японию, полагая, что там, как минимум, будет выше уровень технологического воплощения его задумок в литье. Ещё недавно меня мучила мысль о возможной подделке скульптур. Но, во-первых, добиться качества лучших мастерских Италии и Японии практически невозможно. А, во-вторых, как по пуле легко устанавливается конкретный ствол, так и по скульптуре специалисты легко установят мастерскую, и мошенникам не поздоровится. Правда, в Китае пока нет соответствующего закона. Но солидный коллекционер не купит “фальшивый бриллиант”. Сделать скульптуру недорого не получится. Бронзовое литьё по выплавляемым моделям, дальнейшая сборка и нанесение патины, придающей цвет, – весьма дорогое удовольствие, поэтому гнать подделки с сомнительным сбытом, но высокими затратами квалифицированного труда вряд ли кто и решится.

Разнообразие и уровень моей коллекции вселяет уверенность не только в её благотворном влиянии на душу, но и в её всё возрастающей ценности. Реалистическая школа особенно ценится сегодня, кроме России, в Америке и в Китае. В Европе же, видимо, несколько выше степень культурного “одичания”, её буквально захлестнули, по сути, “прикольные” дизайнерские штучки – инсталляции. Но и там всё же есть интерес к настоящей живописи и скульптуре.

Важно проводить выставки в прославленных галереях мира. Такие выставки повышают статус и стоимость не только коллекции, но и значимость сибирских художников. Продажа некоторых работ – неоценимая помощь местным скульпторам, художникам, да и развитию самой галереи. Правда, окупаемых галерей в России не так много. Обычно они дотируются из других видов бизнеса, чего не скажешь, например, про лондонские галереи, где у некоторых владельцев есть если не персональные самолёты, то возможность нанимать индивидуальные чартеры, чтобы иногда привозить занятых нужных людей, например, Даши Намдакова.

Вот уже несколько лет у нас в фирме, как я уже отмечал, галереей занимается моя жена Ольга, ранее не очень интересовавшаяся живописью, хотя

мы и познакомились, и даже зарегистрировали брак в художественном музее. Имея инженерное и экономическое образование, она очень быстро проявила интуитивное врождённое чутьё к настоящему искусству. Если мне, чтобы определить ценность некоторых картин, и через 15 лет подчас необходимо несколько дней кабинетного соседства с полотнами, то ей часто достаточно нескольких минут.

Поразительно, что её оценка практически всегда совпадает с мнением искусствоведов и других маститых экспертов. Приятно удивила она и неожиданно предложенным ею оригинальным планировочным решением офисных помещений, обеспечив не только окна для всех кабинетов, но и уютный круговой коридор для работников офиса, являющийся как бы продолжением галереи. Причём это было не просто абстрактное предложение, а весьма быстро выполненная на бумаге конкретная планировка, которую мы единодушно одобрили и воплотили.

Я не подозревал, что Ольга может так умело “говорить” на инженерном языке. Но главный вклад Ольги в организацию галереи в том, что она весьма смело и обоснованно подвигла меня расторгнуть на полпути контракт со слабоватыми дизайнерами и пригласила других, несоизмеримо более профессиональных. Впоследствии их проект галереи завоевал “золото” в номинации “Интерьеры” на XV межрегиональном фестивале “Зодчество Восточной Сибири” с участием лучших архитекторов Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула, Красноярска, Улан-Удэ, Читы и Иркутской области.

Несмотря на то, что с окончания института Ольгой минуло всего-то четыре года, кроме работы с живописью, она брала на себя и успешно справлялась с координацией всех работ по реконструкции здания, включая фасад. В перспективе всё, что связано с этим направлением деятельности, должно находиться, прежде всего, в её руках, включая и выставочные площади. Это должно быть отдельным предприятием. Её кооперация хотя бы с одним наследником позволит воплощать в галерее полезные решения и будет гарантировать ей (галерее) долгую жизнь.

Все дети и внуки, я убеждён, не должны терять связи с искусством и музеем-галереей, любовно создаваемым мной несколько десятилетий. Галерейная деятельность должна повышать имидж нашего рода как в родном городе, так и в России, а может быть, даже и за рубежом. И дай Бог, чтобы у кого-либо из продолжателей моего рода была, как и у Дашиных, всего одна вершина, но зато до самых небес! “Дай им Бог выше нас взлететь!”

ЭДУАРД АНАШКИН

ИЗ ГЛУБИН ПАМЯТИ

С каждым годом всё уже и уже становится круг моих друзей. В день своего рождения умер Валентин Григорьевич Распутин. Многие захотят меня поправить, дескать, неточность: умер поздно вечером 14 марта. По московскому времени всё было так. Но сибиряки говорят, да я и сам говорю: он умер 15 марта, в день своего рождения. В Сибири уже была глухая ночь 15 марта.

Целый год я не могу убрать с телефона ни его московский домашний номер, ни иркутский, ни сотовый. Ждал его звонка. Не верил в его кончину.

Да и до его книг с автографами, писем, открыток, телеграмм дотронулся только после годовщины со дня смерти.

Сейчас на моём рабочем столе стоит первый в России бюст В. Г. Распутина работы московского скульптора, народного художника России Николая Александровича Селиванова, который подарил его мне.

Значительное место в творчестве Николая Александровича занимает русская литература в лице её вернейших представителей: Михаила Ломоносова, Василия Шукшина, Павла Васильева, Николая Рубцова, Николая Клюева, Юрия Бондарева. Год назад эту галерею выдающихся людей пополнили прекрасные скульптурные портреты Василия Белова и Валентина Распутина. “Мне хотелось бы своими скульптурами оставить в памяти образы этих великих деятелей нашей культуры”, – говорит Селиванов. Хочу добавить: в настоящее время около 80 работ Николая Александровича хранятся в 38 музеях нашей страны.

Я не впервые пишу о Валентине Григорьевиче. Мои воспоминания и очерки о нём публиковались в региональной и центральной печати, писал я и в его защиту от нападок бойких журналюг и критиков. А вот как о человеке, земляке начал писать не так давно. Хотя знакомы мы с Валентином Распутиным были с далёкого 1965 года, когда он делал свои первые шаги в литературе. Мы тогда ещё не нажили отчеств, были молоды и нетерпеливы.

После его смерти многие люди, как я заметил, стали очень интересоваться его биографией. Что-то находят для себя интересного: сейчас у Распутина столько “друзей” появилось, что знают всё о нём, даже чем он болел.

Вячеслав Огрызко в своей статье “Возможен ли прорыв” (“Время Русь собирать”, М., 2005) пишет: “Он очень долго умалчивал о своих родителях”. Это с чего бы?

Родился Валентин Григорьевич в районном центре Усть-Уда Восточно-Сибирской (ныне Иркутской) области. Папа Валентина Григорий Никитович работал в Усть-Удинском лесничестве лесником, часто ездил в другие деревни по служебным делам (тушить пожары, караулить порубщиков леса). После свадьбы работал экспедитором в райпотребсоюзе.

Когда семья в 1938 году переехала в Аталанку, отец устроился работать сопровождающим почту при Аталанском отделении связи, а жену его, Нину Ивановну, приняли на работу на должность письмоносца – почтальона. Однажды в Доме творчества в Переделкино я спросил у Валентина Григорьевича: почему именно в Аталанку? Деревню Аталанка не найти на картах Иркутской области, разве что на самых подробных.

“Дело в том, что в этой деревне жила вся огромная семья Распутиных, жил дедушка Никита Яковлевич с бабушкой Марией Герасимовной (в девичестве Черновой), – начал свой рассказ Распутин. – А вот откуда дедушка появился в Аталанке и женился на бабушке – вопрос для меня до конца не изучен. В Нижнеудинском районе нашей области жили да и живут много тофаларов, жили деревнями (сейчас перемешались все и не понять, где русские, где тофалары). Вот дедушка, видимо, из тех краёв.

В моей крови помешано много: и польская, и цыганская, и тунгусская, и русская, – сказал мне тогда Валентин Григорьевич. – Вот либералы говорят и говорят на всех экранах: “Мы – россияне”. Какой это я россиянин? Да, у меня в паспорте нет графы национальность – убрали. Сколько я был за границей, то слышал только – русский. Да и ты, Эдуард, как я заметил, разных кровей. Не ошибаюсь?

– Нет, Валентин Григорьевич, вы правы. Прадедушка по отцовской линии – поляк, фамилия Бонзо, был управляющим золотыми приисками в Минусинском уезде Красноярского края. Прабабушка из богатого казачьего рода Анашкиных. Но брак свой они не оформили, потому что прадедушка католик, а прабабушка – православная, хотя и любили друг друга. А другая, по отцу, – сербка, прадедушка – из Молдавии. При строительстве Транссибирской магистрали всех их выселили в Петровск-Забайкальск Забайкальского края. Со стороны матери я целиком русский. Вот с именем “Эдуард” – неувязка.

– Как понять это? – заинтересованно спросил Распутин.

– В 1948 году мои родители приехали в отпуск на родину матери в Орловскую область. Вот здесь-то моя бабушка возмутилась: как так внук некрещёный?!

Решили покрестить, но батюшка посмотрел книги, не нашёл в них имя Эдуард и предложил родителям, на дворе был месяц октябрь, назвать меня Сергеем. Вот и крещён я под этим именем, а в документах так, как называли родители.

Василий Григорьевич громко рассмеялся и произнёс:

– Всё ясно. Настоящий сибиряк!”

В 1939 году в семье Распутиных хлопот прибавилось – родилась дочь – сестра Валентина Григорьевича, которую называли Альбиной, но в деревне, да и все родственники её звали просто Ага.

Весть о начале войны в Аталанку запоздала (радио в селе не было), а узнали люди из газеты “Правда”, приехав с пахоты.

В списке призывников на фронт был отец Валентина Григорьевича Распутин – Григорий Никитович. На военные сборы он убыл 19 июля 1941 года. Вслед за Григорием ушли десятка два его односельчан, а также родственники: сестра отца Клавдия Никитовна, брат Виктор Никитович, зятья: муж сестры Александры – Алексей Анциферов, муж сестры Кристины – Алексей Спирин.

Виктор Никитович Распутин, как и многие аталанцы, не вернулся домой, погиб в 1942 году под Сталинградом. Зять Алексей Терентьевич умер от ран в 1944 году над Витебском.

На фронт призывался и дедушка писателя Никита Яковлевич Распутин, он воевал под Ленинградом, участвовал в прорыве блокады, получил тяжёлое ранение, после лечения был комиссован.

Григорий Никитович воевал на мурманском направлении. На этот северный порт наступал отборный горно-егерский корпус фашистов. Распутин был одним из тех, кто своей грудью встретил первый удар врага. Здесь он получил ранение. А затем, после лечения – опять в строй, на защиту Отечества.

“Папа вернулся домой 7 октября 1945 года, – пишет мне сестра Валентина Григорьевича, Альбина Григорьевна, – в орденах и медалях. О фронте отец ничего внятного не рассказывал, всё больше отмалчивался, может, не хотел говорить об этом мне и Валентину?” А в самой Аталанке старожилы деревни вспоминали, что земляк попадал в тыл к немцам, что ночевать приходилось в разных местах, даже на кладбище, и что вышел он из окружения вместе со своим ротным командиром.

В ноябре 1945 года папа поступил на работу в Аталанское отделение связи, работал начальником отделения, – вспоминала Альбина Григорьевна, – а мама уже работала контролёром на почте.

В 1946 году в семье Распутиных родился третий ребёнок – сын Геннадий. И тогда произошла трагедия.

Григорий Никитович, в очередной раз получив крупную сумму денег как начальник отделения связи для выплаты рабочим в Аталанке, встретился в райцентре с друзьями. Встречу хорошо отметили, а на пароходе он заснул. Нашёлся какой-то подлец, срезал сумку с деньгами, и загремел Распутин в Магадан, на рудники на 7 лет. Вернулся домой по амнистии только в 1953 году, совсем больной.

Его приняли на работу десятником в Замараевский лесозаготовительный пункт Аталанского леспромхоза. Умер Григорий Никитович в 1974 году в возрасте 61 года. Похоронен он в Аталанке, там же, где похоронены его отец и мать, похоронен его младший сын Геннадий в 2001 году и многочисленная родня Распутиных-Черновых.

– После похорон отца маму – Нину Ивановну – я взяла к себе в Братск, – это снова Альбина Григорьевна. – Прожила она у меня до 85 лет и похоронена в Братске. Мы с ней каждый год, как только наступала весна, на “Метеоре” уплывали в Аталанку и жили там в родном доме до глубокой осени. Возились на огороде, заготавливали грибы и ягоды.

– Отца я, конечно, простил за его грех, хотя и признаюсь, что не сразу. Конечно, очень досталось маме, – рассказывал Валентин Григорьевич при нашей последней встрече в Иркутске на Всероссийском литературном празднике “Сияние России”, – о работе на почте уже не шло и речи. Да и наши деревенские не сразу поверили, что сумку у отца украли; судачили, как говорят в Сибири: “прикарманил”. И вот мама, которую я сильно любил до самой её смерти, с грудным ещё ребёнком, сестрой и со мной переехала в деревню Замараевку. Здесь находился лесозаготовительный пункт, и мама устроилась на работу банщицей в казённую баню. Целый день то на коромысле, то на руках носила воду для бани. Труд очень тяжёлый, но надо было как-то кормить нас, ребятिशек. А как тяжело жили мы в Аталанке во время войны! Вспоминать не хочется, – Распутин посмотрел на меня и положил руку на плечо. – После похоронки на мужа в 1944 году в Аталанку вернулась в родительский дом отца сестра Кристина со своими четырьмя малыши детками. Мать, моя бабушка, Мария Герасимовна, отдала ей большую часть дома, а в маленькой поселилась сама со своими детьми Татьяной и Леонидом. Здесь же жили и мы с мамой.

Непростая судьба у Леонида Никитовича. Как и многие его сверстники, в годы войны работал он наравне со взрослыми на лесозаготовках.

– Мужиков тогда не хватало, они воевали на фронте, очищали нашу землю от фашистов, но планы лесозаготовок никто не отменял. Вот и собирали и старых, и малых. Я в бригаде валила лес, а Леонид был возчиком, перевозил брёвна на лошадях, – рассказывала Полина Николаевна Распутина, которая в дальнейшем стала женой Леонида.

Кристина Никитовна тоже не блины пекла на лесозаготовках: валила лес, рубила сучки. Нина Ивановна Распутина, мама Валентина Григорьевича, продолжала работать на почте. А так как только одна Мария Герасимовна из всей родни трудилась в колхозе “Память Чапаева”, то и делянку для покоса ей давали одной. Вот и приходилось держать одну коровёнку. А что это значило для семьи из 12 человек? На стакан чая – две ложечки молока.

– Тяжело было, – вспоминает Альбина Григорьевна. – Мы с Валею глубокой осенью и ранней весной ходили на колхозные поля, где выращивали картошку. Неважно было, какая картофелина попадалась, всё несли домой. А осенью нас выручал лес – грибы, ягоды: и брусника, и клюква, и облепиха, и голубика, и смородина. Всё заготавливали бочками.

– Это в городе тяжело, – рассказывал мне Валентин Григорьевич о тех годах, – нас же выручал лес – грибы и ягоды.

Здесь, в Аталанке, Валя Распутин успешно окончил начальную школу, и перед матерью встал вопрос: что делать дальше? И Нина Ивановна приняла решение: сын должен учиться. Он был первым из деревни, кого повезли в среднюю школу, в райцентр Усть-Уде.

О том, как он жил и учился в школе райцентра, рассказано в его знаменитом рассказе “Уроки французского”. Окончив в 1954 году школу с медалью,

Распутин поступает на историко-филологический факультет Иркутского государственного университета. В студенческие годы стал подрабатывать нештатным корреспондентом областной молодёжной газеты «Советская молодёжь».

На физмате университета училась старшая дочь известного иркутского поэта, первого председателя иркутской писательской организации Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского, Светлана. Они познакомились, стали общаться, а затем дружба переросла в любовь. Это произошло летом 1960 года.

В 1959 году Валентин Распутин окончил университет и стал работать корреспондентом в областной молодёжной газете, где в студенческие годы был внештатником. С 25 февраля 1961 года Валентин и Светлана стали жить вместе, а официально зарегистрировались 11 октября этого же года.

21 ноября в семье Распутиных появился малыш – сын, которого назвали Серёжей.

В 1962 году Светлана окончила университет и получила направление на работу преподавателем высшей математики Красноярского технологического института. В августе месяце они с Валентином уехали в Красноярск, где и получили комнату в общежитии для педагогов. А Распутин устроился на работу в областную газету «Красноярский рабочий».

Здесь хочется сказать несколько слов о Виктории Станиславовне Молчановой – тётце Валентина Григорьевича Распутина. Он её не только уважал, но и любил. На книге Валентина Распутина «Что передать вороне?», изданной в Кургане в 1995 году, которая хранится у младшей дочери Евгении Молчановой, такой автограф:

“Жил-был зять. . . и была у него одна тётца (а посмотрите-ка, сколько теперь у зятьёв бывает тётч!), и этот зять дарит своей единственной тётце в день её юбилея юбилейную книгу не в последний раз. Итак – Виктории Станиславовне, любимой тётце, от зятя Валюши.

В. Распутин. 14 апреля 1996 год”.

“У каждого из нас своя Матёра”

I

В моём рабочем кабинете стоит один-единственный книжный шкаф, который очень дорог мне. Книг в доме много, они стоят в других комнатах на книжных полках. Но этот – особенный. Даже друзья-приятели, которые приезжают ко мне, прозвали его ласково «забайкальским». В нём стоят книги и журналы участников и руководителей семинара молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, который прошёл в Чите с 6 по 16 сентября 1965 года. Я присутствовал на нём, получив гостевой билет.

От имени организаторов семинара – ЦК ВЛКСМ и Правления Союза писателей РСФСР – участников форума приветствовал Леонид Сергеевич Соболев: “Пожалуй, только здесь я понял значение и масштаб встречи, которую мы с вами начинаем сегодня в гостеприимной столице Забайкалья Чите. Она, как радушная хозяйка, встретила нас лазоревым сибирским небом и улыбками горожан. . .”

Пока писатели общались, читатели тоже времени не теряли – задолго до выхода писателей к читателям начался книжный базар. На стоящих тут же персональных именных столиках продавались авторские книги, а сам автор сидел тут же и, буквально не разгибая спины, давал автографы читателям.

Помнится, я подошёл к столику председателя правления Читинской писательской организации, детского поэта – Георгия Граубина, купил его книгу “Говорящие каракули”, куда автор вписал мне тёплый автограф. Обратив внимание, что под мышкой я держу не так уж много книг, Георгий Рудольфович посоветовал мне присоединиться к группе молодых парней: “Может, они тебе какие-то книги подарят. . .” Ребята, стоявшие тесным кружком, вели запальчивый спор. На моё присутствие почти не отреагировали, горячо обсуждая какой-то рассказ. Я пригляделся, прислушался к спору и понял, что речь идёт о рассказе вот этого кареглазого, с юношеским овалом лица и такой, на мой взгляд, неуместной на его лице бородой, парня. Это был Геннадий Машкин. А рядом, горячо жестикулируя в пылу спора, стояли Дмитрий Сергеев, Вячеслав Шугаев, Александр Вампилов и молчаливый, как мне показалось, глядящий

исподлобья своими чёрными пытливыми глазами Валентин Распутин. К нему я обратился с просьбой подарить книгу. Распутин как-то по-детски улыбнулся: “Пока не могу. Вот выйдет книга – тогда и подарю с радостью...” Так состоялось моё знакомство с будущим классиком отечественной литературы.

Проходил семинар в аудиториях медицинского института, двенадцать творческих групп работало на нём. Пять групп прозаиков, пять – поэтов и две группы драматургов. Мне посчастливилось принять участие в работе двух прозаических групп, где руководителями были Франц Николаевич Таурин и Борис Александрович Костюковский – первый ответственный секретарь Читинской писательской организации со дня её образования, и уроженец Кемеровской области, прозаик Владимир Алексеевич Чивилихин.

Он оценивал своих подопечных по степени значимости и относил к трём группам. К первой он отнёс тех, чей уровень литературной подготовки был невысок и кого пригласили участвовать в семинаре как бы авансом. Во вторую группу попали семинаристы, пишущие умело, даже профессионально, но, как говорили тогда, “не заставляющие читателя переживать, не допускающие под черепную коробку ежа”. А третья группа – это открытые на семинаре таланты. К ним принадлежал, прежде всего, Распутин, чей рассказ “Ветер ищет тебя” Владимир Алексеевич прямо из Читы продиктовал в Москву по телефону в редакцию “Комсомольской правды”. Потом я узнал, что 9 сентября у книжного киоска около окружного Дома офицеров ещё до открытия его выстроилась длинная очередь. “Комсомольская правда” шла нарасхват, многим даже не хватило. А 10 сентября в № 37 “Литературная Россия” дала рассказ Валентина Распутина “Я забыл спросить у Лёшки”. К этому приложил руку и сам Леонид Соболев: “Ещё очень молодой, весь в поисках, иногда удачных, иногда неудачных... Мы имеем дело с редким дарованием, он привлекает углублённой психологичностью, смелостью, с которой берётся за сложные вещи. В языке у него нет бесцветности, бесплотности, фразы иногда сложные, но они сработаны из точного лексического материала. Мы верим, что из него получится хороший писатель...” Да и сам Валентин Григорьевич в дальнейшем так сказал о форуме: “Я был участником читинского семинара, благодаря ему я стал писателем, потому что неизвестно, как сложилась бы моя судьба, не получи я одобрения первым своим рассказам в Чите в 1965 году. Для меня поэтому читинский семинар – одно из самых памятных и этапных событий в жизни”.

На заключительном заседании семинара Владимир Чивилихин точно предсказал: “Мне почему-то кажется, что великий художник, которого мы с нетерпением ждём, придёт из Сибири. В Сибири есть всё: язык нетронутый, есть правда особая, бодрящая, которая зовёт меня не к созерцанию, а к действию. В Сибири сосредоточены политические, экономические, моральные и другие проблемы. В Сибири характеры крепкие, крупные, которые отражают психический склад сибиряка. Наконец, Сибирь живёт на земле, дорогой для всех народов. И в Сибири сложнее, чем где бы то ни было. Мы уверены, что именно Сибирь даст художника, которым будет гордиться человечество...”

II

Распутин выполнил своё обещание, данное мне на центральной площади Читы: подарил мне книгу... и не одну. Среди книг Распутина стоит и моя книга рассказов и повестей “Запрягу судьбу я в санки”, предисловие под названием “На добро – добром” написал Валентин Григорьевич.

Мы часто встречались с ним в Москве в Союзе писателей на Комсомольском проспекте, в Доме творчества в Переделкино, в его квартире на Старо-конюшенной и в Иркутске, на улице 5-й Советской армии. Эти встречи мне были не только радостны, но и поучительны. Распутин ко мне всегда относился по-братски внимательно и дружески-нежно.

Вот его тоненькая книжка, изданная на простой бумаге без переплёта в Иркутске в 1981 году. Это рассказ “Уроки французского” с дарственной надписью: “Эдуарду Анашкину с низким поклоном за своё давнее и бывшее. В. Распутин”. Рассказ посвящён Анастасии Прокопьевне Копыловой, матери друга Распутина Александра Вампилова, талантливого педагогу и замечательному человеку.

Валентин Григорьевич так говорил о создании своего рассказа: “Я описал своё детство в рассказе “Уроки французского”. Конечно, есть вымысел,

учительница не играла со мной на деньги, но она на самом деле присылала мне посылки с макаронами. Я ими кормился. И потом, когда стал писать рассказ, одних макарон для сюжета явно не хватало, пришлось выдумывать. И вся деревня так жила, думаю, вся крестьянская Россия так жила...”

В моей папке под названием “Уроки французского” Валентина Распутина” собран большой материал об этом рассказе. Здесь высказывания критиков, прозаиков, материалы с диспутов и вечеров по этому рассказу, но мне ближе всего высказывание иркутского критика Валентины Семёновой, написанное коротко, ёмко, ярко: “Уроки французского”, на самом деле – это уроки русской жизни, принявшей тягостное, неласковое русло. Конец сороковых, послевоенные годы, Сибирь... одиннадцатилетний отрок получает первый опыт пути против течения. Путь этот удивителен тем, что не стал жёстким ответом на жёсткость времени. Противостояние шло по другой линии: выдержка, терпение, преодоление себя. Что заставляло его так держаться? Детская душа – как зерно, из которого прорастают побеги будущего характера. И видно по всему, душа героя рассказа “Уроки французского” была изначально рождена вместе с совестью. Совесть повела от первых уроков к “заданию на жизнь” – именно так было осознано писательское призвание автором “Матёры”, и “Моего манифеста”.

Заданием стало неколебимое стояние за тысячелетнюю Россию – с её Сибирью, Байкалом, Сергием Радонежским, с её литературой, уронить величие которой нельзя, как нельзя утратить доверие учителей. Уроки горькой правды о дне нынешнем превозмогаются уроками любви, веры в преодоление отчаяния, веры в то, что наступит подъём духовных сил народа, и он не поддастся натиску материалистического мирового порядка...

Главный урок Распутина: зло побеждается не злом, а накоплением и единением сил добра, и победить можно...”

Я очень долго искал прототип героини рассказа – учительницу французского языка Усть-Удинской средней школы Лидию Михайловну Данилову. И помогла мне её следы найти собственный корреспондент центральной “Российской газеты в Поволжье” Валентина Зотикова.

Родилась Лидия Михайловна в 1929 году в Москве, в Орлинском переулке. В 1937 году семье пришлось поменять адрес, когда отец – сотрудник наркомата лёгкой промышленности, – чтобы избежать участи сослуживцев, попавших в жернова репрессий, отправился работать в далёкое Забайкалье, в город Сретенск, который расположен на реке Шилке. Здесь же Лидия Михайловна окончила среднюю школу и поступила на факультет французского языка Иркутского государственного педагогического института. А после завершения учёбы получила направление на работу в таёжный райцентр Усть-Уда. Здесь ей предстояло учить ребятешек французскому языку в местной средней школе. И конечно, тогда, вышагивая в туфлях на каблуках по тротуару, сделанному из сосновых досок, молодая учительница с чемоданом в руке вовсе не догадывалась, что этот глухой сибирский посёлок станет особой вехой в её жизни.

Первое время она, как писала впоследствии в письме местному краеведческому музею (и честь ей и слава, что не скрывала этого), “плакала по ночам и проклинала день и час, когда сошла здесь с парохода”.

Поначалу ей самой пришлось многому учиться: носить воду из колодца, топить печь, колоть дрова. Но начинался день, и она, легка и молода, открыта и стремительна – подлинная француженка. Конечно, ей трудно было перебороть собственный страх и неуверенность. И было отчего: новенькую “француженку” назначили классным руководителем самого “хулиганского” в школе восьмого “Б”, в котором из двадцати шести учеников шестнадцать были “двоечниками”. “Я поначалу боялась их, как чёрт ладана”, – признавалась она спустя годы. К счастью, сами сорванцы-подростки в поношенных ватниках с холщовыми сумками, глядя на свою всегда спокойную и строгую “классную даму”, не догадывались об этом.

А вскоре жители Усть-Уды перестали жаловаться директору школы на их выходки. Чтобы ребята после уроков не болтались по улицам, Лидия Михайловна организовала для них драматический кружок. Через год класс было не узнать: за это время ей удалось не только подтянуть успеваемость, но и подружиться со своими учениками – хотя иногда это считалось “непедагогичным”. Как об этом здорово сказано в стихотворении “Урок французского” поэтессы Надежды Мирошниченко из Сыктывкара:

*Уроки французского! Тёмный заснеженный вечер.
И русская девушка в дальнем сибирском краю
Голодного мальчика учит изысканной речи,
Французской фонетике вместе со словом “люблю”.*

*Он так одинок, этот мальчик, и так простодушен.
Он очень талантлив, но очень, к тому же, строптив.
И как она хочет согреть его чистую душу,
Её чистоты и доверия не замутив.*

*“Учителке” страшен далёкий раскат канонады,
Москва затемнённая и в похоронках село.
Но русский язык защищать тогда было не надо:
Все русскими были — и это к победе вело.*

*А юная девушка, странная, словно из книжки,
С своим “силь ву плэ” и своим простодушным “мерси”,
Спустившейся с неба тому представлялась мальчишке —
Таких он не видел ещё до сих пор на Руси.*

*Уроки французского — памяти сладкая дрёма,
Где мирное небо, и солнце — ковригой большой...
Где три мушкетёра, где радостно и невесомо...
А эта “учителка” — фея с прекрасной душой.*

Одним из немногих, кто не доставлял Лидии Михайловне хлопот, был Валья Распутин — тихий скромный мальчик с последней парты. Хотя ему, оторванному от родного дома, в полугодные послевоенные годы приходилось куда сложнее, чем одноклассникам. И молодая учительница хорошо это знала.

— Мама всегда уверяла, что никакой особой роли в судьбе будущего писателя она не сыграла, — вспоминает младшая дочь Лидии Михайловны, живущая ныне в Нижнем Новгороде Татьяна Пономарёва. — Незадолго до её отъезда был такой случай: ребята решили сделать ей подарок к празднику, и не знали, что выбрать. Тогда они просто собрали деньги. А мама была удивительный человек, когда ей дарили, к примеру, книгу, она тут же старалась подарить что-то взамен. Конечно, отказалась: “Ребята, я не возьму”. Те обиделись: “Мы же от чистого сердца! Что же теперь — обратно раздавать?..” Тогда она сказала, что ей будет очень приятно, если они помогут однокласснику Вале Распутину — он лежал в больнице... “Да разве он возьмёт? Вы же знаете — он у нас гордый, хоть и тихоня”. Но мама нашла выход: по её совету дети сказали, что деньги — от родительского комитета... “Будешь работать — вернёшь”. Уж не знаю, кто рассказал потом ему всю правду. Знаю лишь, что долг тот он школе отдал.

К тому времени в жизни молодой учительницы произошли важные перемены: там же, в Усть-Уде, она познакомилась с парнем — горным инженером Николаем Молоковым, полюбила его и вышла замуж. А вскоре уехала с ним в шахтёрский город Черемхово Иркутской области, куда супруг получил назначение на работу. Семейное счастье Лидии Молоковой было недолгим: в 1961 году в дом пришла беда — погиб муж... В тридцать два года она осталась вдовой с двумя маленькими дочками на руках. Мать её уже перебралась из Забайкалья к родственникам в Мордовию. Лидия Михайловна с детьми отправилась к ней.

В то время в Саранске в университете открылась кафедра французского языка, и Лидию Михайловну взяли на работу.

— Первым нашим домом стала комната в преподавательском общежитии, — рассказывает Татьяна Пономарёва. — Размещались мы там с трудом: старшая сестра Ирина спала на диванчике, а я — вместе с мамой. Но я не помню, чтобы мама когда-нибудь унывала и жаловалась. Уже на склоне лет она как-то сказала мне: “Вот, все говорят — “тяжёлое время”. А мне никогда не жилось тяжело!..”

Однажды на факультет французского языка университета имени Огарёва пришла разрядка: искали преподавателей для работы в Камбодже, и Лидия

Михайловна сразу решила: “Еду!” Молокова была хорошим педагогом, поэтому в институте кхмеро-советской дружбы уже через год её назначили заведующей кафедрой, хотя там работали преподаватели из лучших вузов СССР. Впоследствии она стала командором камбоджийского королевского ордена.

По завершении командировки в Камбоджу Лидию Молокову послали в Алжир. Там она преподавала в школе кадетов революции – заведении полувоенного типа, где учились дети, чьи родители погибли во время революционных событий. Дочери в это время учились в Подмоскowie, в интернате Министерства иностранных дел – там находились дети, родители которых работали за рубежом. А когда Лидия Михайловна вернулась из Алжира, она получила, наконец, квартиру на юго-западе Саранска.

В маленькой “двушке” на проспекте 50-летия Октября жили три поколения Молоковых. Лидия Михайловна забрала сюда свою старенькую маму и свекровь, оставшуюся в том самом сибирском посёлке Усть-Уда.

Когда её спрашивали, зачем взваливать на себя такую ношу, она отвечала коротко и ясно: “На меня мои дети смотрят”.

А последняя командировка Лидии Молоковой была во Францию, в парижскую Сорбонну, где она начала вести практические занятия на кафедре славистики. Там ей довелось познакомиться с литературным творчеством своего бывшего ученика. О Распутине она услышала на лекции о современных советских писателях. Тут же всплыл в памяти мальчик из далёкого сибирского района: неужели тот самый?

В Париже Лидия Михайловна часто приходила в магазин русской книги “Глоб”, что в Латинском квартале города. Один из визитов в магазин запомнился ей на всю жизнь. Она познакомилась с актёром Владимиром Ивашовым, который приехал во Францию представлять знаменитый фильм “Баллада о солдате”. Во время беседы с Ивашовым к ней подошла продавщица: “Вы интересовались книгами Валентина Распутина? К нам поступил его сборник!” Открыв пахнущий типографской краской томик, она пробежала глазами биографию автора, в оглавлении наткнулась на рассказ “Уроки французского” и, быстро пролистав страницы, стала читать... “Что с Вами?” – спросил Ивашов, увидев, как лицо собеседницы внезапно покрылось красными пятнами, а в уголках глаз заблестели слёзы. А когда Молокова сбивчиво объяснила, в чём дело, почтительно поцеловал ей руку и тоже купил книгу.

Лидия Михайловна написала автору прямо из Парижа, на конверте вывела так: “СССР. Иркутск. Валентину Распутину”. А через некоторое время получила ответ: “Я знал, что Вы отзовётесь...”

– Валентин Григорьевич удивительный человек, – вспоминает дочь Татьяна. – Свои письма к маме он подписывал: “Ваш старательный и bestолковый ученик” или просто “Ваш Валя” и постоянно звал её в гости. Мама пользовалась его приглашением. Вернувшись, рассказывала, с каким теплом встречали её хозяин и его супруга Светлана Ивановна, милые скромные люди, о настоящем сибирском угощении – пирогах с рыбой и особым “немещанском” уюте в их доме. Продолжал он писать маме и потом, когда она переехала из Саранска в Нижний Новгород – поближе ко мне, внучке Кате и правнуку Артёму. Затем мама тяжело заболела и уже не могла писать, и Валентин Григорьевич звонил, чтобы справиться о её здоровье.

В семье Лидии Михайловны Молоковой бережно хранят её архив. В толстой стопке писем от писателя последней лежит телеграмма: “С болью в сердце узнал о кончине Лидии Михайловны, моей дорогой учительницы и мудрой наставницы. Не стало её, и тяжесть до конца моих дней легла на сердце и душу. Поклонитесь ей в последние минуты и от меня тоже...”

К этому времени Валентин Григорьевич Распутин – выходец из далёкого иркутского села – стал писателем: русским, советским, мировым...

Каждый год с весны до осени Распутины жили в Иркутске, а зимой – в Москве. В Иркутске они большую часть времени проводили на даче. Скуцали без дочери Марии, ждали её. Ждал её и город. Как обычно, приезжая летом домой, давала она концерт в органном зале. Дочь у Распутиных – третий ребёнок – была их радостью. Она появилась на свет в 1971 году. Девочка была крепкая, здоровая, но всегда, с самого раннего возраста, хотела быть самостоятельной и обладала сильным характером. Очень ярко отражено это в рассказе её отца “Что передать вороне?” Вот небольшой отрывок из него.

“Я забежал на исходе дня в детский сад за дочерью. Дочь очень мне обрадовалась. Она спускалась по лестнице и, увидев меня, вся вострепелась, обмерла, вцепившись ручонкой в поручень, но то была моя дочь: она не рванулась ко мне, а быстро овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врождённый, но не затвердевший ещё характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не кинуться мне на шею...” Будучи подростком, Мария не любила, чтобы на неё обращали внимание, фотографироваться или сниматься на видеокамеру отказывалась категорически, избегала попадать в кадр.

Она многое успела сделать в этой жизни: с отличием окончила теоретическое отделение Иркутского музыкального училища, Московскую консерваторию и аспирантуру по двум специальностям – теория музыки и орган, прошла годовую стажировку по органу в Германии, в Любеке, защитила диссертацию, преподавала в Московской консерватории и руководила редакционно-издательским отделом, пела в хоре Сретенского монастыря... Она постоянно была в движении, в работе, в творческом поиске. 9 мая 2006 года дочь Валентина Григорьевича и Светланы Ивановны летела самолётом, совершающим рейс по маршруту Москва–Иркутск. Уже по городу были расклеены афиши о её предстоящем концерте... Светлана Ивановна с сыном Серёжей приехали в аэропорт встретить Марию, а Валентин Григорьевич остался на даче. Самолёт А-310 совершил посадку, было объявлено, что он успешно приземлился, но – неожиданно стал набирать скорость, выехал за пределы взлётной полосы и врезался в гаражи, стоящие рядом с аэропортом... Возник пожар, спастись удалось немногим. 124 человека погибли, и среди них – Мария Распутина. А впереди для родителей было самое ужасное – опознание. Опознать удалось по крестику, он у неё был необычный.

Телеграммы, письма, соболезнования шли нескончаемым потоком. Вот одна из телеграмм: “Дорогие Валентин Григорьевич и Светлана Ивановна! С чувством глубокой скорби узнал о трагической гибели вашей дочери Марии Валентиновны! Примите искренние соболезнования! Православная Москва знала Марию как усердную прихожанку, певчю народного хора Сретенского монастыря и сотрудницу его издательства. Москва музыкальная помнит её как талантливого органиста, вдохновенного исследователя, внимательного педагога. Кроткий и светлый облик Марии навсегда останется в памяти всех, кому посчастливилось с ней общаться. Благодарю Бога, что перед своим отъездом, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, Мария исповедовалась и причащалась Святых Христовых Таин, а накануне вылета пела на Божественной Литургии. Всё это вселяет в нас твёрдую надежду на милость Божию. Господь, Своим неизречённым Промыслом призвавший Марию в вечные обители, да успокоит её в селениях праведных. Вам – силы пережить горе, постигшее Вашу семью. С уважением, – Алексей, Патриарх Московский и всея Руси”.

Как хорошо сказал о ней профессор Московской консерватории, заведующий кафедрой теории музыки (на которой работала Мария) Александр Сергеевич Соколов: “За свою недолгую, трагически оборвавшуюся жизнь Мария Валентиновна Распутина успела сделать очень многое. Маша была по-настоящему талантлива, и это проявлялось во всём, за что она бралась, – будь то исполнительство, наука или педагогика. До сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что нет теперь рядом этого удивительно честного, доброго, чуткого человека”.

После смерти Марии жизнь в семье Распутиных разделилась на “до” и “после”. Такое горе вынести было трудно даже такому сильному и волевому человеку, какой была Светлана Ивановна. Да, рядом был муж, был сын, была внучка Тонечка, появился внук Гриша, внучка Любочка, но Марии-то не было!

Валентин Григорьевич отказался от многих праздничных мероприятий на следующий год – год своего семидесятилетия. А Светлану Ивановну после гибели дочери подкосил сильный стресс.

Но Распутины всё чаще и чаще вспоминали о грядущем в их жизни юбилее – 50-летию совместной жизни. В канун золотой свадьбы в 2010 году Валентин Григорьевич и Светлана Ивановна венчались в храме в честь иконы Божией Матери, именуемой “Касперовская”, которая находится в лесочке, рядом с Князе-Владимирским храмом по улице Лесной, 145. Венчал протоиерей Алексей (Середин).

Светлана Ивановна Распутина, жена Валентина Григорьевича, была незаурядной, многогранной личностью. После её смерти остались дневники, которые она вела до замужества: две общие тетради, в которых записывала все свои сокровенные мысли, размышления о жизни, понравившиеся ей стихи, отрывки из прозаических произведений, впечатления о прочитанном. Я очень благодарен сыну Распутиных Сергею, который разрешил использовать мне в этой статье некоторые записи Светланы Ивановны:

“20.12.1959.

То, что пишу здесь, это какая-то очень малая частица моего “я”. В жизни столько весёлого и грустного, просто милого и радостного, и печального, и тревожащего, а я пишу как-то немного однобоко. И иногда становится страшно, что многое растеряно в памяти и, быть может, никогда не вспомню. Но ведь эти маленькие человеческие подробности и являются основой больших человеческих чувств”.

“19 января 1958 года.

Кем я буду? Я сама не знаю. Кем я хочу быть? Не знаю.

То есть, я чувствую, что я могу быть Человеком.

Я есть, я существую сейчас. Я тонко всё чувствую,

При виде неба, деревьев, снега, солнца, реки, людей,

При звуках музыки внутри всё трепещет и бьётся.

Я люблю жизнь. Я хочу жить, жить светло, чисто,

Бурно и ярко.

Но во что выльется всё то, что я имею?

Претворятся ли мои хрустальные мечты в жизнь?

И кто поможет сделать это?

И есть ли он, человек, которого я люблю?

Жизнь с которым будет счастливой,

Человек, который будет любить меня, поймёт меня?

Я думаю, он живёт, он ищет меня. Он уже любит меня такой,

Какой меня сделает любовь к нему...”

Светлане, написавшей это, 19 лет. Удивительным образом слова её перекликаются со стихами её папы – известного поэта Сибири, основателя Иркутской писательской организации, Ивана Молчанова-Сибирского, написанные в двадцатилетнем возрасте в 1923 году:

Я жить хочу... я страстно жажду жить,

Но чтобы не обыденно и пусто!

Хочу гореть и всей душой любить,

Всей полнотой нетронутого чувства...

Дочь и отец были очень похожи во всём: и внешне – высокие, статные, с правильными тонкими чертами лица, синеглазые, и характером – честные, прямые, справедливые, отзывчивые. Их связывала большая дружба, они могли говорить на любые темы, делиться своими рассуждениями о жизни, обсуждать прочитанные книги.

“Читала Светлана очень много, – пишет её младшая сестра Евгения Ивановна, – у нас была прекрасная библиотека. Когда папа приезжал из Москвы, а ездил он исключительно по делам писательской организации, – всегда привозил новые книги, и мы с нетерпением ждали, когда же он начнёт распаковывать чемоданы и вручать каждому долгожданные издания.

Когда умер папа, всем нам, его детям (а нас было шестеро), очень его не хватало. Светлане же, старшей, особенно. Она лишилась верного друга, собеседника”.

Вот строки из её дневника:

“10.06.1959.

Я знаю, вернее, знала, только одного красивого мужчину. Он красив всем, красив и внешне, и внутренне. Это папа. Таких больше нет. И его нет. Нет нигде. О, боже, как это страшно. Навеки...”

“28 августа 1960 года.

Надо жить в полную силу. Дерзать. Творить.

Не бояться повседневности. Подчинять её себе.

Всегда, везде быть сильной, независимой,

*И чтобы все это знали.
И никогда не раскисать, по крайней мере,
Чтобы никто не видел этого"...*

В доме у Распутиных всегда былолюдно: приходили писатели – друзья Валентина Григорьевича, обращались за советом начинающие авторы, заходили подружки, одноклассницы Светланы Ивановны, одноклассники Серёжи и Маруси.

Все эти годы, как и всю свою жизнь, Светлана Ивановна много читала. Она знала все новинки литературы, просматривала журналы, всегда была в курсе политических событий, культурной жизни.

Умерла Светлана Ивановна Распутина 1 мая 2012 года и похоронена на Смоленском кладбище города Иркутска, рядом с дочерью Марией.

В последние годы мы с Валентином Григорьевичем чаще созванивались, чем переписывались. Когда в апреле 2013 года мне позвонили из иркутского отделения Союза писателей России и сказали, что я включён в состав делегации по предложению Валентина Григорьевича Распутина на Всероссийский праздник русской духовности и культуры “Сияние России” в Иркутске, я поначалу даже дар речи потерял. Не сразу нашёлся, что ответить. Уже потом вспомнил, что месяц назад Валентин Григорьевич прислал мне подарочное издание своей книги “Прощание с Матёрой” с таким автографом: “Эдуарду Анашкину дружески, с надеждой на скорую встречу в Иркутске. В. Распутин”.

Когда приехал в Иркутск и увидел состав делегации, то ещё раз осознал юбилейную значимость праздника. Здесь собрался свет нашей литературы. Поэт, прозаик, главный редактор ведущего литературного журнала “Наш современник” Станислав Куняев, политический и общественный деятель, писатель, главный редактор газеты “Завтра” Александр Проханов, писатель, преподаватель Московской духовной семинарии Владимир Крупин, поэт, прозаик и главный редактор журнала “Москва” Владислав Артёмов, поэт и главный редактор журнала “Родная Ладога” (Санкт-Петербург) Андрей Ребров, народный писатель Республики Саха (Якутия) Николай Лугинов, выдающийся фотохудожник и кинооператор, член редколлегии журнала “Роман-газета” Анатолий Заболоцкий и, конечно, сам Валентин Григорьевич, почтивший своим присутствием многие мероприятия праздника! Позже к группе писателей присоединился молодой талантливый поэт Василий Попов. Тон празднику задавали и были “движителями” всего действия замечательные поэты-иркутяне Владимир Скиф, Василий Забелло, Михаил Трофимов.

Мы выступали в школах и учебных заведениях, в библиотеках и на предприятиях, в литературно-театральном салоне Вампиловского центра. Были мы и у Кругобайкальской железной дороги. Не забуду поездку на малую родину Валентина Распутина в посёлок Усть-Уда, где стоит красавец храм, построенный с помощью Валентина Григорьевича. Писатели побывали в этом храме и получили благословение настоятеля, протиерея отца Владимира.

А вечером, накануне отъезда, Распутин подарил мне красочный фотоальбом выпуска 2012 года “Валентин Распутин. Дорога домой” с тёплой дарственной надписью.

Последний раз мы разговаривали по телефону с Валентином Григорьевичем 5 февраля. Он был в больнице. “Как Вы себя чувствуете? – Не очень, но мы обязательно встретимся. Есть о чём поговорить. Материал, который пишешь о читинском семинаре, пришли, посмотрю...”

Не позвонит. Не посмотрит...

Но я обещаю, что побываю на Вашей могиле, дорогой Валентин Григорьевич, и возложу букет цветов!

Похоронили Валентина Григорьевича Распутина на территории Знаменского монастыря города Иркутска.

А по России уже гремит опубликованное стихотворение русского поэта, редактора журнала “Наш современник” Станислава Куняева, посвящённое Валентину Распутину:

*На родине, как в космосе, не счесть
Огня и леса, камня и простора.
Всё не вместишь, не потому ли есть
У каждого из нас своя Матёра.*

*Своя Ока, где тянет холодок
В предзимний день,
От влаги загустевший,
Где под ногой ещё хрустит песок,
Крупнозернистый и заиндеветший.
Прощай, Матёра!
Быть или не быть
Тебе в грядущей жизни человеческой —
Нам не решить, но нам не разлюбить
Твоей судьбы непостижимо вещей.
Я знаю, что необозрим народ,
Что в нём, как в море, света или мути,
Увы, не счесть... Да, будет ледоход,
Да, будут после нас иные люди!
Прощай, Матёра, боль моя, прощай!
Прости, что слов заветных не хватает,
Чтоб вымолвить всё то, что через край,
Переливаясь, в синей бездне тает...*

А закончить я хочу свои воспоминания коротким отрывком из статьи Николая Савельева из "Российской газеты"... "Ему выпало похоронить не только свою дочь, жену, мать, а ещё старуху Анну, и Настёну, и ещё перешагнуть тюремные ворота с обездоленной героиней последней повести. О Господи... и это пережить... И сердце на клочки не разорвалось..."

АЛЕКСАНДР ЯРОВОЙ

кандидат филологических наук

“СТИХИЯ РУССКОГО СТИХА... ИЛИ СТРОКИ О РОДНОМ И ВЕЛИКОМ”

(К 75-летию Николая Рачкова)

“Зажги в себе свечу”, – призывает русский поэт Николай Рачков. Эти слова можно поставить эпиграфом ко всему его художественному творчеству. Николай Борисович уже более полувека творит свой прозрачный и светлый, многоликий, богатыми красками, печалющийся и ликующий поэтический мир. Он поэт крупных образов, таких, как жизнь, дорога, судьба, любовь, милая сердцу Русь... Вроде бы об этом написаны горы книг... Но... Неподдельно русский человек Валентин Распутин так писал к автору: “Все, казалось бы, мы уже знаем, ничем нас не удивить, и почти всюду ново и точно!..” Да, “Всё близко и всё далёко” – так называется одна из многочисленных книг поэта. По словам писателя Владимира Крупина: “Радость излилась с небес полной мерой на нашего сегодняшнего юбиляра, родившегося на Нижегородчине... Как говорит пословица: “Где родился, там и пригодился”. Но вот это “где”, в данном случае, имеет не географическую локализацию – это духовное “место”, координаты высших измерений.

Когда-то философ В. Соловьёв говорил об “эстетике света” в древнерусской культуре. Не костлявая готика европейского Средневековья, не мрачный страх перед муками ада, а светлая любовь к Богу и людям, ощущение Рая тысячу лет пронизывают всю нашу восточнославянскую культуру. Преимущество белого в символике литературы, архитектуры, других искусств – неслучайно, оно имеет глубинный метафизический смысл. Белый цвет, напомним очевидную истину, – это не отсутствие иных красок, а синтез всех цветов спектра. Так проявлялось стремление к чистоте, святости, порыв к божественному “Свету невечернему”.

Подобная глубинно-коренная, исконная эстетика света присуща и многогранной поэзии Николая Рачкова. Даже когда он обращается к темам очень земным, будничным, к вопросам печальным и трагическим, грусть его светла, и осязаемая эмоциональная боль, передаваемая читателю, не порождает чувства безысходности. Возможно, это один из самых оптимистических поэтов отечественной современности. И это при том, что биография певца “рябиновой Руси” далеко не безоблачна. Крестьянский сын, ровесник великой и страшной войны, стал полусиротой в утробе матери, ведь отца убили на

фронте ещё в 1941-м, за несколько месяцев до рождения сына. В автобиографии написано просто и тихо-потрясающе: “Время было трудное, жизнь бедной, почти нищенской. Но никакого уныния не было, помнится из детства и юности только светлое и радостное”. Какой изумительный урок для младших современников и молодёжи (а ведь довелось поэту поработать и простым сельским учителем, знает он среду юношества с его меняющимися, но всегда одинаково “неразрешимыми” и “вселенскими” проблемами...). Где же, собственно, берутся депрессии и порывы уныния, тоска и обманчивое чувство бессмысленности существования; откуда ещё более обманчивое и губительное желание заполнить внутреннюю пустоту любым “внешним пространством” у многих благополучных юношей и девушек, не изведавших ни войны, ни голода, ни холода? Да в том причина, что уже во втором поколении привилась нашим людям чуждая система лжеценностей, “философия удовольствий”, которая подобна, по выражению из православного Патерика, воде, нарисованной на стене: изображение привлекает, но жажда-то не утолишь. А закалённое в горниле страданий сердце становится и более участливым, и внимательным к человеку; тот, кто прошёл сквозь смерть, умеет видеть и ценить жизнь во всех её проявлениях.

“Мать для меня святая, — пишет поэт. — Выводя меня и брата “в люди”, умерла рано”. В таких стихотворениях, как “Воспоминания о 46-м годе”, “Сапоги”, “Война. И бедность. И сиротство...”, “Проводы”, показана трагедия детства, которое кощунственно рано закончилось... Из поколения в поколение передавалась и приумножалась жизнестойкость русского духа. “Господи! Как жизнь-то хороша...” — говорит старушка в стихотворении Рачкова 1990 года. Ей много не нужно: “Есть и соль, и спички, // хлебушко завозят иногда...” И она не может понять панических настроений горожан:

*Что кричат? Чего руками машут?
Лучше приезжают пусть да пахнут...*

Земля исцелит душу и тело. Родная земля. Только ощути, осознай её как мать, как Родину...

Творчество Николая Рачкова наиболее полно представлено книгой избранных стихотворений “О Родине, о жизни, о любви”. Всё в монолитном сплаве, и везде проникает, как скальпель, как острый луч, взор поэта, один из главных призывов которого — “Ты свет в душе не погаси, // она для Вечности, для Бога” (“Твоя душа”, 1992). А поскольку существует Воскресение, значит, преодолеваются, исчезают страдания и боль. Исследователь В. Запелалов пишет: “Постигая смысл бытия, Рачков защищает дух как главную его составляющую и подходит к философско-религиозному осмыслению сокровенной Тайны Жизни. В лирике Рачкова ощутима явственная потребность сверхбытийного преодоления страдания”.

С болью и наслаждением вдыхает поэт воздух Родины, неповторимую атмосферу её бытия... Радость его душе приносят дымки родных очагов... Но и ужасающие дымы катастрофических кострищ русской истории не влекут к мыслям о безысходности... Очевидно, что после всех испытаний и катаклизмов Русь-Россия выходила всё более закалённой и крепкой. А враги забывали уроки своих поражений надолго...

*“...Не умеют русские сдаваться”, —
Произнёс в сердцах Наполеон.*

*В том, что здесь он скоро поймнёт,
Никого не надо убеждать.
Русские сдаваться не умеют,
Но зато умеют побеждать...*

Рачков — мастер афоризма. Не обязательно кратко. Афористически иногда звучат целые строфы.

*Осталась надежда на Бога,
Нам правда и воля любá.*

*Своя у России дорога,
Своя у России судьба...*

Или:

*Она живая — до окраин,
В ней наша кровь и наша плоть.
Есть у земли один хозяин,
Единый собственник — Господь...*

Эти строки написаны в 1996-м, в то десятилетие, когда у народа “новыми хозяевами” отбирались и земли, и общественные богатства, и веками проверенные на истинность ценности, и — не считите патетикой — сами души. . .

Да, и ещё к вопросу “преодоления страдания”. Мы не должны излишне благодушно помышлять, будто все победы десяти (и более!) веков истории запрограммированы нам, Руси, как-то “автоматически”, по особенному постановлению Свыше, почти неминуемо. . . За всё нужно платить и в исторически данном бытии, и в невидимом духовном мире, ведь “ничто ниоткуда не берётся”, поэтому тема ответственности, покаяния, наказания тоже представлена в поэзии Николая Борисовича Рачкова. Много и тяжело грешим мы годами и столетиями, и очевидно, что негоже нам уподобляться ветхому Израилю, считавшему свою библейскую богоизбранность как бы “неотъемлемой и обязательной”. Наша русская богоизбранность — избранность на *крестоношение*. Крест святого — мессианский, крест русского грешника — разбойничий, хоть бы и разбойника кающегося. . . Как свидетель множества развороченных всенародной бедой судеб, Рачков на исходе столетия пишет стихотворение “Однажды”. Поражает произведение щемящим сквозным выводом об ответственности страны за немилосердие к тем, кто её, страну, спас в небывалой войне.

Речь идёт об “обрубках войны”, инвалидах, о собирательном образе человека “без ног, в заштопанной шинели”. Взяли да и убрали их “куда-то”, в какие-то спецприёмники из жизни людей, чтобы, наверное, не “уродовали” картинку “счастливого настоящего”. “Страна моя, какой виной // Ты в одночасье захлебнулась. . .” Да что же здесь особенного, спросят многие?. . А поэту видны другие причинно-следственные связи, и я с ним солидарен:

*Не отмолили.
Не смогли.
И рухнул мир не потому ли?*

Может, и потому. Не за одно такое деяние, а за множество подленьких, неблагодарных, лицемерных поступков, в ответе за которые был, вероятно, каждый из нас. . .

Интересна у Рачкова подтема правителей Руси, которых уже заведено чуть ли не традиционно называть “бичами Божиими”. В их личностях переплетаются высокая государственная мудрость и масштабная жестокость. Конечно, такие правители появляются в русской земле ещё со времен княжеских, и, говоря о подобных страницах отечественной истории, поэт с горечью упоминает усобицы, пожары, разрушения, страдания простых людей. При всей любви к родной истории, при всей природности, врождённости и искренности своего патриотизма, художник далёк от приукрашивания, слащавых сусальных картинок “оттуда”. “Золотой век” Руси — нелинейный, нехронологический, но он и не *заканчивается*, как в распространённых мировых мифологиях, ибо он не миф. Этот Золотой век, переходящий в вечность и бессмертие, находится внутри человека, посему, как главнейшую черту мировосприятия Рачкова, я бы выделил *объёмное* видение действительности. Он видит сразу многое. Золото душ человеческих, порождённое тысячелетней святыней Православия, имело и другие изводы: даже в СССР — стране формально атеистической — эти истинные и некрадомые ценности русской души освещали и освящали мир вокруг себя. О Боге не говорили вслух, а жили-то по-Божьему, по совести. Такие люди, в XX веке не раз поднимавшие Родину из руин, победившие в ужасной войне, вдохновенные труженики и творцы и были истинным “золотом партии”, партии *Людей*. Вот такой образ русского человека, русского народа предстаёт в поэзии Н. Рачкова, а особенно синтезирован в новейшей книге избранного. . .

Солнце русского восхода, воспоминания о юных поцелуях на рассвете, пасхальный звон, “золото куполов”, “шум базаров и площадей”, “крови бешеная река”, известные исторические фигуры и рядовые соотечественники, целый мир в русском сердце – все “концы и начала” бесконечных циклов бытия собраны в неподдельно душевных строчках.

Да, и всё же не удержимся сказать ещё пару слов, возвращаясь к упоминаниям о правителях, которых одни именуют злодеями и тиранами, другие – лидерами отечества с железной волей, уберёгшими страну от внешних и внутренних угроз. Конечно, прежде всего, поэт неоднократно обращается к личностям царя Иоанна Грозного и, как говорят иногда, “красного императора” Иосифа Сталина. Позиция автора взвешена, лирические оценки максимально стремятся к объективности. Ни “канонизации”, ни “демонизации”. В роковые моменты правители великой страны просто не имеют права быть слабыми и “добренькими”. Мы на грешной земле живём, не среди ангелов небесных в раю. И здесь поэт – не ведаю, интуитивно ли, рационально ли (впрочем, для поэта определение “рационально”, наверное, не всегда комплимент) – руководствуется таким органично близким ему православным вероучением. Скажем так: есть “вакансии” земного существования, связанные с неразрешимыми парадоксами. (“Человеческая история полна неразрешимых противоречий”, – писал архимандрит Софроний (Сахаров), кстати, начинавший как талантливый художник: он был духовным сыном знаменитого афонского старца Силуана, происходившего из простых дореволюционных русских “мужичков” и оставившего удивительные записи, вдохновенные гимны Божьей силе и премудрости...) Как избежать противоречия между долгом и милосердием – воину, например? Мы знаем святых православных воинов – Георгия Победоносца, Иоанна Воина, русского витязя и киево-печерского преподобного Илию Муромца... Кстати, хороша миниатюра Рачкова, открывающая раздел избранного “На славянском поле” и посвящённая Георгию Победоносцу, под святым омофором которого, в перезвоне пасхальных колоколов к нам пришла Великая Победа...

У ДРЕВНЕРУССКОЙ ИКОНЫ

*Всадник весь в доброте и в силе.
В гада бьющее остриё.
Узнаю: это ты, Россия.
Да святится имя Твоё!*

1987

И отныне, сколько ни стоять миру, 9 мая **всегда** будет приходиться на со-рокадневный послепасхальный период, когда по Русскому и всему православному миру звучит всепобедительное “Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!” А воинам своё предназначение надо было выполнять: защищать народ от врагов! Впрочем, и “воинское” противоречие снимаемо, ведь недаром Илия Муромский пошёл в монахи, как постригались в чернецы и мои украинские предки-земляки, чубатые “запорожские рыцари”...

Так что тогда говорить о царях, правителях?! Приходилось и казнить, и миловать. Я уже писал о трактовке Н. Рачкова, несколько даже реабилитирующей первого русского царя, помазанного на царство (!), как в древнебиблейские времена, Ивана IV Грозного (речь шла о стихотворении “Не убивал!” и некоторых фактах царствования Ивана Васильевича, при котором было сделано столько полезного для Руси). И ещё раз напомним, что первым в Храме Василия Блаженного на Красной площади Москвы нас встречает лик этого царя, очернённого лживой и завистливой западной историографией (“Общеписательская Литературная газета”, 2014. № 6 (55), статья “Светлая боль поэта”). А насчёт товарища Сталина, то сугубо почитательски мне импонирует лапидарное, чеканное стихотворение “Ночной парад”. В удивительном разрезе между явью и видением, в таинственной ночи узрел поэт, как по главной площади страны проходит в простенькой шинели легендарный вождь, “презрев времена”. На сюрреалистический полночный парад строятся тени с суровыми лицами: “Мы живы! Мы живы! Мы живы!” – ему отвечают полки”. Взору ожившего вождя открывается вся Держава, а не только стройные ряды вечноживой пехоты:

— *Вы нам прикажите. Мы встанем.
Ведь наши сердца — монолит.
И громко: — Да здравствует Сталин! —
Над площадью Красной гремит...*

Напомним, кстати, что советские литература и искусство, в частности, и национальные, в сталинскую эпоху были поставлены на такой высочайший государственный уровень почёта, как нигде и никогда в мировой истории. Удивительно, но это признают даже антисоветчик А. Синявский (работа “Что такое социалистический реализм?”) или тоже не отличающийся “просоветскими симпатиями” Е. Рейн!..

История не только не знает сослагательного наклонения, как известно. Она ещё и не переносит ампутаций и других изъятий-увечий!..

Но разве Николай Рачков — только поэт гражданского накала? Нет, конечно. Не мудрствуя лукаво, скажем, что трогает и задевает тончайшие душевные струны его нежная, “акварельная” любовная лирика. Поэт не вспоминает о молодости, он остаётся молодым! Не могут не взволновать его “Крылья”, “Баллада о верности”, “Купава” (очень “сказочное”, оригинальное произведение...) или ностальгические “Апрельские ночи” ...

*Всё ничто, если Вы меня помните.
Всё ничто, если я не забыл...*

А ещё у поэта к его щедрому юбилею собралось множество чудесных стихов о великих людях русской и мировой культуры, немало пейзажной лирики, “вневременных” философских размышлений, стихов-посвящений — о всём том, чем, как говорится, жив человек!..

P.S.: С благодарностью и уважением храню книги, подписанные мне поэтом, с пожеланиями-благословениями “на дружбу и службу русскому слову”. Это высокая служба, это прекрасная судьба... Многая лета юбиляру, здоровья, вдохновения, благодарных читателей! Храни Господь его талант!..